ISSN 0130–6545

11.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ОСТА ХОЛТ
Поваренная книга бедняка, или Малоземельного хутора летопись

ГЕНРИК ГРИНБЕРГ
Стихи

ЭРНСТ ЮНГЕР
Из философской прозы

СИНТАРО ИСИХАРА
Япония, которая сумеет сказать «нет»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. В. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

11 ноябрь 1991

СОДЕРЖАНИЕ

ОСТА ХОЛТ — Поваренная книга бедняка, или Малоземельного хутора летопись *(Повесть. Перевод с норвежского Н. Падалко. Вступление Л. Васильевой)* 5

ГЕНРИК ГРИНБЕРГ — Стихи *(Перевод с польского и вступление Татьяны Бек)* 51

ТОМ ВУЛФ — Костры амбиций *(Роман. Окончание. Перевод с английского В. Бошняка)* 56

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА — Рассказы *(Перевод с итальянского Ф. Двин)* 181

Критика

ТОМ ВУЛФ — Охота на миллиардноногого зверя 193

Эрнст Юнгер. Личность и творчество

А. ЛУКИН, ВЛ. РЫНКЕВИЧ — Авантюрное сердце 203

ЭРНСТ ЮНГЕР — Из философской прозы *(Составление и перевод с немецкого Вл. Рынкевича и А. Лукина)* 210

Документальная проза и публицистика

СИНТАРО ИСИХАРА — Япония, которая сумеет сказать «нет» *(Перевод М. Теракопян)* 227

К. САРКИСОВ — Новый глобальный конфликт? 246

У книжной витрины 253

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1991

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

ЭНТОНИ БЁРДЖЕСС «Трепет намерения»

Известный английский писатель, автор нашумевшего романа «Заводной апельсин», рассказывает историю двух одноклассников, один из которых стал крупным ученым, а другой — сотрудником британской разведки. Это остроумная пародия как на классический шпионский, так и на эротический роман, действие которой протекает, в частности, на одном из крымских курортов.

САЛЬВАДОР ДАЛИ «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим»

Фрагменты автобиографической книги великого испанского художника.

Стихи воркутинского цикла ХОРСТА БИННЕКА, которые он, осужденный на 25 лет, писал в начале 50-х годов в Речлаге, впервые познакомят нашего читателя с творчеством крупного немецкого поэта, прозаика, эссеиста.

На обложке рисунок **АНРИ МАТИССА**

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака, редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Глазный художник **С. И. Мухин**

Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 02.09.91. Подписано в печать 24.10.91. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. 25,01.

Тираж 142 100 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 2224.

Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 71

ОСТА ХОЛТ

Поваренная книга бедняка, или Малоземельного хутора летопись

ПОВЕСТЬ

Перевод с норвежского Н. ПАДАЛКО

Возможно, юная героиня этой повести Аннетта кому-то напомнит Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». Тот же темперамент, та же властность, та же неуемная жизненная энергия, что и у хозяйки усадьбы Тара, которую восславила в своем знаменитом романе Маргарет Митчелл. Но скорее всего русский читатель, открыв эту повесть, в первую очередь вспомнит героинь отечественной «деревенской» прозы. Молодая норвежка Аннетта цельностью и страстностью натуры поразительно похожа на Пелагею Федора Абрамова, на Настену Валентина Распутина. По складу души она близка и героям ранних книг Василия Белова, сохранившим, несмотря на все жизненные испытания и невзгоды, «теплоту добра» и «радость к миру». Русский читатель, очевидно, подметит и как много общего было — у них и у нас — в налаживании, становлении послевоенной жизни в деревне и в особо тяжелом земледельческом труде в условиях Севера. Хотя и несходство, признаемся, тоже разительно...

Оста Холт — одна из старейших норвежских писательниц. Родом она из Финнскуга (Финского леса), восточной части Норвегии, граничащей со Швецией. Здесь она живет и по сей день, в этих краях развиваются события чуть ли не всех ее повестей, романов, в том числе и принесшего ей широкую известность цикла романов о финских переселенцах в Норвегии — миграция, считают, началась еще в XVI веке, и чистокровная финская колония держалась изолированно, не смешиваясь с «чужаками» в течение двухсот пятидесяти лет.

К финским переселенцам принадлежат и предки писательницы.

Оста Холт известна у себя на родине и как драматург, и как автор поэтических сборников и книг для детей. Вообще талантов, способностей у нее не счесть. Она увлекается рисунком и живописью, знает толк в земледелии и садоводстве, ткачестве, рукодельничает — освоила многие «побочные норвежские национальные промыслы». В отчем доме деньги не водились, он другим обогатил.

Знакомясь с летописью малоземельного хутора, затерянного в угрюмых лесах, проникаясь поэзией фермерского труда, труда, который пришелся по душе вчерашней горожанке, изучая рецепты бедняцкой кухни и неимущим хозяйкам наставления, наш сегодняшний читатель, надеемся, найдет для себя в книге немало интересного.

Язык повести Осты Холт особый. В нем органично переплетаются литературные нормы и диалекты, архаичная лексика, современный деревенский и городской жаргон. Перед автором перевода стояла задача найти эквиваленты в русской речи, в ресурсах русского языка. Но об этом хотел сказать несколько слов читателю — после того, как он уже прочтет эту повесть,— сам переводчик.

Л. ВАСИЛЬЕВА

© Gyldendal Norsk Forlag A/S 1984

1947

Домой, в Стурему, сегодня вернулась. Навовсе. Аж мороз по спине продирает: дала маху. Женщины в одиночку — на много ль станет тут. Земля химикатами истощена вконец. Кочки сплошь по полю да красный щавель, да поросль березовая торчком — с прошлого года памятно. Нынче апрель силы пытает: серь, нудга, снег-последыш сходит.

Отец в сорок втором подрядился к немцам в Осло.— «Что ни делай, однаково работаешь на них!» — озлился тогда. Верно-то верно: вывезли из Стурему сало, мясо, молоко — не прокормишься. Так чего уж не строить бараки в Осло? Педер-сосед за хозяйством пока присмотрит.

Война началась — было шестнадцать мне. Ох, и плакала я тем днем, как мы с матерью за отцом вослед уезжали в город.

— Не проживем тут, не сможем,— говорила она.— Откуда нам мужской помощи ждать?

Я буйствовала, кричала: не поеду! А куда денешься? Коров продали. Коня — состарился — отправили на убой. И десяток овец туда ж. Двенадцатилетний парнишка, Педера-соседа сын, плакал со мной. Ворочусь, Енс, обещала я. Всю дорогу в поезде до Осло заливалась слезами. Миленькая, война ж не навечно, утешала мать. Хочу домой — рвалось из меня. Домой, домой, домой — стучали колеса.

Ну, с какого конца браться? Картошку семенную на свет вытащить, чтоб проросла. Полезла в подвал — нет, не трону запаса, до нового урожая так-в-так. Значит, прикупить для посадки. Потом смородиной красной, черной заняться. Малинник — тоже чащоба. Управиться б с ягодником, пока картошку сажать.

Дождевик в наброску и — на двор, наспех перекусив. Весенний дождичек не помеха. В доме-то мне не сидеть, для меня-то дня не набудет. Ох, Педер, глядел бы ты за Стурему поусердней. Розы, мушмула, акация желтая, спирея— глушняк. Короткими отпусками только мы с матерью и старались, поддерживали сад, да толку... Надолго ль сбережений моих хватит? Стиркой по баракам много не заработаешь, а и то откладывала. Отец кормил, одевал, барачное житьишко — даровое. Стенка в стенку обретался молодой парень по имени Бергер. Заходил с отцом в шахматы поиграть. Впервой меня у отца увидел, вскричал:

— Ого, Ивар, да ты припас мне жену!

Сбылось. Поженились. Тем же днем, как война кончилась. Мыслила-то: вот я дома, в церкви венчаюсь, в местный бунад [1] наряженная. Да мать торопила: еще что случится. Бергер одно твердил: согласен, согласен. Я ж Бергером бредила — все заслонил. После сообразила: не думают про Стурему. Домой не едем. Отец, Бергер сперва денег подзаработают — всякая пара свободных рук теперь отечеству кстати. И у матери теперь место — кастелянши в доме престарелых, где устроилась сразу по приезде в Осло.

— Никто не заманит домой надрываться! — высказалась мать.

Помолодела, похорошела, одевалась и мне советовала деньги тратить на платья, выбора-то в магазинах теперь поприбавится.

Да-а, надолго ж я Стурему изменила. Так с Бергером и на Северном полюсе жила б!

На пасху домой наезжали — всерьез подумала: а что как одной взяться за Стурему? Коль не пойдут на уговоры?

Не окупается — только и слышала. Чтоб прожить тут, два десятка коров надобно. Значит, паши всяк клочок земли, ту ж огорожу для телят, ту ж луговину, Стурмир — болото. Значит, новый хлев ставь, сеновал. Денег-то, денег! Я мыслила, мало-помалу дело б наладилось. Да поспорь с мужчинами! Они свое: времечко какое подоспело, работы

---

[1] Норвежская национальная крестьянская одежда, бытующая в десятках местных вариантов. *(Здесь и далее прим. перев.)*

вдоволь, плата — отменная. Вот оправится страна, подзаработают, тогда и домой возвращаться.

Кипела от злости.

— Оставайтесь, отстраивайте Осло! Я свою долю отечества одна подниму. Год на Стурему положу — за подмогой к вам не кинусь. Развалено хозяйство, хлев пустой, а возьмусь, а справлюсь!

— На тысячу крон спорю: полгода не пройдет — туточки будешь! — заявил Бергер.

На том и порешили. Останови меня теперь, как же. Не верилось им, а вдруг видят: я у двери в пальто.

Скопила две тысячи крон. Страховку на меня по конфирмации отец оформлял. Вот и вложу в Стурему, а там поглядим. Без коровы, однако, не обойтись.

Сижу. Озябла чуток под дождичком в смородиннике. Развела огонь в нижней комнате, сижу, книгу подложила, пишу: что сделать, на что потратиться. Корова. За две тысячи хорошую корову нынче купишь. Три тысячи на вкладе. Мешок пшеничной муки потом надобен. Масло, рыба, мясо — мелочи. Да вот картошку семенную, зерно посевное достать, поле вспахать (конь и работник), потом резиновые сапоги, поросенок, овца (объягнились уж овцы, иль с ягненком бери иль до осени жди). Потом электричество: в этом квартале отец уплатил, а скоро опять счет придет. Перебиться перебьюсь, и все ж где б денег промыслить? Можно малость лесу пустить в расход — с огорож, на моей памяти там ни дерева не тронули.

Вот бы сейчас в хлеву шестеро коров. Теленок и поросенок в придачу. На птичьем дворе — кудахтай с десяток кур. Опять закипаю. Ну, мать, ну, отец! Зачем все продали? В банк деньги положили себе, и я — беднота!

Наследница Стурему, отец приговаривал, подбрасывал меня на руках, уразумев: наследника не будет, не будет уж детей. С тем и росла: наследница, Стурему — хутор м о й.

Корову заказала. Ждала день ото дня. Наконец-то привезли, в фургоне. На истёле, как погляжу, корова. Трённелагской черно-пестрой породы. Мордашкой бела, бровями темна, о длиннющих темных ресницах — ну девица, прикрашаться искусница! Устроила ее в закут — не ставить же в хлев холодный. Звали Чернобокой, по бумагам значилась. Бока-то, может, и черны, да имя б ей попригожей. Назвала Карменситой. Вычистила, приласкала. Сразу сдружились. Я для коровы прикупила сена тонну. Зачем столько, дивился Педер-сосед. Спокойней, как вдосталь. Да и лето рядится не из торопких. Ох, запела б: корову за-а-вела!

Поди ж ты как деньги тают. Енс что ни день заглядывает, охоч подмогнуть. Попросила из огорожи вырубить деревьев, что постарше. Многие при дровах еще об эту пору, а молодежный клуб купил-таки необъятную черного лесу поленницу — сама сложила. Ветки обрубила и порубила сама, хоть Енс и говорил, ничего б не взял. За дрова досталась кругленькая сумма мне, Енсу — пара отличных носков, самой вязанных.

Настал день — журавли прилетели. Давно ж не слыхала я звучного клича — тру-у, тра-а — на два голоса! Вот кружат надо мной, вот спускаются прямо над Стурмиром. Сказочной поры детства птицы. Следом пожаловали серые гуси. Детство вдруг вспомнилось: первой, бывало, заслышу гусей, в дом ворвусь, закричу: «Гуси летят!» Отец за мной вмиг на двор — запрокинули головы, слушаем птичий оркестр духовой, пока не смолкнет. И переглядываемся, смеемся, он треплет меня за косы, приговаривает: гусенок ты мой!

На болото скорей — посмотреть, как журавли танцуют! Сидит уж кто-то. Енс, кому еще быть. С Енсом приходили, смотрели на журавлей

тут не раз. Впервой, памятно, по-над разросшимися корнями его перетаскивала, по-над ямами в лесу. Журавли поодаль, óбережь, через озеро, а вижу ясно. Енс бинокль прихватил, гляжу: ну крыльями прямо по лицу заденут!.. Описать ли, что изведала.

Не трачу лишнего, ужимаюсь. Да то тó, то это. С основы начать. В амбаре пылится невесть каких лет здоровенный сновальный валик (навой) — не сдюжить. Совестно к соседям да к соседям: подмогнут — платы не возьмут. В артели попросила, взяли пустяк — несколько эре за метр, насновали ниток. Как же мне бабушки недоставало, тут бы ее сноровку. Ткацкого станка на моих глазах в ход не пускали с детства. Тогда доживала у нас бабушка Аннетта, на все руки мастерица. И ткала на чердаке. Раз бабушка молвила: ототкала свое. Печально-то так, равно что: отвековала. А через день лежала в кровати мертва, руки покойно на груди сложены. Чуяла, верно, смерть. Молчаливая перед тем сидела, как думой объятая. Задолго до смерти приговорила: мне завечает и ткацкий станок, и прялку, и веретено, и мотовило со вьюшкой. И еще корзины для шерсти — при себе завсегда держала. Одну — для нечесаной шерсти — с ручкой, другую — мотки складывать — вытянутую, без ручки. Потом комод, потом розами расписанный [1] сундук. Со всем этим она у нас и появилась. Никому не интересные вещи. О наследстве договорились меж собой в ее прежнем доме и в нашем, ее последнем. Мать пожелала единую вещицу: красивую резную скальницу, бог весть какую старую, а везде гожую, сказала, за украшенье сойдет. У меня украшеньем стоять не будет. Будет к пользе служить, со всем вместе.

На чердаке раскопала бабушкины сокровища. Корзину, полную шерсти, две стареньких, да еще годных чесальных щетки. Картонки с острижками пряжи, чистыми — бери равняй, коробку уж подогнанных, стаченных утков. Есть с чем приниматься за дело. Основу получала в артели, спрашивала, как зев отыскать, уток проложить как, основу пробрать. Пробирать-то основу на пару надобно. Педерова Рённе пришла поначалу, после Енс. Подавать нити и отпускать, откуда говорила,— это у него запросто получалось. Опять Рённе пришла, обучила остальному: по «глазкам» пробирать, по бёрду вести меж зубьев, о наборный вал закреплять. Управляться с рукоятями, валиками, подножками. Следи, чтоб кромка велась ровной, упредила. Продвигай тканúну почаще. Отпускай основу, как ткать кончаешь.

Впервой за ткацкий станок села — не припомню, скольких и лет-то — подножек не доставала. Бабушка взяла к себе на колени: я качалку отведу — она пока на подножку ступит. Челнок с утком в зев прокладывала, другой рукой с другой стороны подхватывала, бёрдом прибивала. Сильней, наставляла бабушка, чай, способна сильней. У меня, восьмилетней, ноги подножек достали б, да тут и уроки, и подружки, тьма приманок.

Имя я тоже от бабушки унаследовала. Да куда ни кинь, мать говорила, вылитая бабушка. Несговорчивая, упрямая, коль чего всхочется. Заявила бабушка, мне зваться Аннетта,— назвали, хоть отец прочил — Марит, своей матери поименницей. Мне б оба имени носить, да отцу показалось, не в лад. Кто ведал, что буду одни́чкой. Бабушка учила меня всему, чему научить у матери времени недоставало. Шестилетней чесала шерсть — для бабушки за прялкой. И прясть пробовала лет восьмидесяти. Толстой, комковатой сучи́лась нить, да у бабушки на то присказка: горю навык подсобит. Не заимела я навыка. Теперь все упражняюсь, живей — помедля прялку пущу, нить натяну — ослаблю, наловчилась. Неделю извела. Зато пряду что ни день ровней. Подвязывать к старым носкам пятки новые бабушка научила. Веники, метелки мастерить. Зимой завсегда обмётному венику за дверью место. Пальмовая метла голенастая, что двумя руками держать надобно, бабушку злила. Видано ль, чтоб женщины с пустыми руками ходили? А веник и одной

---

[1] Национальная норвежская роспись по дереву «роземалинг».

ухватишь! Твоя правда бабушка. Завсегда будет венику место у моей двери.

Навязала веников, метелок — как берёсту подоспело время драть. Устроила парники. Солнцем обогреются. На ночь да по холоду хорошенько накрыть — заведется у меня капустка, помидоры. Навозу конского, жалко, нету, что ж, обойдутся без нижнего подогрева. Тут и теплица небольшая. Для помидоров приспособлю, раньше мы в ней одни цветы разводили.

Деньги, деньги. Без денег долго ль перебьюсь. Так, надобен харч. Картошка — имеется, в погребе. Мешок муки на печево. Когда ж я толикой этакой масла довольствовалась, рыбы, мяса? Про кофе смолчу. Литр молока каждый день покупаю у Рённе. Только б Карменсита отелилась скорей! С недельку еще, верно, походит. В малюсеньком морозильнике четыре отбивные лежат с Пасхи. С собой привозили снедь. Половинкой отбивной лакомлюсь по воскресным дням. По буденным — мясопуст. Всё-то вспоминаю бабушкины рассказы про детство. Не из зажиточных была. И чего я не записала про бедняцкое ёжево? Нынче б рецепты подходящи, а так — где их взять. Самой разве пробовать? Хотя в войну и мы схожего ёжева отведали — вовсе неученой меня не назовешь. Ну вот, за поваренную книгу бедняка берусь!

Размяла как-то картошку с тмином. Туда б маслица в середку, ан нету. От зари до зари на дворе оттрублю — проглатываю, голодная, не разбирая. В другой раз сделала скоромные клецки, да без крови, с отварной свиной шкуркой. К ним хорошо б сладкой творожной подливки, так и творогу нету. Неделю ни эре не потратила — не нашлось. Взяла кило маргарину, ведро крепкого посола селедки копченой — в кредит. И у Рённе в долг — четыре литра молока. Деньги в банке остались, пять сотен-то на корову сняла. Да счет за электричество придет в июне. До июня денег не трону. Значит, всякую свободную минутку ткать. Вечерами сколько сил у станка сидела. Артели не сдавай, советовала мать, в Осло хозяйки гоняются за тканными половиками. Мать приехала — обрезала тканйну, после начну заново. Выткала-то десять метров, так основы не напасешься. А и ждать невтерпеж. Десять метров — это ж триста крон. Мать деньги выкладывает — и я богачка. Свинины покупаю, сколько морозильничек вместит. И кусище — от шеи — говядины. Ух, и наемся!

Карменсита, наконец, отелилась. Красота! Сготовила сырники на обед. В субботу приехали мать, отец, Бергер — потчевала сырниками со шкварками. А в воскресенье — молозивом на сладкое. Мать воскресный обед захватила, так что цела моя говядина.

Теля — по счастью телочку — окрестила Апрелией. В апреле напоследок Енс подсобил на поле, раскидал навоз, что купила у Педера. Хватило под картошник всего, остальную пахоту засеяла овсом и горохом — скот кормить. Овсу, гороху придется перетерпеть годок без удобрений. Овощам — обойтись компоста кучкой, в войну собранной из отхожего места, золы, палой листвы. Теперь-то надобность — теперь компосту заготовлю. Скотинки б мне побольше, а то не скоро наберется навозу вдосталь на Стурему целиком.

Двор весной убирать завсегда удовольствие. Жалко, остались одни бабушкины метелки березовые, да пригодятся, как с граблями пройдусь. Ну и листвы ж от считанных деревьев у дома. Мы с матерью убрали ее вроде осенью, а везу, вот, тачку за тачкой на компостную кучу. Хорошо, чего там. Почернела, попрела, на огород, может, уж будущей весной пойдет. С листвой разделалась, на невспаханную половину подалась, разбила лепешки от Педеровых коров — паслись прошлый год, хворост собрала — в компост снесу. Смотри ты — ветреница показалась. Бутончики — беловатые впрозелень, всего-то их чуть. Да тут они, тут. Радостью зашлась, как в детстве, бывало, ворвусь и в крик: «Лето виде-

ла!» Первые весной прозоры земли — то потиху кажущее себя лето. Ох, глупые отец с матерью, Бергер! Переполнившей благодатью поделилась бы, а им невдомек.

Телефон молчит — тощ мой карман. Охота со мной поболтать, платите, объявила, мне платить нечем. Мать тратится. Я — нет, они другой раз звонят.

Позвонили... Отец сорвался на стройке, как уж разбился — не признать, а в сознаньи, жить будет.

У соседей опомнилась. Перепугана — слезы нейдут. К отцу — срочно ехать.

— Сядь! — приказала Рённе.— Выпей! — протянула первое, что нашлось, вино сладкое домашнее.

— Спокойней. Поедешь. Енс, я присмотрим за коровами, за хозяйством. Енс тебя к поезду отвезет.

Проводила Рённе домой, подсобила сложиться. Села я в поезд — заплакала. Жить будет. А как позвоночник сломан? А как парализован? Не поезд — кляча старая, тащится, не торопится. А что, как мать всего не сказала, как умрет, пока доеду? В банк не успела, да Енс сунул сотню, такси до матери возьму.

Вошли к нему — после таблеток, уколов в дремоте. Поговорили с врачом.

— Легко отделался. Успокойтесь,— врач меня обнял.— Поставим на ноги, время, правда, надобно.

— Успокойся, Нетта,— просила мать, как назавтра собралась я домой.— Врач говорит, выкарабкается.

А выглядел, будто недолго ему осталось. Чужое лицо, не отцово. Мать навещать — дня обещалась не пропускать, при всякой перемене — к худшему, лучшему — звонить. И я звонить стану, каждый день.

— Очнулся отец, про тебя спрашивал! — услышала от матери раз.

Затащила корову с телочкой в огорожу —беспокойства б меньше Енсу миляге — поехала.

— Прикидываются: со мной всё на лад,— вздохнул отец.— Да я-то соображаю...— Сам вялый, пришибленный.

— Всё и д о л ж н о наладиться! Как иначе?

С врачом поговорила. Трудиться сможет? Ходить?

— От него много зависит. Мужество утерял, волю к жизни. Паралич не грозит, да запрещали двигаться, теперь не пробует — из боязни. Вдохновите его, фрёкен Стурему. Вы одна и способны.

Кивнула, не поправила: уж я не фрёкен Стурему, кивала — гадала: как наезжать-то? У меня скотина, хозяйство, а денег нету.

Бергер домой наведывается каждый выходной, мать — каждый второй. Измочалилась весной по страде. Енс да конь при нем — вся подмога. Капусту, помидоры, картошку посадила, попросила наседку у Рённе, у нее ж купила девяток яиц — цыплят заведу. Смастерила клетку, сеткой отгородила загончик — цыпляток жду-дожидаюсь. В малую теплицу брюссельскую капусту, красный стручковый перец высадила. Сажаю, горожу — одно твержу: в каталке отец уж, а то — на ногах. И валюсь в постель вечером как убитая.

Разыскала последнего на памяти председателя общины — вступаю. Вот так-так: общины-то нету, распущена. Распущена? Крепкая до войны была. Свою библиотеку держала. Чего ж распущена? Оно верно, да в войну, говорит, тяжко пришлось. Распоряжались не сами...

— Мир настал — два года как.

— А тут и никого, кто б землей тревожился. Зарабатывают, да не тут.

— У меня четверо соседей ведут хозяйство. Со мной — пятеро. А мы не поселок — горстка.

Попросила устав. Восемьдесят общинников по изначальному списку. Повыходила половина: на заработках, разъехались. Так нас еще о-го-го! В уставе-то: не подлежит роспуску, коль налицо десять хозяев, выражающих намеренье общину сохранить.

— Десятерых не наберется?

— Оно верно, наберется, да пришли к согласью — распускаемся.

— Нажимал кто, что ль?

— Гм... нажимать не нажимал...— глаза отвел, с ответом не поспешил.

— Значит, общине жить! — объявила я.

Енс вступить решил. Арне Велтмуен. Звонарь из поселка, Ингебрит Столен, всего-то сада в два мола[1] хозяин, а тож решил. Эрик Хага. Уле Даммен. Уле Стампен. Пер Нюгард. Туре Туенген. Берта Браут. Гуннар Браттли. Одиннадцатая— Аннетта Стурему. Енс вызвался походить в округе, еще народ пособрать, мы ж, не откладывая, написали прежнему председателю, книг попросили. И подписались — все одиннадцать.

Писали, напоминали — получили-таки книги общинные. Да отраслевой раздел передан публичной поселковой библиотеке, как знать, вернем ли.

Уж досталось нам. Которые голосовали за роспуск общины, озлобились. Ох люди. У самих совесть не чиста — других виноватят. Местные власти тоже не радовались, как мы то с тем, то с этим. Коммунальное пособие на машинный двор? Про что вы! У сельского хозяйства на будущее никаких видов. Дюжина общинников с землицей от двух до сотни молов — эка сила! Развалится ваша община, скоренько! Так напрямик и говорили по конторам. И в пособщики, что мочи — развалить. Не сразу, а уразумела, чего им надобно: свободных тружеников в Норвегии — мелких земледельцев — до последнего извести! В наемные рабы извольте! Чтоб заработную плату снижать, незанятых рук маловато. Побольше б этих рук, пускай за работу война идет — вот чего им надобно!

Берта Браут и я взялись за женщин: собрать в общину всех, неохочих поначалу, безучастных. Позвали из нашего фюльке[2] специалиста по народным кустарным промыслам — с докладом. И результат вам, община теперь не абы что — Сельскохозяйственной и кустарно-промышленной общиной Мугренда прозывается! Еще какой результат! Теперь в общине женщин побольше мужчин. Из самых крупных дворов вступают. Это женщины гуртом навязали, наплели, наткали, устроили ярмарку и нате-ка — первые тысячи крон на будущий машинный двор!

А еще раньше вот что случилось. Мать купила автомобиль и в субботу раз прикатила с Бергером: отца привезли. На прицепе — коляска инвалидная. Отец вроде возвращался к жизни: сидел уж. Рот, глаза, видела, сомкнул накрепко, как пересаживали из автомобиля в коляску. В ней и несли сколько-то шагов до веранды.

Чужой. Одежда мешком. Лицо без кровинки. Сло́ва не вытянешь. Взгляд в пустоту.

— Сдался,— жаловалась мать.— Все ему без интереса. Врачу не верит. Коляска, решил, пожизненно.

— Жалко, насмерть не разбился,— обронил. Небрежливо так, будто: жалко, дождь зарядил.

Мать через выходной приезжает, привозит отца. Наловчился из автомобиля вылезать, перебираться в коляску, а из коляски — в кровать. Да вижу, какая ему мука.

— Твоя заслуга, что отец с нами,— порадовала мать.— Лежмя б на кровати лежал, глаза в потолок. А то скажет: как там девчурка

---

[1] Мол — земельная мера, 1000 м².

[2] Фюльке — административная единица местного самоуправления в Норвегии.

моя? И — домой, поглядеть, коль помочь не в силах. Врач говорит, это сдвиг.

Точно, и я сдвиг заприметила. Как-то выкатила отца во двор. Дай наведаюсь к Карменсите с Апрелией, по ровному туда запросто, к самой огороже отца подкатила. Чуть меня заслышала, Апрелия вприпрыжку — тут как тут. За ней Карменсита, степенненько.

— Хороши,— похвалил отец.— Да тебе еще б не одну.

Жизнь вокруг завидел. Ухватило-таки его жизнью!

Помолчал, добавил:

— Лес в дело пусти...

Значит, руби, продавай, на корову деньги собирай. Добро дал.

Поймала нечаянно обрывок материного с отцом разговора. Что-то про банк и материно: пускай же получит — отспорила...

Ну и ну! Всё мыслят, я тут на спор осталась, из норова!

Уезжали — отец объявил:

— У меня со счета сними, купи еще корову. Так и так деньги твои.

Прикинула — нет, с коровой обожду. К осени-то можно взяться за лес. Про черный день он у нас. Туго — выручит. Целик аж в тысячу молов. Отец, правда, осторожничал с лесом — крайнее средство.

Отцу, по материным словам, перебраться домой возжелалось. Да боится, мне станет в тягость. В радость, ответила, только б приехал. Не приехал.

Под сенокос появился Бергер, отпуск с июля выхлопотал. Бергер косил, я сгребала — по нёгоди, иль луговине. Пригорки, где косе уж вовсе недоступ, обминали. Хватит, хватит с тебя сена, приговаривал Бергер. А я-то радёшенька: пригорки — сплошь поповник да колокольчики, ромашка, коростянка, гвоздичка.

Прибавилось забот: прокорми мужчину! Мне бедняцкий харч вдосыть. А Бергер? Не призналась, что кредит открыли в кооперации пока только картошку брать, виду не подала. А ему ведь колбаса на стол, свинина, рыба. Денька два на неделю овощи, каша, а то и блины. Не жаловался.

— Ты в тракторе понимаешь? — пытает раз.

Рот раскрыла.

— На что мне трактор?

— Ну не с косой же по целой нёпаши? Завтра утром о тягаче договорюсь. Попробую... По такой-то погодке каждому поспеть охота...

Заклокотало во мне. Чуть мужчина объявился— знай заправлять.

— Я тут распоряжаюсь!

— Дыши глубже, злючка!

Усмирить захотел. Приструнила.

— Спать отправляйся! Заутра в семь подниму.

Любопытствовал, чего это к Педеру заторопилась. За конем, за косилкой на завтра до одиннадцати.

— Нельзя ль утречком с пяти взять?

— Возьми. Обращаться с косилкой умеешь?

Показал, как нож поднимать, опускать. Уж годков пять на косилку не садилась, да тотчас вспомнила.

В семь разбудила Бергера: чтоб вставал сено пряслить. Завтрак уминал — кольев понатаскала, привязала Гнедого. Теперь Бергер рот разинул. Половина Шведовой пустоши выкошена. А Шведова — потому как тут швед один вдавне целину поднимал... Бергер правил волокушей, я за ним подгребала.

Так и положено: с любым траву коси, доколь солнце в небеси. А дождь ливанул— юрк под сено свежеразвешенное. Намиловались вдоволь. Вот оно, счастье: с любым под сеном духмяным лежать, слушать шум теплого дождя летнего.

— С головы до ног только б и целовал,— шептал Бергер.

Ливню этакому час недолог — снова за работу. К одиннадцати Гнедой — у Педера.

— Скорей бы год дурацкий кончался,— проворчал Бергер,— скорей бы вернулась в город ко мне...

Того дня уж не целовались.

В субботу отец с матерью приехали. Мать — не впервой — прихватила обед «поплотней».

— Устала, моя ты девчурка,— говорит отец.— Вижу, вижу: выдохлась.

— Не выдохлась. Разозлилась. Пап, ты как мыслишь, я в муже не ошиблась?

— Нетта!

— Все перечит! И все б ему указывать! Будто сама не соображу когда что делать.

Разогорчился отец, глаза долу. Засмотрелся на ноги свои беспомощные, замолчал. Села, голову — к нему на колени.

— Не уезжай, пап. Как хорошо б.

Молча взъерошил мне волосы. Уж не желтые, гусеночьи, пепельные теперь.

Уехал. А в понедельник уехал Бергер, отпуску конец.

Рук не покладая работала. Педер коня даст, другой раз сам подмогнет — свезти сено на сеновал. Не целиком убрано с луговины. В копнах стоит. Я с дождем наперегонки: то перетряхиваю, чтоб не запарилось, запревшее раскидываю, то опять в копны сгребаю.

А мир кругом переменился-то. Молчит бекас, чудна́я птица, что бабушка звала «козлом болотным». И впрямь блеет козлом, везде, бывало, по болотняку́ слыхать, хоть нигде не видать. Иль большой луговой кузнечик — скоком, бывало, луг мерит, сек-сек-сек — голосит окрест. Пропал. Пропал жук-навозник. Стрекозы пропали, вот уж глупо — повторять не повторяла — прозывали их стрекучими. Будто глаза кому колют. Они ж глаз тешат — золотисты, зелены, голубы. А вальдшнеп дюж: посвистывает, посапывает проторенной своей тропкой меж болот — Стурмиром и Ломтьеннсмиром — уж добрую тысячу лет.

На последках июля в субботу появились мать с отцом. Остался отец. Поначалу отнекивался — мне работы прибавит. Ну на недельку, просила-упрашивала.

— Чего не попробовать, Ивар? — присоединилась мать.— Поддержать тебя чуток, как с кровати в коляску перебираешься иль обратно — дел-то... В халате сиди — с одеваньем никаких хлопот.

— Попробую денька на два,— сдался отец.— У меня ж процедуры по средам и пятницам, забыла?

Из виду выпустили. Побыл воскресенье и понедельник, во вторник приехала больничная машина. Увезла к матери и ее старичкам. У матери служебная квартирка в доме престарелых, отца при себе поселила. Кормятся со всеми. Нерадостная у отца житуха, уж мне-то вдогад.

А на другую субботу Бергер пожаловал, автомобиль с прицепом и он купил, коляска, отец — при нем.

— Дашь знать, когда отца отвозить обратно, Аннетта. Хоть бы чем помочь я способен.

Заставила болтуна снять в доме все до единого порожки. Сам взялся, смастерил надежные рельсы на ступеньки к веранде, чтоб коляску вверх, вниз толкать. А мать условилась в больнице поблизости: физиотерапевта к отцу будут присылать на неделю дважды и по пятницам санитара — мыть. Исхитрился: с постели встает сам, да кому-то — мне, кому еще — надобно, как ложится, поднять на кровать его ноги.

— Никогда уж на них не стоять,— вздохнул.

— А я б попробовала!

И он бы, может. Не сидень же параличный. Боится.

Томился без дела. Тут в артели заприметила я чудные коврики вязаные. Говорю: обучиться охота. Обучили мигом. И материал бери задаром, только готовую вещь верни.

Ну-ка, ну-ка. Вечером сидим, я вяжу, он смотрит. Наконец не выдержал: дай попробую.

Сразу смекнул. Коврик и довязал.

— Цвета, узоры сам теперь выберу! — заявил.

Дал денег на спицы, подкладку, пряжу. По образчикам отобрал цвета на свой вкус и — вязать, как душа просила.

— Пап, и не ведала, ты — художник!

Улыбнулся. Впервой, как беда с ним стряслась.

— Времени-то прорва, ну и дивлюсь на мир, на цвет. Что ни день, то открытье. Вот зеленый: теперь их — зеленых — много, смотря что задумал.

Я от радости чуть не в слезы.

— Сколько за такой коврик денег дают? — пытает, объявившись, Бергер. Стукнула б. Вовек не домозгует: отцу не деньги наградой.

Хозяева в округе осушают болота. Им нужда — к Стурмиру никого не подпущу. Ломтьеннсмир тоже не тронуть бы, да разве меня спрашивают. Как там мои головастики, наследство мое? Ввечеру раз отправилась — присматривать след. Квакуш издали слыхать. Хоть квакуши целы. Ни одной не видала домой воротясь. И жабы у хлева в сумерках не копошатся. Что делается-то? Под конец жизнь идет? И скоро свой срок довладеет? Миллионы лет сотворялась жизнь, миллионы ль надобны, чтоб вновь «тьма над бездною»? [1]

Две недели — и головастиков моих наследных сушь извела. Опечалилась я не в шутку. И разозлилась. На соседей. Оставили б Господу Богу перемены творить. Осушают, опрыскивают — беду накликают. Грунтовые воды низятся. Колодцы — пустыми и не припомню — почти без воды, хоть лето и не больно жаркое. А Бергеру еще и Стурмир осуши.

Отец намекает: пора в город, к матери.

— Плох из меня помощник...

Нынче вовсе без сил я, без настрою, без денег. Тянет его к матери, а как же, разумею. Да нынче я разуметь ничего не хочу.

— Одна слажу,— вырвалось.— И уж позабочусь собственность на себя выправить!

Вздрогнул отец.

— Чего ж это?

— А и того, чтоб он тут не командовал. Стурмир примется осушать, другое что надумает — мне наперекор...

— Стурмир осушить — худо ль? Пахоту удвоишь. Иль тебе лес, иль поле.

И отец ничего не смыслит. Вскипела:

— Уезжай! Без вас обойдусь! И сделаю все по-своему!

Глянул на меня с укором, заулыбался вдруг.

— Ни дать ни взять — пяти годков как куклу свою об стенку стукнула, памятуешь?

Еще бы! Из обид, что ребенку привычно чинят родители. От матери получила семена: репы, цветочные. И завела махонький сад-огород, посеяла семена ровненькими рядками, ямки пальцем понатыкав. Вкруг сада-огорода камней понаставила — порядок. Матери сказала, чтоб назавтра кур держала под сеткой — не греблись бы в моем огороде. Куры по воле не ходили, как мы весной сеяли. Да мать кур выпустила, а они прямиком на мои грядки— разгребли. Я в крик и с хворостиной на них, кудах-тах-тах — врассыпную. Тут мать вышла, хвать меня пребольно за руку — в дом, грозит: буду живность мучить, порки отведаю, какой и не снилось. А я куклу за ноги и — об стенку, голова вдребезги.

---

[1] Книга Бытия, 1, 2.

— Что тогда ничегошеньки не смыслили, что теперь! Да Стурему м о е хозяйство...

— И мое пока,— отозвался отец ровным голосом.

— Нет! Ты уехал, ты кинул хутор пропадать, я его подняла, я...

Бросилась за дверь — слезы брызнули.

Объявленье попалось в «Хуторских новостях»: две ученицы, на садоводов учатся, снимут домик на сетере[1] иль еще какое дешевое жилье — провести летние каникулы. Сетер! У меня ж ладненькая кровелька на нижнем сетере, заработаю сколько-то крон. Написала — ответили. И вот на полмесяца объявились веселые, смешливые девчонки. Кари — клубыш, сдобыш, Анни — долгай, жердяй. Тут же прознала: в школе их кличут Каланча и Юла[2] иль Кари-Анни, потому как одну без другой не помянешь.

К сетеру от Стурему с час ходу. Вскричали от радости: привечает их домишко, зеленостеклыми оконцами поглядывает. Я загодя наведалась — проветрила, прибрала. Лоскутчатыми половиками пол покрыла, стол — клеенчатой скатертью. Еще б цветов охапку, с хвоей. Да сами уж пускай цветов нарвут, натешатся — дикая герань по лужайке, седмичник.

Брали у меня картошку, зелень. Погреб-то мой — богаче, чем виделось. Нынче салат с редиской ко всему подоспели. Перво-наперво ж уродился тмин. Тмина прорву потребляла. После пошли крапива, лебеда. А сморчки! Весна щедра на поросль. Угощайтесь, милости прошу!

Фьють — полмесяца как не бывало, уезжают Кари-Анни. Вручили мне, каждая, по сто крон, пропололи репу вдобавок. Уж мы сдружились, ей-ей: там, тут подмогнут, и просить не надобно. Все спорили, кто сепаратор крутит лучше. Уехали — пустым-пустешенько.

Картошка цветет — красотища. Скоро молодой отведаю. Скоро сготовлю молодую картошечку с тминной простоквашей. Могу расстараться и на ложку густой сметаны с кислого молока. Тем, кто про тминную простоквашу не слыхивал: взяли простоквашу, добавили щепотку соли, тмин — и вся недолга!

— Еще кусок колбасы? — предлагаю отцу.

— Нет, будет, что тебе, то и мне. А этакий харч я в детстве знавал — гож.

Чем в войну перебивались — вспоминать не вспоминали... Отец отдыхал, я вымыла, убрала посуду, кофе сварила, заранее позаботилась про поднос, про стол: в стакан букетик красного клевера нарвала. Кофе пили на веранде. Сиди, оглядывай себе владенья, услаждайся духом вдругорядь зацветшего клевера, тут цветик, там — а пахуч-то, пахуч!

— Красиво,— промолвил отец. В голосе кручина.— Ты да Стурему только и сотворили из меня человека заново.

— А уехать от меня, от Стурему метишь...

— Мать сюда никогда не воротится.

— Коли б мать сидела в коляске, а у тебя ремесло, нет, призванье — бросил, воротился б?

— Я ж мужчина...

— И что?

— Для мужчины привычно в отлучку, деньги зарабатывать...

— Так. А мать тут в коляске сиди, работать не годна, за тобой в Осло смотреть не годна, силком потащил бы ее туда иль остался б?

---

[1] Высокогорное пастбище, куда перегоняют скот на лето. Некоторые хозяйства в Норвегии используют при летнем еще и нижний, или ближний сетер для выпаса весной и осенью. Оба оборудованы жильем и хозяйственными постройками.

[2] Намек на героев Карла Шенстрёма (1881—1942) и Харалда Мадсона (1890—1949), знаменитой комической пары датского немого кино.

— Остался б, чего ж еще...

Сглотнул. Помолчал, выговорил:

— Потолкую я с Сигрид...

Неповоротливы эти отцы. И как не поймет — ему б художника в себе растить. Последняя работа за пятьсот крон пошла. Спрашивают нынче стуремуские коврики. Завершает один, просил про названье подумать. Поперву решила — «Горесть». Нет, не горесть. И печаль, да светла.

— Грусть! — молвила. Смотрю, глаза вспыхнули, щеки зарделись.

— Ведь как меня разумеешь, девчурка моя,— прошептал.

Задумок у него — едва набросать поспевает, и каждому наброску — названье. Стурмир. Вулкан. Перелетная птица.

Раз поднялся с кровати сам. Пытал правую ногу — устоит ли. Нога, вижу, дрожмя дрожит, красен с натуги, вижу. Одно слово — пытка. Да насмелился-таки. Обратно на кровать закинул ногу. Другую — я подсобила. Молчу, комок в горле. Да радости! Насмелился, сумел. Хоть одышка, будто пробежался порядком.

Смородина дордевает, тяжелят ягоды ослабшие ветки — сколько лет уж смородинник не прорежался. Подпорки надобны — по земле ляжет. Вытесала колышки, подле каждого куста с четырех сторон повтыкала. На колышки планки прилажу. Вожусь, глядь — отец в сад катит.

— Подмогнешь с коляской по мягкому грунту, гвозди забью,— предлагает. По траве сам. А дальше застревают колеса. Толкала, толкала — выбрались. Гвоздь забивал: стук-стук и готово. Мне по гвоздю попасть этак ловко — в руки, говорю, не молоток — сковородку б.

Ну и народ эти мужчины! Гвоздь вслепую забьют, на велосипеде в потемках проедут, автомобиль заартачится — взгляд кинут, автомобиль на ходу. А карманный фонарик? Тебе задачка, а мужчина дунул-плюнул — горит.

И вот не разумею чего: свою силу чуют иль нет. За грабли мужчины возьмутся — пополам грабловище, зубья посыпались. Пускай грабли в хозяйстве про женщину, не про него, мужчина с граблями без обвыку. Так со всей мочи-то не хватай!

На что б сетер сгодился, голову ломала. Альме́нды [1] повыше, в двух милях на восход от Стурему. Может, объявлять, отдыхающих летом брать? Нет, не по душе мне затея. И мимо сетера туристы путь держат — не оплошают: нафотографируют, и пошли гулять по журналам глянцевые картинки.

Жалко, сетеры свое отжили. Да и резону — в горы на пастбище забираться, коль коровы почти перевелись. Остатним рядком в лесу травы вдосталь. Иначе деялось, как в Стурему шестерых коров держали, шестерых в Нюгарде, в Велтму десятерых, близ того в Даммене, двадцать в Брауте и четыре сотни по хуторам крупней Браута, а таких с пяток набиралось. И еще с десяток, где от одной до трех скотинок в хозяйстве. С крупных дворов началось — стадо перегонять бросили. Ну и мелкие следом. Не окупается, мол. То ж гинущих глас — «муж на заработках». А жена? Огородишко — перемогнуться.

И не осмелиться? И не дерзнуть сообща свое отстаивать? Молокозавод закрылся. Тужить потужили, хоть бы один запротестовал. Какая ж напасть крестьянина скрутила? Не шелохнется за свой интерес.

Задождит — в доме каждому занятье найдется. Отец вяжет, прорисовывает. Я утки́ равняю. При матери завсегда бельишко казенное, чинит своим старичкам. Ткацкий станок не простаивает. По бабушкиным временам пылиться б ему в надворной пристройке с весны до осени, тогда б только в дом обратно. Мать и дует губы — столовую, видите ль,

---

[1] Общинные угодья (тут общинный выгон).

загубили. Бергер чуть на порог — командует. Лес к осени прореди. Дровишек в сарае поубавилось, Енса кликнула б из черного лесу посрубить. Коня тебе надобно. Огорожу сеткой обнеси — овец-то завела. Уж не злюсь, как указывает. И ухом не веду. А насчет сетки его правда: двум ягнятам-кормешкам — у Рённе взяла по весне — нынче проще простого через ограду перемахнуть. Мяконький шерсти клок — что тот, что этот. Матка вымя поранила — не сосали. Вот и взяла бедолаг. В долгу: напряду для Рённе, расплачу́сь как-то. Один — белый, другой — серый, с пежиной, Пятнашкой враз окрестила, братишке, значит, Белашкой зваться.

Ох, не простак этот Педеров Енс. Повел раз глухариный ток поглядеть. Ночью в три встать условились. Прознал два местечка. Добрались до токовища— «турнир» в разгаре. Большущая птица пыжится, пританцовывает, крыльями хлопает — ну, парни затеяли меряться силами, где двоим не разойтись. Вот он, глухарь, в просвет — во всей красе завиделся. Вовек пережитого не забыть.

— Только подумай, их стреляют! — сокрушался Енс, как воротились весенней ночью домой. Говорили без удержу — про то с Бергером не перемолвишься. И про что ни на есть моими мыслями мыслит Енс. Счастлив будет унаследовать хутор отцовский. Старшему брату — брат у него — не надобно хутора. Тому гимназию — торговое училище — дельце наваристей в городе. Брат знай толкует про «реальность», то есть про деньги, крестьянам дивится — имеют-то пшик за каторжный труд.

— А не отец ли на свои кровные детей выучил — хватило,— опровергает брата Енс.

Обе Енсовы сестры при аттестате. И Енс пойдет в школу сельскохозяйственную, дай срок. Пожалела: с конфирмацией мое ученье кончилось. Война помешала. И любовь — тут, правда, смолчала. Нынче учебой прельщаться поздно.

— Не поздно,—заспорил.— Прослушай в Зимней сельскохозяйственной школе[1] полугодичный курс. Иль еще где. Без образованья, отец говорит, по нашим временам не выдюжить.

Вот бы выучиться на садовода. Сад, хоть махонький, в Стурему развести. Был бы отец здоров. И дома мать. Иль Бергер. Размечталась. Бергера посуду вымыть не заохотишь! Нет, мужчины только и горазды женщинами командовать. Лезут всякие мысли, как ни гони. Может, выбрала не того? Может, стоило обождать?

Поделилась с матерью. Опешила мать:

— Вы ж друг дружку любите!

— Любим. А дальше? Иль он тут станет хозяйничать да командовать, да орудовать наперекор мне, даровой служанке, иль ему моим батраком быть. Он мужчина, верх возьмет он. Не хочу!

— Так пускай в городе и остается!— рассердилась мать.

Поговорю еще с кем. Успеется.

Ну и тянуло ж иной раз, как в шестнадцать, потанцевать, принарядиться — годы-то летят. От молодежного клуба нет-нет и открытка: постоянным и новым членам добро пожаловать! Да к вечеру умаюсь — чуть не в одеже на кровать валюсь. Бергер дома — не вытащишь. По лесу след погулять, у дома на крыльце посидеть, наполниться летним разноголосьем.

Бергеру нипочем расписать, как Стурему преобразится. Само собой, он за хозяйство возьмись. На сетере — туристам домик. Зерновые разводим, не коров — по науке невыгодно. Зерновые, удобренья минеральные — и тут тебе достаток меньшим по́том. Сижу — сердце кровью обливается, молчу. Молчу — руками обвил мой любый и жизнелюбый мой Бергер. Минуточки эти купные, не обрывайтесь!

---

[1] Одно из частных учебных заведений в Осло.

Картошке нынче род. Не припомню, чтоб тут не родилась. Иль смородина красная. Ведрами смородину таскала, продавала. А то — звала охочих самим рвать, брали б.

Моя страховка почти целиком в банке. Там ей и оставаться. Отец из своей — за несчастье — отделил мне, тоже в банк положила. Еще корова надобна. Овцы, куры. Мыслила: как прежде без нужды заживем все — мать, отец, Бергер и я. Тому не бывать. А отец про отъезд не поминает. На костылях ходить пробует. Дай волю, из коляски б не вставал, да я его донимаю: разбаловался, разленился.

— Сиди сиднем, опухнешь, огрузнешь, где уж тебе ходить!

Замахивается костылем — смеемся, встает-таки. А уж лодыря не гоняет. Стоптанные каблуки подобьет, заплаты на обувку поставит, дров наколет, кран течет — поправит, и кухонные ножи мне наточит, и шерсть прочешет, при всем при том вяжет коврики. Подает, как основу пробираю, прялку посмотрит, коль нить бросает. Он на поправку — мне легче дышится. Как-то всхотелось резать по дереву, инструмент выписал, учебники. А нынче рисунок сам уж выдумывает. Злосчастье, что на стройке сорвался? Нет худа без добра. Лицо светлым-светлёшенько, когда занят своим. Чудна́я штука жизнь. Родился, вот, Стурему владеть. Да крестьянином ли уродился, себя, может, думою мучил, мечты свои, может, мечтал молодым. Дальше завертелось, уж не мечтал. Верно ж как про то у Вергеланна: «...в народа тьме пропал...»[1] А дочка отца своего, поди ж ты, души не чает в каждом бугорочке, каждом камешке двора этого крестьянского, ничего на свете не надобно — жить им. У матери свое призванье. Один Бергер знай гадает, какое дельце денежней, при денежном ли сам. Крестьянский сын, а крестьянином ему не бывать. Переберется сюда — заимеет леса по горло: по горло б доходу. Осушит, значит, Стурмир, болото почти пятина от моих тысячи молов. Не хочу, вправду не хочу его тут. Навовсе — не хочу. Не хочу в подневольщину... С меня моего хватит, чтоб Стурмир не трогать. Уж так-таки богата. И сетер не трону. Домишке тамошнему скоро две сотни лет. Отец сетер завсегда любил. Печалился, примечала, как Бергер талдычил: на сетер — туристов. А вот промеж Стурему и Ломтьенном, на сосняком поросшей горке-кругловинке так и видела избенку бревенчатую. И поставила б. Хоть до той поры мне бедняцким харчем кормись и кормись, перешитую одеженку носи. Ломтьеннсмир — болото мое не целиком. По озеро, по ручей, что из озера точится. Гагарам, гагарьим гнездам там уж я и не защитница. Хозяев Велтму птиц хранить упрошу.

Чудо-времечко держится: продала пять тонн картошки, двадцать килограммов красной смородины и малость черной. Деньги-то в руках, а на корову, жалко, не хватит. Значит, кур возьму. Куры прыткие, сколько-то деньков, и себя окупят: на яички спрос. Как на пару с отцом в воскресенье завтракаем — каждому по яичку. Как мать и Бергер жалуют — дудки, четыре яйца мне накладно. Уберечься б — скрягой заделаюсь. Да придет срок, буду, буду я щедрой.

Скоро корма заготавливать. Поля с лиловеющим горошком промеж овса — ну, загляденье! Сколько ж таких картин, что радуют несказанно! И картошка в цвету, и верещатники! А Стурмир — диво дивное! Зеленеет впросизь голубика, над ней — розовым облаком шиповник, дальше трава болотная — полоска травяного цвета, полоска бурого, а нынче уж золотого, и то тут, то там кубовая водея́, озерцо в болоте.

— Вот бы туда тебе, пап,— поглядеть! Вот бы ковер получился!

— Да уж...— протянул отец.

Накупила ему ниток. Коричневых с лиловатой прицветью и густо-розовых, зеленых оттенка всякого, желтых, оранжевых, синих-пресиних, небесно-голубых. Каждому мотку радуется, как я — каждой поднятой из земли картофелине.

---

[1] «Ко Грану» — «Стихи, второй цикл» норвежского поэта Х. А. Вергеланна (1808—1845).

Пашенные травы поскорей выкосить — напрыгались бы вволю по полям Белашка с Пятнашкой. Шерстью обросли — копытца едва разглядишь.

Нюгарды — люди добрейшие, да мыслю: придет день, одолжаться не буду, не буду за чем ни есть — к ним. Нынче дрова мне перевозят. Педер с Енсом. По лесу поглядела — из черного да из бурелома еще сколько дров. Хоть сарай и не пуст, а запас пополню. Привезли — сама порубила. Отец после наколет.

— Не гоже этак — без просвету тебе всякого,— засокрушался отец.— К весне Бергера домой зови.

Молчу. С нашей любовью что станется, коль день за днем несогласица, а ладу и в помине нет? Вслух только и вымолвила:

— Не захочет Бергер в батраки, где хозяйничать вроде б ему. Резон!

Ох, и потребен кто поухватистей на осинки, на березки, что выкопать надобно. Мои барашки подсобили: листву обглодали с молоди — в рост не пошла. Да корневища осиновые толсты, конца им нету — вот незадача. Намаялась. И бедняцким харчем пресытилась. И денег-то вечно жди-дожидайся, а нужда — нынче. Учителя из школы молоко берут — на последках месяца рассчитаются. За яички деньги заплатят тебе — уж уплыли. Куда? А врач зубной! А сбитые каблуки! Про одежу новую тоже побеспокойся.

Мать, Бергер подмогли с картошкой. Бывало — век тому, до войны еще — убирали, бывало, под плуг, с конем. А нынче этак — заплати, ну и злобилась на отца.

— А чего коня у Педера не одолжить? — недоумевала мать.

Разобъяснила, не поленилась: платить нечем, а задаром пора и честь знать.

— Деньгами-то — выручим.

— Деньгами? Нет уж! — отрезала.

Пожались молчком. Давай вперегиб собирать. Я копаю, я злюсь. Так-так, горбитесь! На большее вас не станет. Бергер попросил со мной поменяться: спину ломит, согнувшись-то. Спокону мужское дело — прямо, бабье — горбиться, а у меня в Стурему — дудки... Муж в поле коси, жена снопы носи, покла́няйси, говорю, место Бергеру уступаю. Ухмыляется:

— Тут все навыворот, на хуторе этом, не разумею я, что ль? И мне сюда перебраться?! В подкаблучники?!

— Коль и быть под каблуком кому — в аккурат тебе.

Мать над нами смеется. Так и я ж не то, чтоб всерьез.

Ну вот, половину мола выбрать осталось. А наладилась я верно: по сбыту посадила.

Отец сготовил обед: картошку молодую с тминной простоквашей. Суп овощной на дрожжах — в войну наловчились. Что дух, что смак — свеженький мясной, да и только. Дрожжи у меня и на томатный, и на другие супы всякие.

Отец на Бергера глядит — сказать норовит: лучшего желаешь, сам стряпай. Да Бергер войну еще не забыл, знай посмеивается: зубы перетрут — желудок примет.

Ох, Бергер —дивушко мое. Тут ты —бранимся, да все гадаю: того ль выбрала. Нету — истужусь. Исказнюсь: тебя не заслуживаю. Весной, памятно, приехал, ягнят моих обласкал, потом уж со мной здороваться. По мне это, как ласковы с животинкой. Выросли ягнятки, да кормешков видать, так и увязываются за каждым двуногим. А Бергер и взобраться спину подставит, и почешет, и потолкует о том о сем. Апрелия аж пальцы у него обсасывает.

Побаиваюсь зимы. Только и молока от Карменситы — продать. Барашки? Одного Педеру верну, другой — в засол, барашки не в счет. Оно-то ткацкий станок имеется, да пяток вязальных спиц. А уж совсем невмоготу станет — отец выручит. Нет, муженька мне не прокормить.

Молока у Карменситы поубавилось — вслед за сочной травой в лесу. По восемнадцать литров давала в разгар лета. После — по шестнадцать, по пятнадцать. Ну, коль сено в хозяйстве, зеленый корм — и худой подножный перетерпит. Нынче держит по пятнадцать-шестнадцать. Побольше муки ей, и нынче б надой рос. Да опять стельная, к сухостою дело. Позвонила на молокозавод, что у нас молоко забирает: поставка какова, норма на день наименьшая? Пять литров нижняя норма, сказывают, а машина — через день. Обжили мои коровушки конюшню, там им и оставаться, отелившейся-то с детенышем большой хлев сыроват будет.

Отец намерился корову, коня мне купить. Говорю: проверить хочу, сама ль справлюсь.

— Проверила ж. И Бергер, и я разумеем: справишься.

Где времени взять за конем ходить, чтоб сыть, да холя, да у́бережь. Этой зимой надобен роздых, ох как надобен.

Посидел отец, помолчал и — шепотком себе:

— Стало быть, ноги упражняй.

Давно упражняет. Шагает помаленьку с костылями, и уж не прежняя мука ему — не похоже.

Вот уж диковинка о шестнадцать годков этот Педеров Енс.

— Пускай родитель коня тебе покупает,— говорит.— Объезжу!

— Ты по десять часов в хозяйстве работаешь, куда еще?

— По восемь всего. И отец столько. Не под страду, понятно. Так в охотку ж.

Памятую, мальчонкой-семилеткой деревянными лошадками знай тешился: проложит дорогу, а по ней — вроде колея от колес — подножку с прялки тащит. Завел себе огород — гороха да репы. Кто хоть сорную травинку б там углядел! Заскучает на своем огороде — на материн подается. Репу часами на коленках пропалывает, все ему нипочем — солнце пали, комары донимай! А урожай свой как в погреб вез: ранних четыре репы впритык на возочке, в упряжке — из деревянных лошадка подюжей! И нынче ему будто та же потеха.

Нет, конь обождет. Карменсите с Апрелией в конюшне зимовать. Большой хлев займу через зиму.

Собрала сто килограммов брусники. Теперь трижды на неделю у нас мясной обед, да мать, спасибо ей, со своим приезжает в субботу. Прикупила я и кур-несушек пяток. А все Педеру кланяюсь: коня надобно иль еще что. Намерилась же, Белашку отдаю, а он: я тебе навовсе, навовсе. Говорю: за подмогу-то должна. Замялся. Как же, говорю, просить раз за разом да не платить. Да, да, спасибо, спасибо, закивал. Тут Рённе воспротивилась: ну, удумала, меж добрыми-то соседями...

Отец про отъезд поговаривает. Молчу. Известно, боится за мать. Как ни явится — все краше, моложавей. Долго ль ей озаботиться мужчинами, что по коляскам инвалидным не сидят, на своих двоих ходят да танцевать ловки.

Осенью на огороде особо дышится: и радостью, и грустью. Сырой этот осенний дух — укроп, сельдерей, картофельная ботва промерзшая! А уж овощей! А уж зелени! Капуста, брюква, морковь, свекла — листовая, столовая, пастернак, кормовая капуста, петрушка, кервель, укроп. Красотища! Осенней порой и утома сладка. Капусту, коренный овощ — в погреб свози, пряные травы отваривай, шинкуй, прячь в холодильник. Да, холодильник мне мать купила!

С ягодами — собрать, соков, варенья заготовить — уж управилась. Скоро в лесу не останется красок, что отец стоит примечает.

Недавно позвонил, о машине договорился. Уезжает сегодня. Большой ковер — «Чаруса» зовется — докончен. Описать не опишешь. Все разноцветье наших болот тут, что за диво! Мне, верно, подарит. Не просила. Это ж одно тысячу крон попросить. Не тысячу даже. Ковру цены нет.

— Пап, художник ты!

Зарделись щеки, ну юнец. Глядит на меня, смущается.

— Еще б вещь попробовал.

— Какую?

— В артели учить станут узорному ткачеству. Из мужчин только я и запишусь, да была ни была...

Значит, в город он, к матери. Теперь на ходу. По палке в руки — ступает себе шаг за шагом. С лица лет тридцать, глаза радостью так и блеснут. Вдогад мне, про что заведет разговор с матерью. Она, хмурясь иль яснясь, станет свое гнуть — вцепилась бы!

Значит, тут мне одной-одинёшеньке. Вольница — чего там. Вольготно в дому без мужика. А то летишь — завсегда в дверях застрянут. И Бергер этот — оглобли вытянет, обминай. Иль спросят про что — отозваться как раз некогда. Всего хуже — командуют. Глоткой берут, не смекалкой. Равнота по хозяйству? Не тут-то было. Мужики из другого теста слеплены, голова у них не как у людей работает. Не разумею я их. Бергер, к примеру, говорит: устала, девонька моя? И шлеп — подбодрить. Отдохни, сказал бы, подменю. Не дождешься. Иль говорит: выдохлась, и н у ж д а тебе все вертеться! Посуду бы взялся помыть. Куда там.

Снедь опять же не прикупай, возом не вози. Сама-то я по-королевски живу. Красотища — на обед овощей миска! Цветной капусты чуток, морковинка, свекла кругляшами, упревшая с луком, под белой подливкой зелень всякая, рубленая, а вдобавок — ржаной хрустящий хлеб с маслицем.

Овощей этим летом уродилось! Так длиннющей же резиновой кишкой обзавелась и от крана кухонного в сушь поливала на совесть. Овощи тянутся — у меня еда дешева. Понятно, каждый день не одно и то же. Нынче вот пообедаю картошечкой в жире подрумяненной. С сальцем — добро, нету сальца — не беда. Всего р а с п о з н а л а с м а к. У картошки свой отменный, чего подливами да приправами его забивать? На хлеб из печи маслица — тогда-то хлеб распробуешь. Пшеница по-своему хороша, рожь по-своему. Да лакомей овса не сыскать. Сахаром овсянку только испортишь. Норвежскую нашу «баранину с капустой» в войну, без мяса, брюквой наловчились сдабривать. Попытала — недурно, да коль еще дрожжей да масла чуточку. Мне-то и не составить поваренную книгу беднякам! Себя бедняком кто посчитает? А сколько ж их, вот, хоть студенты по комнатушкам, где салом свиным и не пахнет! Сколько их всех наберется — бедняцкого обеда за милую душу отведают в неделю разок, а то — чаще. Я бедна, не таюсь. Хозяйство досталось однолошадника, пускай отец и при деньгах в банке, муж — завсегда при заработке. На спор я тут, на спор. На себя ставила. Всем докажу: можно прожить малоземельцем. Стурему-то пока новь и только. А спор с Бергером выиграю — пройду испытанье. Не усомнюсь: я да Стурему выдюжим во всяки времена.

Перед отъездом отец мне вручил «Чарусу». Дешевле тысячи не отдавай, сказал. Ни за что «Чарусу» не продам. Разве от голода вспухну. Доподлинного искусства образец, шерстяными нитками вывязанный. Раньше на отца глядела — сердце кровью обливалось, нынче — нет. Нынче так разумею: придавило общество женщину, да не ее одну. Крестьянином останься, отец никогда б, может, не был счастлив. Может, жил бы тут, мечтал про другую жизнь, какую — и поведать не в силах. Жил-поживал, поделывал привычное — «что положено». И надо ж чуть шею не свернуть, чтоб прозреть, ч т о судьба ему п о л о ж и л а.

Осень, темень. Корова, телка в огороже рядком кормятся, да добавка им три раза на дню. Карменсита уж скоро полгода дойна, дает, правда, всего литров с десять. Муки почти не видит. Придется обоими барашками поступиться — текущие расходы покрывать надобно. Только б еще тридцать метров наткать — у Педера куплю овцу, обещана.

Прялка, станок ткацкий, спицы — все в деле. Поем — с голоду, от-

дохну — с устали, спицы, бывает, из рук не выпускаю. Бывает, засну — вязанье на полу. На часы гляну, чтоб скот покормить, не пропустить. Так-то одной и не в тягость. Да одной завсегда — дудки. Недостает мне моих мужчин. И матери, понятно. Хоть с матерью мы уж пасемся вроде и не рядком. Уж не дочка при матери, мать при дочке — мы больше молодки-подруженьки.

Благодать осенью. Отстрадовала. Тут тебе время и ягодник проредить, и за всякую всячину, до какой руки не доходили, взяться. Сгребла в кучу картофельную ботву, пожгла на костре, ветер-листодер что посрывал, из цветника сушь, какой ни есть сор — туда ж. По осенней уборке приютным же делается двор. В лесу Енс со мной собирает пармéлию — на краску. Пришел — звать не звала — прибил накрепко планку с палисада отставшую. Завидит с ведром — хвать за ведро. Как-то долгонько по лесу ходили, полон мешок мха набрали домой. На часы и не взглянули. Мне без надобности. Енсу отлучаться привычно: будет, как придет — матери его присказка. Про что ни на есть мыслит Енс по-моему.

— А отец не осерчает — так вот пропадаешь?

— Поворчит — перестанет. Отходчив.

Енс наверстает, возьмется, за двоих работку свернет.

Бабушка мхом красила. Еще б не упомнить ее мотки: что темнешеньки — почти сýкраснь, светлей — охра, бурые впрожелть, под конец, как раствор уж редеет,— соломенные и полóвые. Пармéлией красить запросто, никакой возни с протравой.

— Осерчает, говоришь? — На губах у Енса улыбка.— Добряк он и есть добряк.

Мой отец жалуется: настоящих светлых средь покупных ниток не наберешь. Вот и вздумала попытать краски растительные. Бабушка вспомнилась, на мысль навела. Ни в коем разе она не бросала нитевых острижков, самых махоньких. Прочешет, с белой шерстью в смесь — колер тебе, какой хочешь. Клад откопала я, точно,— кулек ее на чердаке. Ниток обрезки — всецветные. Руки зачесались попробовать.

Не вышла из матери крестьянка — диво ль. Досталась ей молодость о ту пору, как никто уж не прял, станки ткацкие по сараям держали. О ту пору им только натуга, любоваться ль красками: перевелось у хозяюшек друг дружке за тканьем подсоблять, меж делом узоры, подбор цветовой обсуждать. Жилка художническая, коль имелась, без потребы и оскудела. Мать раз высказалась: глупей не бывает по хозяйству работы — ходи, вещи с места на место переставляй!

Разумею теперь отца, мать. Себя нашли. А я — что со мной станется? Бергеру покорюсь? Приму хозяином м о е г о Стурему? Иль разойдемся своими дорогами? Удержит одна любовь? Боязно мне за м о ю — крепка ль.

Случалось, за ткацким станком сон и сморит. Ладно — сама ж. Кого растревожу, разжалоблю? Ладненько с устали голову склонить знаючи: сама тут, что хочу, то и ворочу. А все ж рядом надобен кто. Мужчина — на тяжель самую. Ребятенок надобен — не нынче, нет. Н е д о р е б я т е н к а н ы н ч е. И в п е р е д п о г л я д е т ь — к у д а м н е. П р о ч ь э т и д у м ы, п р о ч ь.

Встала, глядь — застынь по двору. Значит, прятать, что на зиму прячется. Розы и все цветы из зазябчивых. Клубнику — тоже укрыться радешенька. Пригорок, где ландыши,— под листвой, не трону листву, ландышам покров надобен. А еще должна я в лес — зелени набрать, к рождеству. До войны завсегда со мной Енс ходил. Может, и нынче пойдет.

Субботним утречком, как по хозяйству управилась, и пошли. Нам ли не ведать, где найти раскрасивейший мох, зеленущий мякотный бархатный мох, плаун, воронику. И всякую-разную красотищу, что по осе-

ни видишь в лесу. Ягель-пухлыш, в кораллах махоньких вересковые кисти, долгущие вети зеленики, медвежью ягоду. Исландский мох всецветный: тут тебе и бурый-пребурый, тут же зеленоватый. Наполнились сокровищами до краев наши плетушки. Енс свое отдал. Не прикрашаем дома, вздохнул. Ну уж букет от меня к рождеству получит.

До холодов, как исстари ведется, вставить вторые рамы. Устрою меж двойных стекол дивный уголок леса. На участке повыше известно местечко с голубикой: уж рдяная впрожелть, целиком рдяная и синь-багровец — до весны не поблекнет.

Енс уехал на зиму в школу сельскохозяйственную. Мне б когда туда.

Прижмет одиночество, за вязанье и — к Рённе с Педером. Иль к учительской семье — сдружились.

— Встряхнуть наших кустарей не мешало б,— рассуждает учительница. Элин звать. Элин и Арне Браттос. Сама Элин в рукоделье искусница. Из другого края она, показала способы, каких я ведать не ведала. Думка пришла: рукоделье да земледелье меж собой повязаны. Мелким хозяйствам, без приработка тем ли, другим ремеслом не прожить.

Отец вот, при земле будет, при ремесле тож, как воротится. Защемило: к о л ь воротится. Может, останется в городе, при матери. Может, так за нее боится, что останется.

Раз выбралась-таки в молодежный клуб на праздник. Стара для них, сторонняя, отсталая. После войны выросла новая молодежь. Чужие. И от ровесников поодаль. Такая все расфранченная публика — я тут не ко двору. Не ко двору, пока военных лет платья донашиваю. Женская одежа долгонько после войны была в недостаче. А выбор подоспел — я домой уехала, одежей заботилась меньше всего.

Молодая — иной раз с одногодками пощеголять, потанцевать тянет. И ну — злиться: предана, Бергером предана, матерью, отцом.

Глава отечества, премьер, на беседу по радио расщедрился. В скудную-то нагрянувшего мира годину!

— Не просто справиться с первыми нашими задачами. Особенно недовольны женщины: им бы роскоши, им бы шелковых чулок, например...

Ох, уж эти мужи государственные! А пять военных годков не ходили мы без чулок, иголку было некуда воткнуть — все штопали! С каких это пор чулки роскошь? Нам и фильдеперсовые, бумажные в радость — где взять? Иль, по-вашему, чеши, пряди, вяжи шерстяные? Жалко, да прялки на чердак отправлены уж полсотни лет тому, герр премьер.

Я-то свою с чердака сняла. Не на чулки прясть — отцу заготовить ниток, цветом для ковров потребных. Поначалу толстоватой нить сучилась, да руку набила. Длинна, снега белей у Белашки шерсть, скручу тонко и бери вышивай, нет, вправду тончить наловчилась. Работаю — вот удовольствие, гонятся молодые не за тем. Общество, школа, молодежь учат одному — соперничеству. В обществе тебе победители — побежденные. Со школы так. Худшего — после войны — над молодыми не учинить. Прозрела я великую цель рукоделья, ремесла. Про земледелье не говорю. Вот она — вернуть молодых к сути вещей, чтоб полюбили живность, деревья, траву, под собой землю почуяли, л ю б и т ь научились.

К очередному собранью общины речь составила, выступила. Уразумели, про что я? Едва ль. Хоть хлопали, не скупились. А Элин подошла руку пожать. Берта ж с размаху — хлобысь по спине: наша девка, ох, наша!

Снег пухом валит. Кусты в саду укутал заботливо. Сквозит, как в дымке, лес. Не надивуешься. Стою у окна, вспоминаю детство.

Дождалась, тут они: мать с отцом, Бергер — в сочельник. Обнимают — ну, утону, расплачусь от радости. Рождество празднуем по-стародавнему. Мать — с грудинкой, колбасой. Я ж трясусь над чем ни есть — счетов-то с Нового года посыплется. Только и испекла лепешки, оладьи

картофельные, рождественский пирог. Да Рённе в сундучке занесла пончики, фаттигманны[1]. От прошлых святок остались огарки — вытопила четыре большие свечи. Благо, кучу дров припасла. Енс нарубил перед отъездом. Должна ему, сказал, подождет, пока за лес получу. Ну завсегда жди-дожидайся денег этих — нынче-то позарез!

Отпраздновали Рождество как положено. Одарились подарочками. У меня для них, верней, подару́шки-поделу́шки. У матери с отцом мне лыжи с крепленьями знатными, с палками красными.

Подивить-таки их подивила. Отобедали, время кофейку выпить, тут снимаю замок с двери в кухню-долгайку. В былые дни служила, как скот забивали, для других каких справ. Двухсотлетнего этого дома исконная кухня. В одном конце — большущая печь. До войны белье кипятили — место бельевому баку имеется, там и лепешки бери пеки, блины. Перед Рождеством потрудилась, а устроила тут по-своему. Побелила я печь, отскоблила стены бревенчатые, сучковатый некрашеный пол. Покрывало, бабушкой тканное, на стену вместо ковра повесила. А в другом конце комнаты как сумела подживила роспись на шкафяной кровати[2]. Работнице спокон веку для спанья назначалась. Нам недавно еще была за шкаф: одежу прятали. Долгущую комнату укорачивает. И вот в печи огонь веселёхонек, старый раскладной стол под скатертью белой, свечи горят — садись вкруг стола: стулья добротные, из «горенки» легкий диванчик.

— Подумать только! — Мать всплеснула руками.— Котелки медные! На полу можжевельник!

— Комната с печью — хорошо,— протянул отец.— Я и думать забыл...

— Романтично! — Бергер вставил.— По уплывшему тоска, а, жена?

— Развожусь! — огрызнулась.— Тоска — кофе налить из серебряного кофейника? Ну, старинного...

Не избегнуть свары. Да в глаза глянула — другое сказывают. Остались одни, шепчет:

— Что-то будет?

— Ничего... Никаких детей нынче.

Как шлепнет.

— Год твой дурацкий!

Значит, для него таки я тут — на спор. Далече мы друг от друга, далече.

Енс дома целое Рождество. Обратно учиться враз после Нового года. Парень на взросте: держится, говорит вольней.

— И тебе б в школу выбраться,— говорит.— По хозяйству, чаял, знаток, а вышло, про тьму вещей слыхом не слыхивал. Товарищи опять же! Две девушки там, тоже учатся.

— А хутор, а Апрелия, Карменсита?

— За хутором твоим присмотрю. Отец справится, пока я тебе за сторожа послужу.

Вот бы в школу. Сколько ж упустила. Затеяла с Бергером разговор.

— Стурему на уме, Стурему! Не я!

— Бергер, нам и чаще видаться можно...

— Значит, жить тут наладилась?

— Все невдогад?

Хвать за плечи, в глаза заглядывает — мой, опять мой Бергер.

— Аннетт, я всерьез: найдись тут годящее дело, тотчас перебрался б. Денежной работой не могу бросаться ради незнамо чего!

— Ну а я — бросила ж...

Заклокотало во мне — сдержалась.

Плечи выпустил, головой мотнул, мол, спору конец. Тут я в наступленье.

---

[1] Здесь имеется в виду традиционное домашнее святочное печенье.

[2] Встроенная в стену, с закрывающимися дверцами кровать в соединении со шкафом. В Скандинавии — традиционный вид мебели.

— А попробовать? Да где тебе — насмелиться, рискнуть. Подождешь, пока нужда заставит.

— Заставит — что ж... А нынче нет нужды, Аннетт.

— Аннетта — меня звать, и хватит француза корчить! Знай думаешь: окупится — не окупится. Ненавистное слово! Страну-то они отстроят на славу. Промышленность-то они наладят. Посмотри — запанастили страну! Оврагами расползлась, по полям травой, ракитником заросла, гнилые заборы, впу́сте дома. А где пахоть— химией потравленная, сорняком истощенная. Я ж сказала: Стурему жить — подниму!

Уехали, отец тут. Купил еще станок — шпалеры ткать, большой обеденный стол у него вместо чертежного. Смотрю на отца — дивлюсь и радуюсь. Художник. Ведать не ведали, сам — и подавно.

Ткацким станкам в двух комнатенках у матери в городе места не сыщешь. Зато в Стурему — вдоволь.

— Пап, стоишь рисуешь целую четверть часа!

Глянул в недоуменье. Заулыбался.

— Забыл я про время. Понятно.

Поковылял к стулу, сел.

— У тебя с ногами на лад идет, пап.

— Идет, идет на лад. А до упаду уж вовек не плясать.

— Так-таки не плясать?

Вздохнул. Опять улыбнулся.

— Разок точно станцую с дочуркой моей ненаглядной.

Отец в город недаром ездил — подучился на курсах: рисует, ткет. Нынче корпим на пару. Дел особых нету в хлеву, то есть конюшне. Карменсита еще дойная, нас самих поит. В середке февраля отелится. Тогда стану молоко на молокозавод отправлять. Отец говорит, чтоб в школу сельскохозяйственную поступала на будущий год. Оплатит, говорит, учебу, война ж у меня столько украла. Да, война у меня забрала молодость, мир — остальное.

Насочиняла. Мир одарил Бергером, счастьюшком моим. Одно — с ним тревожно. Стурмир осушить замыслил. Нет, прочь мрачные думы, прочь. Рождество какое — забыть ли! А отец с матерью! Против прежнего и моложе, и веселей.

Уехали — показал отец наброски к шпалерам. Художник. Чего ж нет? В роду не первый. Чу́дные расписные по всему дому шкафы, столики, приглядевшиеся, что впервой хожу, рассматриваю. В ста́ббюре[1] сундучище с одежей — камфарой пахнуло, как открыла. На подъятой, изнутри светло-красной, крышке искусные буквы:

Сундук сей сработан
и расписан мною, И.Х.С.С.,
для любушки моей М.Л.Д.
в году 1792.

Отцовы буквы, он же — Ивар Хансен Стурему. В дом сундук! В переднюю — под «Чарусу», под ковер его!

К отцу ворвалась:

— Кто такой И.Х.С.С.?

— Ивар Ханса сын Стурему, твой прапрадед. Пришел сюда почти двести лет как. Его сын столик из горницы расписал. Про чаши с чарками не скажу, а мыслю, та ж рука. Не припомню, чтоб отец мой хоть что расписал.

Как же, не забыла прадедовы буквы на столике—Х.И.С.С. Ханс Иварсен Стурему. Из поколенья в поколенье поочеред звались Иварами да Хансами — с первого Ивара, тут осевшего.

Уехал Енс, нам с Рённе волочить сундучище из стаббюра вниз по лестнице. Вниз, а после заново вверх, в дом. Не проходит по лестнице на повороте. Пап, что делать? Отцу-то ведомо, ведомо, где в хозяйстве

---

[1] Сарай-кладовая на сваях.

веревку подлинней отыскать. А вот подняться в стаббюр не под силу, значит, «командовать» будет — по нраву мне иль нет.

— Командовать? Брось, пап! Ты ж разумеешь, про что я, тут дело другое.

— Так, веревку вдвурядь, так, узлом затянули на ручках — каждая свой конец держит.

Сундук — легче, чем с виду, как вынули две волосяные исподние юбки, грелку-овчинку для ног, две чудные островерхие шапки, невесть что за мехом, бурым, шелковистым подбитые, салоп (вроде так прозывается), черный, бусами шитый чепец, напульсники, тоже бусами изукрашенные, с несусветным отворотом детский капор, и коробку старых документов иль писем, и Библию, на древнедатском готическими литерами в 1694 году отпечатанную. Верно, от прежних хозяев, что жили тут до И.Х.С.С., осталась. В деревянные доски дивной резьбы упрятана, в тяжелом окладе, с тяжелым замком. И другие давние книги тут. Проповеди вроде, с тем же устаревшим письмом, хоть сотней лет Библии помоложе. На дне — допотопные на кнопках сапоги, большие и маленькие. И ездовые гетры козьей шерсти. Надевать поверх обычных сапог, ботинок, длиннющие — по самые бедра вознице. Отродясь не видала, чтоб их носили, отца расспрошу.

Без натуги теперь подняли сундук у крыльца на перила, подтянули, опустили тихонько.

Перво-наперво, кто ни зайди, завидит отцов ковер — «Чарусу». Боковую стену аж по окошко занял. Иной раз стою смотрю на него, смотрю — чудится: журавли танцуют на болоте, там, далече! Может, когда вместо Стурмира мне один ковер и останется. Нет, тому не бывать. Довеку поваренной книгой бедняка перемогаться, а тому не бывать.

Под ковром — расписанный розами сундук Ивара Первого. Изнутри, осторожнёхонько снаружи отмыт. Незачем ему глядеться давностней прапрадедовых времен. Вынутое обратно в сундук и легло. А вот старинной Библии — особый столик в доме.

Знатный сундук. И что за люди такую красотищу отправили под крышу? Отец говорит, прежде чердак дому не уступал. Девицы там спали — работницы иль дочки хозяйские. Говорит, не след мне еще что снимать, пускай как есть остается. Там стол. На нем — большущая расписная чаша. Сама я спала-летовала на чердаке до войны. Встоскнулось по дням былым. Твоя правда, Бергер, тянет меня давнишнее. Беспечальное, безвинное времечко. Рвалась повзрослеть. В зеркало это мутное глядела, гадала: дурнушка иль красёнушка.

Чу́дно на чердаке. На шкафчике под мраморной доской стародавняя умывальница. Неподъемна, несподручна, зато как хороша. По чаше с боков — выпуклые яркие розы, по кувшину — узкогорлый, ручка высокая — на ручке, с боков они ж. Горшок ночной в розах имеется, ну пригож — на стол бери ставь с цветами. Кувшин унесу. Уж видится в нем сирень иль листья осенние, а то — хвоя!

1948

На февраль целиком дала себе роздых. Не то чтоб разленилась, бездельем соблазнилась, а в хозяйстве вроде затишье. Хлев, птичник — и все дела. Апрелия вымахала. Уж в охоте. Мне-то — на руку, мне-то — скотинушки больше б, вот у отца и спрашиваю: когда к быку пускать можно. Такую крупную да крепкую можно, говорит, и в год. Обыкновенно пускают, как зубов половина сменится. А в давнишние времена — тогда быков в лесу на свободном выпасе держали — бывало, телочка обхо́дится в стаде месяцам к девяти-десяти.

Рожденье у меня на Матиаса [1]. Утром еще не вставала — кофе отец подал. Порожки в дверях по всему дому сняты — катит купленный пе-

[1] День Матиаса — 24 февраля. 21 сентября отмечается Матиас осенний.

ред войной чайный столик, катит и на него опирается, так-то, чем с подносом, сподручней. А вечор к стене над кроватью пришпилил подарок. Коврик: девчурка-топтыжка, из-под волосищ злющи глазищи, за ноги — головой долу — куклу схватила. Знаема девчурка — расхохоталась.

На Матиаса день ведомо какой. Солнечный, настовый. Я — по насту плясать, будто маленькая. От матери посылка с чу́дным шелковым бельем. От Бергера — ух ты, «ценное» — длинное письмо. «Домой приеду — в клубе танцы, танцевать хочу с лучшей самой, самой красивой («самой красивой» подчеркнул) девушкой в поселке. Платье купи». И сто крон туточки.

— Значит, раньше тебе не хороша была? — чуть вошел, напустилась.

Сгреб в охапку.

— Ну и вздорная ж!

А праздник удался! И Бергер при мче, и я при настрое, да и платье тут щегольское — «нью-лук»[1] называется, и перманент. Перманент этот мешал поначалу, после обвыкла. Белый танец объявили — к отцу, приседаю.

— Сумею, по-твоему?

— Ну да, пап. Тихонько.

Сумел, еще как сумел. Целых два круга. Пускай за плечи держал — опирался, уж к месту шли. А записной танцор тридцатых таким и останется.

— Вот досада, Сигрид не выбралась,— пожалел.— Мы с ней пола, бывало, не коснемся — танцуем танго.

Не свычна. Наверстаю. Из Велтму девицы ну наперегонки к Бергеру! Выбором не мучился — с обеими разом танцевал. В Союзе крестьянской молодежи[2] обучился. Сроду так не веселилась. Война не дала мне изведать праздников. После — какие там после утехи. Пока уж Бергер не сводил в один-другой ресторан, да ресторан — не то.

Ехали домой — из автомобиля нашего пенье трехголосое, может, кто подумал: перепились, а из троих Бергер и хлебнул — угостили приятели. Раззевался, голова на подушку — спит. Слабак, как я погляжу...

Отец письмо получил от матери. Пишет, Бергеру вроде жизнь городская приелась. Денег скопил, ладится пустить чуток под Стурему.

Похолодела. Нутром — против. Молчу.

— Привиденье, что ль, углядела,— подивился отец. Мыслил, обрадует.

— Оно самое, привиденье,— шепнула.

И— за дверь. Стынь, плечи в обхват, спиной к стене, чую, слезы студеными ручейками в уголки рта заструились. Бергер, что с нами станется? Пронял мороз, в дом воротилась. Отец взад-вперед ходит, ногу приволакивает, палкой о пол постукивает. В кухню шмыгнула, лицо отвернув. Пустила воду, умылась. Отец — за спиной — пытает:

— Бергера разлюбила?

Держись, Аннетта, держись, голос ровней...

— А долго ль разлюбить? Как ни приедет — командует! Дом новый поставь, сторожку снеси, осуши Стурмир, про что мечталось, забудь!

Ничего отец не сказал, за плечи рывком обнял и вон.

А я реву-оплакиваю. Бергера, себя, Стурему. Сюда наладился, значит, любит. И мне люб. Так и то ж правда: стань он тут хозяином — мне, до срока ворчливой старухе, чужим умом жить, всякому служить!

---

[1] Коллекция женской одежды «Нью лук» — с подчеркнутой талией, удлиненной широкой юбкой, предложенная в 1947 г. Кристианом Диором, сделала имя парижского модельера всемирно известным.

[2] Союз крестьянской молодежи — городская организация, ставящая целью помощь молодым переселенцам из крестьян. В Союзе объединены общества любителей музыки и театра, всевозможные кружки и спортивные секции.

Иззимовала зиму. Леса не убыло, коров не прибыло. Главное, страховка моя целехонька. Как выкрутилась — самой диво. Коль совсем нужда прижмет, от отца приму деньги, больше ему ж на харч подходящий. А так несу его «прокормные» в банк обратно. Пряла людям, ткала, вязала. С устали, бывало, над ткацким станком и засну. Семья соберется на Пасху — отпраздную: намаялась, да таки выдюжила! А все — шестьдесят метров тканины, носков пять пар, от Карменситы молоко, яйца от девяти несушек, поваренная книга бедняка. По ней и жить, пока скотиной хлев не наполню...

Запаслась осенью мхом — пасхальные гнездышки[1] украсить. Нынче по ростепели под елями нарвала ветвей брусничных. На лыжах схожу за «гусятами» — опушившейся вербой.

Отец смотрит не нарадуется, как мастерю пасхальные гнезда — по чашкам-плошкам, а то просто на фольге. Приберегла от несушек яйчат-махотушечек, ан не вдосталь. Отец давай учить, катать со мной яйца из пластилина. Что красные, синие — не беда. Наделали гнездышек — загляденье, зеленый мох чуть в воду мокни — живой, тугой. Вкруг яиц — ветки березовые залиственевшие, брусника, верба. По всему дому гнезда, отец и тюльпанов купил — порасставляли в воду со свежей листвой.

— Хорошо-то — своя крыша, свой дом изобихоженный,— выдохнула мать.—Чего и желать: дело по сердцу и такой вот дом для отдыха на праздник.

— Гусенку моему за это поклон,— отозвался отец.— Меня к людям тоже она да Стурему вернули. Хоть одной ей долго не продержаться — без подмоги.

Знаемо, про что мыслит: Бергер осядет — работать нам, стараться купно, бок о бок. Супружество без изъяна, как говорят, идеальный брак. Не бывает таких. Удачный случается — коль она все-то делает по́-слову. А уж он — подкаблучник, значит, бедолага жалостный. Не хочу, чтоб судачили про Бергера, жа́льничали.

Сторожка на пасху гостей приняла. Кари-Анни тут. Мы с матерью захватили гнезд пасхальных, пошли гостей проведать в Страстную пятницу.

— Ну милёхонек! — вскрикнула, не удержалась мать.— Надо же, чтоб домишко заброшенный и такой разуютненький!

— Ты Стурему в наезды толком, мам, и не видишь.

— А и правда,— раздумчиво сказала мать.— Грязный пол — вижу, горы посуды немытой, хлев, коров. Нет, животинку я любила! Да теперь старички — мои подопечные — дороже.

Какой уж из меня танцор, вздыхал отец. Ой ли? С Пасхи на другой день он и мать танцевали танго. Молодые танго и не умеют — места вдосталь. Мать с отцом итальянское, не в один круг станцевали — держите меня! У матери стан податлив, ну, девичий, а про отца — хромоног, никто б не сказал. Как щеками коснутся, тут Бергер на меня глянет, глянет и улыбнется.

— Где это они так обучились?

— В свадебное путешествие в Италию ездили, двадцать шесть лет уж тому.

Енс в толпе у двери почти вечер и простоял. Потащила на белый танец.

— Чего не танцуешь, Енс?

— Не с кем... С одной танцевал бы...

— Ее тут нет?

Молчит, в сторону глядит. Вырос — глазами мы уж не вровень. Возмужал. В плечах шире, лицо худощавей.

Бывают минуточки — счастье через край. Шли об руку ночью весенней две новёхонькие пары. Мать с отцом позади далече, мы с Бер-

---

[1] Пасхальный обычай — крашеные яйца помещать в искусно приготовленные из соломки и прочих подходящих материалов гнезда.

гером впереди, шли, ни разу не обернулись — не спугнуть бы обновленное счастье.

— Переберусь — только в нужде стану. Ты, вижу, без меня не бедуешь, а пока денег скоплю...

Хмуриться ль нынче от дум.

— Гуляй еще годок,— пошутила.

Тысячную отдал — проспоренную. Главное, отдавал с охотой. Вятеро б не пожалел, прибавил.

Ну вот, уезжают. Обхватила на прощанье мать, шепнула:

— Благослови тебя Бог за упрямство, Аннетт!

Через неделю Бергер прикатил, объявил:

— Пора удобренья минеральные заказывать. Вот чем бы кустарник на лугу извести...

— Понапрасну и голову не ломай,— отрубила.

Он же глухой, сигарету в пепельнице тушит, пялится, будто важное что, а не пепел там. Ничегошеньки не разумеет. Время уезжать — спрашивает как ни в чем не бывало:

— Сама удобренья, все такое закажешь иль мне?

С холодком говорю:

— Управлюсь со всем таким, управлюсь.

Не понятлив. Прощался — поцеловал, улыбался-то, улыбался, из автомобиля левой рукой помахивал, пока уж обеими не браться за руль.

И чего это в порядочном обществе болтают про равенство с мужской половиной! У них голова — потемки. Да и они поднатужились бы — нас уразуметь. Небось схожи. Вовек мужскую логику не раскушу. Иль нас всерьез принимать им не под силу? Долбила: ни удобрений минеральных, ни отравы больше не потерплю. Будто не ему говорено. Иль глупость — мимо ушей знай пропускай?

С малинником прошлый год не управилась. Нынче гляжу — опять подрезай, прорежай. Искололась: в перчатках старых руки вспотели, перчатки бросила. Чуть глаз веткой-торчком не вынула, спину ломит — ну заведусь, а тут подходит отец, в помощнички набивается.

— Ты про что мыслил, ты ж домой наведывался, эту пустороснь видел. Про что мыслил?

— Ну, мыслил, займусь, приеду и займусь... До ягодника мне. То Сигрид забота.

Стиснула зубы — ох, взорвусь. Под кустами веток сухих нападавших, колючек! Сгрести в сторону, после приду с лопатой. Что из рядов выбилось — тоже под лопату. А как вдвоем собирали побеги пышным веером, дрянной настрой улетучился, при мне одна радость. Ну ж красотища.

— «Подвигом добрым я подвизался» [1], а, девчурка моя?

Будет ли толк — расточаться на малину одичалую? Чего уж там — не одичалую ныне.

Выгребла яму с навозом — для малинника.

Кто б ведал про мою думку — и суд не долог: все-то себекать да своевольничать, ну и с норовищем баба, не сердце — камень. Думку думаю ночь напролет, коль не сплю. Вот к отцу подойти как. Лучше уж напрямик.

— Пап, справилась я, да? Испытанье выдержала?

— Да. И что?

— Отпиши хутор — нынче!

Вздохнул:

— Мне уж не хозяйничать. И так тебе будет. А Бергер?

— Бергер? Само собой, собственник на моем хуторе,— горячусь.— Чего ему еще? Разойдемся — половину получит...

---

[1] Второе послание к Тимофею, 4, 7.

Уставился — рассердила? Напугала? И то и это? Повернулась, ушла.

Сколько-то дней — держу документ в руках. Время второму снаряду рваться.

— Мне надобен брачный договор.

— Что говоришь, дочь?

— Свое право на владенье выговариваю. Стурему мне отписано, никому заправлять тут не дам. Стурему — мне работка повек. Повек, повек тут подневольной не буду.

— Бергера обидишь, самой вдогад. Тебе этого охота?

— Нет. А что поделаешь?

— Обмозгуем, утро вечера мудреней,— сказал.

Обмозгуем? Мне, мне мозговать. Так ночь ничего уж не переменит. У отца вожжи из рук. Оглашенный в суде документ имею. И выбор сделала — повек. Коль для Бергера только и радости — деньги заколачивать, пускай при своем остается. Я ж не отступлю.

Теперь с Бергером толковать. Раскипятился.

— Отчего, Аннетт?

— А чтоб в Стурему велось по-моему. Ни крохотки отравы на мою землю! Потом: от минеральных удобрений полям погибель. И вот: повек не буду подневольной на хуторе наследном!

— Эмансипация... Сумасбродничай — не остановлю, не под силу.

— Не под силу, точно.

— Не по тебе пришелся.

— Может, и так. Что ж, из тысячи всего-то пара: душа с душою — мысль одна [1]. Да есть же, как не быть кому, чтоб мыслил со мной одинаково... Хоть бы Енс...

— Вот и проговорилась! — вскричал Бергер.— Проговорилась, черт побери!

Ушел — позвонить, что ль, забыл.

Застыла: конец? Меж нами конец? А что хуже: Бергера потерять иль с ним себя потерять?

Вечером ждала, не ложилась — заснет пускай. Тогда на кровать забралась тихонько. Слезы сдерживаю, носом, правда, шмыг-шмыг — наглоталась-таки. Тут он меня обнимает.

— Не плачь, Аннетт! Будь по-твоему, чем смогу, помогу. Давай не ссориться! Ну-ну, не плачь, ну, прошу...

А я заливаюсь. Сказать бы: наградила судьба мужем и не заслуживаю. Да знай всхлипываю, носом шмыгаю — как тут скажешь. Успокоилась, к нему притиснулась, заснула.

Про брачный договор и не поминала больше.

Навоз вывезти, пока земля не размякла. У Педера коня попросить и вывезти из коровника... Выгребать подмогнул отец. Натрудил здоровую ногу — на нее-то вся опора, вот и роздых за роздыхом, на лопату склонясь. Упрашивала в дом уйти, ушел, полчаса — ворочается.

— Тут у нас на хуторе не я одна на своем стою, папуля ты мой!

Смеется.

— Ох, и здорово ж заделаться невзаправдашним инвалидом, моя ты девчурка!

Снег мигом сошел, на другой день коня взяли — тащить повозку. На дворе холод, колеса по земле гладко катят — до полудня. С полудня увязают. Навозом и не богаты, а невидальщина, чтоб корова всего за зиму нам так подсобила.

Сад подняла еще прошлый год, нынче цветники прихорашивать. Подрезать, пересаживать, дорожки ровнять. А растений пропало — сор-

---

[1] Ставшая крылатой фраза из драмы «Дикарь» австрийского писателя Фридриха Хальма (1806—1871).

няка тьма, удобрений чуть. Хватит, сказала себе, сидеть за тканьем, тешиться с обеда по ужин. На дворе потеха пошла, управилась — красота. Мой верх! Испытанье выдержала. Проверила: выстою, Стурему сберегу во всяки времена. И жизнь-то полегчала: нынче что — отец выручит. А все ж не жировать по «Поваренной книге» Ханны Винснес [1]. Своей держаться, пока с полдюжины коров не заведу. Из банка взяла последнее, Хвалёну купила. Три тысячи за корову выложила. Страховки не хватило, отец добавил. Ух, силой, удоволью тут исполниться, да Бергер не дает. Раз слышала одного муженька-бахвала: жена, мол, пианисткой ладилась, а он на пути встал, поженились — и вся музыка... Ну насмехалась я над женщиной, ну лютовала на мужчину! А у нас с Бергером не так же? Стоит ли в школу определяться, терзалась. Решила. Добро, говорит Бергер, его зима — в Осло. Ух, еще год свободы. Думы мрачные прочь!

Устроилось. В саду у меня порядок. Всякому лишку из веток, зеленых, сухих, место в сарае. Чего в печь не кидаю, на костре не сожгу во дворе? Там нынче травка ровь да гладь: края подстриженные, дорожки прямехонькие. Кустам, деревьям услада — солнце, воздух свежащий, приволье.

И стаденушко мое множится. К осени — три коровы, принесет Хвалёна телочку — четыре. Дело пойдет — хлеву полному быть.

Бергера на военные ученья берут летом, значит, толку от него чуть. Отказался б — не пробовал? И не ответил — глупость, мол, я спрашиваю. Девчонки из Велтму тут еще крутятся, лоттами [2] вырядились. Понятно: позови — отечеству послужат. Будто не бабье дело поставлять войне первостатейное — солдат. А таких — провиантом тех же солдат обеспечивают — клуш болотных, вроде меня, ни в жизнь в патриоты не запишут. «На врага точили бённы топоры свои...» [3]. Наточим крестьянские свои топоры, коль нужда, наточим.

Стурмир мой, болото мое дивное! Кому вдогад: осуши Стурмир — нищая. Завелась у меня мечта заветная: однажды ребятенок — мальчонка, девчурка — сядет подле меня журавлей смотреть. Мой ребятенок.

Стурмир и не мне одной — владенье. Журавлям, тетеревам, вальдшнепам. Кряквы, гоголи, пеганки тож гащивают.

Стурмир красками полнится летом! Велико болото — тут место всему. Где морошки наберешь, где — голубики, ядрёной ягоды, в давнину́ добрину́ мы вино из нее давили. Воротить бы обычай.

И не скажу, о какой поре болото всего краше. Ко Святому ли Хансу [4] — с пушицей, снежистыми наметами вкруг старого сеновала. В пору ль восковницы, как затеплит красные шишечки-свечки. Иль по осени: разгорится-то голубика, слань [5] березовая вызолотится. И трава покрай озерца — златом, синью — небо, а вода озерная — сини синей.

В канун Святого Ханса пушицы тут обыкновенно нарву, наломаю березки, восковницы — дом, как ведется, украсить: ветки березовые в углах позатыкать, хвоей пол усыпать. Ну, а на Ханса сорву разве сухой стебелек — цвет-то встает под венец, говаривала бабушка.

Клюква тут тоже. Стелется неприметный кустарничек — махонькие красноватые цветики. К поздней осени по мху россыпью ягоды крупны.

---

[1] Самая популярная в Норвегии кулинарная книга, впервые опубликованная в 1845 г., и неоднократно переиздававшаяся.

[2] Норвежский союз лотт — учрежденная в 1928 г. добровольная женская военизированная организация. Участницы движения гражданской обороны, первоначально возникшего в 1918 г. в Финляндии и охватившего все скандинавские страны, называются именем маркитантки, героини стихов о русско-шведской войне 1808—1809 гг. Й. Л. Рунеберга (1804—1877) — финско-шведского поэта.

[3] Строка из национального гимна Норвегии «Мы любим этот край», написанного на стихотворение норвежского писателя Б. М. Бьёрнсона (1832—1910). *(Пер. В. Левика).*

[4] 24 июня по старому стилю — день Святого Ханса (Ива́нов день).

[5] Заросли карликовой березы.

Чудно́: хилкие веточки, а родят такую ягоду богатырскую. Не едома до весны. Снег сойдет — собирай. И ешь — хоть кислой, хоть варенье вари, не бывает слаще!

Птицы вы мои, пока жива, никому не отнять у вас Стурмир!

1949

Ну вот, со школой сельскохозяйственной разделалась. Дома. Задумок в голове! Теперь дело пойдет.

Зимой у Бергера жила, в комнатенке его. После Стурему притерпись попробуй. Приискал себе кафе-махотушечку — завсегда горяченького дешево перехватишь. Там и кормились, Бергер платил. Заданий много — сама на обед махну рукой, куплю банку рыбных котлет, съем прямиком из банки холодными, сыта. Вечерами штопала ему, латала. Иль вязала — спицами, крючком, как к занятьям подготовлюсь. Зима — красота. Одна любовь, споры — сторонкой. Мать зовет — сходим пообедаем. В субботу наведаемся домой к отцу. К нему на неделю дважды женщина приходила прибрать. Справлялся. Каждый месяц деньги мне выдавал, Енсу уход за скотиной оплачивал. Все одно: в долгу я перед Енсом повек.

Новая весна — жизнь наново. У Педера купленая овца принесла двойню. Белые, с подпалинами по зашейку. Рыж, видать, какой прародитель. Вот бы сплошь рыжие, муругие овцы водились! Хоть однёшеньку б рыжую-муругую мне! Наверно, случаются, продают же пряжу цветом в корову красную, чуток бледней. Ягненок у меня и овечка, к осени спарю.

Енса и Педера по весне страдовать и про мое хозяйство хватает. Попритих Енс, посерьезнел. Разок улыбнется наскоро — и всего. Неужто тягота этакая — мужать?

От кухни до малой теплицы шнур приладила, обогревную лампу на 150 ватт пристроила. Нынче займусь рассадой. Уж пустили ростки по ящичкам белокочанная капуста, брюссельская, и скороспелка, и краснокочанная. Помидоры, перец красностручковый в горшках на веранде посеяла, львиный зев, астры. Конского навозу — парники б завела, и заведу, придет время.

Отец как-то пытает: коня хочу иль трактор. Коня пока не прокормить в Стурему. План хутора начертила — в школе еще, да размеров не имела. Нынче промеряли, в план занесли. Шведова пустошь — два с половиной мола. Летний выпас — мол. Залежь — три мола. Северный конец — мол, Южный — восемь, Поле — девять. Земля и в половину не пашется! Что зовем луговиной где-где тронуто, с косилкой туда, значит. Больше косе работа. А в сенокосный год сена тут все ж будет прорва.

Картошку весной посадила на трех молах, остальное — под корма зеленые. Трава на сено годная пускай до лета и растет. Южный конец поверху щавелем забурьянел. Распахать. Чуток овса ярового посеять. Скосить, распахать, посеять что из бобовых — мигом подымутся, и пускай стоят, перед холодами покос двойть. Задумки мои не так, чтоб в аккурат по школьной теории, да негде лучших взять. Теория оплошала по двум статьям: одна — деньги, другая — силушка рабочая. И удобренья — что до моего хозяйства.

Не хочу, чтоб отец нужное — на блюдечке с голубой каемочкой. Всему свету докажу — сама справлюсь.

Коня, выходит, еще годок дожидаться. Лето невзгожее — с коровами б управилась, овцами. Трактор сена не просит, говорит отец. Не просит, зато ни приласкать его, ни сахарком побаловать. В общине теперь два трактора завелось, надобно — дадут. Не след бросаться не́пашью. Кой-где кой-как сеяли-сажали, нынче глянь — не поверишь. Каменюги прочь — сенокосилка пройдет. Каб мужчина — новь бы и поднята. Женщина я крепкорукая, да за железный лом браться — дудки.

— А канавокопатель? — подсказал Енс.

Ну да — у Педера и трактор, и ковш. Енсу только что втемяшится... Ковш маловат, урезонивал Педер. Все одно, как по старинке с мотыгой да ломом. Енсу — дай попробовать. Попробовали — очистили полоску от каменюг, на тебе — камешков полно, корней. Корни помягче рубила лопаткой окорочной[1], уж давненько ржавеет без пользы. Полоска в метр — не шире. К осени выкосить тут до травинки. А что ни говори, удостоверились: с ковшом затея не пустая.

Объявляла, звонила — есть-таки у меня овца муругая. Мастью не совсем вышла, ну, поживем, поглядим. Ей бы пару, а нету. Мордаха, шея гожи — изрыжа-бурые, да темней и темней пониже, ляжки почти черны. Все ж поглядим в закут будущей весной, поглядим.

Община, артель у нас не из лодырей. Женщины в застрельщицах. Ан и мужчинам нашим тоже смекалки не занимать.

Прикупила община тягач, тут и снег чисти — устройство, и землю рой. Под ссуду из банка прикуплен. Ну, конец света — долг-то, обомлели женщины, сердешные. Мужчины над нами посмеиваются: тягач, говорят, кто ж получит задаром. Резон каков: окупать себя станет — поденно, поминутно. А про нас, с женской нашей бережливостью, про нас побыстрей рассчитайся — было б чем. Давай мозговать. Элин Браттос, Берта Браут сдумались и на собранье выступают: по осени ярмарку устроить! Немедля браться: понаделать вещей на продажу, да хоть и выставить. У кого станок ткацкий пылится — в ход пусти, друг дружке подсоби насновать, основу пробрать. Мужчинам — столярничать, по дереву резать, корзины плести — кто на что горазд. Про ярмарку в Мудале по семи приходам слух пойдет! Лето нам выпадет тяжеленько, обещается Берта. Женщины большинствуют, женщины за, мужчины осторожничают, как водится, про сбор денег чуть не все мужчины мудрят: оно и без затей, и верней. За кофе то-то шуму! Да и придумок — лови поспевай! А деньги чего ж не собрать, мужчины пускай и возьмутся. Куда ни кинь — недостача. Пускай нужное и купят, не ждут, пока женщины денег тканьем заработают.

Лето и вправду выпало не из легких. Часочка для роздыха не нашлось. Зато интересу! Чтоб поселок Мудаль съединился этак — не бывало. Соберемся — сообща планы строим, сообща чешем, прядем. Наснуем — пробираем. Чашку кофе пьем не для того, чтоб посудачить, а как ноги у прялки притомятся. Не без разговору — поговорим, да и другое спорится. Кто при вязанье — кофеек потягивает, повязывает.

— Бедолаги мужчины-то наши — не вяжут,— Туенгова хозяйка вздыхает.— Чем спасаются? Трубкой одной, одними сигаретами. Газетой. Не запаслись — еще мужика отыщут — поболтать, ой, что я, дела обсудить.

Смеемся, хоть каждая про себя соображает: мой-то не из таковских. Мой-то на все руки мастер. Мне мой с посудой подсобит, после уж — читать, в сторону глядеть. А мой Бергер? К посуде и не притронется, увильнет. Туенгова Клара в самую точку попала.

После трудов наших праведных у каждой-то — хозяйство. Скот, огород, стряпня, стирка. Нынче у меня как раз занавески ткутся — не продам. Повешу в горнице — четыре больших окна. С занавесками поспешаю, еще б что соткать — на ярмарку. Во дворе подсохло, подгребаю, подметаю. Вечерок погож — из цветников сушь жгу, с деревьев хворостьё. На прошлогоднюю листву повезло — в компост ее, в компост.

Листву сгребла, гляжу — крокусы там, лиловеют, желтеют гурьбой. Примула вслед. Подумать — лето! Золотые цветки на калужнице, где протекло из ямы с навозом, а в огороже — ветреница.

---

[1] Служит для снятия коры с бревен.

Отец остерегает:

— Бергеру домой бы, это что за супружество.

Предведала. Предведала: опостылю я Бергеру со своей затеей. Что толку ночедённо голову ломать, тут одно: труд жизни бросай, ему — властвовать, распоряжаться.

Последнее полешко Енс расколол, собрала в кучу. Сидим, отдыхаем: сентябрьским деньком поработаешь — жарко.

— Про что задумалась? — вдруг пытает.

Поднатужилась — морщины согнала, улыбку приладила.

— Заботы?

— Заботы...

И откуда он такой понятливый.

Опустил глаза, запоздалый сорвал цветок клевера.

— Скажешь?

К горлу ком подступил — молчу.

— Слышал, болтают про что.— Енс-то не молчит.— Будто вы с Бергером расстаетесь.

Зубы стиснула — не расплакаться б. Вскочила.

— Попрекнуть друг друга есть чем...

— Рассердилась?

— Нет, Енс.

— Поплачь, Аннетта, и я разом поплачу.

Опомниться не успела — обнял.

— Не хочу, чтоб горевала. Уж так люблю!

Слово в слово — четырех годков был, говорил. Я в свои пять еще его в коляске возила. А повзрослей — и через лужи перенесу, и на ушибы подую. Четырех годков заявил: женится на мне. Нынче восемнадцать. Детская круглота сошла с лица. Мужчина, вот так. Своих лет взрослей. Мужчина, обо всем разумеющий, как я.

В субботу Бергер не приехал. Что теперь? Ночь почти глаз не сомкнула. В воскресенье утром близ девяти явился. Автомобиль подвел.

— Позвонил бы...

— Думал, справлюсь, успею. Освободился — одиннадцать, спала ж.

Сказать нечего. Чую — врет. Нет. Врать не про Бергера. Тут обедом насытились, пообнимались — уверовала: Бергер не врет.

По Ломтьеннсмиру морошки пошли поискать. Доро́гой помалкивал, да все украдкой прижмет. И все мне чуется: неладно у нас.

Вечером уезжает — говорит:

— На будущие выходные, может, не приеду... В поход приятели зовут.

Чуть не спросила, пойдут ли девушки — спохватилась.

— Заскучаю...

Притянул к себе.

— Хочешь — приеду. На походе этом не сошелся свет клином.

— Бергер, ну чего ж друг дружку на привязь сажать! Раз сказал — не приедешь...

— Аннетт, чертовски тебя люблю!

На выходные не приехал. Пропал сон. Опять выходные — опять не приехал. Звонил: затащили на мальчишник. Голос пьяный, невнятный.

— Просплюсь — буду...

И не приехал. Неладно. А мать, та через выходной тут. Пятьдесят ей, с виду тридцать. Завсегда причесанная, подкрашенная. На отца глядит— двадцатилетней, точно, сияла так же. Отец — мужчина завидный, пускай боли в спине, ногах лицо чересчур заострили. Нет-нет и ухватит недоброе чувство: нам с Бергером этак влюбленными, этак счастливыми до свадьбы серебряной не́ дожить. Заработаюсь — тревога отпустит. Любит меня, любит.

— Домой Бергера зови, всерьез тебе говорю,— раз не отступает мать.

— Сказал, с охотой переберется, да все ему надобно еще подзаработать чуток.

Ой нет. Бергер повадился деньги швырять, а в Стурему лишнего эре давненько уж не водилось. Нам с отцом на харч доставало б. И что тут Бергеру делывать? Женщина обвычна век вековать — других ублажать. Тысяча лет кабалы потребна, чтоб уподобился нам мужчина.

Ярмарка близится. Зал больше клубного где снимешь? А и танцевальный зал маловат, еще две комнаты надобны, галерея наружная надобна, угловая. Прежде мы тут, в клубе, праздники устраивали, лотереи, да то прежде, нынче не то. Берта Браут заводилой, главнокомандующим. В первых помощниках — звонарь, из Велтму девчонки. Дельные эти две — кто б подумал.

Полок понаделать надобно, рамок, столов подлинней, имеются, да не хватит. Тут, там станки ткацкие, прялки, мотовила, вьюшки пристроить. Веток наломать покрасивей — убрать клуб внутри, снаружи. А по садам осенним нарвать цветы из лучших — на каждый стол.

Звонарь смекнул: место газетчиков собрать — на комнату попросторней указал. Берта с полслова слышит. Газетчикам-то местным еще какой кусок лакомый... Вот поселок — позабыт-позаброшен с довоенной поры, а нынче вот он вам — жив, нет, не будет он медвежьим углом. Отсюда свежим ветром тянет, отсюда пускай вдохновляются другие общины края, что обращен в стоячее болото войной. Ан и речист наш звонарь. Выступил. Расхвалил хоть куда.

Гудвейг да Ингеборг Велтмуен, Енс да я по хуторам пошли — поспрошать, что народ выставит. Поделки иль из е́ди, от урожаю-приплоду что. Подсобит ли кто чем. Берта всех мужчин, женщин переписала, вечер целиком судили-рядили, которому из нас когда заступать на дежурство.

— Понадобимся — просите,— говаривали по хуторам мужчины.

Берта фырчит:

— Просите. Видали? Да им как: это сделай, то! Доски распилить снеси! А ты кофе, сахару купи да у приходского священника кофейники их здоровенные взаем возьми! Тебе — ткацкие станки на галерее устроить! А ну-ка собери женщин, по ткачеству знающих! А ты — ты ковры тяжелы развесишь! Гудвейг, Ингеборг, пойдите, пойдите, задайте им жару!

— Есть, генерал! — разом отозвались из Велтму девчонки.

В четверг, перед открытьем, прошлись мы напоследок, глянули. А собой довольны! Полным полон зал. По стенам — ковры узорчатые, кроватные покрывала, накидки, лоскутные коврики, дорожки, шали. На трех столах — рукоделье помельче: спицами, крючком вязанные вещицы, валяные.

А тут мужчины с хуторов явились — и не с пустыми руками.

— Прощенье просим, думали про вас, да не так,— жена звонаря выпалила, аж со смеху покатились все, что мы, что они.

Еще стол понадобился—для чаш деревянных резных, подсвечников. Плетушке-махотушке с багряной осенней листвой посередке стола место. Посолидней корзину — и корм скоту носить впору — под стол. Кадушки принесли, любовно сработанные, ножи поясные — рукояти корня ракитового, ножны из меха — задивуешься. Пару подсвечников-кованцев. Умеют же, коль захотят! А мы-то —посчитали, ценников на все про все заготовили.

— Приказ генерального штаба! — Гудвейг командует.— Сесть, да цены на свои поделки поставить. Вот бумажки, вот ручки.

— Что за это возьмешь-то!

— Ну, цена ж вещам ведома?

— Ведома... Не окупится возня... Брать по цене — кто деньги такие выложит?

— Не окупится?! — Бертин генеральский глас.— Кто тут говорит, не окупится?!

Мало-помалу про цены условились.

Две меньшие комнаты тоже полнехоньки. Одна — от местного урожая. В шеппах [1] картошка сорту нового, что Уле Даммен этим летом пробовал, ох, и уродилась картошка! Морковь, коренный всякий овощ, капуста, какая хочешь, яблоки, ревень, а букетов-то из садов разных!

В другой комнате длинный стол накрыт, гостей дожидается: деньги выкладывай, кофе пей да бери, чего душа желает, тут и ветчина, и окорок бараний, домашняя колбаса, маслице только сбитое, домашние сыры — и красный тебе, и белый, и нёккель [2], и творожный. Стародавним способом простокваша сготовленная. Неотжатый творог и варенец. Стопки высоченны лепешек, блинов, оладий. В кухне хлеборезка припасена — моментом нарежет тридцать домашних хлебов. Пастернак начищенный, сельдерей, свекла — на сковородку готовенькие.

Назавтра, в пятницу, открылись: флаг подняли с полудня. В субботу ввечеру народ повалил. В воскресенье сразу ж по церковной службе — двери настежь. Три кухарки на кухне безотлучно. Молодежь клубную тоже подсобить просили — пришли, чуть не все в бунад одетые. Двое поочередно — и парни вызвались, и девушки — кофе разливали, трое — у стола. Нам — нам-то маслица на хлеб под минутку свободную. А гости, кто к столу ни подойди, что ни покажи,— им вмиг отрезано, вмиг на тарелку. У бедняцкого угла то-то толпились, то-то смаковали бедняцкое ёжево прежних суровых времен. Тут печеных овощей отведаешь, заодно рецепты познаешь: учителя из школы расстарались, заготовили тысячу штук руководства, тысячу штук «Бедняцкой поварни». В воскресенье затемно запирали — еди почти не осталось. И товару здорово поубавилось. Вот когда впервой усталь-то заприметили. Мать с обеда сразу была, прогнала домой, мол, подменит. Да последнее дежурство — как без меня.

Тысяча человек побывала, не меньше — «Бедняцкая поварня» до одной разошлась. Стали выручку считать — усталь как рукой сняло. Прикинуть — десять тысяч чистогану. Это вам не прошлогодняя лотерея — три тысячонки прибытку. Вот смекалка! Хуторов горстка, а сила!

И отец — конторщика, кассира надежней не надобно. Вот уж гордился, радовался, будто свои кровные, раскладывал деньги по пачкам.

Чуть завидела — обмерла: что-то будет. По губам, по кадыку видать — такое скажет...

— Аннетт...

Отшучусь, а?

— Звать все Аннетта — два «н», два «т».

Схватил за плечи, отодвинул, смотрит.

— Ничегошеньки не говори, Бергер, прошу!

Не удержалась — в конце концов чую: руки обхватили, прижали. Грубая шерсть свитера щеку трет, топорщится. Потом — под мокрым под моим лицом слиплась.

— Веришь, люблю? — шепчет.

— Ведомо, любишь.

— И теперь веришь?

— Ни словечка про то, ни словечка!

Невмочь выговорить: ни словечка про ту. Невмочь вытерпеть, чтоб проступок его — и взаправдашний, чтоб женщина та — и во плоти-крови. Ему знаемо, что мне ведомо. Хватит.

Пропадайте мечты. Мать свое место в жизни нашла. И отец. А я, я на ходу за решенье хватаюсь — вот глупость. Не больно ль дорог мне

---

[1] Шеппе — старинная норвежская мера сыпучих тел, равная 17,372 л, и мерная кадка той же вместимости.

[2] Сыр, приготовляемый с гвоздикой и тмином.

пришелся ты, Бергер? С женщиной чужой знался. Нынче котом трешься о ноги. Нынче тебе, покаяннику распокорливому, ох, нынче во всем, во всем уступлю... Да дела мне так не решить.

Бергер решил! Раз заявил:

— Давай-ка брачным договором займемся!

Понятно, язык проглотила.

— Не про нас ли сговориться, и чтоб каждому — по хотенью? — прибавил.

До пустяковинки обмозговал. Сговорились, и судебное оглашенье без надобности. Лесом — владеть обоим, обоим в пригоде станет, коль нужда. На сетере по-над лесом-альмéндой да частью в лесу при сетере, не огороженном, руки развязаны ему. Мне, одной мне — Стурему и Стурмир.

Денег скопил, говорит. С работой в городе, говорит, распрощается, хочет домой перебраться скорей.

— Пойми, начинать — так на своем. Пускай не Стурему, только б воля.

Киваю. Мужчинам на свете неймется, коль не командуют. А думы-то все про Енса. С Енсом вовек никаких бы проблем. Душа с душою — мысль одна. Да Бергер м о й, ох, без тебя мне не жить!

На что б сетер сгодился — частенько голову ломала. Молочному хозяйству тамошнему еще до войны пришел конец. Выпас себе выпасом, за две мили раскинулся, лесом порастает. Дорога туда позаброшена, а то, бывало, лошадь свезет. В довоенные годы и молоковоз поднимался, забирал молоко по сетерам в Стурему, Велтму, Нюгарде. По сетерам тем трем завсегда коровам был полный «пансион». От мелких дворов с коровенкой наша ферма и в сборе, взамен нам — подмена, подмога. Упредил молокозавод: куда грузовику проезд, оттуда молоку вывоз — навалились соседи, готова дорога. Да годков-то утекло, поди, непроезжая нынче. Бергеру охота проверить: поедем, коль колеса повезут. Поехали.

Вспомнилось, как тащила этой дорогой лошадка, коров как заманивали в гору — две трудные мили. Я — на возу с постелями, прочей поклажей переселенческой, в ямке, обустроенной, чтоб не скатилась, коль едучи невзначай засну. Мохнашка себе тащилась, повозка скрипела. Учуяли дом, мычали коровы, прибавили-таки ходу. Девка — по-нынешнему работница — обыкновенно опередит, разведет в печи огонь и ну начищать кругом, а кругом — чистотища. По осени ж, как снимались с сетера, знай скребли, мели.

На первой скорости не везут колеса. Дожди, хворост дорогу попортили. А то тормозит — жабу-кокушу из-под колес на обочину переносит.

В Велтму на сетере над домишком дымок — ягодники подоспели, может, туристы. Прежде по сетерам водилась брусника, черника... И мы ведрами запаслись.

Мужчинам перво-наперво обойти, осмотреть крышу, двери, окна. Одно-два стекла в спаленке разбиты, небось птицы. Серого камня труба крепка, ветры, непогода нипочем. А цементу тут, там положить не мешает — для верности. Мужчины за разговор — я по дому поглазеть. Кухня — что тебе спальня. Тут стекла в целости. Глядь — на полу шмели, едва живехоньки. Скорей на порог их — не летят, хоть плачь. Завсегда большущих, мохнатущих любила.

— Оголодали ж насмерть,— слышу Бергера за спиной. К мешку со снедью — вынимает сахар. Сидим на корточках, наблюдаем: вот шмели приладились к сахару передними лапками, вот хоботками. Ну и мы, заулыбавшись, носами потерлись, поднялись. Жизнь спасли. Бергеру б занятье какое с животинкой. Да сам, сам пускай выберет.

Обратной дорогой помалкивал. Наверно, что и задумал.

Лет четыреста — пятьсот тому нынешним именем звался хутор посреди леса во тьму-тьмущую молов. После разделили по совести братья: тебе — Стурему, тебе— Велтму. А когда уж Стурему Ивар Хансен сторговал, опять земля — Нюгард — в особицу. Тот, Нюгард городивший, Ивару Первому доводился братом, с Енсом мы, значит, родня дальняя. Отошло к Стурему лесу молов с тысячу, Стурмир, правда, считая, триста молов это, отец говорит. Из трех хуторов каждому — над альме́ндой свой сетер. В Стурему к сетеру тоже лес примыкает, пятьдесят молов наберется сосняку низкорослого. Далече и всходить не всходи — уж не лес, криву́льник. Черта́ лесного пояса близехонько, хоть горы высью не взяли, черта неприметна. Болота там, кустарник чащобный вверх, а вниз, по другой бок опять сосняк начинается.

Мой-то лес от построек на север идет, смежен с Нюгардом, с нижним сетером. Педеров — тянется до альменды.

А уж Стурмир — особое королевство. Тут — тетеревам ток, там — журавлям раздолье. Меж озерец по весне, по осени пеганка тянет, кряква. Морошка водится, голубика. Осетр. Нужда — выручит. Не бьют осетра давным-давно, а в дедовы времена слыл промыслом верным.

Сохранилась пове́ть — осетра запасали, пока болото не промерзнет, чтоб лошадью — домой. Поветь — всего-то четыре венца бревенчатых, а в рост полный встанешь, под коньком точно. Вот бревенча́к имелся на свете! Знатные дрова, сказанул отец. Нет уж, пап, ни поветь, ни болото не трону. Просмоленные бревна пове́ти крепота — нож бери точи. До меня не сгнили, еще сотню лет им держаться. А Стурмир — и вахта тебе, и подбел, клюква, восковница, багульник. Стурмир, болото мое дивное, осушить? Чего ж дед не взялся? Отец? Верно, не набралось денег. Не набралось при отце до войны. А после войны тут и все пошло через пень-колоду.

При мне этакому не бывать.

Про житье-бытье в старину на сетере бабушка порассказала. Самой то житье смутно помнится, проступает пятнами... А и все равно сетер, вижу, богатым-богат: как жар горит медная посуда по стенам, девки в ярких бунадах охорашиваются субботними вечерами, верила — замок королевский, ей-ей. Может, из-за детских выдумок сетер и полюбился. Навек. Уж до того домишко светел: кругом неокрашенные деревянные столы, лавки, пол. И медь все горит по стенам. А стены — одно к одному бревна, ровнехонькие.

Замыслит Бергер дельное что на сетере — не перечь, присоветовал отец. Как же, нынче у Бергера руки развязаны, ему замышляй — мне страшись. В Велтму на сетере домишко перестроили под туристский, пристройку поставили. Домишко приду́мком изувечен. И тутошнему, в Стурему домику, та ж судьба?

Раз Бергер пытает:

— Мыслила насчет сетера?

— Мне ль сетером заниматься было, а хотеть хотелось... Так сетер нынче за тобой, Бергер!

— Надумал вроде что с ним делать, дозволила б.

— Бергер, в о л я т в о я!

Хозяин на хуторе дозволенья у жены не испрашивает, засовестилась я.

— За тобой, Бергер, сетер, только б...

Поймала отцов остерегающий взгляд, обернула шуткой.

— Только б ведьмы не завелось!

— За ведьму не скажу, в остальном не бойся!

И вот залегшей дорогой на сетер взбирается, кренясь, грузовик: доски, тес, деревянные рамы. Стройматериал не из нашего лесу — год же целехонек жди-дожидайся, пока подсохнет. Сам — тоже на сетер, ночи ночует. Нет-нет отец и наведается, новости порасскажет. Енс, Педер подсобили Бергеру с пристройкой. Позадь домика, углом. Завернешь —

заметишь, так — нет. Летний же домишко, не про зиму ставлен, хоть бревна могутные. На будущий год пол утеплить след, но сперва заготовить лесу. Надобно, надобно браться за дом. Стар, студен.

Явился ко мне на совет:

— Как обшивать будем — поверху? Изнутри?

Промеж двух огней я. Одолею подъем, и нет вовек средь просторов бревенчатого, солнцем каленного дома? На холсте так аж двое художников из знаменитостей расписали, туристы без счета в Велтму фотографировали наперебой. Иль стен не увижу, стен, снега белей, с развешенной медной посудой? Последний разочек поднималась на сетер перед войной — по воскресеньям частенько заглядывали — красные занавески с подзором в окошках, на столе без ручки кувшин со смолкой, по стенам начищена медь. Пускай, пускай бы так! Да при волках сытых овцы целы не бывают.

— Твоя воля,— шепчу.— А нужда ль трогать дом? Жить-то не станешь?

— Стану, круглый год почти стану, а чтоб спать, и утеплить домик след. Поговорим.

Говорили, говорили заполночь. Клещами из меня вытянул, про что моя молчаливая думка, мука про что. Нету второго такого мужа. И волки сыты, и овцы целы. Овец-то моих и прибавится!

— Родной, на все твоя воля, твоя вольная воля!

— Дерюгу по стенам...— бормотал в полусне.

А я еще не засну, еще, еще погляжу. Женское тело привыкли расхваливать, тут — мужчина на диво. Руки эти любую тяжесть подымут, а вот и не узловаты! Когда ж мускулами поигрывает — будто бегает зверок под кожей. Бергер мой — греческий бог изваянный: ни волоска на груди, щекой прижмешься — шелк.

Замыслил на сетере овец разводить, коз. Ферму обустроит, чтоб животине и корм, и питье зимой на сколько-то дней без присмотра. Места повыше для коз в самый раз. Нынче купит животинки не больше, чем поместится дома в конюшне. Коровам уж я хлев приготовила, вчетвером не замерзнут. Рано — поздно, а поставлю в конюшню коня. Ох, здорово ж купно задумывать, друг дружке советом радеть. Понятно, не завсегда у нас тишь да гладь. Порой что провернем, сказанем — другому и не по нраву. Я — кипеть. Верно-то верно: обозлясь, до десяти сперва посчитай. Считаю, до двух не успею — искры брызнули.

1950

Проснулась нынче затемно. И не заснуть. Будто из сумерек предрассветных кличут меня. Журавли, верно. Журавли прилетели. Рассвело, как спустилась на Стурмир. Менуэт уж давно почат. В детстве чудилось, эльфы танцуют. Туман над болотными озерцами — то они, эльфы. Унесли мечтанья, не приметила, кто-то приблизился, уж пока рядком не сел. Енс. Улыбнулся мне, и оба — во все глаза на журавлей. Бинокль Енсов без надобности: этот год они еще ближе. Тихонько сидим, спугнуть ничего ж не стоит их. Больших, как прежде красивых, искусных танцоров.

— Заснуть не заснул,— говорит Енс.— Вчера слышал: тут. Не устану на них любоваться.

— Время домой — заждались коровы.

— Помогу кормить, а?

— Отец небось взялся.

Поднялись с опаской. А спугнули-таки — четыре большие птицы взмыли и шируют выше, выше.

— Тру-а, тру-а!

— Простите, други! — заторопился Енс.

Само собой получилось — с болота брели рука об руку, точно прежде, точно он еще пухлый малыш, лицо — луна полная. Расставанье подошло — руки мне на плечи:

— Спасибо, ну, удовольствие, каждую весну что внове!

Впросак не попала: у отца кормленье спорится.

— Журавлей повидать нужда была.

— Ведомо. Ни весны не пропустишь.

Прилаживает машину доильную — Карменситу доить. Сам и купил, подержанную, как Апрелия впервой отелилась. Уж такие тугие соски оказались, вымя жесткое — пальцы повывернешь. Вот облегченье с машиной-то. Вот здорово, что отец подменит, что к машине обвык.

Трактор общинный взяла, осеннюю пахоту взборонила. Ну, всемогуща — сижу тут, верхоправлю, трактор мне покорствует. А кругом трясогузки вертятся, над головой воробьи щебечут. Тетерева на Стурмире токуют, мотор заглушу — слыхать.

Всё с трактором ладно, каб не изъянец: сахару по карманам не ищет, навозу — дудки, то совсем беда.

Год без долгов, да касса пуста. Мудрю за счетами по вечерам, пока сон не смотрит.

— Ох, хозяюшка, сама да сама, подсобить не даст!— отец усмехается.

Открою, про что забота: показать малоземельцам-худоумкам, которые дом бросают, бегут, показать им — малым хутором еще как проживешь! Поставила — выиграю!

Год прошел — почти девять тысяч литров молока продала и самим нам, телятам — залейся. Продала, значит, телятюк троих, пять тонн картошки, малость красной, черной смородины — эка невидаль, коль на год положить, а памятно: деньгам радовалась. Еще продала триста метров самотка́нки, две пары носков, две дорожки вязаные, яиц на тысячу крон. Отцовы деньги прокормные — три кроны каждый день. Всех наличных. Роздых — с устали, сон, еда — по потребе. Под рукой бы завсегда эти наличные в надобности, ан нет. Нынче надобность — неделю-две перебейся. Так ли, этак — добудь. Толку-то причитать, Богу жалиться. Не удержишься. Почто вопиешь, Моисей, Господь спрашивал [1]. Не ответствовал Моисей. Тяжелы мне тут выпали годы первые. Да оглянусь — ликую. Как же: «слабой» половине — и силушку свою почуять!

Теперь Бергер дома, почти все, как положено. Вот только новый наследник — наследница Стурему где? Не думай про него, мать говаривает. (Про н е г о, про ребенка еще не рожденного). Не думай — тут он и явится... Я годы его жду-дожидаюсь!

До нынешней поры каково было явиться ему, ребятенку, да теперь Бергер со мной, теперь легче. Силюсь про «него» не думать — думается. Всё перед глазами: кричит, чмокает, сосунец, ножонками, ручонками сучит, а то — за юбку мою цепляется, по сену на сеновале скачет.

Вот он день — конь в конюшне стоит. Бергер, горд и улыбчив, выскребает да холит. Из Хамара с четырьмя готландскими овцами привел. Не конь — кобылка десяти годков, скаковая, призы высоки позади. Владелец оговорил от нее жеребенка и чуток уступил, как водится. Резва, здорова, аж лоснится, кобылка игре́няя, белый навис. С уходом, работой беспотужной еще десять годков послужит. Теперь как положено: при коне, при хозяине Стурему.

Женщины из общины, артели год расписали. К зиме обучимся прясть, да не абы как — отменно. С домашней пряжей — конец тратам на покупную. Летом подсоберем нужное: растенья красящие, потом плести — корни, бересту. В лес зачастить мне, точно, да теперь-то, досужей порой... Подумать — у меня досуг! У меня отец, Бергер, Енс. Бергера вижу редко — на сетере денно и нощно: мастерит, огорожи ставит. Наведаться страшно: гляну — разогорчусь. С ума не сходи — себе долб-

---

[1] «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне?» (Исход, 14, 15.)

лю. После школы про сетер хоть вспомянула? Разок-другой выбралась, прогулялась. И из дум вон.

Донна под плугом ходит, будто другого не ведала. Поначалу при мне был Енс, нынче сама отважилась. Оплошка, промашка, а там само поехало. Бергер тут меня не ловчей, за плуг разве юнцом держался.

Овцы с апреля до пахоты объягнились. Последними — муругая и та, с подпалиной. Подпалина выцвела, едва приметна. Да ягненок — рыжешейка. А муругая принесла детеныша изрыжа-бурого, с разводами, другого — своей масти. Жалко, тоже овечка.

— Дай срок, дай срок, заведутся,— утешал Бергер.— Тебе каких надобно? Впрозелень? Голубых?

Стригальными ножницами орудовать мать одна и способна. В комбинезоне вновь — чудно́. Исхлопотала место в дому поближе, наезжает частенько.

— С красоткой нашей что теперь станется? — поддразнивает отец.

— Ты из дочки своей растрепы красотку делал бы, на кого похожа! — огрызается мать.

Овцам пока травы вдосталь на нижнем сетере, да после и в горы. Пускай тут пообвыкнут, числом невелики.

Этой весной меж мужем труды поделены и женой. Жене — огород. Ты не трогай моих кругов, не трону твоих[1] — условились. Прикинула, сколько моркови, картошки продам — сообразно посеяла, посадила. Картошника и не упомню такого — навоз полю предел положил. Где с толикой, а то и вовсе без навозу сойдет, место овсу, гороху кормовым. Пару рядков льна, чуток ржи на соломку рукодельничать тоже посеяла. Бергер смастерил стояки с полками в холодные теплицы, рамы под стекла. Врезала стекла, вмазала. На будущий год навозом разживусь — с обогревом теплицы заведу. Так вот!

Бергер заделался взаправдашним крестьянином. Сметлив. Окрест сетера расчищает. Просил Педера и их, Нюгардов, сетер продать. Уж с Педером по рукам — Енс воспротивился. Я молчу, я Енса сторону держу. Хутором, землей разве ж заправляют без думки о наследниках? Чего Бергеру по дешевке сетер в аренду не взять лет на двадцать? С избытком будет! Дальше двадцати лет вперед кто ж загадывает. Опять какая война иль еще что. Злоискателей мало?.. По нашему раскладу, в Стурему шести коровам прокорм, коню, двум десяткам овец. Да восемь десятков овец, коз Бергеру подавай. Нюгардов сетер — это десять молов. В Велтму по сетеру кустарник непролазный, всего-то четырепяток молов на покос годны. Значит, за наш, за нижний сетер браться, спокону не́пашь, скотина там на выпасе осенью да весной. Значит, поднимать. Нижний сетер — в лесу, расчистим чуток, пускай земля и сырая, неважная.

Все деньги в хозяйство всадил Бергер, бедняк, что я тут первый год. Ан нет: нынче в Стурему молока — ре́ки, яиц, овощей — завались, в морозилке — баранина, телятина.

— И покурить ему, сердешному, за сколько денечков не вышло. Погляди в ящике для несушек, там пачка, вдруг не одна!

— Бросил.

— Когда ж?

— Полмесяца...

Хлопаю по щеке — заслужил.

— Последний раз из клуба прокуренного воротились — от волос твоих ну табачищем несло,— говорит.— Чтоб запах — и такой дрянной! Теперь, теперь душисты...

Уткнулся носом мне в голову.

— Совсем брошу.

Не киношные — Бергеровы поцелуи. Проще, что ль, чище.

---

[1] Имеются в виду приписываемые Архимеду слова Noli tangere (turbāre) circulos meos *(лат.)* — «Не прикасайся к моим кругам».

Обеды в Стурему по-прежнему дешевéнь. «Прижимистые крестьяне» — не раз слыхала. Нынче по своим бокам — кожа к костям жмется — ведомо каковы. «Крестьяне-лежни» — тоже слыхала, да из этой породы мне не встречались. Крутись знай: комбикорм всё дорожает — запасай, сетки для птичника, для овчарен доставай. Заработок мой молокозавод переводит в банк, порой и трясу ж казной! Дому — покраска. В хозяйстве то, это смастерить надобно.

Понапрасну страшилась. Овец перегонять скоро — тут усадил Бергер в автомобиль, покатили на сетер. Каким-то встретит.

— Притихла чего? — Бергер пытает.

В горле першит, не отзываюсь...

— Смотри! Гусеницу не раздави!

Удержал, как из автомобиля выбиралась. Первым шагнул, указал на пушистую гусеницу — там, где ногой ступила б.

— Ты дом не тронул?

Те ж стены бревенчатые! Где менял?

Позади дома поставил углом пристройку. Снаружи, внутри обшивки широкие. Выморит — сойдут за бревенчатые, порче, точно, не поддадутся. Совет Бергер держал с инспектором, что в нашем фюльке ведает стариной. Столковались: жалко увечить старый сетер, туристов приманку. Вот Бергер нижние, на вид подгнившие бревна по крепкую древесину и обтесал, после обтянул снятыми с тутошней заброшенной осетровой повети. Поветь рубили на всяком болоте, где осетров промышляли. Да нынче не промышляют.

— Примемся еще, может, за осетров,— протянул.— Опять какая война — запасы и подберем!

Я про то ж мыслила! А с Бергером мы сблизились!

Зашла — и тут взор тешится. Кухня-старушка в широких обшивках поверх утепленья. Как прежде, приютна. Бревенчатые стены паклей проконопатить — спи в домике зимой, не замерзнешь. Горенка у него в пристройке, дверью на кухню. Не обустроена, пуста. А в горнице — там пол настелить бы на будущий год. Лесу кондового заготовит летом, нарежет широких досок, им времени — сохнуть. Ладится дневать-ночевать тут, как отара взрастет, двор станет тесен.

Заночуем. Мать на хозяйстве, беспокоиться не про что. А мы тут за помывки возьмемся — к их приезду. Посуду медную ярко начистим, дров натаскаем, воды. Чтоб порядок был — в доме и возле.

Так вот работницы по сетерам в давнину́: дом выскоблят, проветрят постель, лежат, чистотой дышат, поджидают субботним вечерком суженого. Ни одна такого, как я, не дождалась, не имела!

Открылись друг другу неизведанно.

— Время было — думал, не посмею в глаза глянуть. Избегал — как сказать ей, что сказать должен...

— Бергер...

И не слышит.

— Жить без нее как, себя пытал. Мне ж только с тобой рядом... Сказать бы, чтоб поняла: чему ни быть, а нам всё одно — вместе. Ох, и дурной же сказ...

Лежу, горло сдавило, сло́ва не вымолвлю. Руку его, что ближе, глажу, глажу...

— Стурему — не мне наследство. Не видал хутора с твоё, с твоё не любил. А нынче люблю всё сильней. Я себе говорю: о н а-то, о н а как сделать хочет?

Ухватило ж: о н живет мною, мне уступает, гадает, как хочется м н е. А я, я — своевольничаю: м н е хочется!

— Бергер, добрый ты, я — скотина самонравная...

— Ну-ну, ревушка,— ласково пожурил.— Веришь, я мою маленькую скотинку ни на кого не променяю!

Давненько не называли меня маленькой — метр семьдесят три сантиметра росту. Да против Бергеровых двух метров без трех сантиметров верно: малютка.

Заснули — начинался рассвет: ночи свершенье, всего свершенье.

Лето из ряду вон. Тосковала уж сколечко я по «козлу болотному», бекасу — услыхала у Ломтьенна. Не вымер-таки. И всё, и всяк себя кажет. Вовременил нынче Господь и дождь, и вёдро — урожайному году быть. Головастики — по лужам, жабы — под хлевом, как в прежние времена. А я солнышком сияю. И диву даюсь: ну можно ль, чтоб счастье без краю?

Нынешним летом в косилку запряжем свою кобылку. Донна по хозяйству обвыкла. Возовая, поклажу легкую — резва. Большаком мчит — того и гляди вскачь пустится, аж страшно. Не пугайся, Бергер говорит, попридержи — чутка, послушает. Купил седло гожее. Подумать — чтоб верхóм такая-то радость!

Вот и сенокос подоспел. Отец в деле: решетены пряслить прилаживает. Уж за всё берется, только присесть надобно, передохнуть. Передыхает частенько, ему не терпится, вижу, в дом — картошкой заняться. Здорово он на кухне освоился, и главное, работка в охотку. Дай состряпать что новенькое, испробовать приправ всяких, трав пряных. Этот год посеяла кервель, тимьян, иссоп, другие, еще редкостней. Моей бедняцкой поварней не брезгуем, отец обновляет. Окрошка, овощная мéшень, омлет-зеленцá. Обучил даже — запеканке, к примеру, рыбной, под обжаренным пастернаком, язык проглотишь. Ращу грибы, шампиньоны,— в пустом закуте в хлеву. Там и дождевики разведу. Гляжу раз, посреди моих шампиньонов — знатный белый дождевик, точно разведу.

Бергер волокушами сено сгреб, ну, последний заход. Закинул вожжи Донне на загривок — роздых пять минут, говорит. Расселись, подперли каждый свою жердь, от солнца зажмурились.

И враз оба вскинулись. Сыздавна памятный любый напев зазвучал с межи: сек-сек-сек!

— Воротился! — крикнули разом.

Воротился — малец-косец косу в траве вострить удалец. Приняла счастливым знаменьем. Бекас, головастики, жабы под хлевом, а вот и большой луговой кузнечик. К добру.

Дождь зарядил — в доме сиднем сиди. Сена-то не убрано, сушится! Вот так славное лето — нахваливала, поторопилась. Завсегда обложные дожди наводили тоску. Нынче с переменой погоды сама не своя. Собачусь с Бергером за безделицу, опомнюсь — прости да прости.

— Кусаешь — ладно, переживем,— Бергер приговаривает, за ухом поглаживает,— страшней, как взглядом опалишь.

Три недели дождь лил. Наконец разъяснилось. А поля кормовые уж полегли, а сено на кольях насквозь вымокло. Местами клевер пророс даже, зацвел заново. Тимофеевка — ничего, лучше перестояла, да всё ж тут, там потемнело сено, попрело. Значит, к весне подкупать. Ну накуролесил Господь с трехнедельным дождичком-сеногноем!

Косить кормовые скорей. И рожь мою на плетенки, только б не перезрела. Сгодится, перламутровый отлив сохранила б.

За солнцем и настрой. В работу кинулась: корма зеленые просушить раскладываю, в огороде пропалываю, прореживаю. Овощи-то дождь любят, капустка цветная из земли так и прыснула. Белая ровненькая цветная капустка к копченой крепкого посола селедочке, укропом посыпанной, а? Иль омлет с цветной капустой, с ветчинкой? Что уж говорить про суп из цветной капусты на дрожжах. Не жизнь — праздник. Тут и свекла подоспеет, простая, листовая, пастернак.

Субботы не пропускаю — с Бергером на сетер, овец наших считать. Точнёхонько двадцать пять, как объягнились. Ввечеру к овчарне тянутся — соль им припасена. Ночуют часто в овчарне — от насекомых, верно, спасаются. Завсегда овцам нашим из дому захватим чего лакомого — картофельных очисток, морковки по прореди. Ну ж ласковы ягнятки, всё прыг на тебя, в руки только возьми, не слезут.

Тут на сетере без одежи гоже, солнышком балуюсь. Домой в воскресенье с полудня.

Раз воскресным августовским деньком Бергер мне говорит:

— Груди у тебя — красота, завсегда такие?

— А? Раньше не видал?

— Не эти. Когда новыми обзавелась, успела?

— Ох, пустомеля!

Одна осталась — в зеркало глянула-таки. И правда, другие. Не так чтоб уж очень, да другие. Покалывает. Бывало. Уж сразу воображать. Нагрубнуть им след — ан ни та, ни эта... Обманывалась-то, обманывалась. А при мне оно — неуёмное в д р у г.

Дома мать оглядывает.

— Что-то бледная ты!

— Да?

Хватаюсь за щеки — горят. Мать улыбается.

— Нынче — по всему — понесла.

Догадливы эти пожившие женщины!

— Стерегись теперь, девочка! Работай — не надсадись.

Мать уверена. Ей в е д о м о. Щеки мои — обожжешься!

Вышла к Бергеру — бродит наудачу вкруг веранды. Об руку дорожкой скорей от окон, от глаз любопытных скрыться. А розы-то пахнут в саду. Вот уж дивное обрамленье появе!

— Из ряду вон лето, Бергер! Из ряду вон...

Лицо мое взял в ладони:

— Виски бледны,— шепчет.— Жилочки заголубели...

— Мать сразу сказала, мать уверена... Три месяца, Бергер.

— И молчком?

— Ох, обманывалась — изверилась...

— Женушка моя...

Нынче Бергер в слёзы. Мужчина о два метра росту стоит плачет, в голову мне уткнулся. Застыдился, заулыбался, отшутиться вздумал:

— Не ждал от тебя!

Мужчины, сердешные, что ж слёз стыдиться!

На руки вскинул, будто шесть мне, не двадцать шесть,— и в дом.

— Уф, тяжела, двойню носит! — обнародовал.

Крику тут. Неужели? Счастье-то, счастье!

Про имя не спорили. Девочке быть Сигрид Беатой, мальчику — Иваром Иваром [1], в аккурат! Бергерова отца тоже Иваром зовут, хоть верьте, хоть нет.

Открыла Бергеру и когда... Той ночью на сетере, как впервой по субботе суженого дождалась.

Как же стерегли меня, остерегали, заклинали, увещевали. Про витамины толковали, железо, известь. Что ни день с советом и настигнут. Все. Кроме матери.

— Сама с головой,— говорила мать.— Приставайте к ней, приставайте — наперекор сделает!

Скоро минует чудное лето. Чудное, хоть Господь не скупился на дождь, как солнцу б сиять, а то — на жару без удержу. Да я точно на крыльях. Ближе, ближе жизнь, какой ей и быть. К нам книга попала —

---

[1] Традиция двойного именования: девочек — по обеим бабкам, мальчиков — по дедам.

«Напрасная весна». Напугала многих. Наш главный лесничий объявил: не потерпит отравы в районе, пока его власть. Может, другие тоже одумались? Может, отсюда стрекозы? Часто спускаюсь на Стурмир — вьются, как в давнину́.

Из цыплят моих уж несушки. Петухов — в морозильник, четверо нынче. И несушек шесть. Окупятся ль — вечная присказка. Про меня окупятся — пережитым. Ох, эти цыплята, на руку возьми — как ухватятся доверчиво лапками махонькими! Наседка — все у нее по часам. Двадцать одни сутки чад из скорлупки высиживает. А как яйцо на всклёве — коль днем — только следить поспевай: минутка-другая, и кучка мокрых писклявых бедняжек — пушистые тебе, живые — ожившие гнезда пасхальные.

Бергер одарил дивным платьем. Искрасна-синее, с блестками у ворота, сборками по груди. Не признаю своего лица — волосы гладко зачесаны, стянуты на затылке — кудрей не кручу.

— У меня другая жена,— Бергер высказался,— красивей прежней.

Сроду бодрей, здоровей не бывала, а Бергеру разъясняй: не игрушка я на елку рождественскую! Ну можно ль со мной осторожничать так!

1951

По первозимью мне уж не крутиться. «Он» всему помехой. За ткацким станком нам вдвоем ну никак. Прясть еще пряду, да шерсть — на стуле рядком.

Две мили до больницы, до последнего не берут. Боязно не рожать — две мили в машине со схватками трястись. Женщины, случается, в машине рожают, в лодке. Наладилась дома. Под конец февраля, к началу марта — по насту. «Подна́стит» с ребенком, балагурит отец.

Поровняла садовые дорожки, с граблями прошлась — еще до снега. Ох, эти взгляды — отец, Бергер стерегут, Енс в испуге таращится, Рённе с Педером озирают. Ну весь свет глаз с меня не спускает — злоумыслие какое удумала. В мирке моем нынче один разумный человек — мать. Работу оставила, домой перебралась. Над другими знай посмеивается.

— В памяти, как Мохнашка ожеребилась?

Еще бы. Ходила под плугом до завтрака. Стал отец подгонять — при ограде улеглась.

— Не время ж, не время,— испугался отец. Неужто заездил кобылу, горемыка? А жеребенок, будто из рук мыло, выскользнул. Мохнашка себе траву пожевывала — не прервалась. И кто б сказал — недоносок.

— По-твоему, натуга не беда?

— Не надрывайся. Знай меру.

Бергер освободится — идет со мной погулять. На лыжах бы — не про меня теперь лыжи.

— Тяжела, упади — не подниму и я!

Что правда, то правда. Пройдемся, за милую душу. От нас к Велтму. Иль на сетер — и зимой не пустует. Овцы по погоде без присмотра приноровились. В мороз Бергер загоняет их, воду длинной кишкой подает. А берет воду из диво-ключа: сокрыт местами, местами по верху бежит — и нынче. Долгих, сильных холодов надобно, чтоб замерз.

Говорим про овец: ждать ли рыженького ягненка весной. Про Донну говорим. Донна-то жереба от производителя премированного! Слово новое объявилось — «искусственное осеменение». У Бергера надежды на Донну с потомством.

Только фру Браттос и держит мою сторону: рожать дома. Изведала, каково в больнице: одинёшенька, перепугана, всеми покинута, хоть туточки ангелы в белом знай порхают. Замедлит кто чуть у ее кровати, а то — мимо, мимо летят. Не по нраву им звонки частые: «В порядке, помощь понадобится — получите!»

— А положенье это жуткое на жутком этом кресле! Ни за что не соглашайся! — горячится Элин.

Вот и не поддавалась на уговоры.

Тут еще прознала из местной газеты... Бергеру швыряю:

— Читай!

Корова отелилась в фургоне по дороге с торговой фермы. Общество защиты животных протестует. Недопустимый случай.

— Ну и что? — пялится непонятливый Бергер.

— Общества защиты женщин пока не завели!

Глядел, глядел — наконец-то...

— Дома рожай, любимая, дома!

— В бабушкиной каморке...

— Не отойду ни на чуточку.

— До смерти ж напугаю криком.

— Кричи, что мочи кричи!

Не стану кричать. Начиталась: дам телу покой, расслабленье. При мне будет Бергер. Пригожий самый, самый добрый, лучший, разумный самый муж будет при мне.

Намучилась часом — не кричала. А вышло быстрей, чем акушерка настраивала.

— По рёву слыхать — мальчуган.— И словечка не добавила, сон сморил.

Ан девочка. Пробудилась я — ревмя ревет. Оголодал ребятенок.

— Девочки на рёв горазды, слышал, доводилось,— усмехнулся отец.

Новая весна явилась. Проглянула из земли синей, белой перелеской. Щечки, кулачки выкруглила на яблоньках в саду. Выткнулась зелеными без числа ландышевыми росточками. Журавли протанцевали, тетерева протоковали на Стурмире. Наведалась — за подбелом. Нигде не видала крупней, красивей тамошних колокольчиков.

На сетере ягненок-рыжак уродился. Значит, быть у нас красным овцам. Заплакала б порой от счастья. И все кругом глядят тоже счастливыми.

— Натешился нами Господь! — изрек отец.

Оно самое, натешился: дай так сделаю, этак — что выйдет? Слёзы проливали над отцом понапрасну. Задумок в голове — ткать, вязать не поспевает, мы подсобляем. И Бергер, и мать вязать выучились. Вот ткет отец саморучно. Мать получила-таки под начало дом престарелых в поселке, давно желанный. Любит дело, старики любят ее. А Бергер, Бергер-то, гордый родитель! Отнимаю прямо — Сигрид Беату испортит.

— Ага,— Бергер ехидничает,— испорчу, как же. Строптивой вырастет, сварливой, вздорной — в тебя, злюка!

Взаправду Он в небесах тешится нами, поигрывает. Верила: под чужую дудку не плясунья, а смалу извадили к спору да перекору — с кого ж спрос? Бергер — податлив. Прежде только и помыслов про деньги, нынче всё на мели — спокойнёхонек. Мяса, шерсти по сетеру бродит — на тысячи, считай, сколечко Донна принести горазда, и не сказать. Лес тоже Стурему стережет испоконь. Невелик, а в беде выручит.

Один невесело смотрит парень молодой. Братец Енс, будет, будет и на твоей улице праздник!

Нынче только и любуйся обихоженным, растущим хозяйством. Частенько на веранде вечерами посиживаем. Посиживаем, выпьем кофе, молчим. Да тут Сигрид Беата в коляске давай кулачками махать — к рёву дело. Бергер мигом вскочит, подхватит. Беседу затеет по-взрослому — никакого сюсюканья. А она глазами — на его рот, свой в улыбке растягивает: ну, передразнит! Ясно, кто ей главней, уж точно не я. Отцова дочка. Помалкиваю, пускай. Так-так, завертелась. Голод прижмет

иль еще какая надобность — мне очередь настает. Иди, сосунок, иди, моя грудь дожидается!

Думаю, на свете беды вот откуда,— люди позабыли про любовь — к земле, деревьям, камням, тварям, друг к другу.

— Всё любовь...

— Любовь?

И это Бергер — жабу, гусеницу и то с дороги уберет — не раздавили б.

— Гонятся люди за деньгами. Не труд свой любят, не землю, по какой ступают...

Одной рукой меня за плечи держит, другой — у Сигрид Беаты гладит махонькие ступни.

— Чудна́я, и мне тебя не понять?!

БЕДНЯЦКАЯ ПОВАРНЯ

Хозяйкам неимущим наставленья

Ни в коем разе не кидайте хлебные корки.

Ни в коем разе не кидайте шкурку от сала — и самую малость.

Обмылился кусок мыла до обмылка — в бутылку его, воды приналейте. Добавили обмылок — добавьте воды. Когда и взболтайте. Сгодится руки помыть, на постирушку.

Ни в коем разе не кидайте цветной пряжи острижки. Прочешите, в смеси выйдет нитка цветом, каким пожелаете.

Ни в коем разе не кидайте старые тонкие чулки. Располосовать их, съединить, смотать в клубыши — какой еще коврик прикроватный свяжете, иное что.

Ни в коем разе не кидайте обрезки. Не пойдут по малости на тканье — лоскутные вещицы, те ж коврики смастерите.

Всякие супы на дрожжах

На литр воды надобно граммов с пятьдесят дрожжей. Дать прокипеть. Присолить на вкус.

«Коричневый» луковый суп

Искрошите довольным числом перьев зеленого луку, обжарьте в толике маргарину иль какого жиру. Смешайте с двумя полной мерой столовыми ложками пшеничной муки. Залейте дрожжевым взваром. Прибавьте сахару и уксусу на вкус. Коль нету жженого сахару для «закраски», сперва чуть поджарьте муку.

Суп из цветной капусты

Мука и жир, равно как выше говорено. Кочешки цветной капусты. Дрожжевой взвар. Коль имеется, яйцо: сырое в приостуженный суп иль сваренное вгустую, рубленое — на столе. Подается и подправленным молоком.

Одинаково приготовить суп с крапивой, с тмином, лебедой, капустой кормовой и пр.

Ржаная болтушка

Затереть в кипятке ржаную муку, оставить комковатой. Мучнянку варить довольно густой, подправить молоком на вкус в тарелке.

Размазня с клецками

Замесите крутое тесто из пшеничной, овсяной иль ячменной муки. Кладите ложкой в кипящее молоко, а то — в воду с сахаром и мягким (творожным) сыром. Подсластите, присолите на вкус.

Болтушка

Простоквашу подправить овсяной мукой мелкого размолу иль овсяной крупой.

Тминная толченка

Подавите отваренную картошку, в посуду ее с толикой разогретого маргарину иль жиру, молоком прилейте, всыпьте соль и тмин, помешивайте, покуда хорошенько не прогреется. Молоком, глядите, не разжидить бы! И мясоеду, рыбоеду отменная ёжа.

С сельдереем толченка

Готовить, равно как выше говорено, да с рубленым сельдереем заместо тмина.

Брюквенная толченка

Готовится одинаково, кроме того, что брюкву отваривают к отваренной же картошке. Когда подавать на стол, маслицем задобрите.

Картошка с молоком

Вчерашнюю отваренную картошку изрежьте, обжарьте на жиру. Прилейте молоком, помешивайте, да чтоб картошку не подавить. Присолите. И без мяса, рыбы обойдетесь, а желается сала — экономии ради сколько возможно мельче изрежьте в кушанье.

Оладьи картофельные

Подавленную картошку смешайте с мукой, понаделайте лепешек (яйцо б хорошо, сахару туда). Обжарьте на маргарине и с одной и с другой стороны. Едят с вареньем.

Картофельная запеканка

Сырую картошку потрите на терке, смешайте с мукой и толикой молока, запекайте до часу на листе в духовке, разогретой в 150 градусов.

Хлебный «старец»

Черствый хлеб, корки накрошить кусочками, обжарить на жиру. Прилить молоком и еще чуток обжарить. Ёжево и сахаром посыпают.

Вафли хлебные

Черствый хлеб размочить в молоке иль воде. Всыпать муки, круто замесить. Присолить. На столе, коль желаете, масло кладите, творог.

Овощное жарево

Брюкву, свеклу, сельдерея корень и пастернак обжаривают ломтиками. Сильно прожаривать не след — положите в кипящий жир, переворачивайте. Свекла, глядите, чтоб мягкой была. Появится румяная корочка — тут с огня и снимать. Поперчить.

Жарево из картошки

Сырую картошку изрежьте тонко ломтиками. До четырех изрезанных картофелин на сковороде обжаривайте с довольной мерой разогретого жиру. Чуть присолите. Переворачивайте лопаткой. Зарумянились ломтики — в сторону. Переворачивайте по нескольку раз и откладывайте готовые: чтоб и недожаренные, да в румяной корочке. Хороша ежа без рыбы, мяса, а и сало кусочками добавляют, равно что в картошку с молоком.

Рыбная запеканка в пастернаке

С ломтиками пастернака на дне посуды, с ними ж, поджаренными поверху, запечь рыбу. Редкостного смаку кушанье.

Запеканки

Запеканки выходят из вполовину прожаренных овощей иль овощей вдобавок к салу, почкам, сердцу.

Отваренные свиные шкурки

Отваренные свиные шкурки да провернутые — гожи добавкой в мясной фарш, в картофельную запеканку, в клецки скоромные, в блины с кровью.

Грибы

Прожаривать извыкли грибы, пряностями подправлять по-всякому. Нет надобности. Самолучшего вкусу грибы — обжаренные на масле иль жире да присоленные.

Трутовик, дождевик, шампиньоны не сушат. Чтоб хранились, консервируют иль замораживают. А на то отваривают в своем соку: нагревают, покуда не пустят сок, тут соли по надобности добавить и заодно с отваром разлить в заготовленную жестяную, стеклянную посуду. Отвар для супов сгодится.

Боровик, моховик, лисичку, приболотник, подберезовик — их изрежьте, на нитку и — сушить. От мух прикройте. А приготовлять — положите на сколько-то часов в воду. Вода эта пойдет на томатный суп. Грибы поджарьте.

Пускай завсегда у вас в холодке жестянка, иная посуда припасена — жиру собирать лишки: от взвару застынь, со сковородки. Сгодится, когда жарить не на чем.

Смалец, присоленный иль чуть поперченный,— хороша маслу на хлеб замена. Также вытопки.

Коль, по счастью, скотину, кур держите, за вкус названных кушаний вам нечего беспокоиться, а за цены и подавно.

Вафли без яиц

Соберите спивки кислого молока, сливок, дайте настояться, покуда не загустеют. Приготовьте крутую смесь, добавив чуток соли, сахару и кардамону, а еще чайную ложку соды на литр молока. Разогрейте масла, а то — малость соленого жиру, что имеется. Коль жира недостача иль нету вовсе, смажьте противень свиными шкурками. Смесь умешайте круто, не растеклась бы.

Бедняцкие вафли

Размоченный хлеб, поскрёбки каш размешать густо с водой иль молоком. Всыпать ячменной муки — любой. С хорошей пшеничной мукой, сахаром, кардамоном и маслом добрить не надобно.

Окрошка

Смешайте обрезки мяса, сала иль колбасы с лишками из овощей, почистите пару картофелин, добавьте, коль имеются, одóнки подливок. Залейте мéшень взваром — дрожжевым, любым. Клецки сделайте — из яйца, трех столовых ложек молока, белой муки, соли, сахару, кардамону. Еще пяток минут проварите после, как клецки всплывут.

От переводчика

Спросите норвежца: на скольких языках говорит — он вам в шутку ответит: «На семи. Из них пять — норвежские».

Языковая ситуация в Норвегии поистине уникальна. Только официально признанных литературных языка — два: риксмол, или букмол, и лансмол, или нюнорск (так называемый «новонорвежский» и представляющий — если буквально перевести нор-

вежское landsmål — «народный», «деревенский» язык, синтез живых местных диалектов, числом более сорока).

«Поваренная книга бедняка» — это настоящее пиршество для лингвиста: все многообразие и богатство норвежских «языков» передано Остой Холт, которую отличает особый вкус к «народному» языковому пласту. Тут обилие пословиц и поговорок. Тут упоминаются предметы традиционной одежды и мебели, сырье и продукты традиционных ремесел, забытые деревенские кушанья. А «Бедняцкая поварня», несколько страничек, завершающих повествование, прямо — вещица из «бабушкиного сундука».

Повесть Осты Холт — чрезвычайно «норвежская», отсюда и сложности перевода. Часто в русском языке трудно отыскать аналогии обозначениям норвежских реалий, трудно и потому, что реалии — из утраченных.

Желание удержать «народный» дух оригинала и побудило меня в работе обращаться к «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, к «Русскому словарю языкового расширения» А. И. Солженицына.

Саму же Осту Холт для меня открыла Любовь Григорьевна Горлина, переводчик, редкий знаток норвежской литературы. За это открытие, за помощь в работе — моя искренняя ей благодарность.

ГЕНРИК ГРИНБЕРГ

Перевод с польского ТАТЬЯНЫ БЕК

Если бы не распяли...

Поэзия Генрика Гринберга насквозь пронизана лирическим волнением. За каждой строчкой «дышат почва и судьба». Впрочем, вначале необходимо несколько слов сказать о том, что́ за судьба и что́ за почва.

Г. Гринберг — польский еврей, ребенком (он родился в 1936 году) переживший ужасы немецкой оккупации. Жил, рос, любил, учился — в послевоенной Варшаве. Здесь был актером, здесь начинал писать стихи и новеллы. В 1967 году, тридцати лет от роду,— в знак протеста против антисемитизма, по-чумному вспыхнувшего в Польше, и засилья цензуры — Гринберг покинул родные пределы и эмигрировал в США, где и проживает нынче.

Филолог-русист. Автор 16 книг: поэзия, проза, эссеистика. Лауреат высоких литературных премий — и в Польше, и в других странах. Его роман «Иудейская война» переведен на многие языки мира. С недавних пор Гринберг снова печатается на родине.

Это внешняя канва его жизни. А внутренний трагизм: изгойство, невероятное давление истории на частную жизнь индивида, изгнанничество, «тоска по родине, давно разоблаченная морока»,— все это ломает и раздвигает лирические берега его поэзии, поднимая личную исповедь до э п о с а.

Библейские образы этот поэт буднично и дерзко помещает в контекст лагерной яви XX века, как бы говоря нам: вот он, апокалипсизм нашей эпохи, которая предложила методы расправы над невинным и похлеще распятья и гвоздей.

Ненависть к геноциду звучит у Гринберга то впрямую, то в рамках лирической притчи, то в причудливо-гротесковых сдвигах. Поэт знает: тоталитарное насилие на корню уничтожает личность, не дает ей воплотиться, быть, с т а т ь, лишает человека прошлого и будущего, настоящее его обращая в коллективный ад.

Возникает в лирике Гринберга и актуальный мотив исторического возмездия, когда трагедия народа гонимого и уничтожаемого неизбежно оборачивается вырождением не только для гонителей и катов, но и для безвольно равнодушных свидетелей.

В этой подборке мерцают все сокровенные «темы и вариации» Гринберга... Трагические стихи «Орфей» выдерживают сравнение с самыми пронзительными версиями вечного поэтического образа. Певец навеки и непримиримо верен загубленной еврейской девочке, обрекшей своего мистического избранника на лютое одиночество, обделенность любовью, сиротство. Жизнь э т о г о Орфея предстает в стихотворении Гринберга как страшное возмездие за человеческую историю (в данном случае за начало 40-х годов нашего столетия; недаром в сугубо поэтическую ткань вкраплены прозаически точные даты) — «Орфей» Гринберга поражает нерасторжимостью лирического чувства и гневной социальной оторопи. О подобной нерасторжимости писал Блок: «...Нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя,— они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах».

Темный отсвет изгойства лежит и на стихах Гринберга об Америке — стране, которая дала поэту приют, а затем и гражданство, и п о ч т и дом, и работу, однако осталась ч у ж о й фантастической феерией, манящей и жестокой сказкой, столь далекой от родины — изгнавшей, любимой, исконной.

...Книги Генрика Гринберга мне прислали из Америки весной 1990 года Ирина и Владимир Войновичи — они познакомились с поэтом в Вашингтоне, в «дивной, но ужасной американской сказке». Они же — завороженные поэзией Гринберга — сделали вместе с автором русские подстрочники.

© by Henryk Grynberg 1980, 1983, 1989

«Его стихи о родной Польше, о чужой Америке, о воображаемом приезде обратно,— говорит Владимир Войнович,— это, как и надлежит подлинной поэзии, стихи не только об индивидуальной судьбе автора. Это, например, и обо мне — об отнятой родине, о жизни в Германии, о возвращении в Москву. Именно глубочайшее лирическое проживание Гринбергом собственной трагедии делает ее универсальной, всечеловеческой, выражающей и чужое страдание тоже. Я бы очень хотел, чтобы стихи Генрика Гринберга стали известны в Советском Союзе».

Вот они — такие страшные и такие важные для нас сегодняшних стихи, полные страсти, боли и тяжкой, но — в е р ы.

ТАТЬЯНА БЕК

Здесь больше

Здесь больше погибло их чем на свет родилось
здесь больше оставили они чем имели при жизни
здесь из пепла и крови их больше хлеба чем успели они вкусить

Если бы не распяли I

Памяти ксёндза Ежи Попелушки[1]

Если бы не распяли
то забили бы палкой
камнем бы в воду кинули
и не знали б воскрес ли он
когда б он родился в Польше

Если бы не распяли II

Безымянного в лагере бы замучили
зашвырнули в могилу свальную
задушили бы в скотском вагоне
затолкали в горящую паклю
погубили бы в газовой камере
сожгли бы вместе с мильонами
чей пепел развеян по ветру

и никто бы не помнил
за «отсутствием доказательств»
и совсем бы трудно было поверить

---

[1] Известный правозащитник, сторонник «Солидарности», ксёндз Варшавского прихода Станислава Стопки, в 1984 г. зверски убитый сотрудниками органов внутренних дел Польши. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Орфей II

Жена моя умерла прежде
чем я на ней женился
чем я ее полюбил
чем я ее увидел
я не знаю как ее имя

знаю только что грудь ее полнилась бы любовью
по-молочному белой и чистой
что глаза ее вошли бы светом в мои ночи
что уста ее согревали бы мою душу
что руки были бы как бальзам
целебный для ран
и что без нее во тьме и холоде
я теперь истекаю кровью

не дождалась своей судьбы
своей любви
губ своих глаз и нежного тела —
не дождалась своей жизни
и умерла в году сорок первом
а может сорок втором или третьем
прежде чем начала ходить
смотреть говорить
а может и родиться-то не успела

и без нее мне в аду моем пусто при жизни
где я родился вдовым
и некуда мне приткнуться
так вот не дождалась не дожила не успела
ко мне под свадебный балдахин[1]
под которым я жду ее по сю пору

Страна где ничего не осталось

Страна где ничего не осталось
кроме прошлого
продает его оптом и в розницу
со скидкою
за бесценок
ибо страна где ничего не осталось
должна уметь торговать

а невозвратное прошлое
стоит всего дороже
его богатство
сокровенные наши обычаи
дым алтарей сожженных
четкие карты казней

для потомков
которые по счетам и вашим и нашим
будут платить сполна

---

[1] Непременный атрибут традиционного еврейского бракосочетания.

Американский дом

Сплетенный из тишины с одиночеством
он плывет сквозь ночи и дни
под высоченными дубами
по-здешнему небоскребами

желанные открывает объятья
когда я возвращаюсь
и заслоняет от чужих взглядов

Hello home I love you[1] говорю я
когда как мать он меня баюкает
перед вечным сном

под дубами высокими
по которым пробивается вверх
дикий плющ виноградный индейских душ

Франклин-Парк, Виргиния, 1987

Американская сказка

Заманила нас баба-яга
в сказочный край приключений
и откармливает
чтоб съесть

На лоне этой скотницы-людоедки
засыпаем
посреди урожайных кладбищ
сказку жизни дивную но ужасную
слушая на ночь

и молимся чтобы кто-нибудь после нас да проснулся
и слушал дальше

Древний Лос-Анджелес

Над Лос-Анджелесом древним страстно светило солнце
самолеты дарили тень
ветер подметал небеса пальмой
росли эротоманы-цветы
а в супермаркетах отоваривались
коты собаки и даже дельфины

даром кормили также
политиков адвокатов врачей
люди хворали и умирали
либо объевшись либо от страхов
(зачастую оправданных)
умерших сажали грядками
на взгорках куда никто не придет
и с легкостью забывали

---

[1] Привет тебе, дом, я люблю тебя *(англ.)*.

общались посредством экранов
и микрофонов дистанционного управленья
чувства как длинные ленты на катушки мотали
за смех платили наличными
любовь в кредит выдавали
и лишь ненависть задарма

древний Лос-Анджелес был огородом —
для овощей для людей для цветов
искусственных и настоящих
деревьев ароматов и красок
для любых мелодий и слов
и даже для разных богов

лишь одного не хватало
запретного
плода

Возвращение

Вот и вернулся а меня выходит не ждали
город вырос перерос меня вымахал
девочка состарилась
время схлынуло
улица насквозь знакомая
меня и в упор не видит
как будто в шапке я невидимке
или же после смерти вернулся

И у пляжа отшибло память
хотя он тот же
берег длиннющий
где Хласко любил валяться
эй где ты нынче Хласко фрайер
вечной молодости поэт
где ты зову я девочку
которая исчезла бесследно
пока я был в короткой отлучке
тем временем время меня ограбило
и бесчестное
прячется за чужой спиною
ибо все это короче жизни
ибо нельзя никуда вернуться не мой город
не мое время
и это не я вернулся

я умер еще при жизни

ТОМ ВУЛФ

Костры амбиций

РОМАН

Перевод с английского В. БОШНЯКА

18

ШУМАН

Толстяк Дэниэл Торрес, прокурорский помощник по работе с судом первой инстанции, вошел в кабинет Крамера, во-первых, с десятилетним сынишкой, а во-вторых — с печатью глубочайшего неудовольствия на челе. Злость, хотя и не очень резко выражавшаяся на оплывшей физиономии, была вызвана тем, что его заставили тащиться в островную цитадель субботним утром. С тех пор как Крамер видел его последний раз в зале суда, где председательствовал Ковицкий, этот пузырь распух, казалось, еще больше. На нем была клетчатая спортивная рубашка, куртка, которая никаким мыслимым образом не могла бы застегнуться на его огромном мягком брюхе, и штаны из магазина Лайнбекера для мужчин с нестандартной фигурой, что во Фреш-Медоу, причем штаны так перетягивали живот, что нижняя его часть торчала из-под ремня, как Южная Америка. «Эндокринопатия»,— мысленно поставил диагноз Крамер. Сын, наоборот, был стройный, смуглый мальчишка с тонкими чертами лица, на вид застенчивый и ранимый. В руках он держал книгу в бумажном переплете и бейсбольную перчатку. Окинув беглым скучающим взглядом помещение, он сел в кресло Джимми Коуфи и погрузился в чтение.

— Кто бы знал,— мотнув головой в сторону стадиона «Янки», проговорил Торрес,— что у команды «Янки» будет выездная игра как раз в ту самую субботу, когда мне придется переть сюда! Эти выходные я провожу с ним,— теперь он мотнул головой по направлению к сыну.— ...Обещал сводить его на игру, а бывшей жене поклялся зайти на Спрингфилдский бульвар к Килю, купить саженцев и привезти ей, только как я успею отсюда на Спрингфилдский бульвар, потом в Маспет, а после к стадиону «Ши» на игру, ума не приложу. Зачем я обещал завезти эти самые саженцы к ней домой, даже можете меня не спрашивать.— Он покачал головой.

Крамеру стало неловко перед мальчиком, который, казалось, с головой погрузился в чтение. Книга называлась «Женщина в песках». Насколько Крамер сумел разобрать, вглядевшись в обложку, автора звали Кобо Абэ. Заинтригованный и полный сочувствия, он подошел к мальчику и как можно радушнее, тоном этакого доброго дядюшки, спросил:

— Что это ты там читаешь?

Мальчик поглядел словно олень, пойманный в перекрестие прожекторов.

— Так, одну повесть,— ответил он. Вернее, ответили его губы. Глаза говорили иное: «Пожалуйста, ну пожалуйста, отпустите меня назад, в святилище моей книги».

Окончание. Начало см. в № 10.

Крамер это распознал, но он чувствовал необходимость как-то закруглить свое радушие.

— Про что она?

— Про Японию.— (С мольбой в голосе.)

— Про Японию? А что там про Японию?

— Там про человека, который провалился и не мог выбраться из песчаной ямы.— (Голос тихий-тихий, умоляющий-умоляющий.)

Судя по абстрактной обложке и мелкому шрифту, книга не была детской. У Крамера, знатока человеческих душ, сразу нарисовался образ смышленого, замкнутого мальчика, который, унаследовав эти черты еврейской половины Торреса, был, вероятнее всего, похож на мать, а от отца уже отдалился. На мгновение пришла мысль о своем собственном сынишке. Крамер попробовал себе представить, как девять или десять лет спустя ему, может быть, тоже придется тащить его в какую-нибудь из суббот сюда, на «Гибралтар». Мысль эта совершенно подавила его.

— Н-да, так что ты выяснил про мистера Обэрна, Дэнни? — спросил он Торреса.— Что там за дела насчет короля Эвергрин авеню?

— Да ну, бодяга, дерь...— Торрес резко смолк, вспомнив о мальчике.— Чепуха это все, вот что. Обэрн — ну, ты понимаешь, обыкновенный дворовый пацан. Третий раз уже за наркотики попадается. Королем Эвергрин авеню его назвал оперативник, который брал его. Это он так съязвил. Эвергрин авеню вся-то длиной в пять кварталов. Как это до Вейсса дошло, понятия не имею. Когда увидел сообщение для печати, я прямо... прямо глазам не поверил. Слава богу, никто внимания на такую чушь не обращает.— Торрес поглядел на часы.— Когда они будут здесь?

— Да должны скоро быть,— ответил Крамер.— В «Райкерс-Айленде» по субботам все замедляется. Как его умудрились изловить?

— А это вообще анекдот. На самом деле его ловили дважды, но он такой зас... такой ушлый или, наоборот, такой глупый, что я уж не знаю. Где-то с месяц назад этот сотрудник в штатском купил наркотик у Обэрна и еще у одного пацана и сказал им, что они арестованы и так далее, а Обэрн ему: «Хочешь меня забрать, так твою разэдак, тогда стреляй!» — и бежать. Я с этим сотрудником разговаривал, это сержант Иануччи. Он сказал, что если бы тот не был черным, да не в черном квартале, он пристрелил бы его или, по крайней мере, попытался. А неделю назад приводит — причем тот же самый сотрудник!

— И что ему светит, если признают виновным в распространении?

— От двух до четырех, видимо.

— О его адвокате, этом Хейдене, что-нибудь знаешь?

— Ага. Тоже черный.

— Неужто? — удивился Крамер и уже открыл было рот, чтобы продолжить: «А по разговору не скажешь»,— но сразу осекся.— Не так уж много черных в бюро бесплатной юридической помощи.

— Не скажи! Их там полно. Работать ведь где-то надо. Ты же знаешь, черным адвокатам тяжко приходится. Колледжи пооканчивали, а все дырки забиты. В центре — это вообще безнадега. Насчет того, чтобы брать черных адвокатов, все только языком треплют — если уж по правде. Вот они и идут все либо в бесплатку, либо вообще внештатными при ней отираются. Некоторым кое-какие дела, бывает, и перепадут, но все больше мелочь, уголовная шушера. А подвернется крупный оптовик, черный хитрован, ворочающий тоннами наркотиков,— этот о черном адвокате и слышать не желает. Впрочем, мелкие тоже не жаждут. Однажды я пронаблюдал в тюрьме такой случай: пришел один такой нештатник из черных и, разыскивая клиента, к которому его прикрепили, принялся выкрикивать фамилию. Ну, знаешь, в тюрьме так заведено — орать фамилии. Короче, подошел его черный подопечный к решетке, смерил взглядом с головы до ног и говорит: «Вали отсюда, так твою мать. Хочу еврея». Клянусь! Так и сказал: «Вали отсюда, так

твою мать. Хочу еврея». А Хейден, похоже, востер, хотя мы с ним не очень-то пересекались.

Торрес снова посмотрел на часы и стал глядеть в пол, куда-то в угол комнаты. Мысли его тут же унеслись за пределы помещения и вообще вон из «Гибралтара». В питомник Киля? Туда, где играют «Центровые»? В дом бывшей жены? Его сын пребывал в Японии вместе с человеком, провалившимся в песчаную яму. Один Крамер по-настоящему присутствовал в комнате. Стоял и слушал напряженную тишину, царившую в островной цитадели. Только бы этот тип, Обэрн, был на уровне, только бы это не оказался обычный безмозглый игрок, который пытается каждого встречного впутать в свои глупые игры, пытается обхитрить весь мир и взывает теперь, кричит в пустоту из-за железной решетки...

Вскоре в коридоре за дверью послышались шаги. Крамер отворил дверь, за ней стояли Мартин и Гольдберг, а между ними здоровенный молодой негр в шерстяном свитерке с высоким воротом; негр стоял, держа руки за спиной. Замыкал процессию коренастый темнокожий мужчина в светло-сером костюме. Не иначе как Сесил Хейден.

Даже со скованными за спиной руками Роланд Обэрн умудрялся сохранять вихляющую сутенерскую походочку. Ростом не выше пяти футов и семи-восьми дюймов, но мускулист на редкость. Грудные, дельтовидные и трапециевидные мышцы бугрятся. Крамер, жертва гиподинамии, почувствовал укол зависти. Причем сказать, что парень сознавал, как он мощно скроен, значило бы ничего не сказать. Свитерок облегал его торс как вторая кожа. На шее — золотая цепочка. К этому — черные штаны в обтяжку и белые кроссовки «Рибок», новенькие, будто прямо из магазина. Коричневое широкое лицо — жесткое и бесстрастное. Волосы коротко подстрижены, на верхней губе тонкая полоска усиков.

Крамер удивился, зачем Мартин сцепил парню руки наручниками за спиной. Это гораздо унизительнее, чем когда они скованы спереди. Человек чувствует себя более беззащитным и уязвимым. Он *физически* ощущает опасность падения. Ведь так если падаешь, то во весь рост, и даже голову не защитить. А поскольку они хотят, чтобы Роланд Обэрн с ними сотрудничал, то, на взгляд Крамера, Мартину стоило бы облегчить человеку жизнь — или он действительно считает, что этот накачанный бугай может удариться в бега? Или Мартин вообще не признает поблажек ни для кого?

Процессия втянулась в комнату, где сразу стало тесно. Неловкое шарканье приветствий. Торрес, государственный обвинитель подозреваемого по делу о распространении наркотиков, знал Сесила Хейдена, но не был знаком ни с Мартином, ни с Гольдбергом, ни с самим подозреваемым. Хейден не знал Крамера, а Крамер не знал арестанта, которого, кстати, неясно было, как называть. Настоящим его статусом было — мелкий правонарушитель, арестованный за наркотики, но в данный момент это гражданин, который по собственной воле обратился к властям с предложением своей помощи в расследовании тяжкого преступления. Проблему адресации Мартин разрешил тем, что стал обращаться к Роланду Обэрну нарочито скучающим тоном, именуя его при этом просто Роланд.

— О'кей, Роланд, сейчас посмотрим. Куда бы это нам тебя определить? — и принялся оглядывать комнату, как попало заставленную обшарпанной мебелью. Обычный способ, которым пользуются, когда хотят лишить заключенного последних притязаний на значительность, достоинство и социальную обособленность, за которые он, быть может, все еще пытается цепляться. Дескать, как миленький пойдешь туда, куда мне, следователю Мартину, заблагорассудится. Мартин постоял, посмотрел на Крамера, потом с сомнением глянул на сына Торреса. Было ясно, что он не считает присутствие мальчика в комнате желательным. Свою книжку мальчик уже не читал. Съежившись на стуле, он низко

опустил голову и смотрел исподлобья. Он сделался как бы меньше. Но остались глаза, огромные, неотрывно глядящие на Роланда Обэрна.

— Дэн,— обратился Крамер к Торресу,— я думаю, нам может понадобиться тот стул...— Он глянул в сторону сына Торреса.— Может быть, он там посидит, в кабинете Берни Фицгиббона? Там сейчас нет никого.

— Да-да, Ури,— отозвался Торрес,— будь добр, посиди там, пока мы закончим.— Крамер слегка опешил: неужто Торрес и впрямь назвал сына Урией! Надо же: Урия Торрес.

Не проронив ни слова, мальчик встал, взял свою книжку и бейсбольную перчатку и направился к двери в кабинет Берни Фицгиббона, но все же не удержался и бросил последний взгляд на закованного в наручники негра. Роланд Обэрн встретил его взгляд совершенно равнодушно. По возрасту он был ближе к сыну Торреса, чем к Крамеру. Несмотря на всю свою мускулатуру, он ведь и сам еще мальчишка.

— О'кей, Роланд,— заговорил Мартин.— Сниму, что ль, с тебя эти штуковины, а ты сядешь вон на то кресло и будешь пай-мальчиком, ладно?

Роланд Обэрн ничего не ответил, лишь повернулся спиной к Мартину, чтобы тот смог отомкнуть наручники.

— Ну, Марти, о чем речь! — пробасил Сесил Хейден.— Мой клиент сейчас здесь потому, что хочет выйти из этого здания спокойно и не оглядываясь.

Крамер ушам своим не поверил. Хейден уже запросто называет добермана ирландца «Марти», а ведь они только что познакомились. Хейден был из этаких кругленьких живчиков, распространяющих вокруг себя атмосферу такого радушия и доверительности, что обидеться на него можно было разве что находясь в ужасно скверном настроении. В данный момент он демонстрировал довольно сложный трюк: показывал клиенту, что готов защищать его права и достоинство, не вызывая при этом злости у мусоро́в ирландцев.

Роланд Обэрн сел и принялся было растирать себе запястья, но тут же перестал. Не желал, чтобы Мартин и Гольдберг порадовались тому, что наручники причинили ему боль. Гольдберг тем временем обошел кресло сзади и взгромоздился на край стола Рэя Андриутти. В руках у него был блокнот и шариковая ручка, чтобы делать заметки во время беседы. Мартин обошел стол Джимми Коуфи с другой стороны и тоже уселся на край. Заключенный теперь был между ними, и, чтобы взглянуть кому-либо из них в лицо, ему приходилось оборачиваться. Торрес сел в кресло Рэя Андриутти, Хейден — на место Крамера, а Крамер, главный распорядитель всего шоу, остался стоять. Роланд Обэрн сидел теперь в кресле Джимми Коуфи, расставив колени и положив руки на подлокотники; при этом он похрустывал костяшками пальцев, глядя прямо на Крамера. Его лицо было маской. Он даже не мигал. Крамеру вспомнилась фраза, то и дело попадающаяся в отчетах кураторов негритянских юношей, освобожденных условно-досрочно: «недостаточно эмоционален». По-видимому, это означает, что они лишены нормальных человеческих чувств. Не ощущают вины, стыда, угрызений совести, страха, не сочувствуют другим. Но когда Крамеру выпадало самому говорить с этими ребятами, у него возникало ощущение, что дело тут в чем-то другом. Они словно задергивают занавес. Отгораживаются от всего, что происходит за невозмутимой поверхностью глаз. Не позволяют ни на восьмушку дюйма понять, что они думают о нем, о системе власти и о своей собственной жизни. И раньше и теперь Крамер задавался одним и тем же вопросом: кто эти люди? Эти люди, чьи судьбы я решаю каждый день...

Крамер взглянул на Хейдена и сказал:

— Советник!..— *Советник*. Он толком не знал, как к этому человеку обращаться. Хейден по телефону уже называл его «Ларри», прямо с первых же слов, но здесь, в этой комнате он еще никак к Крамеру не

обратился, и Крамер не хотел называть его «Сесил», боясь продемонстрировать фамильярность или неуважение к нему перед Роландом.— Советник, вы объяснили своему клиенту, для чего мы все здесь собрались, верно?

— Ну конечно,— откликнулся Хейден.— Он понимает.

Теперь Крамер поглядел на Роланда.

— Мистер Обэрн...— *Мистер Обэрн.* Мысленно Крамер попросил Мартина и Гольдберга простить его. Обычная процедура: когда прокурорский помощник допрашивает подследственного, он всегда начинает с уважительного «мистер» — просто чтобы дело сдвинулось, а уж потом, когда все пойдет нормально, можно называть его прямо по имени.— Мистер Обэрн, я думаю, вы уже знакомы с мистером Торресом. Ему как помощнику окружного прокурора поручено вести дело, в связи с которым вы арестованы и по которому обвиняетесь в распространении наркотиков. О'кей? А я веду дело Генри Лэмба. В настоящий момент мы не можем вам ничего обещать, но если вы поможете нам, мы поможем вам. Все очень просто. Но вы должны говорить правду. Абсолютную правду. В противном случае, то есть если вы будете водить всех за нос, добром это для вас не кончится. Вы меня поняли?

Роланд поглядел на своего адвоката Сесила Хейдена, и Хейден слегка кивнул, как бы говоря: «Не беспокойся, все о'кей».

Роланд обернулся к Крамеру и произнес ничего не выражающим голосом:

— Уту.

— О'кей,— сказал Крамер.— Меня интересует, что произошло с Генри Лэмбом в тот вечер, когда он получил травму. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь.

— С чего вы хотите, чтобы я начал?

— Ну... с самого начала. Как вы в тот вечер оказались вместе с Генри Лэмбом?

— Я стоял на тротуаре, собирался идти на Сто шестьдесят первую улицу, там такая закусочная есть, «Цыплята по-техасски», и тут вижу, мимо идет Генри.— Роланд замолк.

— Ну-ну, и что дальше? — подбодрил его Крамер.

— Я ему говорю: «Генри, ты куда идешь?» А он говорит: «Иду в закусочную», а я говорю: «Ну, так и я туда же». Ну, и мы пошли вместе.

— Пошли по какой улице?

— По Брукнеровскому бульвару.

— Генри это ваш закадычный друг?

Впервые Роланд обнаружил хоть какое-то чувство. Похоже, вопрос его даже позабавил. Уголок рта чуть искривился в улыбке, и он опустил взгляд, словно разговор коснулся щекотливой темы.

— Не-а, просто знакомый. Мы живем рядом.

— Вместе гуляете, да?

Снова ироническое удивление.

— Не-а, Генри вообще почти не гуляет. Он и во двор-то выходит редко.

— Ну, хорошо,— сказал Крамер,— вы вдвоем идете по Брукнеровскому бульвару в закусочную «Цыплята по-техасски». И что дальше?

— Ну, дошли до Хантс-Пойнт авеню и собрались переходить на ту сторону, чтобы идти дальше к этой самой закусочной.

— На ту сторону чего — Хантс-Пойнт авеню или Брукнеровского бульвара?

— Брукнеровского бульвара.

— Стало быть, чтобы всем было все понятно, вы на какой стороне Брукнеровского бульвара — на восточной? И собираетесь переходить на западную?

— Точно. На восточной. И переходим на западную. Я был чуть впереди, сошел на мостовую, машины пропускал, а Генри стоял вот так.— Он махнул рукой вправо.— Так что мне машины видны лучше, чем

ему, потому что они подходят оттуда.— Он махнул рукой влево.— Машины ехали все больше посередке, вроде как друг за дружкой, и вдруг вылетает этот автомобиль, хочет обогнать другие машины справа, и вижу, едет прямо на меня. Я отпрыгиваю. А Генри — он, похоже, ничего не видел, пока я не отпрыгнул, а потом слышу негромко так: «Тук!» и вижу, как Генри падает, вот таким манером.— Он произвел вращательное движение указательным пальцем.

— О'кей, что было дальше?

— Потом слышу — скрип. Этот автомобиль тормозит. Первым делом иду к Генри, а он лежит на мостовой, у поребрика, на боку, свернулся так клубком и руку вроде к себе прижимает, а я говорю: «Генри, ты ударился?» А он говорит: «По-моему, я руку сломал».

— Он не сказал, что головой ударился?

— Это он мне потом сказал. А когда я там присел над ним, он все повторял насчет руки. А потом я его повез в больницу, и он рассказал мне, что когда падал, подставил руки и упал на руку, а потом перекатился и ударился головой.

— Хорошо, вернемся к моменту, когда все это случилось. Ты находишься около Генри Лэмба на мостовой, а автомобиль, который сбил его, резко тормозит. Он остановился?

— Ага. Вижу, стоит чуть дальше на дороге.

— Насколько дальше?

— Не знаю. Может, в сотне футов. Дверца отворяется, и вылезает мужик, белый. Оглядывается. Смотрит прямо на меня и на Генри.

— А вы что делаете?

— Ну, я решил, что этот мужик — ну, в общем, что он остановился потому, что сбил Генри и собирается глянуть, чем он может помочь. А я думаю: э, да он может отвезти Генри в больницу. Встаю, иду к нему и говорю: «Э! Э! Нам нужна помощь!»

— А он что?

— Смотрит на меня, и тут с другой стороны машины открывается дверца, а там баба. Высунулась этак, почти что вылезла и тоже глядит назад. Оба смотрят на меня, а я говорю: «Э! Э! Мой приятель зашибся!»

— А в это время ты от них далеко был?

— Да не очень. Футах в пятнадцати, ну, может, в двадцати.

— Ты их ясно видел?

— Ну, прямо на меня смотрели.

— Что они делали?

— Эта баба — она так на меня смотрела! С таким видом испуганным. А потом говорит: «Шуман, поберегись!» Это она мужику своему.

— «Шуман, поберегись»? Она сказала: «Шуман»? — Крамер искоса бросил взгляд на Мартина. Мартин широко открыл глаза и надул под верхнюю губу воздуха. Голова Гольдберга была опущена, он что-то записывал.

— Ну, мне так послышалось.

— Шуман или Шерман?

— На слух вроде как Шуман.

— О'кей, что потом было?

— Та женщина — она снова запрыгнула в машину. А мужчина — он стоял позади машины, смотрел на меня. Потом женщина говорит: «Шуман, давай в машину!» Только теперь она сидела на месте водителя. А мужчина подбежал с другой стороны, где прежде она сидела, запрыгнул в машину и захлопнул дверцу.

— Значит, они теперь поменялись местами. А ты что делал? Ты был на каком от них расстоянии?

— Близко. Почти как сейчас мы с вами.

— Ты был рассержен? Кричал на них?

— Я сказал только: «Мой приятель зашибся».

— Кулаком им грозил? Или еще как-нибудь?

— Все, что я хотел, это чтобы Генри чем-нибудь помогли. Я вовсе не злой был. Я испугался — ну, насчет Генри.

— О'кей, что дальше?

— Я обежал машину, зашел спереди.

— С какой стороны?

— С какой стороны? С правой, где мужик был. Я смотрел на них прямо через лобовое стекло. Говорю им: «Э! Мой приятель зашибся!» Стою перед машиной, гляжу, а Генри уже прямо за машиной. Подошел, значит, как бы в дурмане, и руку вот так вот держит.— Роланд взял себя правой рукой за левое предплечье и поболтал кистью левой руки, как будто она у него не действует.— То есть выходит, тот мужик, он всю дорогу видел, как Генри подходит и руку вот так вот держит. Быть не может, чтобы он не знал, что Генри покалечился. Я гляжу на Генри, а тут вдруг та баба берет, мотор врубает и со свистом прочь, аж резину по асфальту размазала. Она так быстро оттуда рванула, что у того мужика голова назад дернулась. Я видел. Он глядит на меня, и вдруг у него голова — раз! — назад, и они уносятся как на ракете. Прямо вот на столечко от меня.— Сведя вместе большой и указательный пальцы, он показал насколько.— Чуть не уделали меня почище Генри.

— Ты запомнил номер машины?

— Не-а. Генри запомнил. Или там часть какую-то.

— Он тебе его сказал?

— Не-а. По-моему, он матери сказал. По телевизору про это было.

— А что это была за машина?

— «Мерседес».

— Какого цвета?

— Черного.

— А какой модели?

— Не знаю, какой модели.

— Сколько дверей?

— Две. Такая, знаете, низкая, приплюснутая. Спортивная вроде как.

Крамер опять поглядел на Мартина. И снова тот, расширив глаза, изобразил на лице: «Вот оно!»

— Ты бы узнал того мужчину, если бы увидел еще раз?

— Узнал бы.— Это Роланд произнес тоном горестной убежденности, которая явственно отдавала правдой.

— А как насчет женщины?

— Ее тоже. Нас разделяло-то ведь только стекло.

— Как женщина выглядела? Какого возраста?

— Не знаю. Белая. Не знаю, какого возраста.

— Ну, старая, молодая? К чему ближе — двадцать пять, тридцать пять, сорок пять, пятьдесят пять?

— Двадцать пять, скорее.

— Светлые волосы, темные, рыжие?

— Темные.

— Во что она была одета?

— В платье, наверное. Она была вся в синем. Я запомнил, потому что это был яркий такой, настоящий синий цвет, а платье вот с такущими плечами. Это я запомнил.

— А мужчина как выглядел?

— Высокий. На нем был костюм с галстуком.

— Костюм какого цвета?

— Не знаю. Темный костюм. Это все, что мне запомнилось.

— А он какого возраста? Моего примерно или старше? Или моложе?

— Немного постарше.

— И ты бы узнал его, если бы снова увидел?

— Узнал бы.

— Так, Роланд, я тебе сейчас покажу кое-какие фотографии, а ты мне скажешь, если кто-нибудь на них будет тебе знаком. О'кей?

— Угу.

Крамер подошел к своему столу, за которым сидел Хейден, и со словами «Простите, одну секундочку» выдвинул ящик. Склоняясь над ним, он на мгновение посмотрел на Хейдена и легонько кивнул, как бы говоря: «Срабатывает». Из ящика он вынул пачку фотографий, которые подобрал для Вейсса Милт Лубелл. Фотографии он разложил по столу Джимми Коуфи перед Роландом Обэрном.

— Кого-нибудь из этих людей узнаёшь?

Роланд обежал глазами фотографии, и его указательный палец потянулся прямо к Шерману Мак-Кою, одетому в смокинг и ухмыляющемуся.

— Это он.

— Откуда ты взял, что это тот самый мужик?

— Это *он*. Я *узнал* его. Его подбородок. У того мужика был здоровый такой подбородок.

Крамер поглядел на Мартина, потом на Гольдберга. Гольдберг чуть заметно улыбался.

— А женщина на фотографии — та, что рядом с ним? Это та, которая была в машине?

— Не-а. Та была моложе, волосы у ней темнее, и еще она, ну, что ли, такая клевая: более шлюшистая, что ли.

— Клевая?

Губы Роланда вновь тронула улыбка, но он согнал ее.

— Ну, понимаете, этакая, что называется, штучка с ручкой.

Крамер позволил себе улыбнуться и хмыкнуть. Это дало ему возможность чуть приспустить пары восторга, который начинал уже распирать его.

— Штучка с ручкой, говоришь? О'кей, штучка с ручкой. Ладно. Стало быть, они покинули место происшествия. Что ты потом делал?

— А что я особо мог делать? Генри стоит вот так вот — руку свою держит. Запястье прямо на сторону вывернуто. Ну, я и говорю: «Генри, надо бы тебе в больницу», а он говорит, что не хочет он в больницу, он домой хочет. Ну, мы и пошли обратно по Брукнеровскому бульвару в свой квартал.

— Погоди-ка,— перебил его Крамер.— Кто-нибудь видел, как все это произошло? Люди на тротуаре были?

— Не знаю.

— И машина никакая не остановилась?

— Не-а. Наверно, если бы Генри — ну, если бы он долго там лежал, может, кто-нибудь и остановился бы. А так — нет.

— Значит, теперь вы идете по Брукнеровскому бульвару в свою новостройку.

— Точно. А Генри — он всю дорогу стонет, и вид у него такой, будто того и гляди вырубится, и я говорю: «Генри, надо бы тебе в больницу». Так что пошли мы с ним назад к Хантс-Пойнт авеню, перешли к Сто шестьдесят первой улице — туда, где станция метро, а я гляжу — там это такси стоит, моего приятеля Брилла.

— Брилла?

— Это такой парень есть, у него два такси.

— И он отвез вас в клинику Линкольна?

— Да нет, этот отвез — Кочан-Курчан, он вез. Это один из шоферов Брилла.

— Кочан-Курчан. Это что у него — фамилия такая или это кличка?

— Не знаю. Его все так зовут — Кочан-Курчан.

— И он отвез вас обоих в клинику.

— Точно.

— В каком состоянии был Генри по дороге в клинику? Это тогда он тебе сказал, что ударился головой?

— Точно, но он все больше талдычил про свою руку. А у руки и впрямь вид был поганый.

— Он говорил связно? Как, по-твоему, нормально у него было с мозгами?

— Ну, я ж говорю, он все стонал и говорил, как у него рука болит. Но соображать соображал. Понимал, где мы, что́, куда.

— Когда приехали в клинику, что ты делал?

— Ну, вышли, я дошел вместе с Генри до двери, где травмопункт, и он вошел туда.

— И ты с ним?

— Не, я сел обратно в машину с Кочан-Курчаном и уехал.

— С Генри не остался?

— Я решил, что больше ничем ему все равно уже не помогу.— Роланд украдкой метнул взгляд на Хейдена.

— А как Генри добирался до дому из клиники?

— Не знаю.

Крамер помолчал.

— Ладно, Роланд, ты мне вот еще что скажи. Почему ты раньше-то не пришел к нам с этим? Я к тому, что вот вы с приятелем, или с соседом по меньшей мере — все-таки вы, считай, в одном дворе жили,— вляпались в такую переделку, его сбили, с места происшествия удрали, все на твоих глазах, об этом и по телевизору, и в газетах во всех до одной, а ты сидишь до сих пор, как воды в рот набрал. Как это надо понимать?

Роланд поглядел на Хейдена, который ему кивнул, дескать, давай, и ответил:

— Меня полиция разыскивала.

Заговорил Хейден:

— На него был ордер за систематическое распространение, хранение больших количеств, сопротивление при задержании и еще кое-что — по всем тем пунктам, которые ему как раз и вменяются.

Крамер — Роланду:

— Стало быть, в целях самозащиты. Ты утаивал информацию, чтобы избежать столкновения с полицейскими.

— Точно.

От радости у Крамера голова шла кругом. Он уже видел, как все становится на свои места. Этот Роланд, конечно, не подарок, но ему смело можно верить. Вытряхнуть бы его только из этого культуристского свитерка и кроссовок! Ногу ему сломать, чтобы исчезла эта сутенерская раззалочка! Похоронить поглубже все, что связано с «королем крэка с Эвергрин авеню»! А то присяжным не очень-то понравится, если свидетелем на суде будет выступать отъявленный преступник, которому за его показания уголовное преследование заменят административным. Но ведь его только помыть и причесать — больше-то ничего и не потребуется! Крамер вдруг разом увидел... *рисунок*...

Роланду:

— А ты мне говоришь всю правду?

— Угу.

— Ничего не добавляешь и ничего не утаиваешь?

— Угу.

Крамер подошел к столу Джимми Коуфи, встал рядом с Роландом и собрал фотографии. Потом повернулся к Сесилу Хейдену.

— Советник,— сказал он.— Мне надо обговорить это со своим начальством. Но, если я не ошибаюсь, мы, кажется, столкуемся.

И вновь он увидел его, даже не закончив еще говорить... *рисунок*... судебного художника... Помощник окружного прокурора Лоренс Н. Крамер... во весь рост... его палец воздет... массивные грудинно-ключично-сосцевидные мышцы бугрятся... Вот только как художник обойдется с его теменем, где так мало осталось волос? Что ж, если художник изо-

бразит как следует его мощный торс, на остальное не обратят внимания. Смелость и красноречие... вот что все увидят. Увидит весь огромный Нью-Йорк. Увидит мисс Шелли Томас.

19

ОСЛИНАЯ ВЗАИМОВЫРУЧКА

В понедельник утром Крамера и Берни Фицгиббона сразу же вызвал к себе Эйб Вейсс. Милт Лубелл тоже присутствовал. Крамер почувствовал, что его статус за выходные повысился. Теперь Вейсс называл его не Крамером, а Ларри, и не адресовался с каждым замечанием по поводу дела Лэмба к Берни, словно он, Крамер, служит у Берни всего лишь ординарцем.

Правда, Вейсс все же смотрел на Берни, когда сказал:

— Если есть хоть какая-то возможность, я бы хотел прекратить проволочки с этим делом. У нас достаточно оснований, чтобы задержать этого Мак-Коя или нет?

— Достаточно, Эйб,— ответил Фицгиббон,— но мне не все в этом деле нравится. У нас есть этот тип Обэрн, он узнал в Мак-Кое того мужика, который вел машину, сбившую Лэмба, и у нас есть сторож из гаража, он говорит, что Мак-Кой брал оттуда машину как раз в то время, когда это случилось, а еще Мартин и Гольдберг нашли владельца такси, Брилла, который подтверждает, что Обэрн в тот вечер действительно нанимал одну из его машин. Однако они не нашли водителя, этого Кочан-Курчана (он возвел глаза к небу и с шумом всосал воздух, как бы говоря: «Ну и народ, ну и имена!»),— а мне кажется, надо бы сперва поговорить именно с ним.

— Зачем? — удивился Вейсс.

— Затем, что некоторые моменты не шибко стыкуются, а этот распространитель наркотиков Обэрн — та еще падла. Все-таки мне хотелось бы знать, почему Лэмб не сказал, что его сбило машиной, сразу же, как попал в клинику. Мне хотелось бы знать, что происходило в этом такси и действительно ли в больницу пацана отвез Обэрн. Об этом Обэрне тоже хотелось бы узнать побольше. Понимаете, как-то не похожи они на приятелей, которые вдвоем ходят закусывать цыплятами по-техасски. Лэмб, на мой взгляд, пацан довольно безобидный, а вот Обэрн жулик.

Крамер почувствовал, как странное волнение вздымается у него в груди. Ему захотелось отстоять честь Роланда Обэрна. Да! Защитить его!

Вейсс отстраняюще махнул ладонью.

— Вислые концы — вот что это, по-моему, Берни. Не понимаю, почему бы нам не задержать Мак-Коя: все бы с ним оформили, а после уже связали бы концы с концами. Все считают возню с расследованием, которое якобы ведется, просто тактикой проволочек.

— Лишняя пара дней погоды не сделает, Эйб. Мак-Кой от нас не уйдет, а уж Обэрн и подавно никуда не денется.

Уловив паузу, ободренный своим новым статусом, в разговор тут же вклинился Крамер:

— Не все тут так просто, Берни. Это верно, что Обэрн никуда от нас не денется, но, по-моему, его надо использовать быстро. Он, вероятно, думает, что его вот-вот отпустят под залог. Его надо поставить перед присяжными как можно скорее, если мы хотим, чтобы из этого вышел толк.

— Не беспокойся,— проговорил Фицгиббон.— Большим умником его не назовешь, но он понимает, что перед ним выбор: либо три года тюрьмы, либо ни одного. Не станет он играть с нами в молчанку.

— Это мы такое соглашение заключили? — спросил Вейсс.— Обэрн выйдет сухим из воды?

— Все идет к тому. Придется нам дело закрыть и свести все к мелкому правонарушению: хранение в малых количествах, однократная продажа.

— Черт! — буркнул Вейсс.— С этим сукиным сыном не надо бы так торопиться. Не люблю закрывать дела, по которым уже высказалось большое жюри.

— Эйб,— улыбнувшись, проговорил Фицгиббон,— ведь это ваши слова, не мои! Все, что я говорю, это давайте работать чуть медленнее. Я бы куда лучше себя чувствовал, если бы мы могли чем-нибудь еще подкрепить его слова.

Крамера так и распирало:

— Не знаю, не знаю, у него очень крепкие показания. Он сообщил мне вещи, которых не мог знать, если его там не было. Знал цвет машины, количество дверей, указал, что это спортивная модель. Знал, как Мак-Коя зовут. Ему послышалось *Шуман,* но, вы ж понимаете, это так близко. Не могло же все это ему пригрезиться.

— Я не говорю, что его там не было, Ларри, и не говорю, что он нам не пригодится. Он пригодится нам. Я говорю только, что он скользкий тип и надо быть настороже.

Скользкий тип? Это он о *моем свидетеле?*

— Не знаю, Берни,— проговорил Крамер.— Из того, что мне пока удалось выяснить, получается, что он не такой уж плохой пацан. Я запросил отчет его куратора по условно-досрочному. Гением его не назовешь, но ведь рядом с ним никогда не было человека, который заставил бы его шевелить мозгами. Он безработный в третьем поколении; когда он родился, матери было пятнадцать, кроме него у нее еще двое, и все от разных отцов, а сейчас она живет с одним из приятелей Роланда, двадцатилетним парнем, всего на год его старше. Он так прямо у них и поселился, вместе с Роландом и одним из двух других ее детей. Я это к тому, что — Бог мой! — вы только представьте! На его месте я бы, наверное, еще хуже скурвился. Сомневаюсь, чтобы у него хоть один из родственников жил не в новостройке.

Берни Фицгиббон смотрел на него и улыбался. Крамера это смущало, но он продолжал гнуть свое.

— Кроме того, в нем обнаружилось что-то вроде таланта. Его куратор по условно-досрочному показал мне несколько сделанных им картинок. Между прочим, действительно интересные. Это... как же это называется?..

— Коллажи? — подсказал Фицгиббон.

— Вот-вот! — обрадовался Крамер.— Коллажи, там еще такие серебряные...

— Мятая алюминиевая фольга вместо неба?

— Именно! Ты их видел? Где ты их видел?

— Тех, что делал Обэрн, я не видел, но вообще я их насмотрелся. Типичное тюремное творчество.

— Это в каком же смысле?

— Да всю дорогу попадается. В тюрьме они и картинки делают, и фигурки — такие, знаешь, вроде как из мультфильмов. А для фона присобачивают мятую фольгу от конфет.

— Смотри-ка...

— Я этого мусора насмотрелся. Каждый год двое-трое адвокатов притаскивают мне эти алюминиевые картинки, убеждая, что у меня за решеткой томится Микеланджело.

— Это я, конечно, понимаю,— отозвался Крамер.— Но у нашего пацана, я бы сказал, все-таки настоящий талант.

Фицгиббон ничего не ответил. Только улыбнулся. И тут Крамер понял, к чему все эти его улыбочки. Берни решил, что он изо всех сил отбеливает свидетеля. О подобных вещах Крамер и сам знал, но тут — тут все по-другому! Отбеливание свидетеля — обычное у обвинителей психологическое явление. В уголовном деле твой основной свидетель ча-

ше всего варился в том же соку, что и обвиняемый, и к тому же сам может иметь кучу судимостей. Трудно ожидать, чтобы он оказался столпом общества, но он у тебя единственный и неповторимый, он свидетель, на которого опирается все обвинение. И тут возникает непреодолимое желание отбелить его, наделить сиянием правды и достоверности. Причем не только для того, чтобы улучшить его репутацию в глазах судьи и присяжных. Больше всего тянет почистить его *для самого себя*. Необходимо верить, что дело, которое ты делаешь с ним заодно (то есть вы на пару загоняете другого человека в тюрьму), делается не просто ловко и профессионально, но и справедливо. Этот червь, микроб, подонок, этот только что выкопанный из кучи навозный жук теперь твой товарищ, твоя главная опора в битве добра со злом, и *тебе самому* необходимо верить, что существует некое сияние, окружающее этот... организм, это существо, которое только что было последней скотиной, а теперь стало оклеветанным и непонятым юношей.

Он все это хорошо знал, но Роланд Обэрн — это ведь другое дело!

— Ладно,— сказал Эйб Вейсс, прерывая искусствоведческие дебаты еще одним движением ладони.— Это не важно. Я должен принять решение, и я его принимаю. У нас на руках достаточно. Мак-Коя забираем. Завтра с утра его задерживаем и даем сообщение в прессу. Вторник удобный день?

Задавая этот вопрос, он смотрел на Милта Лубелла. Лубелл с умным видом кивнул.

— Лучше всего вторник и среда. Вторник и среда,— Лубелл повернулся к Берни Фицгиббону: — Понедельники не годятся. По понедельникам люди если что и читают, так только про спорт, а вечером смотрят футбол по телевизору.

Но Фицгиббон смотрел на Вейсса. В конце концов он пожал плечами и проговорил:

— О'кей, Эйб. Я переживу. Но если мы наметили это на завтра, пойду; пожалуй, позвоню Томми Киллиану прямо сейчас, пока он не ушел в суд, чтобы клиент у него был наготове.

Вейсс жестом показал ему на стойку с телефоном в дальнем углу комнаты, позади стола для совещаний, и Фицгиббон направился туда. Пока Фицгиббон говорил по телефону, Вейсс спросил Лубелла:

— Где фотографии, Милт?

Милт Лубелл покопался в куче бумаг, лежавших у него на коленях, извлек оттуда несколько журнальных страничек и вручил их Вейссу.

— Это как журнал-то называется, Милт?

— «Архитектурное обозрение».

— Вот, взгляните.— И тут — надо же! — Крамер увидел, как Вейсс тянется через стол, чтобы передать странички ему. Он почувствовал себя донельзя польщенным. Стал разглядывать снимки... Шелковистейшая в мире бумага, роскошные цветные фотографии с деталями, проработанными так резко, что хотелось сморгнуть... Квартира Мак-Коя... Море мрамора, потом огромная дугообразная лестница с перилами темного дерева... Темное дерево повсюду, а вот резной столик, и на нем цветы в огромной вазе — целый грузовик цветов... Тот самый холл, о котором рассказывал Мартин. Такой огромный, что в нем, казалось, с легкостью уместились бы три 888-долларовые ячейки крамеровского термитника, и это один только холл. Еще комната... снова темное дерево... Должно быть, гостиная... Такая просторная, что тяжелая мебель стоит тремя или четырьмя отдельными группами... комната, войдя в которую невольно понижаешь голос до шепота... Другая фотография: крупным планом какая-то резная деревянная панель глянцевитого красно-коричневого дерева... множество фигурок в костюмах и шляпах — шагают навстречу друг другу на фоне фасадов зданий... И вот опять Вейсс тянется через стол, показывая на фото.

— Там этого до хрена,— сказал он.— «Уолл-стрит» называется, автор — какой-то Винг-Вонг или как там его, к дьяволу, фамилия. «Рез-

чик по дереву из Гонконга». Такая там, кажется, подпись? Это у них на стене в библиотеке. Неплохо.

Теперь Крамер своими глазами увидел то, о чем рассказывал Мартин. Библиотека... Ох уж эти БАСПы... Тридцать восемь лет... Всего на шесть лет старше Крамера... Все эти деньги они получили в наследство и живут теперь как в сказке. Что ж, этот конкретный их представитель скоро столкнется с реальным миром.

Фицгиббон вернулся из дальнего угла комнаты.

— Поговорили с Томми? — спросил Вейсс.

— Ага. Клиент будет к нашим услугам.

— Вон, полюбуйтесь.— Вейсс показал рукой на журнальные страницы. Крамер подал их Фицгиббону.— Квартира Мак-Коев,— пояснил Вейсс.

Фицгиббон мельком взглянул на фотографии и отдал их обратно Крамеру.

— Вы видели что-нибудь подобное? — спросил Вейсс.— Дизайн его собственной жены. Правильно я излагаю, Милт?

— Ага, она из тех светских дам, что друг дружке квартиры декорируют,— сказал Лубелл.— Одни богатые тетки украшают жилье другим богатым теткам. Про них то и дело пишут в журнале «Нью-Йорк».

Вейсс неотрывно смотрел на Фицгиббона, но тот молчал. Тогда Вейсс расширил глаза с таким видом, будто на него снизошло откровение:

— Вы только представьте, Берни.

— Что представить?

— В общем, мне это видится уже довольно ясно,— проговорил Вейсс.— По-моему, неплохая идея насчет того, чтобы прекратить весь этот понос про «белое правосудие», «Йоханнесбронкс» и прочее дерьмо: надо арестовать его прямо в квартире. Чертовски здорово получится. Хочешь показать людям этого округа, что закон не взирает на личности,— арестуй мужика с Парк авеню точно так же, как арестовал бы какого-нибудь Хосе Гарсиа или Тайрона Смита. За ними ведь идешь прямо в их гребучее логово, верно?

— Ага,— подтвердил Фицгиббон,— потому что иначе их вообще не возьмешь.

— Это вы бросьте. Мы все в ответе перед народом округа. Наше ведомство представляется им в очень дурном свете, а так мы сразу положим этому конец.

— Не слишком ли круто — брать человека в его собственном доме, только чтобы предстать в нужном свете?

— Арест — это арест, и приятного в нем ничего нет при любом раскладе, Берни.

— Н-да, только мы этого сделать не можем,— сказал Фицгиббон.

— Почему?

— Потому что я только что сказал Томми, что так мы действовать не станем. Я сказал ему, что он сам сдаст нам Мак-Коя с рук на руки.

— Вы уж простите, Берни, но этого делать не следовало. Мы никому не можем гарантировать особого отношения к его клиенту. Вы знаете это.

— Я этого не знаю, Эйб. Я дал ему слово.

Крамер взглянул на Вейсса. Крамер понял: «осел» уперся, но понял ли это Вейсс? Видимо, нет.

— Слушайте, Берни, вы просто скажете Томми, что я приказал вам, о'кей? Валите все на меня. Пускай на меня злится. С Томми мы что-нибудь придумаем.

— Отклоняется,— произнес Фицгиббон.— Никто на вас злиться не будет, Эйб, потому что этого не произойдет. Я дал Томми слово. Это контракт.

— Н-да... слушайте, но ведь приходится же иногда...

— Амба, Эйб, это контракт.

Крамер не спускал глаз с Вейсса. Со второго раза слово *контракт* дошло до него. Это Крамер заметил. Вейсс как на стенку налетел. Он понял, наконец, что столкнулся с кодексом взаимовыручки упрямых ирландцев. Мысленно Крамер просил Вейсса смять, растоптать подчиненного. Проклятые «ослы» с их взаимовыручкой! Бесстыдство какое! Почему он, Крамер, должен страдать ради братской солидарности ирландцев? Широко разрекламированный прессой арест этого уолл-стритского финансиста в собственной квартире — блестящая же находка! Абсолютная и бесспорная демонстрация беспристрастности правосудия в Бронксе! Помощник окружного прокурора Лоренс Крамер — и статьи в «Таймс», «Ньюс», «Пост», «Сити лайт», передачи по Первому каналу телевидения... да что там — все скоро запомнят его фамилию наизусть. Зачем Эйбу Вейссу поддаваться, плясать под дудочку красноорожих ирландцев? И все-таки он знал, что Эйб поддастся. Видел это по его лицу. Дело тут даже не в твердокаменном ирландском упрямстве, нет. Все уперлось в слово *контракт*. Оно отзывалось в сердце каждого, кто посвятил жизнь этой службе. Все векселя «Банка Взаимных Услуг» должны быть погашены. Таков незыблемый закон системы уголовной юстиции, а Эйб Вейсс всего лишь порождение этой системы.

— Ну вас к черту, Берни,— поморщился Вейсс,— на кой вам это надо? Вот ведь еще, гос-поди боже мой...

Согласие на ничью было получено.

— Поверьте, Эйб, так вы лучше сохраните лицо. Никто не сможет сказать, что вы потакаете толпе.

— Гмммммм. Что ж, ладно, но в следующий раз свои договоренности согласуйте сперва со мной.

Берни молча поглядел на него, но своей едва заметной улыбкой он словно повторил еще раз: «Амба!»

[...]

22

ПЕНОПЛАСТОВЫЕ ШАРИКИ

Шерман повернулся на левый бок, но вскоре у него заболело левое колено, как бы оттого, что вес правой ноги перекрывал кровоток. Сердце билось, пожалуй, чересчур часто. Он повернулся на правый бок. Каким-то образом под правой щекой оказался правый кулак. Будто это нужно, чтобы подпереть голову, будто подушки мало, но это полная чушь, да и вообще, как можно заснуть, подпирая голову кулаком? Пожалуй, бьется чуть-чуть слишком часто, вот и все... Вскачь не несется, нет... Он опять перевернулся на левый бок, потом лег ничком, но от этого напряглась поясница, и он вновь повернулся на правый бок. Обычно он спал на правом боку. Сердце забилось чаще. Но оно бьется ровно. Оно его еще слушается.

Он подавлял в себе искушение открыть глаза и проверить, много ли света пробивается из-под плотных штор. К утру полоска постепенно светлеет, так что в это время года можно различить, пять тридцать сейчас или уже к шести. А вдруг она уже светлеет?! Нет, не может быть. Вряд ли сейчас больше трех часов, максимум три тридцать. Но он мог, сам того не заметив, заснуть на часок-другой! И тогда, если светлая полоска...

Дольше сопротивляться не было сил. Открыл глаза. Слава Богу, еще темно, он еще в безопасности.

И тут... сердце куда-то рванулось. Принялось колотиться с пугающей частотой и страшной силой, пытаясь вырваться из грудной клетки. Все тело от этого сотрясалось. Какая разница, есть у него еще несколько часов полежать тут, корчась на постели, или утренний жар уже пробивается из-под штор и время пришло.

Меня повезут в тюрьму.

Лежа с бьющимся сердцем и открытыми глазами, он очень остро ощущал свое одиночество на широкой кровати. Шелковые воланы свисали по всем четырем углам балдахина. Шелк стоил больше ста двадцати пяти долларов за ярд. Таково было дизайнерское представление Джуди о королевском ложе восемнадцатого века. *Королевском!* Что это, как не насмешка над ним, превратившимся во вздрагивающий ком плоти и страха, который глубокой ночью ежится и не может найти себе места в постели!

Меня повезут в тюрьму.

Если бы Джуди лежала рядом, если бы она не ушла спать в комнату для гостей, он охватил бы ее обеими руками и прижался к ней изо всех сил. Как он соскучился по самой возможности обнять ее...

И тут же, на следующем выдохе: *Но что с этого было бы проку?* Никакого проку совершенно. От этого он стал бы чувствовать себя еще более слабым и беспомощным. Интересно, она-то спит? Что, если взять да и войти к ней в комнату? Нередко она спала, лежа на спине, как опрокинутая статуя, как статуя... Он так и не вспомнил чья. Перед глазами желтоватый мрамор, складки покрова, окутывающего тело,— что-то очень известное, любимое и мертвое. Что ж, Кэмпбелл-то в конце коридора спит, это уж точно. За это он мог ручаться. Он уже заглядывал к ней в комнату, с минуту смотрел на нее, словно видит ее в последний раз. Она спала, слегка приоткрыв рот, душой и телом доверившись покою и безопасности родительского дома. Она заснула почти сразу. Ничто из того, что он сказал ей, реально не существовало... *арест... газеты...* «Ты попадешь в историю?»... Эх, знать бы, что она про все это думает! Возможно, дети постигают жизнь не только теми путями, о которых мы знаем, а еще и по интонации голоса, по выражению лица... Но Кэмпбелл, похоже, поняла лишь, что произойдет нечто печальное и волнующее и что ее отцу плохо. Полная отделенность от внешнего мира... в лоне семьи... всего в двух шагах по коридору... Ради нее надо собраться с силами. И на какое-то время ему это удалось. Сердце замедлилось. Тело вновь начало повиноваться. Ради нее он будет сильным, если уж больше не для кого. *Я мужчина.* Когда приходилось сражаться, он сражался. Он сражался там, в джунглях Бронкса, и он победил. Жуткий момент, когда он швырнул покрышку в того... громилу... А другой громила распростерт на мостовой... *Генри!..* Если придется, он станет сражаться снова. Но насколько это может оказаться тяжко?

Вечером, говоря с Киллианом, он все себе представил. Не будет это так уж тяжело. Киллиан объяснил все, шаг за шагом. Всего лишь формальность, неприятная, конечно, но это совсем не то, что реально сесть в тюрьму. Не то что какой-нибудь обыкновенный арест. Киллиан проследит за этим, Киллиан и его приятель Фицгиббон. Контракт. Нет, не обычный арест, совсем не то, что обычный арест; Шерман так и цеплялся за эту фразу: «совсем не то, что обычный арест». Но тогда — что? Он все время пытался вообразить зримо, как это будет, и прежде чем успевал что-либо сообразить, сердце куда-то бросалось, заходилось в панике, впадало в буйство.

Согласно плану Киллиана, двое тех самых следователей, Мартин и Гольдберг, заедут за ним в 7.30 по дороге в Бронкс, где у них смена начинается в 8.00. Они оба живут на Лонг-Айленде, каждый день ездят в Бронкс, и им нетрудно будет, сделав крюк, заехать и подобрать его на Парк авеню. К их приезду подойдет и Киллиан, вместе с ним поедет в Бронкс и будет присутствовать при самом *аресте,* причем все это — *особое* ему *послабление.*

Лежа в кровати под воланами стадвадцатипятидолларового шелка, он закрыл глаза и попытался внимательно все продумать. Он сядет в машину с двумя следователями — коротышкой и толстяком. Киллиан будет рядом. Они поедут по шоссе ФДР на север, в Бронкс. Первым делом его отведут в Центральный распределитель — к началу утренней смены, и с формальностями будет покончено быстро, еще до того, как

накопится каждодневная текучка. Центральный распределитель — что это такое? Вчера вечером Киллиан упоминал это название запросто, как бы между прочим. Но сейчас, лежа без сна, Шерман осознал, что не имеет понятия, что этот Центральный распределитель из себя представляет. Формальности... какие формальности? *Арест!* Несмотря на попытки Киллиана объяснить, все оставалось непредставимо. У него возьмут отпечатки пальцев. *Как?* Отпечатки пальцев передадут в Олбани[1] по компьютерной связи. Зачем? Чтобы убедиться, что нет других не приведенных в исполнение ордеров на его арест. Но неужто они и так не знают! Пока не придет ответ из Олбани (снова через компьютер), ему придется ждать в вольере. В вольере! Именно этим словом все время пользовался Киллиан. *Вольер!* — каких таких зверей они держат в своих вольерах?! Словно прочитав его мысли, Киллиан сказал ему, чтобы он не беспокоился насчет всяких дел, о которых мог начитаться в книжках про тюрьмы. Неупоминаемый термин, имевшийся в виду,— гомосексуальное изнасилование. Вольеры — это камеры временного содержания, в которых арестованные ждут первого слушания своего дела. Поскольку ранние утренние аресты — явление редкое, очень даже может оказаться, что он будет в этом самом вольере вообще один. Когда поступит ответ, он подымется наверх и предстанет перед судьей. *Наверх!* Но что это означает? Наверх — откуда? Он заявит о своей невиновности и будет выпущен под залог в 10 000 долларов — все это завтра... через несколько часов... а рассвет уже набирает силу, просачивается из-под штор...

Меня повезут в тюрьму — как человека, который сбил негритянского мальчика, примерного школьника, и бросил его умирать!

Сердце яростно билось. Пижама промокла от пота. Нет, нельзя думать. Надо закрыть глаза. Надо спать. Хорошего ничего не надевать, говорил ему Киллиан, потому что в вольерах временного содержания может быть грязновато. Но костюм с галстуком все равно надо, непременно, потому что это ведь не обычный арест, не обычный арест... Старый серо-голубой твидовый костюм — тот, английский... белую рубашку, строгий темно-синий галстук... а может, тот, чуть посветлее, в мелкую крапинку?.. Нет, темно-синий — это и солидно, и без претензий, как раз... *чтобы садиться в тюрьму!*

Он открыл глаза. С потолка — шелковые воланы. «Возьми себя в руки!» Это он произнес вслух. Ничего такого на самом деле не будет. *Меня повезут в тюрьму!*

Около половины шестого, когда за шторами начало желтеть, Шерман оставил попытки уснуть или хотя бы отдохнуть и встал. Как ни удивительно, но ему от этого полегчало. Сердце продолжало биться часто, но панику он усмирил. Лучше, когда что-нибудь делаешь — хотя бы просто принимаешь душ или надеваешь серо-голубой твидовый костюм и темно-синий галстук... *Тюремное мое облачение.* На лице, смотревшем из зеркала, не было той усталости, которую он в себе ощущал. Йейльский подбородок; на вид вроде сильный.

Он собирался позавтракать и выйти из квартиры, прежде чем Кэмпбелл встанет. Не было уверенности, что при ней он сможет сохранять присутствие духа. Кроме того, ему совершенно не улыбалась необходимость разговаривать с Бонитой. Чересчур неловко. Насчет Джуди он не знал, чего хочет. Смотреть ей в глаза, в которых застыло выражение обиды на его предательство, в глаза человека, смертельно пораженного и напуганного, он не хотел. С другой стороны, хотелось, чтобы жена была рядом. И точно: не успел он выпить стакан апельсинового сока, как Джуди вышла на кухню, уже полностью одетая и причесанная. Она спала не больше его самого. Еще через секунду из той части квартиры,

[1] Олбани — административный центр штата Нью-Йорк. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

что отводилась для слуг, вышла Бонита и спокойно принялась готовить им завтрак. Вскоре Шерман уже радовался присутствию Бониты. С Джуди он не знал, как говорить. А при Боните говорить было вовсе не обязательно. Завтрак не лез в глотку. В надежде прояснить голову он выпил три чашки кофе.

В 7.15 позвонил швейцар, сообщил, что мистер Киллиан ждет внизу. В холл Джуди вышла вместе с Шерманом. Он остановился, посмотрел на нее. Она попыталась ободрительно улыбнуться, но вместо улыбки на ее лице появилось выражение тупой усталости. Тихим, но твердым голосом она сказала:

— Смелее, Шерман. Помни, кто ты.— Затем открыла рот, как бы намереваясь произнести что-то еще, но ничего не сказала.

И правильно! Ничего лучше она и не могла сделать! Дескать, я стараюсь видеть в тебе нечто большее, Шерман, однако все, что от тебя осталось, это твое достоинство!

Он кивнул. Сказать он не мог ни слова. Повернулся и пошел к лифту.

Киллиан стоял под навесом у самой двери подъезда. На нем был серый в белую полоску костюм, коричневые замшевые туфли и коричневая шляпа. (Как смеет он быть таким щеголем в день моей гибели?) Парк авеню была пепельно-серой. Небо темное. Похоже, собирается дождь... Шерман с Киллианом обменялись рукопожатиями, потом отошли по тротуару футов на двадцать, чтобы их разговор не слышал швейцар.

— Как самочувствие? — спросил Киллиан. Тон его был такой, каким разговаривают с больными.

— Тип-топ,— сказал Шерман с угрюмой усмешкой.

— Ничего особо плохого не будет. Вчера вечером я снова говорил с Берни Фицгиббоном, сразу после разговора с вами. Он проследит, чтобы вас протащили через всю эту дребедень как можно скорее. Проклятый Эйб Вейсс — он все время держит нос по ветру. Гвалт в прессе здорово его напугал. Иначе даже такой идиот, как он, не пустился бы на подобные штучки.

Шерман молча кивнул. Ему было уже не до рассуждений об умственных способностях Эйба Вейсса. *Меня повезут в тюрьму!*

Боковым зрением Шерман заметил поравнявшийся с ними автомобиль, а потом следователя Мартина за рулем. Автомобиль был двухдверным «олдсмобил-катласом», довольно новым, Мартин в пиджаке и при галстуке, так что швейцар, может, и не поймет ничего. Э, да все равно скоро они поймут — все эти швейцары, домохозяйки, кассиры, менеджеры и финансисты, генеральные директора и их детишки, приготовленные по частным школам, няньки, гувернантки и экономки, все население этой цитадели богатства. И все же, если бы кто-нибудь заметил, как его *уводит полиция,* он бы этого не перенес.

Машина остановилась как раз в таком удалении от подъезда, чтобы швейцар не вышел. Из нее вылез Мартин, отворил дверцу и пригнул спинку переднего сиденья, чтобы Шерман и Киллиан могли сесть сзади. Мартин улыбнулся Шерману. *Улыбка палача!*

— Привет, советник! — бросил Мартин Киллиану. И опять рад несказанно.— Билл Мартин,— представился он и протянул руку, Киллиан пожал ее.— Берни Фицгиббон говорит, что вы когда-то работали вместе.

— А, да,— отозвался Киллиан.

— Берни — молоток!

— Ну. Я бы вам при случае кое-что про него порассказал.

Мартин хмыкнул, и в Шермане забил слабенький родничок надежды. Киллиан знает этого Фицгиббона, который служит в прокуратуре Бронкса начальником Отдела по расследованию особо опасных преступлений, Фицгиббон знает Мартина, а Мартин теперь знает Кил-

лиана... а Киллиан... Киллиан — это его защитник!.. Прежде чем Шерман успел нагнуться, чтобы влезть в машину, Мартин предупредил:

— Смотрите, там с одеждой осторожнее. Там эти мудовые — простите за выражение — пенопластовые шарики. Пацан у меня коробку открыл, и все белые горошки из пенопласта, которые при упаковке кладут, распустил по салону; они теперь пристают и к одежде, и к чему только не пристают.

Согнувшись, Шерман увидел и толстяка с усами — Гольдберга, сидевшего на переднем пассажирском месте. Этот улыбнулся Шерману еще шире.

— Шерман! — Он сказал это так, как говорят «привет» или «с добрым утром». Дружелюбнейшим образом. И весь мир замерз, закоченел. *Просто по имени!* Как слугу... Как раба... Как заключенного... Шерман не ответил. Мартин представил Киллиана Гольдбергу. Опять бодрый товарищеский треп.

Шерман сидел позади Гольдберга. Действительно, по всей машине валялись белые пенопластовые упаковочные шарики. Два уже прицепились Шерману к штанине. Один — на самой коленке. Он снял его и еле отлепил потом от пальца. Еще один он почувствовал под собой и принялся его оттуда выуживать.

Едва они отъехали, свернув с Парк авеню по Девяносто девятой улице по направлению к шоссе ФДР, Гольдберг крутнулся на своем сиденье и говорит:

— Знаете, моя дочь-старшеклассница читать любит, так вот она прочитала книжку, и там описана ваша контора — «Пирс-и-Пирс», верно? — в общем, как раз про ваших.

— Да ну? — выговорил Шерман.— А что за книжка?

— По-моему, называется «Расчетливые убийцы». Что-то в таком духе.

Расчетливые убийцы? Книга называлась «Расчетливые умельцы». Он что — добить меня своими жуткими шуточками пытается?

— Ха! Расчетливые убийцы! — вмешался Мартин.— Бога ради, Гольдберг. «У-мель-цы!» — Потом Киллиану и Шерману, через плечо: — Здорово, когда твой напарник интеллектуал! — И напарнику: — А книжки, они, вообще-то, какой формы, Гольдберг? Круглой или треугольной?

— А вот такой вот! — сказал Гольдберг и рубанул себя ребром левой ладони по сгибу локтя правой руки. Потом снова обернулся к Шерману: — Ей, между прочим, в самом деле книжка понравилась, хоть она еще и школу не кончила. Говорит, что собирается после колледжа пойти работать на Уолл-стрит. Такие, во всяком случае, у нее были планы на этой неделе.

И этот туда же! То же бесстыжее, отвратное дружелюбие рабовладельца! Теперь, значит, ему положено возлюбить их! Теперь, когда игра окончена, когда он проиграл и находится в их власти, он не должен таить обиду. Должен восхищаться ими. Они поймали уолл-стритского воротилу на крючок, и во что он сразу же превратился? В их добычу! В охотничий трофей! В их цепного зверя! И где — в «олдсмобил-катласе»! Дуболомы с окраин — вроде тех, что толпами спешат по Пятьдесят восьмой или Пятьдесят девятой улице к мосту Куинсборо — толстеющие молодчики с вислыми усищами, как у Гольдберга... а он теперь их собственность.

В районе Девяносто третьей улицы какой-то швейцар придерживал дверь перед старушкой, выходившей из подъезда. На ней было каракулевое манто. Очень строгое черное манто, каких давно уже не носят. Ах, счастливая, замкнутая жизнь Парк авеню! Как это жестоко, что Парк авеню, весь нью-йоркский *бомонд* так и будет по-прежнему жить своей обычной будничной жизнью.

— Ладно,— обратился Киллиан к Мартину,— давайте точно определимся куда и что. Подъезжаем ко входу со Сто шестьдесят первой ули-

цы, так? Спускаемся по лестнице, и Ангел отправляет Шермана — мистера Мак-Коя — сразу на обкатку пальцев. Ангел все еще там?

— Ага,— с ленцой протянул Мартин,— он все еще там, но нам придется заехать с другой стороны, к основному входу.

— Зачем?

— Такой у меня приказ. Там будет дежурный офицер и пресса тоже.

— *Пресса?!*

— Мало того. К тому времени, как мы туда прибудем, надо надеть наручники.

— Кой черт? Я вчера говорил с Берни. Он дал мне слово. Какого же еще дьявола?

— Насчет Берни я не в курсе. Это все Эйб Вейсс. Вейсс хочет, чтобы таким манером, и я получил приказ прямо от дежурного. Арест произвести по кодексу. Вам и так уже сделали послабление. Вы знаете, вообще-то, что намечалось? Хотели притащить эту хренову прессу прямо к нему на квартиру и пристегнуть его прямо там.

Киллиан нахмурился.

— Кто это вам велел?

— Дежурный Краутер.

— Когда?

— Вчера вечером. Позвонил мне домой. Слушайте, вы же знаете Вейсса. Что я буду вам говорить!

— Это... не... правильно,— проговорил Киллиан.— Ведь Берни дал слово. Это... очень и очень... неправильно. Так нельзя. Неправильно это.

Мартин и Гольдберг оба одновременно к нему обернулись.

— Я этого так не оставлю,— сказал Киллиан,— мне это очень не нравится.

— Э-э... Чего говорить-то,— отозвался Мартин.— Мы же тут ни при чем, нам-то не все ли равно — так, сяк. Все претензии к Вейссу.

Теперь они были уже на шоссе ФДР, неслись на север, к Бронксу. Пошел дождь. По другую сторону ограждения, шедшего посредине скоростной трассы, утренний поток машин начал уже густеть, но на их стороне ничего еще не мешало и не задерживало. Вот и горбатый пешеходный мостик, перекинутый с манхэттенской стороны на островок посреди реки. Эстакаду в порыве восторгов семидесятых выкрасили в ядовито-фиолетовый цвет гелиотропов. От ее фальшиво-жизнерадостного вида Шерман совсем сник.

Меня везут в тюрьму!

Гольдберг снова выгнулся всем корпусом назад.

— Слушайте,— сказал он,— я, конечно, извиняюсь, но я должен надеть вам наручники. Когда приедем, мне ковыряться с ними будет уже недосуг.

— Это ж полная хреновина! — сказал Киллиан.— Сами знаете.

— Это зако-он! — печально прогудел Гольдберг.— Когда арестовываешь по подозрению в серьезном преступлении, положено надевать наручники. Бывало, я это обходил, но там будет этот мудень дежурный.

Гольдберг вытянул правую руку. В ней была пара наручников.

— Давайте руки,— сказал он Шерману.— Надо с этим кончать.

Шерман глянул на Киллиана. Скулы адвоката напряглись.

— Ладно, пускай! — бросил он Шерману таким пронзительно-напряженным голосом, словно хотел сказать: «Кое-кому придется за это поплатиться!»

Заговорил Мартин:

— Вот что. Почему бы вам не снять пиджак. Он пристегнет их вам спереди, а не сзади, вы пиджак через них перекинете, и вам их даже самому будет не видно.

Он говорил это так, будто они четверо приятелей, вместе сплотившихся против немилосердной судьбы. На миг Шерману от этого стало легче. Повозившись, он снял свой твидовый пиджак. Затем подался вперед и сунул руки в зазор между спинками передних кресел.

Они ехали по мосту... Видимо, это мост Уиллис авеню... он толком не разобрал, что за мост. Видел только, что это мост и что они едут через Гарлем-ривер прочь от Манхэттена. Гольдберг застегнул браслеты на его запястьях. Шерман откинулся на спинку сиденья и глянул вниз: ну вот, он в кандалах.

Дождь припустил сильнее. Мост проехали. Вот и Бронкс. Пейзаж напоминал старые трущобные кварталы какого-нибудь промышленного монстра, вроде города Провиденс, штат Род-Айленд. Массивные, но невысокие здания все в копоти и трещинах; широкие черные полосы мостовых безрадостно тянутся с холма на холм. Спустившись по пандусу, Мартин въехал на другую скоростную трассу.

Шерман подался вправо, чтобы взять пиджак и перекинуть его через наручники. Когда он убедился, что доставать пиджак придется сразу двумя руками, и когда неловкое движение отозвалось болью от врезавшихся в запястья наручников, нахлынула волна унижения... и *стыда!* Он, чей разум — неприкосновенная, священная обитель, непроницаемый тигель, где плавятся драгоценные кристаллы мыслей, и вдруг в кандалах... в Бронксе... Это какая-то галлюцинация, кошмар, какой-то сбой в работе мозга, сейчас прозрачная оболочка лопнет... и... Дождь хлынул еще сильнее, и «дворники» заметались туда-сюда перед обоими полицейскими.

В наручниках Шерман никак не мог перекинуть пиджак через руки. Он все время комкался. На подмогу пришел Киллиан. К пиджаку пристали три или четыре пенопластовых шарика. Еще два — к штанине. Вряд ли он дотянется до них пальцами. Может быть, Киллиан... Впрочем, какая разница?

Проехали еще, свернули направо... Стадион... Стадион «Янки»!.. Якорь! Нечто такое, за что можно уцепиться! На стадионе «Янки» он ведь был! Рядовые игры чемпионата по бейсболу, всего-навсего... Но он там был! Это часть здравого и пристойного мира! Не то что все это... Конго!

Снова вниз по пандусу, прочь со скоростной трассы. Дальше — вокруг основания гигантской чаши стадиона. Его стена всего футах в сорока, а то и меньше. На чемпионат по бейсболу Шерман ходил с Гордоном Шёнбургом, чья фирма закупала места в ложе на весь сезон, и между пятым и шестым инингом Гордон достал корзину с завтраком — плетеную, со множеством отделений и столовыми приборами из нержавейки; всех кормил бутербродами с паштетом и икрой, а какие-то пьянчуги увидели это из прохода сзади, обозлились и принялись выкрикивать всяческие оскорбления и передразнивать Гордона, повторяя услышанные от него слова. Слова были: «да неужели», и они с преувеличенным сюсюканьем повторяли раз за разом: «данюжели!» И опять: «данюжели!» Это было почти все равно, что обозвать Гордона пидером, и Шерману эпизод запомнился, несмотря на то что после его не обсуждали. Эта ругань! Эта бессмысленная враждебность! Злоба! Мартины и гольдберги! Все они сплошь мартины и гольдберги.

Тут Мартин свернул на очень широкую улицу, и под вознесенными на эстакаду путями метро они покатили вверх по склону. На тротуарах у прохожих лица были почти сплошь черные; под дождем все куда-то спешили. До чего же они темные, да еще какие-то опухшие, что ли. По сторонам множество серых зачуханных лавочек, как во всех трущобных районах крупных американских городов — что в Чикаго, что в Акроне, что в Аллентауне... Рюмочная «Киряловка», домашняя кухня «Гурманьячная»; «Корн: упаковочная мастерская»; «Б. и Г. Давидофф: Путешествия и круизы»...

«Дворники» расшвыривали по стеклу струи дождя. На вершине холма высилось внушительное белокаменное здание, раскинувшееся, казалось, на целый квартал — монументальная громада, какие чаще можно видеть в округе Колумбия. Через дорогу на стене приземистого конторского здания красовалась чудовищная вывеска: «АНДЖЕЛО КОЛОН,

КОНГРЕСС США». Они перевалили на спуск. То, что Шерман увидел на склоне по другую сторону холма, потрясло его. То были уже не просто облупленные трущобы, а руины, словно после стихийного бедствия. Справа целый квартал занимала огромная дыра в земле, впадина, обнесенная витой железной сеткой, за которой там и сям виднелись вершинки чахлых деревцов катальпы. Сперва Шерману показалось, что там свалка. Затем он увидел, что эта обширная котловина — автостоянка для легковушек и грузовиков, однако даже немощеная. Слева высилось новое строение, современное (в дешевом смысле этого слова) и под дождем являвшее собой вид безотраднейший.

Мартин остановил машину и стал пережидать встречный транспорт, чтобы сделать левый поворот.

— Что это? — спросил Шерман у Киллиана, кивком головы указав на мрачное строение.

— Здание уголовного суда.

— Это туда мы и едем?

Киллиан утвердительно кивнул и стал смотреть прямо вперед. Вид у него был напряженный. Шерман почувствовал, что сердце начинает куролесить. То и дело оно отчаянно дергалось.

Не подъезжая к фасаду здания, Мартин повел машину по спуску к его торцу. Здесь у мрачной маленькой железной дверцы стояла очередь мужчин, а чуть дальше, беспорядочной толпой, еще человек тридцать — сорок, в основном белые; они ежились под дождем, кутались в накидки, в дешевые спортивные куртки и грязные плащи. «Контора по оказанию помощи неимущим,— подумал Шерман.— Нет, бесплатная столовая». Все это очень походило на очередь за бесплатным супом, которую он видел у церкви на углу Мэдисон авеню и Семьдесят первой улицы. Но тут отчаянно алчущие глаза ожидавших как по команде обратились к машине — *к нему* — и сразу обнаружилась съемочная аппаратура.

Толпа встрепенулась, будто огромный разлегшийся пес, которого укусила блоха, и ринулась к автомобилю. Кое-кто бросился даже бегом, и Шерман видел, как прыгают вверх и вниз телекамеры.

— Бог ты мой,— сказал Мартин Гольдбергу.— Ну-ка, вылазь да придержи дверцу, а то мы даже из этой гребаной машины его не вытащим.

Гольдберг выскочил наружу. Сразу же все вокруг заполонили небритые, опухшие личности. Загородили Шерману здание. Все, что ему было видно,— это толпа, окружившая автомобиль.

Заговорил молчавший до этого Киллиан:

— Вот что, Шерман. Главное, помалкивайте. Никак не реагируйте. Лицо не прикрывайте, голову не опускайте. Вы как бы не замечаете их напрочь. С этой сволочью вам не сладить, так что даже не пытайтесь. Дайте я первым выйду.

Оп-па! — Киллиан каким-то образом перекинул ноги через колени Шермана и одним броском вылетел из машины. Локтем он попал при этом Шерману на скрещенные руки и вдавил ему наручники в пах. Перекинутый через руки твидовый пиджак сбился комом. К нему пристало пять или шесть пенопластовых шариков, но тут уж ничего не поделаешь. Дверь открыта, Киллиан снаружи. Гольдберг и Киллиан протягивают руки. Шерман спустил ноги на мостовую. Киллиан, Гольдберг и Мартин заслоняли собой пространство возле открытой дверцы. Толпа репортеров, фотографов и операторов лезла им чуть ли не на плечи. Шум, выкрики. Первое впечатление, что идет драка. С ним хотят расправиться! Киллиан запустил руку под скомканный пиджак и помог Шерману подняться, потянув за наручники. Кто-то пихнул камеру через плечо Киллиана прямо Шерману в лицо. Резко нагнувшись, он уклонился. Глянул вниз и обнаружил, что пять, шесть, семь, Бог знает сколько пенопластовых шариков пристало к штанинам. Они везде — на пиджаке, на брюках. Струи дождя бегут по лбу и щекам. Дернулся было вытереть лицо, но тут же спохватился: для этого надо было бы

поднять обе руки с пиджаком вместе, а он не хотел, чтобы увидели наручники. Вода текла и текла. Он чувствовал, как она затекает ему за шиворот под рубашку. Из-за наручников он сутулился. Попытался было расправить плечи, но в этот момент Гольдберг потащил его за локоть. Принялся пробиваться с ним сквозь толпу.

— Шерман!

— Ау, Шерман!

Все как один орали *«Шерман»!* Просто по имени! Он и в их власти тоже! Что за лица! Что за настырность! Тянутся с микрофонами. Один с размаху наткнулся на Гольдберга, пихнув его прямо на Шермана. Над плечом Гольдберга появилась камера. Гольдберг со страшной силой двинул локтем — бац! — и камера полетела наземь. Другая рука Гольдберга была продета под локоть Шермана. От толчка, вызванного ударом Гольдберга, Шерман потерял равновесие. Ступил куда-то в сторону, и его каблук пришелся на голень человека, корчившегося на земле. Маленького, с курчавыми темными волосами. Гольдберг ему еще добавил, наступив на живот. У того вырвалось: «Ооооооахха!»

— Эй, Шерман! Эй, жжжопомордый!

Шерман ошарашенно оглянулся. Фотограф. Камера заслоняла ему пол-лица. На другой половине бросалась в глаза прилепленная белая полоска. Клочок *туалетной бумаги.* Шерман видел, как у фотографа шевелятся губы:

— Вот так, сюда смотри, жжжопомордый!

Мартин был на шаг впереди Шермана, пытался расчищать проход.

— С дороги! С дороги! А ну, раздайся!

Киллиан взял Шермана за другой локоть — чтобы заслонить его с другого боку. Получилось, что теперь его тянули вперед за оба локтя, и он сознавал, что тащится мокрый и сгорбленный. Голову было не поднять.

— Шерман! — Женский голос. Микрофон у самого лица.— Вас уже когда-нибудь арестовывали?

— Эй, Шерман! Обвинения признаешь?

— Шерман! Кто та брюнетка?

— Шерман! Ты его нарочно сбил?

Микрофоны просовывали между Киллианом и Мартином и между Мартином и Гольдбергом. Шерман попробовал поднять голову, один из микрофонов ткнулся ему в подбородок. Он старался уворачиваться. Каждый раз при взгляде вниз в глаза бросались белые пенопластовые шарики на пиджаке и брюках.

— Эй, Шерман! Эй, мудила! Как тебе наш фуршетик?

Какая брань! По большей части фотографы. Любыми средствами пытаются заставить его посмотреть на них, но — какая брань! какая грязь! Позволяют себе все что хотят, любой мат! Он теперь — их! Животное, которое можно помучить. Брошен им на растерзание. Они могут делать все что хотят! Он ненавидит их, но при этом.. такой *стыд!* Дождь заливал глаза. Ничего поделать с этим он не мог. Рубашка намокла. И вперед они уже не продвигались. До маленькой железной дверцы оставалось футов двадцать пять, не больше. Но перед ними народ — тесно сбившаяся очередь каких-то мужчин. Это не репортеры, и не фотографы, и не операторы. На некоторых полицейские мундиры. Другие на вид латиноамериканцы, главным образом молодые парни. Потом еще несколько белых... совершенно опустившиеся... пропойцы... но нет, надо же, у них значки. Сотрудники полиции. Все стоят прямо под дождем. Мокнут.

Мартин и Гольдберг тем временем втиснулись в толпу полицейских и латиноамериканцев, Киллиан и Шерман — за ними. Гольдберг и Киллиан все еще держали Шермана под руки. Репортеры и операторы по-прежнему наскакивали на него с боков и сзади.

— Шерман! Эй! Скажи что-нибудь прессе!

— Один снимок!

— Эй. Шерман! Зачем ты его сбил?

— ...Парк авеню!..

— ...преднамеренно!..

Мартин повернулся к Гольдбергу и сказал:

— Надо же им было именно сейчас провернуть облаву в том кабаке на Сто шестьдесят седьмой улице. Понавытащили оттуда, а теперь жди, пока в распределитель запустят двенадцать рыл этих чурок.

— Чу-удненько,— протянул Гольдберг.

— Послушайте,— сказал Киллиан.— Все-таки надо его как-нибудь пропихнуть туда. Не можете сами — поговорите с Краутером, но это надо сделать.

Пробившись сквозь толпу, Мартин ушел и тут же вернулся.

— Дохлый номер,— пожал он плечами, как бы извиняясь.— Говорит, что этот арест должен быть по кодексу, от и до. Придется постоять.

— Это он очень не прав,— сказал Киллиан.

Мартин поднял брови: знаю, сам знаю, но что я могу поделать?

— Шерман! Как насчет заявления прессе?

— Шерман! Эй ты, пиздюк!

— *Ладно!* — Это выкрикнул Киллиан.— Хотите заявление? Мистер Мак-Кой ничего говорить не будет. Я его адвокат, и я вам кое-что скажу.

Снова толкотня, давка. Микрофоны и камеры теперь устремились к Киллиану.

Шерман стоял сразу за ним. Киллиан уже не держал Шермана под руку; Гольдберг еще держал.

Чей-то выкрик:

— Представьтесь!

— Томас Киллиан.

— По буквам!

— К-И-Л-Л-И-А-Н. О'кей? Это не арест, это цирк! Мой клиент был готов в любой момент предстать перед большим жюри, чтобы ответить на выдвинутые против него обвинения. А ему устроили этот цирк, грубо нарушив договоренность между окружным прокурором и моим клиентом.

— Что он делал в Бронксе?

— Я все сказал и больше ничего добавлять не буду.

— Вы утверждаете, что он невиновен?

— Мистер Мак-Кой полностью отрицает обвинения, и этот арест — этот возмутительный цирк — ни в коем случае не должен был иметь места.

Пиджак у Киллиана совсем промок. Рубашку Шермана дождь давно вымочил, он чувствовал, как вода бежит по спине.

— iMira! iMira![1] — Какой-то латиноамериканец все время повторял одно и то же слово: — iMira!

Шерман стоял, ссутулив мокрые плечи. Чувствовал, как отяжелевший от воды пиджак оттягивает запястья. Через плечо Киллиана виднелся частокол микрофонов. Гудели моторы видеокамер. Каким ужасным огнем горят эти лица! Хотелось умереть. Прежде никогда такого не бывало, чтобы по-настоящему хотелось умереть, хотя, как и многим другим, ему случалось тешиться этим чувством. Зато теперь он действительно хотел, чтобы Бог или Смерть принесли ему избавление. Настолько жутким было испытываемое им чувство, а было оно не чем иным, как чувством жгучего стыда.

— Шерман!

— Мать твою!

— iMira! iMira!

А потом он стал мертвым, таким мертвым, что не смог бы даже умереть. Упасть и то не хватило бы духу. Репортеры, операторы, фотографы — какая дикая брань! — они все еще здесь, всего в трех футах! —

---

[1] Смотри! *(исп.)*

мухи и личинки, а он дохлый зверь, по которому они ползают и которым питаются.

Так называемым заявлением Киллиан отвлек их всего лишь на минутку. Киллиан! — чьих связей было якобы достаточно, чтобы уберечь клиента от обыкновенного ареста! Что ж, это и впрямь не обыкновенный арест... Это *смерть*. Последних остатков чести, достоинства, самоуважения, которыми когда-то обладало существо по имени Шерман Мак-Кой, его лишили разом и *запросто,* и теперь это уже не он, а лишь его душа, уже умершая, стоит под дождем в наручниках, а вокруг Бронкс, и перед ней очередь из дюжины других арестованных, ожидающих у неказистой железной дверцы. Эти паразиты зовут его *Шерман.* Облепили с ног до головы.

— Эй, Шерман!

— Признаешь обвинение?

Шерман смотрел прямо перед собой. Киллиан и двое детективов, Мартин и Гольдберг, по-прежнему пытались заслонять его от жадных паразитов. Из толпы выдвинулся телеоператор, толстый как бочка. Камера лежала у него на плече, словно гранатомет.

Гольдберг крутнулся к нему и заорал:

— А ну убери свою поганую камеру! Сует прямо в лицо!

Оператор отступил. Как странно! И какая в этом полнейшая безнадежность! Гольдберг выступает его защитником. Он стал как бы собственностью Гольдберга, его домашним животным. Гольдберг и Мартин привезли сюда своего зверя и теперь заботятся, чтобы он был доставлен по назначению.

Киллиан — Мартину:

— Так не годится. Ребята, вам надо что-то предпринять.

Мартин пожал плечами. И тут Киллиан со всей серьезностью говорит:

— У меня же туфли, к чертовой матери, размокнут!

— Мистер Мак-Кой!

Мистер Мак-Кой? Шерман повернул голову. Высокий бледный мужчина с длинными светлыми волосами стоял во главе кучки репортеров и операторов.

— Питер Фэллоу из «Сити лайт»,— сказал мужчина. Он говорил с британским акцентом, снобистским и высокомерным до пародийности. Он что — издевается? — Я несколько раз звонил вам. Очень хотелось бы знать вашу точку зрения на все это.

Шерман отвернулся... Фэллоу, этот его неотвязный мучитель из «Сити лайт»... Никаких угрызений: подошел, представился... какое там... его жертва уже мертва... Полагалось бы его ненавидеть, но Шерман не мог, слишком полон был омерзения к самому себе. Он был мертв даже для себя самого.

Наконец всех задержанных во время облавы в ночном клубе впустили внутрь, и Шерман с Киллианом, Мартином и Гольдбергом оказались у самой двери.

— О'кей, советник,— сказал Киллиану Мартин,— дальше мы сами справимся.

Шерман бросил умоляющий взгляд на Киллиана. (Ведь вы, конечно же, пойдете со мной!)

— Когда вас приведут к судье, я буду уже наверху,— сказал Киллиан.— Ни о чем не беспокойтесь. И помните: никаких заявлений, о вашем деле не говорите ни с кем, даже в камере — особенно в камере!

В камере! Тут еще крики какие-то из-за двери...

— Сколько времени все это займет? — спросил Шерман.

— Точно не знаю. Там впереди еще все эти гопники.— Затем повернувшись к Мартину: — Послушайте. Будьте человеком. Попробуйте провести его через обкатку пальцев впереди этой кодлы. В смысле — ну ради бога.

— Попытаюсь,— отозвался Мартин,— но я ж говорил вам. Им за каким-то хреном нужно протащить его через все это шаг за шагом.

— Это понятно, но вы у нас в долгу,— сказал Киллиан.— Вы у нас в большом долгу...— Он замолк.— Давайте по-честному.

Внезапно Гольдберг потянул Шермана под локоть. Мартин двинулся следом. Оглянувшись, Шерман поискал взглядом Киллиана. Шляпа Киллиана так промокла, что казалась черной. Галстук и плечи пиджака пропитались влагой.

— Не волнуйтесь,— сказал Киллиан.— Все будет в порядке.

По тому, как Киллиан произнес это, Шерман понял, что у него на лице написано полнейшее отчаяние. Затем дверь закрылась; все, Киллиана рядом нет. Шерман отрезан от мира. Он думал уже, что страх ушел, осталось одно отчаяние. Но вот опять он боится, боится еще больше. Заколотилось сердце. Дверь закрыта, и он затерян в Бронксе, в мире мартинов и гольдбергов.

Он оказался в просторном невысоком помещении, разбитом на клетушки, некоторые со стеклянными стенками, похожими на внутренние переборки в какой-нибудь радиовещательной студии. Окон не было. Яркая электрическая дымка висела в воздухе. Туда и сюда расхаживали люди в форме, но не на всех форма была одна и та же. У высокой стойки стояли двое мужчин со скованными за спиной руками. Рядом двое молодых людей в каких-то лохмотьях. Один из задержанных через плечо обернулся, увидел Шермана, локтем толкнул другого, они оба поглядели на Шермана и засмеялись. Откуда-то сбоку донесся крик, который Шерман слышал еще на улице: «IMira! IMira!» Гогот, потом громкий прерывистый звук, с каким у человека опорожняется кишечник. Низкий голос произнес: «А-ах ты. Засранец».

Другой голос: «О'кей, уберите это. Ну-ка водой из шланга».

Двое в лохмотьях, согнувшись, завозились позади двоих задержанных. За стойкой был громадина-полицейский с абсолютно лысой головой, большим носом и выдающейся челюстью. На вид ему было лет шестьдесят, не меньше. Двое в лохмотьях как раз снимали с одного из задержанных наручники. На одном из парней в лохмотьях был дутый жилет, надетый на рваную черную футболку. На ногах кроссовки и пятнистые маскировочные штаны с резинками у щиколоток. На жилете значок: щит с надписью «Полиция». Потом Шерман и у второго тоже заметил значок. К стойке подошел еще один старый полицейский и говорит:

— Слышь, Ангел, с Олбани лажа.

— Чу-у-дненько,— протянул лысый.— А у нас этакая кодла, да еще и в самом начале смены!

Гольдберг посмотрел на Мартина, закатил глаза, усмехнулся и сверху вниз оглядел Шермана. Он все еще держал Шермана под локоть. Шерман тоже оглядел себя. Пенопластовые шарики! Упаковочные пенопластовые шарики, которых он набрался на заднем сиденье в машине Мартина, были на нем повсюду. Облепили переброшенный комом через запястья пиджак. Твидовые брюки — сверху донизу. Брюки сырые, мятые, на коленях и бедрах сбились сикось-накось, и повсюду на них паразитами кишат пенопластовые шарики.

С Шерманом заговорил Гольдберг:

— Видите вон ту комнату?

Шерман поглядел туда, куда было указано, сквозь широкий застекленный проем. Там стояли шкафы с картотекой, лежали стопы бумаги. Всю середину помещения занимал большой серо-бежевый аппарат. На него хмуро взирали двое полицейских.

— Это телефакс, который посылает отпечатки пальцев в Олбани,— объяснил Гольдберг. Он сказал это с той ласковой напевной интонацией, с какой говорят со сжавшимся от испуга ребенком. Этот тон еще больше напугал Шермана.— Около десяти лет назад,— продолжал Гольдберг,— один умник подал идею — кажется, это десять лет назад было, а, Марти?

— Не знаю,— отозвался Мартин.— Знаю только, что это самая, блядь, идиотская идея в мире.

— В общем, кому-то пришло в голову собирать все отпечатки пальцев со всего этого блядского штата Нью-Йорк в одном центре в Олбани... И тогда все распределители подключили к Олбани, чтобы, значит, рраз! — отпечатки на компьютер, он — бах! — ответ, и подозреваемый идет наверх, и с ним разбирается большое жюри... Да только там, в Олбани, полный бардак, особенно если сломается эта машина, как сейчас.

Из всего, что сказал Гольдберг, Шерман не понял ни звука, кроме одного: что-то не в порядке, и Гольдбергу зачем-то понадобилось лезть из кожи вон, чтобы объяснить это ему.

— Ага,— сказал Шерману Мартин,— будьте довольны еще, что сейчас полдевятого утра, а не полпятого вечера. Был бы сейчас вечер, вам бы, скорей всего, пришлось провести ночь в следственном изоляторе или даже на Райкерс-Айленде.

— На Райкерс-Айленде? — переспросил Шерман. Голос стал хриплым. Шерман едва выжал из себя эти слова.

— Да,— подтвердил Мартин.— Если лажа с Олбани происходит в конце дня — все, кранты. Здесь ночевать не положено, и всех отвозят на Райкерс. Это, я вам доложу, вам еще здорово повезло!

Он говорит, что Шерману очень повезло. Шерман вроде как должен быть ему за это теперь благодарен! Во всем здании они его единственные друзья! Шерман почувствовал острый прилив страха.

Чей-то выкрик:

— Господи, кто тут *сдох,* ч-черт его дери!

Запах докатился и до стойки.

— Фу, гадость какая! — проговорил лысый полицейский по имени Ангел. Огляделся.— Смойте же наконец!

Шерман посмотрел в направлении его взгляда. Сбоку, дальше по коридору, виднелись две камеры. Решетка, белый кафель; камеры были сплошь отделаны белыми квадратными кафельными плитками — как в бане. Перед первой стояли двое полицейских.

Один крикнул сквозь прутья в камеру:

— Эй, что там с тобой такое?

Шерман почувствовал давление ручищи Гольдберга, который повел его к стойке; Шерман предстал перед Ангелом. У Мартина в руке появились какие-то бумаги.

— Имя? — обратился к Шерману этот ангел.

Шерман попытался сказать — и не смог. Рот совершенно высох. Язык прилип к небу.

— Имя?

— Шерман Мак-Кой.— Его шепот был еле слышен.

— Адрес?

— Нью-Йорк, Парк авеню, восемьсот шестнадцать.— «Нью-Йорк» он сказал для вящей вежливости и послушности. И впрямь, ведь не обязаны здесь, в Бронксе, знать, где находится Парк авеню.

— Нью-Йорк, Парк авеню. Возраст?

— Тридцать восемь.

— Раньше сюда попадали?

— Нет.

— Слышь, Ангел,— заговорил Мартин.— Мистер Мак-Кой нам очень способствует... и... гм... может, позволишь ему где-нибудь тут пересидеть, может, не надо его туда, со всеми этими гопниками? Там эта мудовая пресса у входа — они и так уже его достали.

Шермана залила волна сентиментальной признательности. Он понимал, до чего это нелепо, но вопреки всему продолжал ощущать ее.

Лысый ангел надул щеки и поглядел в сторону, как бы обдумывая. Затем сказал:

— Не могу, Марти.— Он прикрыл глаза и поднял свой здоровенный подбородок, словно добавив: «Приказ сверху».

— Чего им еще надо? Эти твари с телевидения полчаса ему там под дождем кровь сосали. Глянь на него. Такой вид, будто он сюда по сточной канаве полз.

Гольдберг хмыкнул. И тут же, чтобы это не показалось Шерману оскорбительным, пояснил:

— Вы сейчас не в лучшем виде. Сами знаете.

Единственные его друзья! Шерману захотелось плакать, больше того, это ужасное, жалкое чувство было глубоко искренним.

— Не могу,— вновь произнес Ангел.— Надо все пройти от и до.— Он прикрыл глаза и опять поднял подбородок.— Наручники можете снять.

Глядя на Шермана, Мартин скривил рот на сторону. (Мы пытались, дружище, но что ж тут поделаешь!) Гольдберг отомкнул и снял наручники. У Шермана на запястьях остались от них белые полосы. Вены на тыльной стороне ладоней вздулись. *Давление, видно, подскочило зверски.* Брюки облеплены пенопластовыми шариками. Мартин подал ему промокший пиджак. Пиджак тоже в пенопластовых шариках.

— Выньте все из карманов и дайте мне,— приказал Ангел.

По совету Киллиана Шерман много с собой брать не стал. Четыре бумажки по пять долларов, около доллара мелочью, ключ от квартиры, носовой платок, шариковую ручку и водительские права — почему-то он решил, что нужно иметь с собой какое-нибудь удостоверение. Принимая каждый из предметов, Ангел вслух называл его: «двадцать долларов бумажками», «одна серебряная шариковая ручка» — и отдавал кому-то, кого Шерману было не видно.

Шерман сказал:

— Можно мне... оставить себе платок?

— Дайте глянуть.

Шерман поднял платок. Рука ужасающе дрожала.

— Что ж, можете оставить. А вот часы давайте сюда.

— Да часы-то... Они же дешевые,— сказал Шерман. Вытянул руку. Часы были в пластмассовом корпусе, на нейлоновом ремешке.— Мне все равно, что с ними будет.

— Не важно, давайте.

Шерман расстегнул ремешок и сдал часы. Новая спазма ужаса сотрясла все его существо.

— Ну я прошу вас...— проговорил Шерман. Едва эти слова прозвучали, он уже знал, что не надо было их говорить. Они звучали умоляюще.— Как же мне время-то... Можно, я оставлю себе часы?

— У вас что — свидание или как? — Ангел слегка улыбнулся, в знак того, что это просто шутка. Однако часы не вернул. Затем сказал: — О'кей, теперь давайте поясной ремень и шнурки.

Шерман уставился на него. Поймал себя на том, что смотрит с открытым ртом. Оглянулся на Мартина. Мартин тоже смотрел на Ангела. Теперь уже Мартин прикрыл глаза и, подняв подбородок, как это уже делал Ангел, произнес:

— Ну и ну. (Они-таки и впрямь решили достать тебя, парень.)

Шерман расстегнул ремень и вытащил его из шлевок. Как только он сделал это, брюки тут же сползли, обвиснув на бедрах. Свой твидовый костюм он давно не носил, и брюки в поясе стали широковаты. Он подтянул их, заправил выбившуюся рубашку, и они снова упали. Пришлось придерживать их спереди. Сел на корточки вынимать шнурки. Теперь он и вовсе жалкое существо, ползающее у Мартина и Гольдберга под ногами. Пенопластовые шарики оказались у него под самым носом. Ему видна была их сморщенная поверхность. Словно какие-то жуки, какие-то паразиты! В тепле мокрая шерсть штанов издавала неприятный запах. Мокрая рубашка липнет, от подмышек исходит кисловатый душок. Полный распад. Полнейший. Было такое чувство, что один из них — Мартин, Гольдберг или этот Ангел — возьмет вдруг, наступит на

него — хрясь! — ему и конец. Шерман вынул шнурки и встал. Резко поднявшись с корточек, ощутил головокружение. На миг подумалось, не упасть бы в обморок. Брюки опять сползли. Одной рукой он подтянул их, другой подал Ангелу шнурки. Они были похожи на двух сушеных червяков.

Голос из-за стойки произнес:

— Пара коричневых шнурков.

— О'кей, Ангел,— сказал Мартин.— До скорого.

— Ладно,— проговорил Ангел.

— Ну, удачи вам, Шерман,— сказал Гольдберг, добродушно улыбаясь.

— Благодарю вас,— ответил Шерман. Ужасно. Он действительно чувствует благодарность.

Послышался звук сдвигаемой в сторону двери камеры. Вдоль тесного коридорчика стояли трое полицейских, следя за тем, как группа латиноамериканцев выходит из одной камеры и заходит в соседнюю. Шерман узнал нескольких из тех людей, что стояли перед ним в очереди.

— Давай-давай, пошевеливайся, заходи.

— iMira! iMira!

Один человек остался в коридоре. Полицейский держал его за руку. Долговязый, с длинной шеей, на которой безвольно болталась голова. Похоже, очень пьяный. Он что-то бормотал себе под нос. Вдруг он вскинул взгляд к небесам и выкрикнул: «iMira!» Свои брюки он поддерживал тем же манером, что и Шерман.

— Слышь, Ангел, с этим-то что мне делать? У него полные *штаны!* — С особенным омерзением полицейский произнес слово «штаны».

— А, ч-черт,— сказал Ангел.— Сними с него штаны и куда-нибудь выкинь, потом смой с него все это дело и дай ему какие-нибудь из тех, зеленых, от рабочей формы.

— Да мне и дотрагиваться до него неохота, сержант. А нет ли у тебя такой штуковины, типа захвата, которым в супермаркетах снимают с полок банки?

— А как же,— отозвался Ангел,— я сейчас тебе им башку сниму.

Полицейский рванул долговязого пьяницу обратно к первой камере. Ноги пьяницы подламывались как у марионетки.

— А у вас-то,— обернулся Ангел к Шерману,— у вас-то что на штанах?

Шерман оглядел себя.

— Не знаю,— сказал он.— Это на заднем сиденье машины было.

— Чьей машины?

— Машины следователя Мартина.

Ангел покачал головой так, словно теперь он все понял.

— О'кей, Тануч, отведи его к Гэбси.

Молоденький белый сержант взял Шермана за локоть. Рукой Шерман придерживал брюки, так что локоть торчал будто птичье крыло. Брюки были мокры даже в поясе. Мокрый пиджак он держал перекинутым через другую руку. Пошел. Правая нога выскользнула из туфли, потому что шнурки отсутствовали. Он было остановился, но полицейский продолжал идти, по дуге разворачивая ему локоть вперед. Шерман вставил ногу в туфлю, и полицейский указал ему на вход в коридорчик. Шерман пошел, шаркая, чтобы ноги не вываливались из туфель. Туфли издавали чавкающий звук — так они промокли.

Шермана вели к клетушке с большими окнами. Теперь, проходя по коридору, он хорошо видел внутренность тех двух камер. В одной было человек двенадцать — двенадцать серо-черных силуэтов вдоль стен. Дверь в другую была открыта. В ней был только один человек — тот самый долговязый пьяница; бесформенной кучей он лежал на приступке. Пол вымазан чем-то коричневым. И бьющий в нос запах экскрементов.

Полицейский препроводил Шермана в клетушку с окнами. В ней был здоровенный веснушчатый полицейский с широким лицом и светлыми вьющимися волосами; он оглядел Шермана с головы до ног. Полицейский по имени Тануч сказал: «Мак-Кой» и подал здоровенному лист бумаги. Комната была битком набита какими-то металлическими стойками. Одна была похожа на контур металлоискателя, вроде тех, что можно видеть в аэропорту. Другая оказалась штативом с фотокамерой. Еще одна представляла собой нечто вроде пюпитра, за исключением того, что ее верхняя часть была слишком маленькой, чтобы на ней поместились ноты.

— Хорошо, Мак-Кой,— сказал здоровенный,— пройдите-ка через вон тот контур.

Хлюп, хлюп, хлюп... Одной рукой поддерживая брюки, в другой неся мокрый пиджак, Шерман зашаркал сквозь проход контура. Аппарат взвыл громким «бип-бип».

— Ой-ой-ой,— сказал полицейский.— О'кей, давайте мне ваш пиджак.

Шерман подал ему пиджак. Тот проверил карманы и принялся мять пиджак сверху донизу. Швырнул пиджак на край стола.

— О'кей, расставьте ноги и отведите руки в стороны, вот таким образом.

Полицейский развел руки, словно собираясь нырнуть ласточкой.

Шерман не мог отвести глаз от правой руки верзилы. На ней была полупрозрачная резиновая хирургическая перчатка. Она доходила ему почти до локтя.

Шерман расставил ноги. Когда он развел и руки, брюки упали чуть ли не до колен. Верзила подошел к нему и принялся охлопывать по рукам, по спине, по груди, по бокам, а затем по бедрам и по ногам. Рука в резиновой перчатке производила неприятное сухое трение. Новая волна паники... Шерман в ужасе уставился на перчатку. Полицейский поглядел на него и хмыкнул — ему, видимо, стало забавно,— а затем поднял правую руку вверх. Огромная ладонь, толстенное запястье... Кошмарная резиновая перчатка оказалась у Шермана перед самым носом.

— Насчет этой штуковины не волнуйтесь,— сказал он.— Дело в том, что мне надо снять отпечатки, а для этого приходится брать за палец и каждый по очереди прикладывать к подушечке с краской... Понимаете? — Он говорил это тоном дружеской беседы, как-то даже задушевно, будто они стоят вдвоем где-нибудь в переулке и он объясняет, как работает двигатель его новой «мазды».— Я этим занимаюсь целый день, руки все в краске, и, во-первых, от этого кожа грубеет; а иногда и смыть как следует не получается. Приходишь домой, а там у жены в гостиной все белым отделано, руку на диван или еще куда-нибудь положишь, потом встаешь — глядь, на нем пальцы отпечатались; ну, и у жены истерика.— Шерман молча смотрел на него. Не знал, что сказать. Огромный, грозного вида полицейский явно хочет ему понравиться. Как все это странно. Похоже, им всем очень хочется нравиться.

— О'кей, пройдите снова сквозь контур.

Шаркая туфлями, Шерман снова прошел в проем контура, и снова сработал сигнал.

— Черт,— сказал верзила.— Еще раз.

Сигнал сработал в третий раз.

— Ни хрена не понимаю,— сказал полицейский.— Погодите минутку. Идите сюда. Откройте рот.

Шерман открыл рот.

— Не закрывайте... Секундочку, повернитесь вот так. Никак свет не поймать.— Он пытался повернуть голову Шермана под немыслимым углом. От перчатки пахло резиной.— Вот зар-раза. Да у вас же там целый серебряный рудник! Знаете что, согнитесь-ка в поясе. Вот-вот, еще чуть пониже...

Шерман согнулся, придерживая рукой брюки. *Неужели он...*

— А теперь снова сквозь контур, только очень медленно.

Шерман зашаркал задом наперед, согнутый под углом почти в девяносто градусов.

— О'кей, медленнее, медленнее, медленнее — хорош, так...

Шерман почти уже прошел через проем. По эту сторону оставались только голова и плечи.

— О'кей, еще чуть-чуть... еще... чуть дальше, чуть дальше...

Сигнал сработал еще раз.

— Оп-па! Оп-па! Вот так! Так и стой! — Аппарат продолжал гудеть.

— Вот зар-раза! — радостно произнес верзила. Заохал, заходил кругами, хлопая себя ладонями по бедрам.— В прошлый год мне тоже один такой попался. О'кей, можете выпрямляться.

Шерман стал прямо. В недоумении он молча смотрел на верзилу. Тот высунул голову в дверь и заорал:

— Эй, Тануч! Подь сюда! А ну, глянь-ка!

По ту сторону коридорчика у открытой камеры стоял полицейский со шлангом, окатывал пол. Шум воды отдавался от кафельных стен.

— Эй, Тануч!

Из дальнего конца коридора появился тот полицейский, что привел Шермана в комнату верзилы.

— Глянь-ка, Тануч! — Потом Шерману: — О'кей, нагнитесь, и по новой. Задом через контур, только медленно-медленно.

Шерман нагнулся и сделал как было велено.

— О'кей, оп-па, оп-па, оп-па... Вот, обрати внимание, Тануч! Пока все тихо. О'кей, еще чуток, еще чуток, еще чуток...— Сработал сигнал. Верзила снова был вне себя. Опять заохал, заходил кругами, жестикулировал.— Нет, ну ты видел, Тануч? Это в *голове!* Христом-Богом клянусь!.. Это у парня в башке!.. О'кей, выпрямляйтесь. Откройте рот... Вот оно. Нет, вот, чуть поверните.— Он снова принялся вертеть голову Шермана, пытаясь поймать больше света.—Вот, взгляни-ка! Вишь, сколько металла?

Тот, которого звали Тануч, не сказал Шерману ни слова. Лишь глядел ему в рот — так осматривают тайник в погребе.

— Бог ты мой,— проговорил Тануч.— Действительно, не зубы, а какой-то монетный двор.— Затем обратился к Шерману, словно впервые его увидел: — Вас в самолет-то когда-нибудь пускали?

Верзила хохотнул.

— А ведь ты не один такой,— сказал он.— В прошлый год мне тоже попался вроде тебя клиент. Я с ним чуть не спятил. Все понять не мог... *какого хрена...* ясно, да? — Разговор опять принял доверительную тональность — как бы два приятеля субботним вечером.— Эта машинка очень чувствительная, а у вас в башке сплошной металл, доложу я вам.

Шерман был подавлен, унижен до крайности. Но что тут поделаешь? Может быть, эти двое, если правильно себя с ними вести, помогут ему не попасть в эти, как их... *вольеры!* Вместе с *той публикой!* Шерман молча стоял, придерживая брюки.

— А в чем это у вас штаны? — полюбопытствовал Тануч.

— В пенопласте.

— *В пенопласте?* — удивился Тануч и закивал головой, но совершенно непонимающим образом. Вышел.

Потом верзила поставил Шермана перед металлическим штативом и дважды сфотографировал: в фас и в профиль. Шерману пришло в голову, что это и есть те снимки, которые висят на стендах уголовного розыска. Полицейский подвел Шермана к стойке и каждый палец по очереди брал, прижимал к подушечке с краской; а потом обкатывал о какой-то бланк с типографским текстом. Процедура оказалась на удивление грубой. Он хватал каждый палец Шермана так, словно это нож или молоток, и совал его в краску. Затем он извинился.

— Все самому приходится делать,— объяснил он Шерману.— Никто не поможет, даже и не надейся.

С противоположной стороны коридорчика донеслись жуткие звуки рвоты. Трое латиноамериканцев приникли к решетке.

— Ээээээй! — заорал один из них.— Он блюет! Он все уже заблевал!

Тануч подоспел туда первым.

— Ах ты боже мой. Ну, красота. Слышь, Ангел! Это не человек, это какая-то баржа с отбросами. Чо бум делать?

— Это тот самый? — спросил Ангел.

Начал расходиться запах рвоты.

— Чобумделать, чобумделать...— проворчал Ангел.— Смой из шланга и оставь его как есть.

Камеру отперли, и пока двое полицейских стояли по сторонам, третий вошел внутрь со шлангом. Заключенные принялись прыгать и скакать, спасаясь от струй.

— Слышь, сержант,— сказал полицейский со шлангом.— Этот хмырь заблевал себе все штаны.

— Те, от рабочей формы?

— Угу.

— Т-твою мать. Обдай из шланга. Здесь не прачечная.

Шерману виден был долговязый пьяница, сидевший с опущенной головой на приступке. Локтями он упирался в запачканные блевотиной колени.

Верзила наблюдал все это через окно. Он покачал головой. Шерман подошел к нему.

— Послушайте, сержант, нет ли у вас тут такого места, где я мог бы подождать? Я не могу туда. Я... просто не могу.

Верзила высунул голову из комнаты, где снимают отпечатки, и проорал:

— Эй, Ангел, ты что делать будешь с этим моим Мак-Коем?

Ангел высунулся из-за своей стойки и, уставясь на Шермана, провел ладонью по лысому черепу.

— Мммм...— Затем та же рука указала в направлении камеры.— Туда.

Вошел Тануч и вновь взял Шермана за локоть. Кто-то отпер решетку. Тануч препроводил Шермана внутрь, и он зашаркал по кафелю, поддерживая рукой брюки. Решетку опять задвинули. Шерман уставился на латиноамериканцев, сидевших на приступке у стены. Они тоже на него уставились — все кроме того долговязого, который сидел, все так же опустив голову, и возил локтями по заблеванным коленям.

Пол был с наклоном к канализационной решетке в центре. Он еще не высох. Стоя на нем, Шерман чувствовал его покатость. Несколько струек воды еще сбегали к стоку. Вот где он. В сточной трубе, по которой, расслаиваясь, течет из мясорубки человеческая жижа.

Шерман слышал, как задвинулась за ним решетка, и вот он стоит в камере, поддерживая правой рукой брюки. Левой он прижимал к себе пиджак. Непонятно было ни что делать, ни даже куда смотреть, и поэтому он избрал себе свободную часть стены и стал стараться смотреть... на *них*... боковым зрением. Их одежды были смешением серого, черного и коричневого, за исключением кроссовок, создававших на полу узор из цветных полос и ярких пятен. Шерман знал, что на него смотрят. Бросил взгляд в направлении решетки. Ни единого полицейского! А вообще-то, пошевельнут ли они хоть пальцем, если...

Места по всей длине приступки были заняты латиноамериканцами. Шерман выбрал точку примерно в четырех футах от ее конца и прислонился там спиной к стене. От стены стало больно позвонкам. Он поднял правую ногу, и с нее упала туфля. Как можно небрежнее он вновь сунул в нее ступню. Наклонившись посмотреть на свою ногу среди кафельного

сверкания, он почувствовал, что вот-вот упадет от головокружения. Еще эти пенопластовые шарики на брюках!

Его охватил страх — вдруг обитатели камеры примут его за помешанного, за безнадежного идиота, которого можно прикончить просто ради разминки. Слышался запах рвоты... рвоты и сигаретного дыма... Он опустил голову, как бы в полудреме, и скосил глаза в их сторону. Они на него смотрят! Смотрят и покуривают.

Один из латиноамериканцев встает с приступки и идет к нему! Уголком глаза Шерман наблюдал за ним. Неужели начинается? Так сразу?!

Подошедший устроился справа рядом с ним, опершись спиной о стену, как Шерман. У него были жидкие курчавые волосы, усики с опущенными вниз концами, слегка желтоватая кожа, узкие плечи, выступающий животик и совершенно безумный взгляд. На вид ему было лет тридцать пять. Он улыбнулся, и улыбка придала ему вид еще более безумный.

— Эй, слышь, а я тебя у входа видел.

Видел меня у входа!

— Когда тебя телевидение снимало. Слышь, а тебе что шьют?

— Халатность за рулем,— сказал Шерман. У него было такое чувство, будто он выдавливает из себя последние слова на этом свете.

— Халатность за рулем?

— Это, ну... когда собьешь кого-нибудь машиной.

— Машиной? Ты сбил кого-то машиной, и сюда набежало телевидение?

Шерман пожал плечами. Больше он ничего говорить не хотел, однако боязнь выказать отчужденность пересилила.

— А тебе что шьют?

— У-у, мне-то? Двести двадцатую, двести шестьдесят пятую, двести двадцать пятую...— Он выбросил руку в сторону, будто хотел объять весь мир.— Наркотики, оружие, азартные игры — всякое дерьмо, знаешь ли.

Он, похоже, в некотором роде даже гордился своим бедственным положением.

— А ты сбил кого-то машиной? — спросил он снова. Явно он находил это деяние тривиальным и немужественным. Шерман поднял брови и устало кивнул.

Латиноамериканец удалился на свое место, и Шерман видел, как он разговаривает с тремя-четырьмя соседями, которые еще разок глянули на Шермана и отвернулись, словно все это им ни к чему. Шерман почувствовал себя виноватым, что не оправдал их ожиданий. Странно. Однако именно так он себя и почувствовал.

Страх быстро уступал место скуке. Минута ползла за минутой. Начал побаливать сустав левого бедра. Шерман переместил вес направо — заболела спина. Потом заболел сустав правого бедра. Пол кафельный. Стены кафельные. Он скатал пиджак, сделав из него подушку. Положил ее у стены на пол, сел и откинулся. Пиджак был влажный, брюки — тоже. Наполнился мочевой пузырь, и пошли укольчики газов в кишечнике.

Ханурик, подходивший поговорить с ним, знаток цифири, подошел к решетке. Во рту сигарета. Он ее вынул и заорал:

— Эээээй! Спичку дайте!

Полицейские — ноль внимания.

— Эээээй, спичку дайте!

В конце концов тот, которого звали Тануч, подошел к нему.

— В чем дело?

— Эй, спичку дайте! — Он выставил свою сигарету.

Тануч выкопал в кармане коробок. Одну спичку зажег и показал, держа футах в четырех от решетки. Ханурик ждал, ждал, затем взял сигарету в рот и прижался лицом к прутьям, выставив сигарету наружу... Тануч стоял неподвижно, держа горящую спичку. Спичка погасла.

— Эээээй! — обиделся ханурик.

Тануч пожал плечами и, разжав пальцы, дал спичке упасть на пол.

— Эээээй! — Ханурик обернулся к своим товарищам и поднял повыше сигарету. (Видали, что он сделал?) Один из сидевших на приступке заржал. Ханурик при виде такого предательства скорчил гримасу. Потом поглядел на Шермана. Шерман не знал, то ли выказать сочувствие, то ли отвести взгляд. В результате он просто продолжал смотреть. Ханурик подошел и сел рядом с ним на корточки. Незажженная сигарета свисала у него изо рта.

— Видал? — спросил он.

— Да,— отозвался Шерман.

— Если нужно прикурить, им полагается дать прикурить. Сукин сын. Э!.. а у тебя есть сигареты?

— Нет, у меня они все забрали. Даже шнурки от туфель.

— Без балды? — Он глянул на туфли Шермана. У самого у него, Шерман заметил, шнурки были на месте.

Шерман вдруг услышал женский голос. Женщина на что-то сердилась. Она показалась в коридорчике напротив камеры. Ее вел Тануч. Высокая, тощая, с курчавыми каштановыми волосами и темной, кофейного цвета, кожей; в черных брюках и каком-то немыслимом пиджаке с очень широкими плечами. Тануч сопровождал ее в помещение, где берут отпечатки пальцев. Внезапно она резко повернулась и бросила кому-то, кого Шерману было не видно:

— Ну ты, мешок с...— Она не закончила фразу.— По крайности, я не сижу в этом сортире целыми днями, как ты! Подумай над этим, толстячок!

Издевательский хохот полицейских на заднем плане:

— Смотри, а то он тебя в сортирте-то и утопит, Мейбл.

Тануч подталкивал ее идти дальше.

— Давай, давай, Мейбл!

Она повернулась к нему.

— Когда говоришь со мной, называй меня как положено! Никакая я тебе не Мейбл!

— Щас я тебя и похуже как-нибудь назову,— ответил ей Тануч, продолжая подталкивать ее к помещению, где берут отпечатки.

— Два-двадцать-тридцать-один,— сказал ханурик.— Распространение наркотиков.

— Откуда ты знаешь? — спросил Шерман.

Ханурик только широко раскрыл глаза и напустил на себя умудренный вид. (Есть вещи, понятные и без слов.) Затем говорит:

— Развозка долбаная приехала.

— Развозка?

Оказывается, обычно, когда кого-нибудь задерживают, их сперва запирают в местном полицейском участке. Периодически участки объезжает фургон и перевозит арестованных в Центральный распределитель для взятия у них отпечатков пальцев и первичного разбора дела. И вот теперь привезли новую партию. Их поместят в этом вольере, всех кроме женщин, которых запрут в другой вольер — дальше по коридору и за углом. Но все застопорилось, потому что «с Олбани лажа».

Мимо прошли еще три женщины. Эти были моложе первой.

— Два-тридцать,— сказал ханурик.— Проститутки.

Ханурик, знающий толк в цифрах, был прав. Действительно, приехала развозка. Пошла целая процессия — от стойки Ангела к помещению, где берут отпечатки, и в камеру. Шермана сызнова начало обдавать жаркими волнами страха. Один за другим в камере появились трое негров — высоких юнцов с бритыми головами, в ветровках и большущих белых кроссовках. Все вновь прибывшие были либо негры, либо латиноамериканцы. Главным образом молодежь. Некоторые, похоже, были пьяными. Ханурик, знающий толк в цифрах, встал и вернулся к своим приятелям на приступку, чтобы не заняли его место. Шерман ре-

шил не двигаться. Ему хотелось стать невидимым. Может, они... если он совершенно не пошелохнется... может, они его не заметят.

Шерман сидел, уставясь в пол и стараясь не думать о болях в кишечнике и мочевом пузыре. Одна из черных черточек между шашечками пола пришла в движение. Таракан! Затем он увидел другого... и третьего. Надо же! — но какой ужас... Шерман повел глазами по сторонам — интересно, кто-нибудь еще обратил внимание? Похоже, никто, однако он поймал взгляд одного из трех молодых негров. Все трое смотрят на него! Какие прожженные, жесткие, злобные физиономии! Сердце сразу же сорвалось в тахикардию. Заметил, как дергается в такт биению пульса его нога. Чтобы успокоиться, он стал следить за тараканами. Один из них подобрался к пьяному латиноамериканцу, который к этому времени уже соскользнул на пол. Таракан начал восхождение на каблук его башмака. Пошел по ноге. Исчез в штанине. Потом снова появился. Поверху двинулся дальше, к колену. Добравшись до колена, устроился среди рвотных сгустков.

Шерман глянул вверх. Один из черных юнцов идет к нему. С этакой еще улыбочкой. Высоченный невероятно. Близко посаженные глазки. Черные штаны в дудочку и белые кроссовки на липучках вместо шнурков. Остановившись перед Шерманом, нагнулся. Лицо без всякого выражения. Тем более страшно! Глядит прямо Шерману в глаза.

— Эй, ты, сигареты есть?

— Нет,— сказал Шерман. Однако он не хотел, чтобы тот счел, что Шерман держится вызывающе и не желает общаться, поэтому добавил: — Извини. Они у меня все отобрали.

Едва произнеся это, он понял, что допустил ошибку. Извинение — это ведь признак слабости.

— О'кей, ладно.— Тон юнца был, пожалуй, даже дружелюбным.— Чего тебе шьют-то?

Шерман помедлил.

— Убийство по преступной халатности,— сказал он.— Сказать «халатность за рулем» показалось ему недостаточным.

— Да-а. Погано,— протянул юнец голосом, который приблизительно изображал сочувствие.— А что было-то?

— Ничего,— сказал Шерман.— Я вообще не знаю, о чем речь. А тебе что шьют?

— Сто шестьдесят-пятнадцать,— сказал юнец. Потом добавил: — Вооруженное ограбление.

Юнец скривил рот. Шерман так и не понял, что сия гримаса должна была значить: то ли «вооруженное ограбление — это пустяк», то ли «обвиняют черт-те в чем».

Юнец одарил Шермана улыбкой, по-прежнему глядя ему прямо в глаза.

— О'кей, мистер Убийца,— сказал он, выпрямляясь, и ушел обратно в другой конец камеры.

Мистер Убийца! Сразу понял, что со мной можно без церемоний! Что они могут сделать? Не могут же они... А ведь был такой случай — кстати, где? — когда несколько заключенных в камере заслонили собой обзор сквозь решетку, пока другие... Но здесь-то — пойдут ли остальные на такое ради тех троих — вот эти, например, латиноамериканцы?

Рот у Шермана высох и запекся. Мучительно хотелось помочиться. Сердце билось неровно, хотя и не так часто, как только что. В этот момент решетка отъехала в сторону. Полицейские... Один из них внес два картонных подноса вроде тех, которыми пользуются в кафетериях. Он поставил их на пол камеры. На одном была горка бутербродов, на другом ряды пластиковых стаканчиков.

Полицейский выпрямился и сказал:

— О'кей, время перекусить. Давайте, чтоб только поровну, чтоб не было мне тут никаких заморочек.

На еду никто особенно не кидался. И все же Шерман был доволен, что сидит не очень далеко от подносов. Сунув свой задрызганный пиджак под мышку, он прошаркал по кафелю к подносам, взял бутерброд, упакованный в целлофановую обертку, и пластиковый стаканчик с прозрачной розоватой жидкостью. Потом снова уселся на свою подстилку и отпил. В стаканчике оказалось нечто слегка сладковатое. Он поставил стаканчик рядом с собой на пол и снял обертку с бутерброда. Разлепив два куска хлеба, заглянул внутрь. Там был ломтик ветчины. Какого-то нездорового, желтоватого цвета. В синеватом сиянии флюоресцентных ламп он походил на сыр. А на ощупь гладкий и липкий. Шерман поднес бутерброд к носу, понюхал. От ветчины исходил мертвый химический запашок. Шерман вынул ветчину, завернул ее обратно в пакетик и положил неаппетитный комок на пол. Решил съесть хлеб голью. Однако и хлеб издавал ветчинный запах, неприятный до невыносимости. Шерман аккуратно развернул целлофан, скатал хлеб и завернул все вместе — и хлеб, и ветчину. И вдруг увидел: кто-то перед ним стоит. Белые кроссовки на липучках.

Поднял взгляд. Черный юнец смотрел на него сверху со странной полуулыбкой. Опустился на корточки, так что его голова оказалась лишь чуть выше головы Шермана.

— Эй, ты,— сказал негр.— Мне это, как его, пить охота. Дай мне твое питье.

Дай мне твое питье? Шерман кивнул на картонные подносы.

— Там уже кончилось, слышь? Дай мне твое.

Шерман поразмыслил, что бы такое сказать. Покачал головой.

Опять негр:

— Слыхал, чего сказали? Чтоб всем поровну. Я думал, мы с тобой кореша!

И все это презрительным тоном насмешливого разочарования! Шерман понял, что пришло время подвести черту, прекратить это... это... Быстрее, чем можно было уследить глазом, юнец выбросил руку вперед и схватил стаканчик, стоявший на полу рядом с Шерманом. Встал, картинно закинул голову, и, осушив его, протянул Шерману со словами:

— Я тебя по-хорошему спрашивал... Ясно тебе? Попал сюда, так шевели мозгой, *друзей* заводи.

Разжал пальцы, уронил стаканчик Шерману на колени и отошел. Шерман чувствовал, что на него смотрит вся камера. *Я должен... Я должен...* но все его существо было парализовано страхом и замешательством. В это время какой-то латиноамериканец напротив разнял свой бутерброд, потом бросил ветчину на пол. Кусочки ветчины валялись повсюду. Там и сям скомканные обертки и целые бутерброды, развернутые и брошенные на пол. Латиноамериканец принялся есть хлеб голью, не сводя при этом глаз с Шермана. Они все на него смотрят... в этом вольере для человеческого зверья... желтая ветчина, хлеб, целлофан, пластиковые стаканчики... тараканы! Вон... и вон... Шерман бросил взгляд на пьяного латиноамериканца. Тот бесчувственной грудой валялся на полу. В складках левой его штанины у колена притаились три таракана. Внезапно Шерман заметил, что у оттопыренного кармана брюк пьяницы что-то задвигалось. Еще один таракан? — нет, для таракана что-то уж очень большое... серое... мышь! Из кармана пьяницы вылезла мышь... Мышь немного повисела, уцепившись за край ткани, потом соскользнула на кафельный пол и замерла. Вдруг метнулась вперед, к кусочку желтой ветчины. Опять остановилась, как бы оценивая свое приобретение.

— IMira! — Мышь заметил кто-то из латиноамериканцев.

Мелькнула чья-то нога. Мышь полетела по кафелю, как хоккейная шайба. Еще нога. Мышь полетела в другую сторону... Фырканье, гогот...— IMira! — И опять мелькнула нога... Мышь полетела по кафелю на спинке, наткнулась на ком ветчины и от толчка вновь перевернулась на брюшко... Смех, крики...— IMira! IMira!..— Удар — мышь на спинке подлетела к Шерману. Она лежала в двух-трех дюймах от его ноги, оглу-

шенная. с дергающимися лапками. Потом перевернулась, с трудом, еле-еле. Явно она была уже при последнем издыхании. Даже страх не мог ее заставить двигаться поживее. Проковыляла несколько шагов вперед... Смех еще пуще... *Надо ли ее пнуть в знак солидарности с сокамерниками?..* Неясно... Без лишних размышлений Шерман встал. Нагнулся и поднял мышь. Держа ее в правой руке, пошел к решетке. Камера смолкла. Мышь слабо шебаршилась в ладони. Он уже почти дошел... А, сволочь!.. жуткая боль в указательном пальце... Мышь его укусила!.. Шерман вздрогнул и дернул рукой. Мышь вцепилась зубами в палец. Шерман замахал пальцем, будто встряхивая градусник. Не отпускает, гадина!.. («iMira! iMira!»)... Гогот, фырканье... Каксе захватывающее зрелище! Какое наслаждение для обитателей камеры! Шерман стукнул ребром ладони об одну из поперечин решетки. Мышь полетела в проход... и упала прямо под ноги тому, которого звали Тануч,— он как раз подходил к камере с какими-то бумагами в руке. Тануч отпрыгнул.

— Что за черт! — вырвалось у него. Он нахмурился, посмотрел на Шермана.— Ты что, сбрендил?

Мышь лежала на полу. Тануч наступил на нее каблуком. Расплющенная, она осталась лежать с открытым ртом.

Рука у Шермана ужасно болела — в том месте, которым он ударил о решетку. Другой рукой он прижал ее к себе. *Сломал!* На указательном пальце виднелись следы мышиных зубов, выступила капелька крови. Заведя левую руку за спину, он вытащил из правого кармана носовой платок. Для этого пришлось немыслимо извернуться. Все наблюдали. Смотрели во все глаза. Он промокнул кровь и обернул руку платком. Услышал, как Тануч говорит какому-то полицейскому:

— Это тот с Парк авеню. Швырнул *мышью.*

Шерман прошаркал в свой угол и уселся на свернутый пиджак. Рука болела уже гораздо меньше. *Может, и не сломал. Но от укуса в ранку могла попасть какая-нибудь зараза!* Он размотал платок, чтобы взглянуть. На вид ничего страшного. Крови нет.

Опять к нему черный юнец идет! Шерман бросил на него взгляд и отвернулся. Негр сел перед ним на корточки, как прежде.

— Эй, ты,— сказал он.— Знаешь что? Мне холодно.

Шерман попытался не обращать на него внимания. Смотрел в сторону. Он сознавал, что на лице у его написано раздражение. *Не то! Тоже знак слабости!*

— Ну ты! Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!

Шерман повернул к нему голову. *Какая злобная рожа!*

— Я у тебя пить просил, а ты облажал меня, но я даю тебе шанс исправиться... слышь?.. Мне холодно. Пиджак давай. Дай мне твой пиджак.

Шерман лихорадочно думал. Выговорить он так ничего и не смог. Отрицательно покачал головой.

— Ты чего это? Что-то не больно ты приветлив, мистер Убийца. Мой кореш говорит, видел тебя. По телеку. Говорит, ты черного погасил, а живешь на Парк авеню. Что ж, молодец. Только тут тебе не Парк авеню. Ты понял? Друзьями здесь не бросаются, понял, ты? Ох, нехорошо ты меня кинул, ох, нехорошо, но у тебя есть шанс исправиться. Ну-ка, давай твой гребаный пиджак.

Все мысли исчезли. Мозг пылал. Шерман уперся ладонями в пол, приподнялся и броском встал на колено. Потом вскочил, стиснув пиджак в правой руке. Он сделал это так внезапно, что черный юнец оторопел.

— Заткнись! — услышал Шерман свой голос.— Нам с тобой не о чем разговаривать!

Негр уставился на него пустым взглядом. Потом улыбнулся.

— Заткнуться? — переспросил он.— Заткнуться? — Он осклабился и фыркнул носом.— Ну, так *заткни* меня!

— Эй, вы, микробы! Кончайте! — У решетки стоял Тануч. Он смотрел на негра с Шерманом. Негр одарил Шермана широкой улыбкой и

оттопырил языком щеку. (Ну-ну, радуйся! Живи, может, еще секунд шестьдесят проживешь на этом свете!) Негр вернулся на приступку и сел, продолжая пристально глядеть на Шермана.

Тануч принялся выкликать, читая по бумажке:

— Солинас! Гутьеррес! Мак-Кой!

Мак-Кой! Шерман торопливо надел пиджак, пока враг не подскочил и не завладел им в последний момент. Пиджак был влажный, грязный, вонючий и уже совершенно бесформенный. Пока Шерман надевал его, брюки чуть не свалились вовсе. По всему пиджаку — пенопластовые шарики и... *бегут, бегут!..* два таракана, заползшие в складки. Он судорожно стряхнул их на пол. Дыхание еще не успокоилось, вырывалось с шумом.

Когда Шерман выходил из камеры вслед за латиноамериканцами, Тануч вполголоса сказал ему:

— Видите? Мы о вас не забыли. На самом деле ваша фамилия стоит в списке на шесть человек дальше.

— Спасибо,— сказал Шерман.— Я очень вам благодарен.

Тануч пожал плечами.

— Мне проще вас отсюда вывести, чем потом выметать.

Кругом было полно полицейских и задержанных. У стойки — той самой, «ангельской» — Шермана встретил тюремный чин, надел на него наручники, причем сзади, и поставил в очередь с латиноамериканцами. Штаны беспомощно болтались на бедрах. Подтянуть их не было никакой возможности. Шерман все время оглядывался — не дай бог тот черный юнец окажется у него за спиной! Но нет, в маленькой очереди он был последним.

Тюремный чин повел их вверх по узкой лестнице. Наверху было еще одно помещение без окон. За обшарпанными металлическими столами сидели еще несколько тюремных чинов. Позади столов — *опять камеры!* Эти были поменьше, погрязнее и не такие сверкающие, как кафельные вольеры внизу. Видимо, настоящие тюремные камеры. На первой красовалась облупленная табличка с надписью: «ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ — 21 И СТАРШЕ — 8—10 ЧЕЛ.». «21 И СТАРШЕ» было перечеркнуто фломастером. Всю очередь завели в эту камеру. Наручники не сняли. Шерман не отрывал взгляд от двери, через которую их ввели. Если приведут того негра и запустят в маленькую камеру с ним вместе, он... он... Страх сводил с ума. Пот лил градом. Ощущение времени Шерман утратил. Чтобы помочь кровообращению, он низко опустил голову.

Наконец их вывели из камеры — к двери из стальных прутьев. По другую сторону двери Шерман увидел очередь задержанных, сидящих на полу в коридоре. Коридор был в метр шириной, не больше. Один из задержанных был белый — парень с огромным гипсом на правой ноге. На нем были шорты, так что гипс был виден целиком. Парень сидел на полу. Прислоненные к стене костыли стояли рядом. В дальнем конце коридора дверь. У двери полицейский. С внушительным револьвером на боку. Шерман отметил, что это первый револьвер, который попался ему на глаза с тех пор, как он здесь. Когда задержанный проходил в решетчатую дверь, наручники с него снимали. Шерман опустился на пол у стены вместе с остальными. Дышать в коридоре было нечем. Окон не было. Стоял люминесцентный туман, жара и вонь от чрезмерного скопления тел. Мясорубка! Сток скотобойни! А дальше что?

Дверь в конце коридора отворилась, чей-то голос сказал:

— Лантье.

Сержант, находившийся в коридоре, отозвался:

— Понял. Лантье.

Парень с костылями завозился. Сидевший рядом с ним латиноамериканец помог ему встать. Он прыгал и балансировал на здоровой ноге, пока наконец не вставил под мышки костыли. *Да что же, интересно, мог он натворить в таком состоянии?* Полицейский распахнул перед ним дверь, и до Шермана донесся голос, выкликнувший не-

сколько цифр, а затем: «Герберт Лантье!.. адвокат, представляющий Герберта Лантье!»

Зал суда! На том конце стока был зал суда!

К тому времени, когда подошла очередь Шермана, он пребывал в полуживом, отупелом и горячечном состоянии. Голос за дверью произнес: «Шерман Мак-Кой». Полицейский внутри повторил: «Мак-Кой». Держа рукой брюки, Шерман зашаркал, волоча ноги, чтобы не потерять туфли. Перед ним открылся ярко освещенный, современного вида зал, где расхаживало множество людей. Судейский помост, столы, стулья — все было выполнено из светлого дешевого дерева. В одном конце народ клубился около судейского стола на помосте, в другом — были места для зрителей, и там тоже клубился народ. Как много людей... какой яркий свет... гул голосов... Судейский помост отделен от зала барьером, тоже светлого дерева. У барьера стоял Киллиан... Он здесь! В своем модном костюме выглядит свежим и щеголеватым. Улыбается. Этакой бодрой улыбкой, с какой обычно смотрят на инвалидов. Шаркающей походкой Шерман подошел к нему, остро сознавая, до чего у него жалкий вид... В грязном и намокшем пиджаке, свисающих брюках... облепленный пенопластовыми шариками... в мятой рубашке и туфлях без шнурков... Сам чувствовал, что от него исходит запах грязи, отчаяния и ужаса.

Выкликнули какие-то цифры, затем Шерман услышал свою фамилию, потом Киллиан произнес свою, и судья спросил:

— Признаете или отрицаете?

Киллиан, повернувшись к Шерману, проговорил вполголоса:

— Скажите: «Не виновен».

Шерман выдавил из себя эти слова.

В зале поднялся ужасный шум. Пресса? Сколько уже времени он здесь находится? Разгорелся какой-то спор. Перед судьей появился собранный коренастый человек, довольно молодой, но уже лысеющий. По-видимому, из Окружной прокуратуры. Судья произнес что-то вроде «быр-мыр-мыр, мистер Крамер». Мистер Крамер.

Судья показался Шерману очень молодым. Щекастый парень, белый, с редеющими курчавыми волосами, в мантии словно бы с чужого плеча, взятой напрокат по случаю торжественного выпускного акта.

До Шермана донесся шепот Киллиана:

— Сс-скотина.

Крамер в это время говорил:

— Ваша честь, я знаю, что по рассматриваемому делу прокуратура дала согласие на залог всего в 10 000 долларов. Однако в свете дальнейшего развития событий и материалов, собранных нами за воспоследовавший период времени, прокуратуре представляется невозможным согласиться на столь незначительную сумму залога. Ваша честь, в настоящем деле речь идет о тяжких телесных повреждениях, весьма вероятно смертельных, а кроме того мы располагаем определенной и точной информацией о том, что имеется свидетель, который до сих пор не выявлен,— что этот свидетель находился в автомобиле, который вел обвиняемый, мистер Мак-Кой, и мы имеем все основания полагать, что предпринимались или будут предприниматься попытки предотвратить появление в суде этого свидетеля, и поэтому мы считаем, что интересы правосудия пострадают, если...

Голос Киллиана:

— Ваша честь!

— ...если обвиняемый будет выпущен на свободу под чисто символический залог.

Гул, ропот, сердитый гомон поднялись в зрительской части зала, и одинокий голос басом возгласил:

— В тюрьму!

И тут же слаженный хор:

— В тюрь-му!.. Под-за-мок!.. За-пе-реть!..

Судья грохнул молотком. Зал постепенно замер.

Киллиан:

— Ваша честь, мистеру Крамеру хорошо известно...

Опять шум в зале.

Тут вклинился Крамер, заговорил, перебивая Киллиана:

— Принимая во внимание эмоции, которые совершенно естественно возбуждает в народе это дело, на примере которого видно, насколько закон может быть игрушкой...

Киллиан не стерпел и тоже в крик:

— Ваша честь, это же совершенная чушь!

Сильный ропот в зале.

Ропот перешел в рев; гомон — в нечленораздельный ор.

— Эй, ты!.. Долой!.. Го-го-го-го!.. Заткни поганую пасть, дай сказать человеку!

Судья опять грохнул молотком.

— Тихо! — Рев отступил. Затем Киллиану: — Дайте ему закончить. Потом ответите.

— Благодарю вас, ваша честь,— сказал Крамер.— Ваша честь, мне бы хотелось обратить внимание суда на то обстоятельство, что это дело, даже на этапе предварительного разбора, сразу же привлекло сюда жителей микрорайона, главным образом друзей и соседей пострадавшей стороны, Генри Лэмба, который находится в больнице, оставаясь в крайне тяжелом состоянии.

Крамер повернулся и простер руку к зрительской части зала. Там было битком. Даже в проходах стояли. Шерман заметил группу негров в синих рабочих рубахах. Один из них был очень длинный, с золотой серьгой в ухе.

— У меня есть петиция,— продолжал Крамер и, подняв какие-то листки бумаги, помахал ими над головой.— Этот документ подписан более чем ста жителями микрорайона. Они обращаются с просьбой представлять их в этом деле и проследить, чтобы правосудие свершилось, хотя и без того мой святой долг — защищать и представлять их в суде.

— Мат-терь пресвятая Богородица,— пробормотал Киллиан.

— Соседи, община, народ Бронкса будут неотступно наблюдать за ходом дела, будут держать на контроле каждый шаг, каждый поворот юридического процесса.

Правильно!.. У-ху-ху-ху!.. Йах-ха!.. Врежь им! Жуткий вой в зрительской части зала.

Щекастый судья грохнул молотком и воззвал:

— Тихо! Это предварительный разбор, а не митинг. У вас все, мистер Крамер?

Шумок, шумок, гомон, ропот — бууууууууу!

— Ваша честь,— сказал Крамер,— в прокуратуре решено, причем решено самим Вейссом, требовать в этом случае залог в сумме 250 000 долларов.

Правильно!.. У-ху-ху-ху... Врежь им! Радостные вопли, аплодисменты, топанье ног.

Шерман поглядел на Киллиана. *Ну скажи — скажи мне — ведь этого не будет — этого не может быть!* Но Киллиан весь устремился к судье. Рука поднята в воздух. Губы уже шевелятся. Судья несколько раз грохнул молотком.

— Сейчас же прекратите! Или всех выведут!

— Ваша честь,— начал Киллиан, когда стало потише,— мистеру Крамеру мало того, что нарушено соглашение между прокуратурой и моим клиентом. Ему нужен цирк! Сегодня утром цирк уже устроили, когда моего клиента подвергли аресту самым грубым и демонстративным образом, тогда как он в любой момент был готов добровольно предстать перед большим жюри. Теперь мистер Крамер изобрел какую-то вымыш-

ленную угрозу непоименованному свидетелю и на этом основании просит суд установить абсурдный залог. Мой клиент домовладелец, давний житель этого города, у него семья и глубокие корни в его общине, а главное, сумма залога уже была установлена, как признает даже мистер Крамер, и в этом отношении ничего не изменилось.

— Изменилось многое, ваша честь! — выкрикнул Крамер.

— Ну да,— присовокупил Киллиан.— Окружная прокуратура — вот что изменилось!

— Хорошо,— сказал судья.— Мистер Крамер, если прокуратура располагает сведениями, способными повлиять на залоговый статус этого дела, я поручаю вам поднять эту информацию и сделать официальное представление суду, и тогда решение будет пересмотрено. А поскольку этого еще не произошло, суд освобождает обвиняемого, мистера Мак-Коя, под залог в сумме 10 000 долларов до тех пор, пока дело не поступит в большое жюри.

Вопли! Взвизги! Бу-бууууу!.. Йак-хаааа!.. Нееееееет!.. Не дадиииим!.. И опять хором:

— *Не под залог, а под замок!... Не под залог, а под замок!*

Киллиан уже уводил его. Чтобы выйти из зала, надо было пройти мимо публики, протиснуться сквозь массу обозленных людей, которые теперь уже все были на ногах. Шерман видел, как мелькают в воздухе кулаки. И тут он заметил идущих к нему полицейских, по меньшей мере с полдюжины. Они были в белых рубашках, на поясе подсумки с патронами и колоссальные кобуры с торчащими оттуда рукоятями револьверов. Судебные пристава. Они окружили его. *Меня ведут обратно в камеру!* Но тут он понял, что это они просто построились клином, чтобы провести его сквозь толпу. Какие гневные лица, сколько их — белых, черных! *Убийца!.. Мать твою вперегреб!.. Получишь то, что устроил Генри Лэмбу!.. Молись, Парк авеню!.. Теперь тебе крышка!.. Эй, Мак-Кой — могилу себе рой!..* Оступаясь, он двигался вперед, окруженный своими защитниками в белых рубашках. Он слышал, как они покряхтывают, раздвигая толпу. «Посторонись! Посторонись!» Тут и там высовываются какие-то рожи, шевелятся губы... Высокий светловолосый англичанин... Фэллоу... Пресса... и опять крики... *Эй ты, носатик! Я до тебя доберусь!.. Считай свои последние вздохи, беби!.. Врежь ему!.. Кончилось твое время, падло!.. Нет, вы гляньте: Парк авеню!*

Находясь в средоточии бури, Шерман чувствовал удивительную отстраненность от происходящего. Умом он понимал, что происходит нечто кошмарное, но не чувствовал этого. *Ну да, ведь я уже мертв.*

Буря выплеснулась из зала суда в холл. В холле было полно людей, стоявших группками. Испуг на их лицах сменился ужасом. Они начали жаться по стенам, освобождая место вырвавшейся из зала суда орущей, толкающейся толпе. Вот Киллиан с охранниками ведут его уже к эскалатору. На стене перед глазами отвратительная фреска. Эскалатор идет вниз. Сзади надавили, и Шерман повалился вперед, на спину охранника, стоявшего ступенькой ниже. На миг показалось: вот-вот покатится лавина тел, но охранник поймал рукой движущийся поручень и удержался. Вопящая толпа вывалилась через парадные двери на ступени входа со Сто шестьдесят первой улицы. На пути стена тел. Телевизионные камеры (не меньше восьми), микрофоны (этих пятнадцать или двадцать), орущие глотки — пресса.

Обе группы встретились, перемешались, замерли. Впереди Шермана вырос Киллиан. Окруженный частоколом микрофонов, принялся декламировать, весьма картинно:

— Я хочу, чтобы весь город Нью-Йорк увидел то, что сейчас видели вы.— Со странной отрешенностью Шерман обнаружил, что отмечает каждый просторечный призвук в речи этого хлыща.— Вы видели отвратительный цирк вместо ареста, вы видели цирк вместо судебного разбирательства, а главное, вы видели, как Окружная прокуратура рас-

стилается, проституирует и извращает закон ради ваших микрофонов и ради одобрения хулиганствующей толпы!

Бу-бууу!.. Йах-хаа!.. Сам ты хулиган, кривоносый ублюдок!.. Где-то позади Шермана, всего в полуметре, какой-то тип тянул писклявым фальцетом: *Молись, молись, Мак-Кой... Твой час пробил... Молись, Мак-Кой... Твой час пробил...*

Киллиан продолжал:

— Вчера мы достигли договоренности с окружным прокурором...

Заунывный фальцет тянул свое: *Молись, молись, Мак-Кой... Считай последние вздохи...*

Шерман поглядел на небо. Дождь кончился. Выглянуло солнце. Стоял чудесный, ласковый июньский день. Над Бронксом вознесся легкий голубой купол.

Шерман глядел в небо и, слушая звуки — просто звуки, округлые периоды и каденции, вопросительные выкрики, ноющий фальцет и гогот толпы,— слушая все это, он думал: нет, не вернусь туда больше, ни за что. Чего бы мне это ни стоило, даже если придется вставить в рот дуло дробовика.

Единственный имевшийся в его распоряжении дробовик был, между тем, двустволкой. Огромная такая старинная штуковина. Шерман стоял на Сто шестьдесят первой улице в Бронксе, в пяти минутах ходьбы от Большой Магистрали, и прикидывал, влезут ли в рот оба ствола.

23

В ОТКРЫТОЙ ПОЛОСТИ

Стол Вейсса был завален газетами. Вчерашний вечерний выпуск «Сити лайт» все еще лежал сверху. Огромными буквами на первой странице значилось:

СБИЛ И СБЕЖАЛ.
УОЛЛ-СТРИТСКИЙ ДЕНДИ
УЛИЧЕН И СХВАЧЕН

Слова подпирали узкую вертикальную фотографию, где изображался Мак-Кой: весь мокрый, руки с переброшенным через них пиджаком держит перед собой, явно скрывая наручники. Выдающийся его скульптурный подбородок поднят, свирепый взгляд направлен в камеру как бы сверху вниз. Всем своим видом словно бы говорит: «Да, ну и что с того?» Даже в «Таймс» этот материал вышел утром на первой полосе, но ни одна газета так не бесновалась, как «Сити лайт». Шапка утреннего выпуска гласила:

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ТАИНСТВЕННАЯ
БРЮНЕТКА

Заголовок шрифтом помельче сообщал: *«Разделение труда в «мерседесе»: он сбил, она сбежала».* Фотография была взята из светского журнала «W» — та самая, на которую указал Роланд Обэрн: ухмыляющийся Мак-Кой во фраке, а рядом жена, вся из себя правильная и обыкновенная. Под фотографией подпись: *«Свидетель показывает, что спутница Мак-Коя моложе, на вид «клевая», этакая «штучка с ручкой», не то что его сорокалетняя жена Джуди, снятая здесь вместе с мужем на благотворительном вечере».* Белыми буквами на черном фоне по низу страницы было выведено: *«Протестующие зрители в зале суда требовали: «Не под залог, а под замок» уолл-стритского лихача. См. стр. 3.»* И еще: *«Город Мак-Коя и город Лэмба: Повесть о двух городах. Фотографии на стр. 4 и 5».* На страницах 4 и 5 на одной стороне — снимки апартаментов Мак-Коя на Парк авеню (те самые, из «Архитектурного обозрения»), а на другой — снимки маленьких комнаток семьи Лэмба в дешевом многоквартирнике. Под фотографиями длинное пояснение: *«Когда спортивный «мерседес-бенц» стоимостью пятьдесят тысяч долла-*

ров, принадлежащий уолл-стритскому банкиру Шерману Мак-Кою, сбил примерного школьника Генри Лэмба, между собой столкнулись два совершенно разных Нью-Йорка. Мак-Кой живет в четырнадцатикомнатной двухэтажной квартире, стоящей три миллиона долларов и расположенной на Парк авеню. Лэмбы снимают за 247 долларов в месяц трехкомнатную квартирку в одной из новостроек Южного Бронкса».

Каждая буковка в газете — Вейссу маслом по сердцу. Теперь с болтовней насчет «белого правосудия» и «Йоханнесбронкса» покончено. Правда, поднять Мак-Кою залог до 250 000 долларов не удалось, но уж бучу подняли, да какую! Бучу? Крамер улыбнулся. У Сэмми Ауэрбаха глаза на лоб полезли, когда Крамер принялся трясти перед ним петицией. Немножко, конечно, неприлично, но зато, что называется, в тему. Прокуратура Бронкса поддерживает живую связь с людьми. А к требованиям повысить сумму залога мы еще вернемся.

Нет, Вейсс положительно доволен. Это очевидно. Первый раз Крамера пригласили в кабинет Вейсса одного, без Берни Фицгиббона.

Вейсс нажал кнопку, и экран погас. Крамеру:

— Заметили, в каком виде там Мак-Кой стоял? Полный раздрызг. Милт говорит, что он и в суде был такой же. Говорит, в жутком был виде. В чем дело-то?

— Так ведь...— начал Крамер.— В общем всего и делов, что дождь. Пока стоял в очереди в Центральный распределитель, промок. Его заставили ждать вместе со всеми в очереди, в чем весь и смысл был. Чтоб никаких поблажек.

— Это ладно,— отозвался Вейсс,— но бога ради, мы притащили в суд Парк авеню, а Милт говорит, что у парня был вид, будто его только что из реки выудили. Да тут еще Берни мне из-за этого кровь портит. Вообще не хотел его через распределитель тащить.

— Ну, не такой уж у него был скверный вид, мистер Вейсс,— сказал Крамер.

— Зовите меня Эйбом.

Крамер кивнул, про себя, однако, решив, что для приличия надо немного выждать, прежде чем пробовать обращаться к начальнику по имени.

— Вид был как у каждого, кого приводят из вольеров.

— Да тут еще Томми Киллиан из-за этого вонь подымает,— Вейсс махнул рукой в сторону телевизоров.

«Ну,— подумал Крамер,— вот и пришлось тебе выйти лицом к лицу против двух «ослов». Берни был, мягко говоря, недоволен, когда Вейсс вопреки его воле приказал Крамеру поднять вопрос о пересмотре суммы залога для Мак-Коя с 10 000 долларов до 250 000, после того как Берни с Киллианом сговорились на десяти тысячах. Фицгиббону Вейсс объяснил, что все это лишь для того, чтобы успокоить разгневанных людей; пусть соседи Лэмба видят: к Мак-Кою не будут относиться по-особенному,— дескать, он знал заранее, что все равно Ауэрбах не станет устанавливать такой высокий залог. Но для Берни это было нарушением контракта, отступлением от правил Банка Взаимных Услуг, от тайного кодекса ирландской взаимовыручки в системе уголовного права.

Крамер заметил, что по лицу Вейсса прошла тень, и тот сказал:

— Ладно, пусть Томми повякает. Если ублажать каждого, можно с ума спятить. Я должен был принять решение, и я его принял. Фицгиббону Томми нравится, ну и пусть себе. Мне самому Томми нравится. Но Берни прямо расстелиться перед ним готов! Наобещал Киллиану такого, что, дай ему волю, Мак-Кой продефилировал бы мимо нас словно принц Чарльз. Сколько он там просидел, в этих вольерах?

— Да так, около четырех часов.

— Но это ведь, примерно, в пределах обычного, правда?

— Приблизительно. В моей практике бывало, что обвиняемого возили из одного полицейского участка в другой, потом в Центральный

распределитель, потом на Райкерс-Айленд, потом обратно в Центральный распределитель и только после этого с ним разбирались. Если арестуют в пятницу вечером, попадаешь в круговерть на весь уик-энд. И вот уж у таких обвиняемых потом видок — не позавидуешь. Мак-Кою даже не пришлось начинать с полицейского участка и ехать в распределитель в тюремном фургоне.

— Ну, тогда я и вовсе не понимаю, к чему весь сыр-бор. С ним что-нибудь случилось в этих вольерах? О чем крик-то?

— Ничего не случилось. Компьютер, кажется, сломался. В результате — задержка. Но такое тоже сплошь и рядом бывает. Обычная история.

— Хотите знать, что я про это думаю? Я думаю, Берни, сам того не сознавая — не поймите меня превратно, я Берни люблю и уважаю,— но, по-моему, он, сам того не сознавая, думает, будто с человеком вроде этого Мак-Коя надо обходиться как-то по-особенному, потому что он белый и потому что известная персона. В общем, тут дело тонкое. Берни ирландец и Томми тоже ирландец, а ирландцам присуще врожденное чувство раболепия, что ли, причем сами они этого не ощущают. На задних лапах готовы ходить перед белыми англосаксами-протестантами вроде Мак-Коя, и при этом думают, будто ведут себя как завзятые экстремисты из Ирландской республиканской армии[1]. В общем-то, это мелочи, но такие, как Берни, волей-неволей идут у своего раболепия на поводу, пусть даже и безотчетно. Но мы ведь не БАСПов представляем, Ларри. Я очень удивлюсь, если в Бронксе найдется хоть один БАСП. Ну, может быть, один и живет, где-нибудь в Ривердейле.

Крамер хмыкнул.

— Да нет, я серьезно,—сказал Вейсс.— Это же Бронкс. Лаборатория межэтнических отношений. Это я так его называю — лаборатория межэтнических отношений.

Верно: он называл Бронкс лабораторией межэтнических отношений. Он произносил эти слова каждый день, словно забыв о том, что все, кто попадали в его кабинет, сто раз это от него слышали. Но Крамер нынче был расположен прощать Вейссу такое фанфаронство. Да и не только прощать... понимать... и принимать истины, лежащие в основе домодельных лозунгов старого шута. Вейсс прав. Нельзя возглавлять систему уголовного права в Бронксе, притворяясь при этом, будто находишься в чуточку сдвинутом с места Манхэттене.

— Подите сюда,— позвал Вейсс. Он встал из своего необъятного кресла и, подойдя к окну, поманил к себе Крамера. Отсюда, с шестого этажа здания, стоящего на холме, вид открывался великолепный. Окно было достаточно высоко, чтобы все мерзкие и убогие детали отступили, и возобладала топография — красивые пологие холмы Бронкса. Внизу лежал стадион «Янки» и парк Джона Маллэли, который с такой высоты выглядел зеленым и невинным. А прямо впереди, в отдалении, на той стороне Гарлем-ривер вставали силуэты Северного Манхэттена, прежде всего Пресвитерианский медицинский центр, и весь этот вид отсюда казался ласковой пасторалью, вроде пейзажей старых художников, которые в качестве фона всегда располагают несколько развесистых деревьев и мягкие пушистые облака.

— Поглядите вниз, на эти улицы, Ларри,— заговорил Вейсс.— Что видите? *Кого* видите?

На самом деле все, что Крамер мог видеть,— это маленькие фигурки, движущиеся по Сто шестьдесят первой улице и Уолтон авеню. С такой высоты они были как насекомые.

— Поголовно одних черных и пуэрториканцев,— сам себе ответил Вейсс.— Там больше не встретишь даже ни одного старого еврея, ни одного итальянца, а ведь это самый центр Бронкса. Для Бронкса это

---

[1] Ирландская республиканская армия — террористическая организация национал-сепаратистов в Северной Ирландии.

то же, что для Бруклина Монтэгю-стрит или Ратушная площадь для Манхэттена. Бывало, летом евреи усаживались вечерами у своих дверей прямо на улице — да-да, вот здесь, на Большой Магистрали, просто сидели и глядели на проходящие автомобили. Теперь посидеть тут не заставишь и Чарльза Бронсона[1]. Пришла новая эпоха, а никто этого еще не понимает. Когда я был мальчишкой, в Бронксе верховодили ирландцы. Долго верховодили. Помните, был такой Чарли Бакли? Конгрессмен Чарли Бакли, помните? Нет, вы чересчур молоды. А Чарли Бакли был правителем Бронкса и ирландцем до мозга костей. Пожалуй, лет тридцать назад Чарли Бакли был здесь все еще в силе. Теперь с ними покончено, и кто верховодит теперь? Евреи и итальянцы. Но надолго ли их хватит? На улицах их не встретишь, так что долго ли они продержатся в этом здании? Бронкс есть Бронкс — лаборатория межэтнических отношений. Это я его так называю — лаборатория межэтнических отношений. Люди, на которых вы сейчас смотрите сверху,— это бедные люди, Ларри, а нищета порождает преступность, ну а уж преступность в этом районе — н-да, вам можно не объяснять. В какой-то мере я идеалист. Хочется каждое дело рассматривать индивидуально, с учетом личности и так далее. Но когда их такая тьма? Ой-ой-ой-ой... Но опять-таки, с другой стороны, я понимаю так: мы — это маленькая группка ковбоев, перегоняющих стадо. А стадо — что? Дай бог, чтобы не разбрелось, дай бог, чтобы удалось привести его все целиком,— Вейсс произвел руками широкий округлый жест,— чтобы поменьше было потерь в пути. Конечно, придет день, и, может быть, очень скоро придет, когда там, внизу, у этих людей появятся свои лидеры, свои организации, они подомнут под себя здешнюю организацию Демократической партии и все прочее, и нас уже не будет в этом здании. Но сейчас мы нужны им и должны делать то, что им кажется правильным. Должны все время показывать им, что мы от них не отрываемся и что они такая же неотъемлемая часть Нью-Йорка, как и мы сами. Должны посылать им соответствующие сигналы. Надо, чтобы они знали, что хотя мы и бываем подчас с ними суровы, если они отбиваются от стада, но не потому, что они черные или там пуэрториканцы, и не потому, что они бедны. Приходится все время им показывать, что Фемида действительно слепа. Что и для белых и для богатых все равно все происходит точно так же. Это очень важный сигнал. Куда важнее, чем какой-нибудь параграф закона или процессуальная тонкость. Это — задача нашей службы, Ларри. Мы здесь не для того, чтобы разбираться с делами. Мы для того, чтобы внушать надежду. А Берни как раз этого не понимает. Берни все еще работает по-ирландски,— продолжал Вейсс,— как некогда Чарли Бакли, а так уже нельзя. Прошло то время. Лаборатория межэтнических отношений вступила в новую эпоху, и наш долг представлять перед законом тех людей, которых вы видите там, внизу.

Крамер послушно следил за движением насекомых. Что до Вейсса, то возвышенность чувств сообщила его голосу и лицу некую восторженность. Он посмотрел на Крамера доверительно, будто говоря: «Вот что такое жизнь, если пренебречь мелочами».

— В таком разрезе я никогда об этом не думал, Эйб,— проговорил Крамер.— Но вы совершенно правы.— Похоже, момент для того, чтобы впервые назвать начальника Эйбом, был выбран правильно.

— Вначале у меня были кое-какие сомнения насчет дела этого Мак-Коя,— сказал Вейсс.— Создавалось впечатление, что Бэкон и его люди на нас давят, а мы идем у них на поводу. Но нет, все оказалось правильно. Как мы обходимся с этим выскочкой с Парк авеню? А как с любым другим, вот как! Арест, наручники, распределитель, отпечатки пальцев, ожидание в вольерах — все в точности как с любым местным! Думаю, теперь к ним пошел чертовски правильный сигнал. Пусть люди знают, что мы представляем *их* и что они тоже часть Нью-Йорка.

[1] Известный американский актер, как правило играющий роли отчаянно смелых борцов с преступностью.

Вейсс бросил взгляд сверху вниз на Сто шестьдесят первую улицу с видом пастуха, оглядывающего свое стадо. Хорошо, что здесь нет никого третьего. Будь здесь сейчас еще кто-нибудь, возобладали бы ирония и цинизм. Невозможно было бы думать ни о чем, кроме того, что у Эйба Вейсса через пять месяцев перевыборы, а семьдесят процентов обитателей Бронкса черные и латиноамериканцы. Но поскольку они были вдвоем, Крамеру удалось проникнуться и дойти до сути, которая заключалась в том, что стоящий рядом с ним фанатичный Капитан Ахав говорит верно.

— Вчера вы поработали на славу, Ларри,— сказал Вейсс,— и я хочу, чтобы в таком же духе у вас шло и дальше. Не правда ли, ведь даже *чувствуешь* себя по-другому, когда твой талант поставлен на службу чему-то значительному? Господи, вы же знаете, сколько я получаю.— Крамер знал. Вейсс получал восемьдесят две тысячи в год.— Раз десять я был на распутье, и мог все бросить и получать в три, в пять раз больше, занявшись частной практикой. Но ради чего? Свой путь мы проходим только один раз, Ларри. За что хочется чтобы тебя помнили? За какой-нибудь дурацкий особняк в Ривердейле или Гриниче или Локаст-Вэлли? Или за то, что ты старался что-то *изменить?* Мне *жаль* Томми Килиана. Он был хорошим помощником окружного прокурора, но Томми вздумалось делать деньги, и теперь он их делает, но как? Водит за ручку и вытирает носы всяким жуликам, психам и наркоманам. Персона вроде Мак-Коя для него — ценная реклама. Он таких людей и близко не видывал с тех пор, как ушел из прокуратуры. Нет уж, я лучше буду заведовать лабораторией межэтнических отношений. Это мое твердое мнение. Лучше уж я буду стараться что-то изменить.

Вчера вы поработали на славу. И я хочу, чтобы в таком же духе у вас шло и дальше.

— Господи, сколько времени-то? — вдруг спохватился Вейсс.— Уже есть хочется.

Крамер с готовностью бросил взгляд на часы.

— Почти четверть первого.

— А хотите — оставайтесь, перекусим вместе. Судья Тоннето зайдет и этот еще, Овертон или как его там, из «Таймс» — вечно я забываю,— их там всех зовут либо Овертон, либо Клифтон. Одни, к дьяволу, БАСПы, а еще будут Бобби Вителло и Лео Вайнтрауб. Вы знаете Лео Вайнтрауба? Нет? Тем более не уходите. Многому научитесь.

— Что ж, если это удобно...

— Ну конечно! — Вейсс махнул рукой в сторону гигантского стола заседаний, как бы показывая, что места хватит.— Надо только распорядиться, чтобы принесли сандвичи.

Он сказал это так, словно мысль о совместном завтраке возникла вдруг, экспромтом, и он решил заказать его прямо сюда, на работу, чтобы не нужно было никуда ходить, как будто он, да и кто бы то ни было из лихих ковбоев, скрывающихся в островной цитадели, мог осмелиться выйти, пройтись среди стад и перекусить где-нибудь в торговом центре.

Однако Крамер запретил себе всякий дешевый цинизм даже в мыслях. Как-никак предстоял завтрак с такими людьми, как судья Тоннето. Бобби Вителло, Лео Вайнтрауб (специалист по недвижимости), Овертон Как-его-там (но уж точно БАСП, да еще и из «Нью-Йорк таймс»), и к тому же с самим окружным прокурором!

В общем, кончилось его барахтанье в безвестности.

Благодарение Господу за Великого Белого Преступника! Благодарение Господу за мистера Шермана Мак-Коя!

В порыве праздного любопытства он и впрямь на миг задумался о Мак-Кое. Мак-Кой ведь немногим старше его. Интересно, каково было нырнуть разочек в ледяную реальность этому БАСПу, у которого до сих пор все в жизни складывалось, как ему хотелось? Но это был лишь миг, минутная слабость.

Согласно представлениям индейцев из первобытного племени бороро, живущего вдоль реки Вермельо в джунглях Амазонки, такая вещь, как отдельная личность, не существует вовсе. Бороро считают сознание открытой полостью вроде пещеры, туннеля или, если хотите, галереи, которая вмещает всю деревню и все джунгли. В 1969 году Хосе М. Р. Дельгадо, выдающийся испанский нейрофизиолог, провозгласил воззрения индейцев бороро правильными. Почти три тысячелетия западные философы рассматривали личность как нечто отдельное, уникальное и помещающееся у человека, так сказать, внутри черепной коробки. Эта его внутренняя сущность должна была, конечно же, вступать во взаимодействие с внешним миром и учиться у него, и вполне могла оказаться в этом несостоятельной. Тем не менее считалось, что в основе каждой человеческой личности лежит нечто неустранимое и незыблемое. Это не так, заявил Дельгадо. «Каждая личность есть временное соединение материалов, позаимствованных у внешней среды». Ключевое слово здесь — «временное», и масштаб времени — не годы, а часы. Он ссылался на эксперименты, в ходе которых здоровых университетских студентов укладывали в кровати в хорошо освещенной, но полностью звукоизолированной камере, надев на них перчатки для уменьшения осязательных ощущений и полупрозрачные очки, закрывающие доступ зрительным впечатлениям, в результате чего эти студенты начинали галлюцинировать уже *через несколько часов.* Без деревни, без джунглей полость пустеет, и никакого сознания, никакой личности не остается.

Правда, об экспериментах, доказывающих обратное, он не упоминал. Не обсуждал он и проблему того, что происходит с человеческой личностью — или с тем, что человек считает таковой,— когда она из полости, открытой внешнему миру, превращается в увеселительный парк, куда все кому не лень, todo el mundo, tout le monde, врываются побегать, попрыгать и поорать, пощекотать себе нервы и разжечь огонь в чреслах, готовые ко всему, что там найдется,— к смеху, слезам, стонам и замиранию сердца, к ужасам, захватывающим дух, к чему угодно, и чем кровавее развлечение, тем слаще. Иными словами, он ничего не поведал нам о сознании человека, оказавшегося в центре большого публичного скандала на исходе двадцатого века.

Вначале, в течение первых недель после происшествия в Бронксе, Шерман Мак-Кой считал прессу врагом, который преследует его *извне.* Он страшился каждого нового выпуска газет, каждой новой передачи телевидения так, как человек страшится оружия незримого и неведомого врага, падающих бомб или снарядов при обстреле. Даже еще вчера, стоя в грязи под дождем у Центрального распределителя и видя белки глаз и желтые зубы своих врагов, которые преследовали его, травили и измывались над ним, разве что не топтали его ногами и не плевали в него, он все-таки продолжал считать их врагами *внешними.* Готовые убить, они окружили его, мучили и унижали, но им неподвластна была его внутренняя сокровенная сущность, личность Шермана Мак-Коя, таящаяся в плавильном тигле его сознания.

Они окружили его, чтобы убить. И убили.

Когда именно он умер — то ли в очереди у дверей Центрального распределителя, то ли в вольере,— он вспомнить не мог. Но когда он вышел на волю и Киллиан устроил свою импровизированную пресс-конференцию на крыльце, он уже умер и родился заново. Для нового его воплощения пресса не была врагом и не была чем-то *внешним.* Пресса стала теперь формой бытия, как болезнь, как какая-нибудь красная волчанка или бугорчатка Вегенера. Вся его нервная система подключилась к беспредельной непредсказуемой сети теле- и радиовещания и газет, тело дыбилось, горело и трепетало под ударами информационных токов и алчного любопытства посвященных, а посвященными были все — от ближайшего соседа до равнодушнейшего и отдаленнейшего из чужестранцев, которого на минуту позабавил его позор. Тысячи, нет, миллионы их ворвались в полость, которую он считал когда-то своим

«я», личностью Шермана Мак-Коя. Он так же не мог теперь помешать им вторгнуться в его нутро, как не мог не впустить воздух в легкие. (Или, точнее говоря, он мог не впустить их точно так же, как мог бы навсегда лишить легкие воздуха. Такой выход не раз за тот длинный день приходил ему в голову, но с этим кошмаром он боролся, боролся, боролся — он, один раз уже умерший!)

Началось это спустя всего какие-то минуты после того, как они с Киллианом ухитрились наконец выбраться из толпы демонстрантов, репортеров, фотографов и съемочных групп и сесть в предварительно нанятую Киллианом машину. В машине работал приемник, водитель слушал развлекательную станцию, однако почти тотчас пошла врезка новостей, которые передавали каждые полчаса, и сразу Шерман услышал свое имя — имя и все тот же джентльменский набор слов, которые ему предстояло снова и снова слышать и видеть весь остаток дня: Уолл-стрит, высшее общество, сбил и сбежал, примерный ученик, Бронкс, неизвестная женщина в машине... Ему бросился в глаза взгляд водителя. Тот через зеркальце заднего обзора пытливо всматривался в открытую полость, которую звали Шерман Мак-Кой. К тому времени, когда они добрались до кабинета Киллиана, дневной выпуск «Сити лайт» уже лежал на столе, и с первой полосы на него смотрело его собственное перекошенное лицо, так что теперь любой обитатель Нью-Йорка мог свободно шагнуть, войти в него через эти полные страха глаза. Ближе к вечеру, по дороге домой на Парк авеню ему, чтобы попасть в свой собственный подъезд, пришлось пройти сквозь строй репортеров и телевизионщиков. С веселой и презрительной наглостью они запросто называли его «Шерман», а швейцар Эдди пялился на него, чуть не всю голову всовывая в разверстую полость. Хуже того, в лифте пришлось ехать вместе с супругами Моррисси, которые жили в роскошной надстройке-пентхаусе над верхним этажом. Они не произнесли ни слова. Лишь водили носами в полости, нюхая и нюхая его стыд, пока их лица не окаменели от вони. Его телефонного номера не было в городских справочниках, и он надеялся укрыться дома, но репортеры с этим уже разобрались, и Боните, добрейшей Боните, которая лишь мельком заглянула в полость, приходилось неустанно отражать телефонные наскоки. Звонили из всех возможных и невозможных средств массовой информации. Несколько раз звонили Джуди. А ему? Да кто же будет настолько лишен самоуважения, настолько непробиваем, чтобы по-приятельски звонить этому гомонящему проходному двору, этому вместилищу стыда и страха, каковым стал Шерман Мак-Кой? Разве что мать, да отец, да Роли Торп. Что ж, хотя бы Роли оказался на это способен. Джуди — потрясенная, отдалившаяся, слоняется по квартире. Кэмпбелл — в ошеломлении, хоть и не в слезах,— пока еще нет. Он думал, что не в силах будет глядеть на телеэкран, но все-таки включил телевизор. По каждой из программ — потоки грязи и поношений. Выдающийся уолл-стритский банковский делец, один из главных заправил компании «Пирс-и-Пирс», светский лев, обучавшийся в привилегированной школе и Йейльском университете, балованный сынок бывшего управляющего уолл-стритской адвокатской фирмы «Даннинг Спонджет и Лич», едучи в своем спортивном «мерседесе» ценой в 60 000 долларов (добавили 10 000) с клевой брюнеткой, вовсе не женой,— последняя, кстати, по сравнению с ней смотрится весьма бледно,— сбивает примерного сына малообеспеченной, но заслуженной женщины, прилежного школьника, отличника, выросшего в муниципальной новостройке, а сбив, не то что не останавливается помочь, наоборот, без малейшего зазрения совести уезжает в своем чудо-автомобиле, безжалостно оставив жертву умирать на мостовой. И самое странное в этом — просто самому не верилось,— самое странное было то, что от всех этих передержек и прямого вранья возмущения он не испытывал, испытывал только *стыд*. К ночи все это повторилось уже столько раз, столько раз было пропущено по обширной сети, к которой он подключился, что ложь обрела весомость правды — ведь миллионы

людей увидели своими глазами *этого* Мак-Коя, *этот* Мак-Кой предстал перед ними на экране, и теперь все знали, какой бесчеловечный поступок он совершил.

Ночью, уже совершенно обессиленный, он лег в кровать, думая, что не заснет. Однако заснул почти сразу и увидел сон. Сумерки. Он едет в автобусе по Первой авеню. Само по себе странно, потому что в автобусах по Нью-Йорку он лет десять как не ездил. Не успел оглянуться, автобус подъезжает к Сто десятой улице, и уже стемнело. Свою остановку он пропустил, да и вообще не помнил, где ему надо было сойти. Кварталы вокруг негритянские. На самом деле это должны были быть латиноамериканские кварталы, а именно «испанский Гарлем», но во сне это был негритянский район. Он сошел с автобуса, опасаясь, что если не выйдет, то будет еще хуже. В дверях, на крылечках, на тротуарах во мраке виднелись чьи-то силуэты, однако его еще не заметили. Прячась в тень, он торопливо шагал по направлению к западу. По здравом размышлении следовало бы идти прямо по Первой авеню к центру, но ему почему-то крайне важно было двигаться на запад. Тут он заметил, что его окружают. Молчаливые силуэты, которые даже не пытались слишком уж приблизиться... Не торопились. Им было не к спеху. Он устремился в темноту, выискивая самые укромные закоулки, и постепенно силуэты вокруг сомкнулись — постепенно, потому что им было не к спеху. Проснулся, охваченный жуткой паникой, весь в поту, с колотящимся, чуть не выпрыгивающим сердцем. Спал меньше двух часов.

В 7.00 снизу с извинениями позвонил швейцар Тони и сообщил, что у подъезда, на тротуаре и в машинах, стали лагерем репортеры и фотографы. Бонита это сообщение передала Шерману, и он, сжав зубы и вздернув подбородок, решил реагировать на них точно так же, как реагировал бы на плохую погоду. Когда они вдвоем — Шерман в самом своем бескомпромиссно-элегантном английском костюме и Кэмпбелл в форме школы «Тальяферро» — вышли из лифта и проходили в дверь, Тони с искренним сочувствием произнес:

— Удачи вам. Мерзкая там собралась публика.

Первым им попался какой-то очень юношеского вида парень, почти мальчишка, он подошел и вроде как даже вежливо проговорил:

— Мистер Мак-Кой, я бы хотел спросить вас...

Шерман взял Кэмпбелл за руку и, вздернув свой йейльский подбородок, сказал:

— У меня для вас нет сообщений. Прошу извинить.

Внезапно пятеро, шестеро, семеро разом окружили его и Кэмпбелл, и больше никаких «мистеров мак-коев» уже не звучало.

— Шерман! Одну минутку! Кто была та женщина?

— Шерман! Ну погодите же! Один снимочек!

— Эй, Шерман! Ваш адвокат говорит...

— Погоди-ка! Эй! Как тебя звать, милашка?

Кто-то из них назвал Кэмпбелл *милашкой!* Возмущенный, Шерман в ярости повернулся на голос. Это был *тот самый* — со спутанными сальными волосами, облепившими череп, и теперь уже два клочка туалетной бумаги прилеплены к щеке.

Шерман повернулся к Кэмпбелл. На лице у нее смущенная улыбка. Фотоаппараты! Конечно, ведь фотосъемка для нее всегда была чем-то праздничным.

— Как ее звать?

— Эй, милашка, как тебя звать?

Тот, немытый, с налепленной на лицо туалетной бумагой, уже склонился к его девочке и заговорил с нею елейным голоском доброго дядюшки.

— Оставьте ее в покое! — рявкнул Шерман. И заметил, что от резкости его тона лицо у Кэмпбелл стало испуганным.

Внезапно прямо у него перед носом оказался микрофон, перекрыв поле зрения. Микрофон держала высокая жилистая девица с квадратными челюстями.

— Генри Лэмб лежит в больнице при смерти, а вы разгуливаете по Парк авеню. Как вы относитесь к тому, что Генри...

Шерман махнул рукой, чтобы отбросить микрофон от лица. Женщина подняла крик:

— Орясина! Выродок! — и, обращаясь к коллегам: — Вы видели? Он меня ударил! Этот сукин сын ударил меня! Вы видели! Вы это видели! Да я упеку тебя, посажу за хулиганство, сукин ты сын!

Свора окружила Шермана и его дочурку. Он обнял девочку, прижал к себе, стараясь ускорить ее шаги и поскорее дойти до угла.

— Да ладно, Шерман! Всего парочка вопросов, и мы вас отпустим!

Сзади все еще вопила и взвизгивала та девица:

— Эй, ты тот момент заснял? Дашь мне посмотреть, понял? Это вещественное доказательство! Покажешь мне снимок! — Потом вслед Шерману: — Ты что, вообще не хочешь знать, кого ты ударил, мудень ты расистский?

Мудень расистский! При том, что девица была белой.

На лице Кэмпбелл застыло выражение ужаса и недоумения.

Светофор зажегся зеленым, и вся свора, тесня Шермана с дочкой и беснуясь, устремилась с ними вместе на другую сторону Парк авеню. Шерман и Кэмпбелл, держась за руки, прокладывали себе путь прямо вперед, а окружающие их репортеры и фотографы мельтешили вокруг, то пятясь, то по-крабьи перебегая бочком.

— Шерман!

— Шерман!

— А ну, милашка, глянь на меня!

Родители, гувернантки и дети, ожидавшие автобуса из школы «Тальяферро», отпрянули. Они не хотели иметь ничего общего с этим мерзким, крикливым выбросом стыда, вины, унижения и издевательства. С другой стороны, не хотели они и того, чтобы их дети упустили автобус, который был уже на подходе. Поэтому они, поеживаясь, лишь отступили на несколько шагов в сторону, на газоны, словно подхваченные порывом ветра. Сперва Шерман надеялся, что кто-нибудь подойдет помочь — пусть не ради него, ради Кэмпбелл, но он ошибся. Одни глазели с таким видом, будто они вообще не знают, кто он такой. Другие отводили глаза.

Кэмпбелл, в своей бордовенькой школьной форме, взобралась по ступенькам в автобус и на прощанье оглянулась через плечо.

По ее щекам беззвучно струились слезы.

Боль поразила Шермана прямо в солнечное сплетение. Нет, вновь он не умер. Он еще не умер во второй раз — еще нет.

Фэллоу продефилировал через большой редакционный зал, дав всем вволю налюбоваться своей внушительной фигурой. Живот втянул, спина прямая. С завтрашнего дня он начнет серьезно заниматься атлетизмом. Почему, в самом деле, ему не выглядеть героем? По пути в центр он завернул на Мэдисон авеню к Херцфельду, где торгуют европейской и английской одеждой, и купил там синий в горошек шелковый галстук. Крошечные горошинки были вышиты белым. Галстук он надел прямо в магазине, продемонстрировав продавцу съемный воротничок. Рубашка на нем была его самая лучшая — фирмы «Бауринг, Эрандел и К⁰», купленная на Сэвил-Роу в Лондоне. Что называется, честная рубашка, и к ней нужен был столь же честный галстук. Эх, если бы он мог позволить себе новый блейзер — с роскошными лацканами до пупа, и чтобы они не лоснились... Ну да ничего — скоро все будет! Подойдя к столу, где были сложены свежие номера газет для внутреннего пользования, он взял утренний номер «Сити лайт». «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ТАИНСТ-

ВЕННАЯ БРЮНЕТКА». Опять статья Питера Фэллоу главная — на первой полосе. Вокруг нее шрифт как в тумане, перемежающийся всяким зрительным мусором — он поднес газету к глазам слишком близко. Однако он продолжал неотрывно на нее смотреть: пусть все заметят и оценят присутствие самого... Питера Фэллоу...

Зашел в свою кабинку и обнаружил на столе шесть или семь записок. Просматривая, ожидал найти среди них уже чуть ли не приглашение от кинопродюсера.

Показался сэр Джеральд Стейнер, который еще недавно был просто Грязный Мыш; он шел по проходу без пиджака, в полосатой рубашке и ярко-красных бархатистых подтяжках, лицо его расплывалось в улыбке — радушнейшей, доброжелательнейшей, не то что каких-нибудь пару недель назад, когда он исподлобья сверкал злым глазом. Фляжка с водкой все еще лежала в кармане плаща, который по-прежнему висел на вешалке в углу. А если вынуть да хлебнуть глоточек огненного пойла, к тому же прямо на глазах у Мыша, что из этого выйдет? А ничего, кроме понимающей и даже вроде как заговорщицкой улыбки Мыша, если Фэллоу действительно знает своего шефа.

— Питер! — приветливо заговорил Стейнер. *Питер.* Уже не называет его *Фэллоу,* как учитель в школе.— Хотите кое-что покажу — на весь день заряд получите!

Стейнер пришлепнул к столу Питера Фэллоу фотографию. На ней был Шерман Мак-Кой, который со зверской гримасой бьет по лицу высокую женщину, держащую в руке некий жезл, при ближайшем рассмотрении оказавшийся микрофоном. Другой рукой Шерман Мак-Кой держит за руку маленькую девочку в школьной форме. Девочка завороженно и ошарашенно смотрит в объектив. На заднем плане навес над подъездом и в дверях швейцар.

— Отвратная, между прочим, баба,— ухмыльнулся Стейнер.— Она на какой-то там радиостанции работает. Звонит теперь по пять раз в час, говорит, что посадит Мак-Коя за хулиганство. Требует фотографию. Что ж, она ее получит. Фотография будет на первой полосе в следующем номере.

Фэллоу взял фото, поглядел.

— Хммммм. Прелестная какая девчушка. Должно быть, не так-то ей легко живется, если отец то негритянского мальчика собьет, то женщину ударит, то еще какого-нибудь представителя меньшинств. Вы заметили, что янки относят женщин к меньшинствам?

— Бедный наш язык,— отозвался Стейнер.

— Чудный снимок,— сказал Фэллоу совершенно искренне.— Кто снимал?

— Сильверстайн. Зверь мужик. В самом деле здорово работает.

— Персональная опека поручена Сильверстайну? — спросил Фэллоу.

— Конечно,— подтвердил Стейнер.— Он такие штуки обожает. Знаете, Питер,— *Питер,*— я с большим уважением, может быть с уважением навыворот, но истинным, отношусь к ребятам вроде Сильверстайна. Это фермеры журналистики. Они любят ее жирную богатую почву ради нее самой, не ради платы — любят копаться руками в перегное.— Стейнер озадаченно умолк. Он всегда слегка шалел от собственных формулировок.

Он, сэр Джеральд, любимый сынок старого Стейнера, и сам бы хотел бултыхаться в грязи с такой же дионисийской непринужденностью, как лучшие из его ребят. Его глаза потеплели, исполнились чувства — быть может, любви, а быть может, ностальгии по грязи.

— Хочу кое о чем поведать вам, Питер. Не знаю, осознаéте ли вы это в полной мере или нет, но своими материалами о Мак-Кое и Лэмбе вы содействовали очень важному делу. Понятно — сенсация, всякое такое, но все обстоит куда серьезнее. Моральный аспект. Задумайтесь на секунду. Моральный аспект. Вы упомянули тут о меньшин-

ствах. Я понимаю, это была шутка, но к нам уже вовсю поступают отклики от этих самых меньшинств, от негритянских и всяких прочих организаций, тех самых, которые распространяли слухи о том, что наша газета расистская, и прочую чушь, а теперь они поздравляют нас и смотрят на нас как на что-то вроде... маяка. Этакий вот внезапный поворот кругом... Мы теперь знаменосцы либерализма и гражданских прав!.. Я к тому, чтоб вы знали: это очень важный шаг в развитии нашей газеты. Так или иначе — читателям на нашу респектабельность плевать. А вот рекламодателям — нет. Я уже дал Брайану задание, чтобы он как-нибудь постарался добиться от этих негритянских группировок чего-то вроде официального заявления о своем новом отношении к газете «Сити лайт»,— может, благодарность выразят или, там, премию дадут, не знаю, но Брайан сам придумает, как и что. Надеюсь, и вы сумеете выделить время, чтобы принять участие в действиях, которые он предпримет. Но это надо еще поглядеть, как получится.

— Конечно, конечно,— отозвался Фэллоу.— Разумеется. Я знаю, как уязвлены чувства этих людей. А вы слышали, что судью, который вчера отказался увеличить Мак-Кою сумму залога, угрожали убить?

— Убить угрожали? Вы что, серьезно? — Мыш так и дернулся, донельзя воодушевленный сообщением Фэллоу.

— Совершенно серьезно. И он, кстати, тоже воспринял это со всей серьезностью.

— Боже правый! — воскликнул Стейнер.— Прямо какая-то удивительная тут страна.

В этот момент Фэллоу решил, что пришло время предложить сэру Джеральду важный шаг иного рода: пусть он выдаст ему аванс в тысячу долларов, а уже это, быть может, подвигнет его превосходительство Мыша еще и на увеличение Питеру Фэллоу жалованья.

И он оказался прав по обоим пунктам. Как только новый блейзер будет готов, старый он *сожжет*. С наслаждением.

Не прошло и минуты после ухода Стейнера, как у Фэллоу зазвонил телефон. На проводе был Элберт Вогель.

— Привет, Пит! Ну, как вы там? Дело-то, между прочим, здорово пошло, события развиваются. Пит, у меня к вам просьба. Дайте мне телефон Мак-Коя. Он не внесен в справочники.

Сам не понимая толком почему, Фэллоу встревожился.

— А зачем вам его телефон, Эл?

— Ну, понимаете, Пит, ко мне обратилась Энни Лэмб, она хочет вчинить гражданский иск от имени сына. То есть фактически два иска: один — больнице, за преступную халатность, и один — Мак-Кою.

— И вам нужен его домашний телефон? Зачем?

— Зачем? Может быть, понадобится вести переговоры.

— Не понимаю, почему бы вам не позвонить его адвокату.

— Господи боже мой, Пит! — Голос Вогеля стал сердитым.— Я позвонил вам не затем, чтобы консультироваться по вопросам права. Все, что я хочу, это телефон этого мудня. У вас есть его телефон или нет?

Разум подсказывал Фэллоу, что надо сказать: нет. Но тщеславие не позволяло сказать Вогелю, что он, Фэллоу, создатель и владелец дела Мак-Коя, оказался не в силах раздобыть какой-то там телефонный номер.

— Хорошо, Эл. Предлагаю сделку. Вы даете мне информацию о гражданских исках и один день форы, чтобы я успел все запустить, а я даю вам номер телефона.

— Послушайте, Пит, по поводу этих исков я хочу созвать пресс-конференцию. Я ведь прошу-то всего-навсего какой-то вшивый номер телефона!

— Пожалуйста, созывайте пресс-конференцию. После очередной моей статьи к вам только больше народу сбежится.

Пауза.

— О'кей, Пит.— Вогель хихикнул, но как-то не очень искренне.— Похоже, я сотворил чудовище, когда подкинул вам Генри Лэмба. Вы, вообще, кем себя считаете, Линкольном Стеффенсом [1]?!

— Линкольном... Чего?

— Да не важно. Вам это не интересно. О'кей, вы получите эту информацию. Вам еще не надоело пользоваться исключительными правами? Диктуйте номер.

И он продиктовал.

Когда кто-то и так, что называется, стоит у истоков, какая разница, дашь ты ему номер телефона или нет?

24

АГЕНТУРА

Мерзкий оранжевый ковер бил в глаза. Рядом с пластиковой кушеткой, на которой, опустив плечи, сидел Шерман, ковер у стены отстал от пола, и наружу торчали витые металлические нити основы. Шерман уставился на колючие махры, чтобы не видеть зловещих типов, сидевших на кушетке напротив. Боялся, что они станут его разглядывать и узнают. То, что Киллиан мог заставить его вот так сидеть и ждать, укрепило его уверенность в принятом решении. Это будет его последний визит сюда, его последнее нисхождение к вульгарности всяческих «банков взаимных услуг», «контрактов», пошлых щеголей и дешевых помоечных философий.

Однако вскоре любопытство победило, и он посмотрел на их ноги... Двое мужчин... На одном были элегантные туфли без шнуровки с декоративными золотыми цепочками по верху. На другом — снежно-белые кроссовки «Рибок». Подошвы тихонько шаркали по полу: мужчины то и дело съезжали с покатых сидений и, упираясь ногами, вползали обратно, потом снова съезжали и снова вползали, съезжали и вползали. Шерман тоже съехал и вполз обратно. Они съехали и вползли обратно. Шерман съехал и вполз обратно. Все в этом заведении, включая даже бесстыжий наклон кушеток, свидетельствовало о безвкусице, неумелости, вульгарности, а в основе своей — о чистейшей некомпетентности. Двое мужчин говорили на языке, который Шерман предположительно опознал как испанский. «Оу el meemo»,— все повторял один. «Оу el meemo». Шерман дал глазам подняться до середины их туловищ. На обоих были вязаные рубашки и кожаные куртки — опять Кожаная Публика. «Оу el meemo». Набрался решимости и посмотрел им в лица. Сразу же опять опустил глаза. Так и есть, глазеют! Какие злобные рожи! Обоим слегка за тридцать. У обоих густые черные волосы, подстриженные и уложенные в вульгарные, но, вероятно, дорогие прически. У обоих волосы разделены посередине на пробор и зачесаны так, чтобы образовались аккуратные торжественные локоны. С каким странным выражением они на него смотрят! *Неужели знают?*

Ага: донесся голос Киллиана. *Говорите. Ваше право. Это точно.* Утешение только в том, что ему недолго еще придется слушать этот уличный выговор. «Лев» ему тогда правильно сказал. Как он мог вручить свою судьбу тому, для кого грязь — естественная среда обитания? В дверях появился вышедший из внутреннего коридора Киллиан. Рукой он обнимал за плечи маленького и вконец удрученного толстяка в жалком костюмчике — особенно жалким был почему-то его жилет, оттопыривавшийся на животе.

— Что я могу вам сказать, Дональд? — говорил Киллиан.— В адвокатуре как везде. Сколько платишь, столько имеешь. Правильно? —

[1] Джозеф Линкольн Стеффенс — американский журналист, наибольшая известность которого приходилась на 1900—1910 гг. Благодаря своей разоблачительной деятельности получил прозвище «разгребатель грязи».

Толстячок подавленно пошел прочь, даже не взглянув на него. Когда бы Шерман ни пришел к Киллиану, здесь ведутся разговоры о деньгах — о деньгах, которые причитаются Томасу Киллиану.

— Простиииите,— протянул Киллиан, улыбаясь Шерману.— Я не хотел заставлять вас ждать.— Он со значением посмотрел вслед удаляющемуся толстяку и вздернул брови.

Идя с Шерманом под ослепительными лампами к своему кабинету, Киллиан сказал:

— Вот у него,— он опять кивнул в сторону удалявшегося толстячка,— уж действительно проблемы так проблемы. Пятьдесят семь лет, заместитель директора школы, католик, ирландец, жена, детишки, а пойман на том, что приставал к семилетней девочке. Полицейский, который задержал его, говорит, что он сперва предложил ей банан, ну, и с этого начал.

Шерман не ответил. Неужто этот толстокожий хлыщ с его безграничным цинизмом действительно думает, что от такого сопоставления ему будет легче? Шермана передернуло. Показалось, будто судьба маленького толстячка — это его собственная судьба.

— Между прочим, заметили двух парней, которые сидели напротив?

Шерман весь сжался. Господи, а с этими что?

— Одному двадцать восемь, другому двадцать девять, а были бы в списке Форбса «Четыреста богатейших людей Америки» — если бы их фирма публиковала годовые отчеты. Да, *вот такие* деньги. Они кубинцы, но занимаются импортом из Колумбии. Клиенты Майка Беллавиты.

Раздражение нарастало в Шермане с каждой секундой. Неужели этот хлыщ действительно думает, что своим беззаботным обзором местного паноптикума, своим небрежно-залихватским тоном он может польстить Шерману, заставить его почувствовать собственное превосходство над человеческими обломками, захваченными в грязный поток, льющийся по здешним коридорам? Вовсе я не выше их — слышишь ты, самонадеянный, но безмерно невежественный дурак! Я один из них! Мое сердце с ними! Со старым совратителем-ирландцем... с двумя пышноволосыми кубинцами — распространителями наркотиков,— короче говоря, он на собственной шкуре познал истинность поговорки: «Либерал — это консерватор, побывавший за решеткой».

В кабинете Киллиана Шерман сел и стал смотреть, как этот ирландский хлыщ сперва откинулся в кресле, а затем расправил, охорашиваясь, плечи под двубортным пиджаком. Он все сильнее раздражал Шермана. Но сам пребывал в превосходнейшем расположении духа. На рабочем столе у него валялись газеты. «Разделение труда в «мерседесе»: он сбил, она сбежала». Еще бы, разумеется! В его руках самое скандальное уголовное дело в Нью-Йорке.

Ну, так сейчас он его потеряет. Как бы это ему сказать? Хотелось просто выложить без обиняков, и все тут. Но слова сами собой выходили какие-то смягченные.

— Надеюсь, вы понимаете,— заговорил Шерман,— я очень недоволен вчерашними событиями.

— Ну конечно, естественно! Отвратительно вышло, даже для Вейсса.

— Вы меня не поняли. Я говорю не о том, чему я, так сказать, фактически подвергся, я говорю о вашем...

Его прервал голос секретарши, зазвучавший из селектора на столе Киллиана. «Нил Фланнаган из «Дейли ньюс» по 3-0».

Киллиан качнулся в кресле вперед:

— Скажите, я перезвоню. Нет, погодите секундочку. Скажите, что я перезвоню через тридцать минут. Если он звонит не из редакции, пусть через тридцать минут перезвонит сам.— Потом Шерману: — Извините.

Шерман помолчал, мрачно глядя на хлыща, затем сказал:

— Я говорю о другом. Я о том, что...

Киллиан перебил его:

— Я не в том смысле, что в нашем распоряжении всего тридцать минут. Весь день ваш, если вам это нужно. Но я хочу перемолвиться с парнем из «Ньюс», с Фланнаганом. Он будет нашим противоядием...

— Что ж, замечательно,— проговорил Шерман как можно решительнее,— но тут возникла одна проблема. Вы заверили меня, что у вас особые связи в Окружной прокуратуре Бронкса. Вы сказали мне, что у вас заключен «контракт» с неким Фицгиббоном. Помнится, я даже выслушал целый доклад на тему «Банк Взаимных Услуг». В общем, поймите меня правильно. Я не склонен сомневаться в вашей квалификации правоведа, но...

Голос в селекторе: «Питер Фэллоу из «Сити лайт» по 3-0».

— Запишите его телефон. Скажите, я перезвоню.— Шерману: — Кстати, о яде. Вот и главная гадюка.

Сердце у Шермана затрепетало, запрыгало, потом успокоилось.

— Продолжайте. Вы что-то хотели сказать...

— Я не сомневаюсь в ваших юридических познаниях, однако вы дали некие заверения, на которые я наивно поддался и...— Он смолк, подыскивая нужное слово.

Тут же вклинился Киллиан.

— Вас обманули, Шерман. И меня тоже обманули. И Берни Фицгиббона обманули. То, что сделал Вейсс, непростительно. Так... не... делают. *Так никто не делает.*

— Тем не менее он так сделал, после того как вы сказали мне, что...

— Я понимаю, что вам пришлось вытерпеть. Это все равно как если тебя берут и швыряют в помойную яму. Но кое-что Берни все-таки удалось. Вейсс хотел устроить вообще мрак. Этот сукин сын собирался арестовать вас прямо *дома!* Ему нужен был арест на Парк авеню! Он спятил, спятил, спятил! Знаете, что он устроил бы, дай ему волю? Велел бы надеть на вас наручники прямо в квартире, потом отвезти в участок, чтобы вы там нюхнули как следует тюряги, потом вас сунули бы в фургон с сеткой на окнах, вместе со всеми этими скотами, и только *после* этого вы попали бы в Центральный распределитель, где прошли бы через то, через что прошли. Вот чего он добивался.

— И тем не менее...

— Мистер Киллиан, Ирв Стоун из Первого канала по 3-2. Звонит уже третий раз.

— Запишите номер и скажите, что я перезвоню.— Шерману: — Сегодня я должен поговорить с этими людьми, пусть даже мне нечего им сказать. Просто чтобы не отпугнуть их. Завтра начинаем поворачивать все в свою пользу.

— Поворачивать в свою пользу...— проговорил Шерман тоном, который должен был выражать горькую иронию. Хлыщ не заметил. На лице у него было написано упоение дружным интересом со стороны прессы. Мой позор — для него источник дешевой славы.

— Поворачивать в свою пользу, легко сказать,— недовольно повторил Шерман.

— Мистер Мак-Кой,— улыбнулся Киллиан,— я вижу, вы мне не верите. Ну вот, а у меня для вас новость. Вообще-то у меня для вас целая куча новостей.— Он нажал кнопку селектора.— Эй, Нина! Попросите сюда Куигли. Скажите ему, что мистер Мак-Кой здесь.— И Шерману: — Эд Куигли наш детектив, я про него вам рассказывал, он работал раньше следователем по особо важным делам.

В дверях появился высокий лысый мужчина. Тот самый, которого Шерман видел в слепящей приемной, когда впервые пришел сюда. На левом бедре, высоко, у самого пояса — револьвер в кобуре. Белая рубашка, правда без галстука. Закатанные рукава, огромные ручищи. В левой руке серый конверт. Мужчины такого типа — высокие, костистые и крепко сбитые — в пятьдесят выглядят сильнее и опаснее, чем в

двадцать пять. Широкие плечи слегка ссутулены. Глаза сидят глубоко под надбровными дугами.

— Эд,— сказал Киллиан,— это мистер Мак-Кой.

Шерман угрюмо кивнул.

— Рад познакомиться,— проговорил мужчина. И улыбнулся такой же мертвой улыбкой, как и в первый раз.

Киллиан спросил:

— Фотография при вас?

Куигли вынул из конверта листок бумаги и подал его Киллиану, а Киллиан передал Шерману.

— Это ксерокс, но чтобы добыть его... я даже не стану вам говорить, с каким трудом я его добывал. Узнаете?

Фотография негра в профиль и анфас, под ней цифры. Крупные черты лица, мощная шея.

— Похоже, это он,— вздохнул Шерман.— Тот, другой, поздоровее, который кричал: «Йо! Помощь не нужна?»

— Блатной тип по имени Роланд Обэрн. Живет в новостройке имени Эдгара По. Сейчас сидит в «Райкерс-Айленде», ждет решения суда по своему четвертому делу о распространении наркотиков. Совершенно ясно, что он договорился с прокуратурой о скидке в обмен на свидетельство против вас.

— Лжесвидетельство.

— Это никоим образом не противоречит принципам, которым до сей поры подчинялась жизнь Роланда Обэрна,— прокомментировал Киллиан.

— А как вы это все узнали?

Киллиан с улыбкой кивнул в сторону Куигли.

— У Эда среди людей в синей форме немало друзей, и кое-кто из лучших их представителей многим ему обязан.

Куигли слегка поджал губы.

— А за грабеж он не привлекался? — спросил Шерман.— Ну, то есть за то, что он пытался сделать со мной?

— Вы хотите сказать — за нападение с целью грабежа? — уточнил Киллиан и хмыкнул.— Надо же, а я и не подумал. Это ведь как раз оно и есть — нападение с целью грабежа. Правильно, Эд?

— По-видимому.

— Нам пока об этом не известно,— сказал Киллиан,— но мы еще должны многое про этого сукина сына выяснить. Известное дело, заключенные — они что угодно засвидетельствуют, и на этом у Вейсса зиждется все дело, будь оно неладно! Только на этом основании вас и взяли под стражу!

Киллиан укоризненно закачал головой и долго не переставал. Шерман почувствовал благодарность. В первый раз ему намекнули, что искренне его оправдывают.

— Ладно, это была первая новость,— сказал Киллиан. И, обращаясь к Эду, продолжил: — Скажите ему теперь насчет миссис Раскин.

Шерман поднял глаза на Куигли, и тот доложил:

— Она уехала в Италию. Я проследил ее путь вплоть до дома, который она сняла на озере Комо. Это такой курорт в Ломбардии.

— Все верно,— отозвался Шерман.— В тот вечер, когда все это случилось, она как раз оттуда возвращалась.

— Н-да, так вот, пару дней назад,— продолжал Куигли,— она уехала оттуда на машине с каким-то парнем по имени Филиппо. Мне про него известно только, что он «Филиппо». Вы не знаете, кто бы это мог быть? Лет двадцати — двадцати пяти, стройный, среднего роста. Копна волос. Одет панком. На вид симпатичный — во всяком случае так про него сказал мой агент.

Шерман вздохнул.

— Это какой-то ее знакомый художник. Филиппо Караццa или Карицци.

— Вы какое-нибудь еще место в Италии знаете, куда она могла поехать?

Шерман покачал головой.

— Как же вы все это выяснили?

Куигли поглядел на Киллиана, и тот сделал разрешающий жест:

— Расскажите ему.

— Ничего особенного,— сказал Куигли. Оказавшись в центре внимания, он не удержался от горделивой улыбки.— По большей части у таких людей имеется «Глоб-экспресс». Ну знаете, такая кредитная карточка. В центральной конторе на Дуэйн-стрит есть одна женщина, вроде как мой человек. К ним по компьютерным каналам стекается информация со всего мира. Я ей плачу сто долларов за справку. Не так уж плохо — ведь работы-то всего минут на пять. Ну, и ясное дело, эта Мария Раскин дважды отоварилась в магазинах того городка, в смысле Комо. Покупала одежду. В общем, я звоню нашему парню в Рим, он идет в один из этих магазинов, представляется служащим компании «Глоб-экспресс», называет номер ее счета и говорит, что должен послать ей телеграмму для «уточнения кое-каких нюансов». Тем плевать с высокого дерева. Тут же дают адрес, по которому доставляли покупки, он туда едет и все проверяет.— Куигли пожал плечами, как бы говоря: «Для таких, как я, это проще простого».

Удостоверившись, что впечатление на Шермана произведено, Киллиан заговорил вновь:

— В результате у нас теперь есть выход на обоих действующих лиц. Мы знаем, кто их свидетель, и мы найдем вашу приятельницу миссис Раскин. Доставим ее сюда, даже если придется везти в ящике с дырочками для воздуха. И не смотрите так возмущенно. Я понимаю, вы свои сомнения толкуете в ее пользу, но по всем объективным показателям ее вряд ли можно считать вашим другом. Это самая серьезная передряга в вашей жизни, а ваша подружка — ключ к вашему спасению — берет и смывается в Италию с каким-то симпатягой по имени Филиппо. Это что ж такое, а?

Шерман не удержался от улыбки. Однако в неизбывном своем самодовольстве немедленно решил, что поведению Марии должно быть какое-то безобидное объяснение.

После ухода сотрудника Киллиан сказал:

— Эд Куигли просто чудо. Такого замечательного частного сыщика нет ни у кого. Он... может... он *может все*. Типичный ирландец из манхэттенских трущоб, из той самой, знаменитой когда-то Адовой Кухни. Пацаны, с которыми Эд по двору бегал, все стали либо головорезами, либо полицейскими. Полицейскими стали те, кого поймала на свой крючок церковь, те, в которых немножко прорезалось чувство вины. Но всем им нравится одно и то же. Всем им нравится бить морды и крошить зубы. Единственная разница, что когда ты полицейский, ты делаешь это легально, и священник что-то одобряет, а на что-то смотрит сквозь пальцы. Эд был потрясающим полицейским. Страх наводил тот еще.

— Но как же он раздобыл фотографию? — Шерман глядел на листок с ксерокопией.— Это что — тоже какой-то из ваших «контрактов»?

— Это? Нуууууу. И думать забудьте. Такая информация, как *тюремный снимок?* Это настолько выше крыши — я в том смысле, что это уже за рамками Банка Взаимных Услуг. Лишних вопросов я не задаю, но если я правильно понимаю ситуацию, это «Банк Взаимных Услуг» плюс обычный банк — типичная операция купли-продажи. Об этом забудьте. Да-да. И не благодарите. Выкиньте из головы.

Шерман снова сел в кресло и поглядел на адвоката. Пришел он сюда с намерением отказаться от помощи Киллиана, а теперь был уже не столь уверен.

Словно читая его мысли, Киллиан проговорил:

— Можно, я вам кое-что объясню? Дело ведь не в том, что Эйб Вейсс попирает самое идею правосудия.— *Самое идею.* Что-то больно уж грамотно заговорил. В какие такие эмпиреи он мысленно устремился? — Может, и не попирает. Но данный случай не имеет с правосудием ничего общего. Это война. Это его битва за перевыборы, чертово кресло для него — вся жизнь. Так что когда пресса подымает вокруг какого-нибудь дела такую бучу, какую она подняла вокруг вашего, ему уже не до правосудия. Он сделает все, что от него потребуется. Я не к тому, чтобы пугать вас. Но происходит именно это — война. И я должен не просто обдумать линию защиты, я должен выработать стратегию кампании. Не думаю, чтобы он взял ваш телефон на прослушивание, но право он такое имеет и вполне на это способен. Так что на вашем месте я бы никаких существенных деталей дела по телефону не обсуждал. По телефону вообще лучше от обсуждений воздержаться. По крайней мере, не надо будет думать о том, что существенно, а что нет.

Шерман кивнул — мол, понимаю.

— А теперь, Шерман, я должен вам кое-что сказать начистоту. Вся эта катавасия будет стоить кучу денег. Знаете, сколько стоит агент Куигли в Ломбардии? Две тысячи долларов в неделю, и это лишь малая часть того, что нам предстоит. Я собираюсь попросить у вас большой аванс, прямо сразу. Это не считая платы за участие в судебном процессе, которой, как я все еще надеюсь, не потребуется.

— Сколько?

— Семьдесят пять тысяч.

— *Семьдесят пять тысяч?*

— Шерман, ну что мне вам сказать? В адвокатуре как везде. Правильно? Сколько платишь, столько имеешь.

— Но, черт возьми — семьдесят пять тысяч!

— Вы меня толкаете на нескромность. Наша фирма самая лучшая. И мы будем за вас драться. Я люблю драться. Я ведь такой же ирландец, как Куигли.

В результате Шерман, пришедший отказать адвокату, выписал чек на семьдесят пять тысяч долларов.

Вручил его Киллиану.

— Вам придется немного подождать, пока я переведу такую сумму на текущий счет.

— Что ж, понятное дело. Что у нас сегодня? Среда? До утра пятницы в банк не пойду.

По низу меню шли маленькие черно-белые квадратики со старомодными бордюрчиками, заключавшие внутри каллиграфически выписанные рекламки всякой всячины типа шоколадного напитка «Нехи», консервированной селедочной икры «Капитан Генри», кофе с цикорием «Кафе дю монд», велосипедов на дутых шинах «Вождь краснокожих», трубочного табака «Эджуорт» и микстуры от простуды и кашля «666». Эти рекламки тут были явно только для красы, как воспоминание о старинных днях, когда болотистые низины Луизианы пересекали только узкие провинциальные шоссейки. Предчувствие заставило Крамера сжаться. Страшно подумать, сколько с него здесь сдерут — долларов пятьдесят, это уж как пить дать. Но ведь назад пути уже нет, не так ли? Отгороженный от общего зала столик, напротив Крамера сидит Шелли, смотрит на него во все глаза, а предыдущие полтора часа он потратил на то, чтобы предстать человеком, который владеет ситуацией и отвечает за свои действия, и не кто иной, как он сам, бонвиван и кутила, предложил продолжить трапезу десертом и кофе. Кроме того, ему ужасно хотелось мороженого. Рот и глотку жгло огнем. В кафе «Александрия», похоже, не было блюда, которое не содержало бы огненных специй. «Креольский суп из стручков окры с речным песком»... Он-то

думал, что слово *«песок»* — это чистой воды метафора, означающая какую-нибудь хрустящую приправу, какой-нибудь молотый корень или еще что-то, однако в чертовом супчике оказался настоящий песок, да еще явно перемешанный с черным перцем. «Кайеннские хлебцы» на вкус напоминали хлеб с кусачими муравьями. «Филе зубатки с поджаренной окрой на желтом рисе с яблочным маслом и китайским горчичным соусом»... гм, китайская горчица — это уже сигнал опасности, но зубатку пришлось заказать, потому что это было единственное не безумно дорогое блюдо в меню: 10 долларов 60 центов. А Андриутти еще говорил, будто это недорогой креольский ресторанчик на Бич-стрит, «обалденное местечко». Бич-стрит и впрямь довольно захудалая улочка, поэтому Крамер поверил.

Но Шелли говорит, что все замечательно, все чудесно. Она сияет, она божественна с этой ее коричневой помадой, правда не совсем ясно, что сей сумеречный жар означает: любовь, грим «Беркширская осень» или пожар в желудке.

Мороженое, мороженое, мороженое... Глазами обегая торфяной пал прозы меню, в огнедышащей дымке он углядел единственный сорт мороженого: «Сбитое вручную ванильное мороженое с подливкой из орехов и красного перца». *Опять перец?* Ладно, подливку он соскребет в сторону и будет есть чистое мороженое. Попросить лощеную официантку с ее медового цвета локонами, чтобы дали без подливки, у него не хватило духу. Побоялся предстать перед Шелли трусливым хлюпиком.

Шелли заказала пирожок с лаймовой начинкой «Реллено», и оба попросили «кофе по-новоорлеански, свежемолотый с цикорием», несмотря на то, что внутренний голос предупреждал Крамера: цикорий будет только добавочным бедствием для его пылающих внутренностей.

По-мужски твердо и решительно распорядившись насчет кофе и десерта, он положил руки на стол, подался вперед и вновь погрузил взгляд в глаза Шелли, чтобы добавить ей уголовного дурмана вкупе с остатками вина из бутылки белого «Цинфанделя», которая станет ему в двенадцать долларов. «Цинфандель» в перечне вин по цене занимал предпоследнее место. Заказать самое дешевое Крамеру не хватило храбрости — то было «Шабли» за 9.50. Только совсем уж неопытные губошлепы заказывают «Шабли».

— Жаль, что нельзя было вас пригласить прямо туда, чтобы вы его послушали, этого Роланда Обэрна. Я уже три раза его допрашивал. Сперва он казался таким *крутым,* угрюмым, таким... знаете... зловещим. Весь каменный, с мертвым взглядом — типичный такой тинейджер из кошмара про темные улицы Нью-Йорка. Но стоит только пять минут его послушать — просто послушать — и слышишь совсем другое. Слышишь боль. Ведь мальчишка же! Боится. Эти ребята в гетто вырастают без всякой заботы и присмотра. Запуганы. Воздвигают вокруг себя стену из этакой брутальности, думают за ней укрыться, а сами каждый миг ждут гибели. Именно так: ждут гибели. Нет, я не беспокоюсь, как Роланд поведет себя перед присяжными. Сделаю так: в первые полторы-две минуты для раскачки задам несколько невинных вопросов о его житье-бытье, о детстве и тому подобном, и постепенно с него сойдет вся эта крутость, он даже сам не заметит, и вот тогда присяжные ему *поверят.* Они увидят в нем не закоренелого преступника, а просто испуганного пацана, которому позарез нужно хоть чуточку нормальной жизни, хоть чуточку красоты, потому что как раз такой он и есть. Придумать бы еще способ, чтобы заставить присяжных взглянуть на его рисунки и коллажи. Шелли, он просто талант. Та-лант! Впрочем, такого способа, пожалуй, все-таки нет. Сдернуть с него эту личину закоренелости и то будет задачкой не из простых. Все равно что достать улитку из ракушки, которая этак завита спиралью.

Крамер нарисовал в воздухе пальцем спираль и хохотнул, доволь-

ный удачным сравнением. Блестящие губы Шелли одобрительно улыбались. Они прямо сияли. Она *вся* сияла.

— Мне бы очень хотелось поприсутствовать на суде,— сказала она.— Когда он будет?

— Мы пока не знаем еще.— (*Мы* с прокурором; мы вообще с ним не разлей вода.)— До следующей недели мы не собираемся даже выносить дело на большое жюри. А к суду мы будем готовы месяца через два, а то и через полгода. С делом, которое получило такую огласку, как это, заранее никогда не скажешь, что произойдет. Когда пресса начинает с чем-нибудь носиться как с писаной торбой, все усложняется.— Он качнул головой, как бы говоря: «Учусь с этим мириться — приходится!»

Шелли вся сияла и лучилась.

— Ларри, когда я вчера вечером пришла домой, включила телевизор, и показали вас — на том рисунке,— я засмеялась как ребенок. Сказала: «Ларри!» — громко сказала, вслух, как будто вы вошли в комнату. Просто не смогла сдержаться.

— Сказать по правде, меня это тоже несколько ошарашило.

— Ужас, до чего хочется прийти на суд. А можно?

— Конечно.

— Обещаю, что глупить не буду.

Крамера так и кольнуло. Он понял, что момент настал. Скользнул ладонями по столу вперед и, не глядя, просунул кончики пальцев под ее пальцы. Она тоже на руки не посмотрела и не отняла их. Продолжала смотреть ему в глаза и прижала его пальцы своими.

— Да пусть бы вы даже и сглупили,— проговорил он. Сказал и удивился собственному голосу. Таким он был хриплым и застенчивым.

Выйдя на улицу, уже почти без денег, которые практически полностью остались в затейливо-старинном неэлектрическом кассовом аппарате кафе «Александрия», он взял ее за руку, сплел свои Железные Пальцы Атлета с ее нежными тонкими пальчиками и повел ее сквозь трущобную тьму Бич-стрит.

— Знаете, Шелли, вы и представить не можете, что означает для меня возможность поговорить обо всем этом с вами. Сотрудники в прокуратуре... с ними только начнешь вдаваться в суть проблемы, и все уже решили, что ты раскис. А если ты раскис — о, тогда дело дрянь. А жена... не знаю, она просто слушать ничего больше не хочет, чего бы то... о чем бы то ни было. Она теперь утвердилась в мысли, что так уж вышло, что она оказалась замужем за парнем, которому приходится выполнять такую грязную работу — отправлять бедных и жалких людишек в тюрьму. Но в *этом* деле ничего грязного нет. Знаете, в чем его смысл? Это сигнал, очень важный сигнал всем тем, кто думает, будто они выше ограничений, накладываемых обществом. Понимаете? Все упирается в человека, который думает, что в силу его высокого положения в жизни он может пренебречь обязательством относиться к жизни того, кто в самом низу социальной лестницы, так же, как он относился бы к себе подобному. Ни минуты не сомневаюсь, что, если бы Мак-Кой переехал человека более или менее своего круга, он сделал бы все как надо. Он, надо отметить, из тех, кого обычно называют «приличными людьми». В этом-то самое удивительное и есть. Он вовсе не злодей какой-нибудь, но совершил злодейство. Вы меня понимаете?

— Кажется, да. Единственное, чего я не понимаю, это почему Генри Лэмб ничего не сказал о том, что его сбила машина, когда попал в больницу. Потом то, что вы рассказали мне о вашем свидетеле, Роланде... в газетах ведь про него ничего не было, верно?

— Не было, и мы пока не собираемся ничего о нем сообщать прессе. Все, что я рассказал вам,— строго между нами.

— Ну, и все-таки — выясняется, что Роланд почти две недели молчал о том, что его приятеля сбила машина. Немножко странно, нет?

— Да что ж тут странного?! Господи, Шелли, у Лэмба была смер-

тельная травма головы, во всяком случае, она может оказаться смертельной, а Роланд знал, что, обратись он в полицию, его арестуют за серьезное преступление! Так что странного я тут ничего не вижу.

Мисс Шелли Томас сразу пошла на попятную.

— «Странно» — это я не то слово сказала. Я, наверное, хотела сказать, что я вам не завидую — сколько вам приходится работать, сколько материалов поднимать, чтобы подготовить дело.

— Ха! Если бы мне заплатили сверхурочные за все те часы личного времени, которые придется вбить в это дело,— о, я бы тогда сам мог поселиться на Парк авеню. Впрочем, знаете что? Это для меня не важно. Правда, не важно. Пусть я живу не бог весть как, мне важно, чтобы, оглянувшись назад, я мог сказать: «Я старался что-то изменить». А это дело очень значительное, причем во всех его мыслимых аспектах, а не только с точки зрения моей карьеры. Это просто... не знаю, как сформулировать... это новая глава. Я *стараюсь что-то изменить*, Шелли.

Он умолк и, все еще держа ее руку в своей, обнял ее за талию и привлек к себе. Широко открытыми глазами она смотрела на него снизу вверх. Их губы встретились. Разочек он приоткрыл веки, подсмотреть, закрыты ли у нее глаза. Закрыты.

Крамер почувствовал, что она прижимается к нему низом живота. Что это там — ее венерин холмик? Неужели так скоро, так сладостно, так прекрасно, и — черт! Некуда ее привести.

Это надо же! Ему! Восходящей звезде, вершителю дела Мак-Коя — и некуда... вообще некуда!! Во всем Вавилоне двадцатого столетия! — некуда привести готовую на все очаровательную девушку с темными губами. «Интересно,— пронеслось у него в голове,— о чем она сейчас думает?»

А думала она сейчас о том, что за странная манера у мужчин в Нью-Йорке. С кем ни встретишься, вечно приходится сперва часа два или три слушать, как он хвастает карьерой.

В тот вечер Фэллоу вошел в «Лестер» с видом победителя. Каждый из сидевших за английским столом и многие из толпы, суетящейся в шумном бистро, не исключая тех, кто от «Сити лайт» воротил нос, знали, что это он дал ход делу Мак-Коя. Даже Сент-Джон и Билли, редко относившиеся серьезно к чему бы то ни было, кроме взаимных измен, довольно искренне его поздравили. Сэмпсон Рейт, политический обозреватель лондонской «Дейли курьер», приехавший сюда на несколько дней, как раз сидел за столом, рассказывая о своем обеде с Ирвином Габнером, заместителем главного редактора «Нью-Йорк таймс»; тот жаловался, что «Сити лайт» практически захватила всю эту историю себе, то есть захватил, конечно же, Питер Фэллоу, основоположник и хранитель. Алекс Бритт-Уитерс выставил ему за счет заведения коктейль «Саутсайд» — вкус водочного коктейля был так хорош, что Питер заказал еще. Приливная волна всеобщего одобрения так высоко взметнулась, что и от Каролины впервые за долгое-долгое время он дождался наконец улыбки. Единственный, кто был чем-то вроде ложки дегтя,— Ник Стоппинг. Свое одобрение он высказал как-то вяло и нарочито равнодушно. И тут до Фэллоу дошло, что Ник, этот марксист-ленинец, оксфордский спартаковец, Руссо третьего мира, попросту завидует. Это был *его* материал, нагло перехваченный пустопорожним клоуном Фэллоу (теперь-то Фэллоу только подсмеивался над нахальством этого Ника); и вот — этот Фэллоу на переднем плане, выскочил, оседлал паровоз истории, тогда как он, Стоппинг, кропает очередную дребедень для журнала «Дом и Сад» про новую виллу миссис Шик в Хоуб-Саунде или где там она ее себе выстроила.

Кстати, насчет *шика:* Рэчел Лэмпвик, надо сказать, не удержалась и упрекнула его за то, что он чересчур часто пользуется этим словом.

— Питер, все-таки ты мог бы быть с миссис Мак-Кой погалантнее,

как ты думаешь? — («Погалантнее» она произнесла на французский манер).— Все у тебя шикарные — шикарный Шерман Мак-Кой, его шикарный папочка, шикарная приятельница, или как ты назвал ее? клевая? — это как раз неплохо,— а бедная миссис Мак-Кой просто «его сорокалетняя жена», что рисует не очень-то влекущий образ, верно? Это негалантно, Питер!

Зато Рэчел явно читала с жадностью каждое написанное им слово. Поэтому к ней (впрочем, как и ко всем сегодня) он чувствовал одно только снисходительное дружелюбие триумфатора.

— Жену у нас в «Сити лайт» не считают интересным объектом, если она не изменяет мужу,— ответил Фэллоу.— Восторги мы расточаем только любовницам.

Затем все принялись строить догадки насчет Клевой Брюнетки, а Билли Кортес, искоса бросив взгляд на Сент-Джона, сказал, что, по его сведениям, мужчины иногда действительно возят своих милашек в нетривиальные места, чтобы их не застукали, однако *Бронкс* — это не просто нетривиально, это уже паранойя, и Фэллоу заказал себе еще один «Саутсайд».

Вся эта мельтешня была милой, приятной и британской, оранжево-охряный свет был мягким и британским, Каролина на Питера то и дело поглядывала, то приветливо, то с ухмылкой, которую он никак не мог истолковать, а потому заказал очередной «Саутсайд», и тогда Каролина встала со своего места, подошла, обойдя стол, наклонилась и сказала ему на ухо:

— Пойдем, поднимемся на минуточку наверх.

Неужто правда? Трудно поверить, но... а вдруг? Они поднялись по винтовой лестнице в контору Бритт-Уитерса, и Каролина, внезапно сделавшись серьезной, проговорила:

— Питер, я собираюсь тебе кое-что сказать, хотя, наверное, зря. Ты этого не заслуживаешь. Ты себя плохо вел со мной!

— Я?! — воскликнул Фэллоу с радостным смешком.— Каролина! Ведь ты пыталась размазать мой хобот по всему Нью-Йорку!

— Что? Твой хобот? — чуть покраснев, Каролина улыбнулась.— Ну, все-таки не по всему Нью-Йорку. Ладно, после того подарка, который я собираюсь тебе преподнести, думаю, мы будем квиты.

— Подарка?

— Думаю, это можно считать подарком. Я знаю, кто такая эта твоя клевая брюнетка. Я знаю, кто был с Мак-Коем в машине.

— Ты шутишь.

— Я не шучу.

— Ну хорошо, так кто?

— Ее зовут Мария Раскин. Ты с ней познакомился в баре «Рампа».

— Я?!

— Питер, ну нельзя же так напиваться. Она замужем за человеком по имени Артур Раскин, который старше нее раза в три. Он еврей и чем-то таким занимается, не знаю чем. Но очень богат.

— Откуда ты все это знаешь?

— Помнишь моего приятеля художника? Итальянца. Филиппо. Филиппо Киращци.

— А, да. Не так-то сразу его забудешь, верно?

— Ну так вот он ее знает.

— В каком плане?

— В том же, в каком ее знают многие мужчины. Она потаскушка.

— И она ему рассказала?

— Да.

— А он рассказал тебе?

— Да.

— Мой бог, Каролина. Где мне найти его?

— Не знаю. Сама не могу его найти. Гаденыш чертов.

[...]

26

СМЕРТЬ ПО-НЬЮ-ЙОРКСКИ

Эта блистательная идея пришла в голову самому Грязному Мышу, то есть сэру Джеральду Стейнеру. Стейнер, Брайан Хайридж и Фэллоу совещались в кабинете Стейнера. Уже одно то, что он сидит здесь, дышит горним воздухом, грело душу. Доступ во внутренние круги и верхние кабинеты редакции «Сити лайт» ему открылся благодаря успехам с делом Мак-Коя. Кабинет Стейнера помещался в большой угловой комнате с видом на Гудзон. Обстановку составляли большая деревянная конторка, простой рабочий стол, шесть кресел и — как непременный признак высокого ранга хозяина кабинета — диван. Во всем остальном убранство было обычным, в стиле «Трудяга Журналист». Повсюду — и на конторке, и на рабочем столе — у Стейнера в беспорядке валялись кипы газет, справочники и копирка. Рядом с крутящимся креслом на голых железных подставках стояли терминал компьютера и механическая пишущая машинка. В углу постукивал телетайп, принимающий сводки агентства «Рейтер». В другом стояла переносная полицейская рация. Теперь она молчала, но прежде Стейнер целый год держал ее включенной, пока писк и треск в конце концов ему не надоели.

Целью встречи в верхах было решить, что делать дальше со свеженьким, прямо-таки с пылу с жару открытием Фэллоу, что неизвестной женщиной, той самой «клевой» брюнеткой, занявшей место за рулем «мерседеса», на котором Мак-Кой сбил Генри Лэмба, оказалась Мария Раскин. Помогать Питеру Фэллоу по части всяческой черновой беготни назначили четырех репортеров. Для него — *бегают!* за него — *пашут!* Пока они установили только, что Мария Раскин за границей — вероятно, в Италии. Что касается молодого художника, этого самого Филиппо Киращи, то его следов вообще обнаружить не удалось.

Когда Стейнера осенила та самая его блистательная идея, он сидел за своим столом без пиджака, с приспущенным галстуком и в вопиюще-красных бархатистых подтяжках крестом на полосатой рубахе. В разделе бизнеса в «Сити лайт» регулярно публиковались очерки о «новых магнатах». Замысел Стейнера состоял в том, чтобы обратиться к Раскину якобы как к герою такого очерка. Никакой особой хитрости здесь не было, поскольку Раскин и впрямь был типичным для Нью-Йорка последних лет «новым магнатом», то есть человеком, обладающим огромным, недавно приобретенным и совершенно необъяснимым богатством. За интервью к магнату решили послать Фэллоу. Вступит со стариком в контакт, а дальше будет, что называется, играть по слуху. Предполагалось как минимум вызнать нынешнее местонахождение миссис Раскин.

— Думаете, он клюнет, а, Джерри? — спросил Брайан Хайридж.

— Да ну, я эту публику знаю,— ответил Стейнер,— и старики еще почище молодых. Сделали свои пятьдесят или сто миллионов — кстати, у техасцев это называется единицей, не слыхали? Они называют сто миллионов долларов единицей. Очаровательно, правда? Единица, то есть первая ступенька, а? Так вот, нагребет такой ухарь кучу денег побольше, попадает на званый обед, там рядом с ним какая-нибудь молоденькая красотуля, и ему, как водится, сразу неймется; но она-то ведь понятия не имеет, что он за гусь. Сто миллионов долларов! — а она его фамилии слыхом не слыхивала, да и слышать не желает, когда он начинает подбивать клинья. Что делать? Не носить же на груди плакат: «ФИНАНСОВЫЙ КОЛОСС». В такой момент, я уверяю вас, они, мягко говоря, несколько отступаются от якобы присущей им нелюбви к публичности.

Стейнеру Фэллоу верил. Недаром же тот основал «Сити лайт» и держал ее на плаву, не страшась убытков, составляющих около десяти миллионов в год! Теперь он не какой-то там обычный финансист. Он

самый что ни на есть жуткий флибустьер, хозяин жуткой, грязной «Сити лайт».

По части новых никому не ведомых магнатов Мыш оказался неплохим психологом. Два телефонных звонка Брайана Хайриджа, и дело сдвинулось. Раскин сказал, что обычно он публичности избегает, но в данном случае сделает исключение. Сказал Хайриджу, что журналиста — этого, как его там, Фэллоу, что ли,— он приглашает отужинать с ним в «La Boue d'Argent».

Фэллоу и Артур Раскин подошли к ресторану, и Фэллоу толкнул перед стариком бронзовую вращающуюся дверь. Раскин чуть наклонил голову, потупился, и его лицо осветилось простодушнейшей, искреннейшей улыбкой. На миг Фэллоу показалось странным — неужто этот широкогрудый мужлан семидесяти одного года от роду так благодарен ему за жест обыденной вежливости? Однако в следующий миг Фэллоу понял, что улыбка не имела касательства ни к нему, ни к его светским манерам. Раскин просто предвкушал те первые благовонные воскурения приветствий, что ждут его за порогом.

Едва Раскин вошел в вестибюль, где блистала и лучилась знаменитая скульптура «Серебряный вепрь», подхалимаж пошел полным ходом. Мэтр Рафаэль чуть ли не выпрыгнул из-за своей конторки с журналом посещений. Подскочил не один, а сразу двое старших официантов. Они улыбались и кланялись, через слово величая гостя *«мсье Раскúн»*. Великий финансист все ниже и ниже опускал подбородок, топя его в складках жира, что-то бормотал в ответ, а его улыбка, становясь все шире и шире, делалась, как это ни странно, все более застенчивой. Он улыбался как мальчишка за праздничным столом в свой день рождения — ему и неловко и удивительно радостно, что столько людей вокруг счастливы, прямо-таки вне себя от счастья от одного того, что он предстал перед ними собственной персоной.

По отношению к Фэллоу Рафаэль и двое официантов ограничились лаконичным «Здравствуйте, сэр» и вновь принялись осыпать Раскина пустыми лакейскими любезностями. В вестибюле Фэллоу заметил двоих довольно странных типов лет тридцати с лишним в темных дорогих костюмах, которые выглядели просто как чехлы на их железной мускулатуре явных пролов. Один вроде бы американец, другой азиат. Азиат был колоссального роста, с громадной головой и плоской злодейской физиономией; почему-то Фэллоу решил, что он с Самоа. Раскин тоже заметил его, и Рафаэль, самодовольно улыбнувшись, пояснил ему:

— Секретная служба. *Две* секретные службы — американская и индонезийская. Сегодня у нас обедает мадам Такайя.

Выдав эту информацию, он снова заулыбался.

Раскин повернулся к Фэллоу и скорчил постную мину — видимо испугался, что с супругой индонезийского диктатора тягаться за ресторанное поклонение бесполезно. Громадина-азиат ел их обоих глазами. Фэллоу заметил, что из уха у него торчит шнур.

Улыбнувшись Раскину, Рафаэль простер руку в сторону зала, и процессия двинулась: впереди сам Рафаэль, за ним Раскин и Фэллоу, а старший и младший официанты в арьергарде. Обойдя справа подсвеченную софитом фигуру «Серебряного вепря», они прошествовали в зал. У Раскина физиономия так и сияла. Он всем этим упивался. Только то, что он держал глаза опущенными, не давало ему выглядеть полным идиотом.

По вечерам зал ярко освещался, отчего безвкусица и роскошь били в глаза куда резче, чем если прийти сюда во время ленча. Вечерняя публика редко бывает столь однородной в социальном плане, как дневная, но зал, по крайней мере, был полон и гудел разговорами. Одна за другой взгляду Фэллоу представали компании, в которых все муж-

чины были лысыми, а у всех женщин волосы напоминали цветом мякоть ананаса.

Процессия остановилась у круглого стола, гораздо большего, чем другие, но пока еще не занятого. Старший официант, два младших и два их помощника суетились вокруг, расставляя хрусталь и раскладывая серебро. Это был, очевидно, стол мадам Такайя. Против него у окна стоял столик поменьше с диванчиком на двоих. Раскина и Фэллоу посадили бок о бок на этот диванчик. Их взглядам открывалась вся ближняя часть зала, а большего претенденту на особое к себе отношение в «La Boue d'Argent» и не требуется.

— Хотите знать,— заговорил Раскин,— почему я люблю этот ресторан?

— Почему? — послушно спросил Фэллоу.

— Потому, что здесь лучшая кухня в Нью-Йорке и лучшее обслуживание.— Раскин повернулся и заглянул Фэллоу прямо в глаза. На это откровение у Фэллоу подходящего ответа не нашлось.

— Говорят, здесь избранное общество и всякое такое,— продолжал Раскин.— И оно так, тут бывают знаменитости. Но почему? Потому что здесь великолепная кухня и великолепное обслуживание.— Он пожал плечами, дескать, ничего удивительного.

Снова появился Рафаэль и осведомился у Раскина, закажет ли он что-нибудь выпить.

— Эх, черт,— с улыбкой отозвался Раскин.— Мне, вообще-то, нельзя. Но я бы выпил. Может, коньяк... «Курвуазье»?

— О, конечно!

— Тогда сделайте мне с ним «сайдкар» [1].

Фэллоу заказал стакан белого вина. Решил, что в этот день ему лучше оставаться трезвым. Вскоре явился официант со стаканом вина и коктейлем для Раскина. Раскин поднял бокал.

— За Удачу,— провозгласил он.— Хорошо, что жены нет.

— Почему? — навострил уши Фэллоу.

— Мне нельзя пить, особенно такие взрывчатые смеси, как эта.— Он поднял напиток к свету.— Но сегодня мне хочется выпить. К этому коктейлю меня приохотил Вилли Нордхофф. Всегда только его и заказывал — еще там, в Сент-Реджисе, в баре «Кинг Коул». «Зайткар» — это он так говорил. «Мит Курвуазье». Вы, случаем, не пересекались с Вилли?

— Нет вроде бы,— сказал Фэллоу.

— Но вы ведь знаете, кто это?

— Конечно,— сказал Фэллоу, ни сном ни духом о нем не ведавший.

— Господи Иисусе,— вздохнул Раскин.— Вот уж не думал, что смогу так подружиться с фрицем, но я-таки полюбил его!

Думы о фрице вдохновили Раскина на длинный монолог о пройденных им дорогах и множестве развилок на этих дорогах, а также о том, какая удивительная страна Америка и кто бы сказал, что у маленького еврея из Кливленда, штат Огайо, больше одного шанса на тысячу прийти к тому, к чему он пришел сейчас. Затем он стал обрисовывать Фэллоу вид с вершины, заказав предварительно второй «сайдкар». Картину он набрасывал смелыми, но довольно расплывчатыми мазками, и Фэллоу был рад, что они сидят рядом. Так Раскину труднее было прочитать на его лице скуку. Время от времени Фэллоу позволял себе задать вопрос. Все подбирался к информации о том, где Мария Раскин может остановиться, поехав в Италию, вот как сейчас, например. Но насчет этого Раскин высказывался недостаточно определенно. Да и вообще он все время старался вернуться к истории своей собственной жизни.

Принесли первое. Фэллоу выбрал себе овощное патэ. Патэ оказалось маленьким розоватым полукружием, от которого в виде лучей отхо-

---

[1] Коктейль из апельсинового ликера, коньяка и лимонного сока.

дили палочки ревеня. Полукружие помещалось в левом верхнем квадрате огромной тарелки. На первый взгляд казалось, что это просто рисунок на тарелке, наведенный глазурью в стиле «ар нуво»: испанский галеон плывет по красноватому морю куда-то вдаль... на закат... Но закатное солнце как раз и было этим самым патэ с лучами из ревеня, а галеон не нарисован, а выложен по тарелке соусами разных цветов. Этакая живопись соусом. В тарелке Раскина была клумба из плоской зеленоватой лапши, аккуратно сплетенной в рогожку, на которой сидела стайка бабочек с крылышками, сделанными из нарезанных ломтиками шампиньонов; душистый перец, лук, спаржа и каперсы служили им в качестве тел, глаз и усиков. На этот экзотический коллаж Раскин даже глазом не повел. Он заказал бутылку вина и с удвоенным жаром продолжил повествование о взлетах и провалах в своей карьере. Провалах? Да уж не без этого. Накладки случались, и не раз. Главное — это решительность. Решительные люди принимают великие решения не потому, что они умней других, то есть не обязательно поэтому, а потому, что они принимают их гораздо больше, а стало быть, больше вероятность, что некоторые окажутся великими. Фэллоу уловил его мысль? Фэллоу кивнул. Раскин прервался и хмуро посмотрел, как Рафаэль с подручными хлопочут вокруг большого круглого стола по соседству. *Прибудет мадам Такайя!* Раскин явно страдал оттого, что его оттесняют на задний план.

— Все они рвутся в Нью-Йорк,— угрюмо заметил он, не поясняя, кого имеет в виду, хотя это и так было ясно.— Раньше в Париж, а теперь вот сюда. Какие бы они ни были шишки у себя на родине, а все равно мучаются, как подумают, что в Нью-Йорке до них никому нет дела. Вы знаете, кто она? нет? Она императрица, а Такайя — император. Называет себя президентом, но это они все так. На словах они все за демократию. Замечали? Жил бы сейчас Чингисхан, был бы президентом Чингизом или пожизненным президентом, как Дювалье. Нет, наш мир — это нечто. Там у нее десять или двадцать миллионов бедолаг вздрагивают и корчатся на земляных полах своих хижин, стоит ей пальцем шевельнуть, а она ночей не спит, оттого что в Нью-Йорке, в ресторане «La Boue d'Argent», не знают, кто, к дьяволу, она такая.

Охранник мадам Такайя всунул в дверь огромную азиатскую голову и обвел глазами помещение. Раскин кинул на него злобный взгляд.

— Но даже в Париж,— продолжал он,— не приезжали из такой несусветной дали — с юга Тихого океана. Вы на Ближнем Востоке, случаем, не бывали?

— Мммммм-н-н-н-нет,— полсекунды подумав (соврать — не врать), выдавил из себя Фэллоу.

— Обязательно побывайте. Без этого не понять, что происходит в мире. Джидда, Кувейт, Дубай... Знаете, чего им там хочется? Им хочется строить стеклянные небоскребы, чтобы было как в Нью-Йорке. Архитекторы им объясняют, что они спятили. Стеклянное здание, да в таком климате — это же кондиционер надо гонять двадцать четыре часа в сутки. Целое состояние угрохаешь. А они только плечами пожимают. Им-то что? В их руках все топливо мира.

Раскин хохотнул.

— Я объясню вам, что я понимаю под решениями. Помните энергетический кризис — начало семидесятых? Тогда это так называлось: энергетический кризис. А для меня это самое большое везение в жизни. Все вдруг заговорили о Ближнем Востоке и арабах. Как-то обедаю я с Вилли Нордхоффом, и он заводит разговор о мусульманской религии, ислам называется — что, мол, каждый мусульманин стремится перед смертью посетить Мекку. «Тута кашштый хренóфф мусульманин кочет». Он всюду совал множество «хренóв» — думал, от этого будет казаться, что он бегло говорит по-английски. Ну, и как он это сказал, у меня словно лампочка над головой зажглась — чик! А мне при этом почти шестьдесят, и я в полном прогаре. Тогда как раз большой сброс на бир-

же получился, а я ведь двадцать лет только тем и жил, что покупал и продавал ценные бумаги. У меня была квартира на Парк авеню, дом на Итон-сквер в Лондоне и ферма в Амении, штат Нью-Йорк, но я прогорел, был в отчаянии, и тут над головой зажглась лампочка.— Я говорю Вилли: «Вилли,— говорю,— а сколько там мусульман-то?» Он говорит: «Не снаю. Миллионы, тесятки миллионов, сотни миллионов». Я тут же, прямо на месте, принял решение. Займусь авиаперевозками. Каждого хренова араба, который «кочет» в Мекку, я туда доставлю. В общем, продал дом в Лондоне, продал ферму в Амении, чтобы наскрести деньжат, и взял в аренду три моих первых самолета — старенькие «электры». А у жены, этой чертовой идиотки (я говорю о бывшей жене), все мысли только о том, куда мы теперь будем ездить на лето, раз нельзя в Амению и нельзя в Лондон. Тут такое дело закрутилось, а у нее, дуры, будто других забот нет.

Рассказывая, Раскин раззадорился. Он заказал красного вина, крепкого, от которого в желудке у Фэллоу разгорелся сладостный пожар. Фэллоу заказал блюдо под названием «телятина буги-вуги», которое состояло из полосок телятины, маленьких квадратиков маринованных красных яблок и орехового пюре, и все это уложено так, что похоже на картину Пита Мондриана[1] «Буги-вуги на Бродвее». Раскин заказал «медаль микадо из филе ягненка» — блюдо, представляющее собой ярко-розовые овалы мяса из ноги ягненка с маленькими листиками шпината и тушеными черенками сельдерея; все это было разложено в виде японского веера. Два стакана огненного красного вина Раскин ухитрился осушить со скоростью поистине пугающей, если иметь в виду, что он при этом ни на минуту не умолкал.

По его словам выходило, что в первых рейсах в Мекку он нередко участвовал сам — как член экипажа. Его арабские агенты меж тем забирались в самые отдаленные деревушки, уговаривая местных жителей поскрести по жалким своим сусекам и оплатить стоимость авиабилета, чтобы совершить магический хадж в Мекку за несколько часов вместо тридцати или сорока дней. Многие из них самолета никогда в глаза не видели. Они приходили в аэропорт с живыми овцами, ягнятами, козами и курами. Никакой силой нельзя было оторвать их перед посадкой от их стада. Они понимали, полет длится недолго, но что же они будут есть, когда прилетят в Мекку? Так что вместе с хозяевами в салон грузили и скот — орущий, блеющий, писающий и какающий где ни попадя. В салонах постелили пластиковую пленку, прикрыв сиденья и полы. В общем, люди летали в Мекку бок о бок со своей живностью, буквально впритирку — этакие летучие кочевники в пластиковой пустыне. Некоторые из пассажиров тут же принимались раскладывать в проходах палки и хворост, собираясь готовить обед на костре. Отваживать их от такой практики было одной из поистине жизненно важных задач экипажа.

— Но самый-то интересный случай, скажу я вам, произошел, когда мы однажды съехали с посадочной полосы в Мекке,— продолжал Раскин.— Ночь, садимся, пилот замешкался, длины полосы не хватило, и шасси бац, бац, бац по песку, а потом правое крыло вдруг в него зарылось, самолет развернуло чуть не на триста шестьдесят градусов, и только после этого мы остановились. Это ж Господи Иисусе! — мы думали, среди всех этих арабов с их овцами, козами и курами паника подымется по полной программе. Думали, смертоубийство начнется. А они, смотрим, говорят нормальными голосами, в окошко поглядывают, а там уже и пожар начинается — кончик крыла загорелся. Я к тому, что вся паника была только среди нас самих. Потом они встают, этак обстоятельно, не торопясь, и, собрав свои торбы, мешки, скотину и всякое такое, спокойно ждут, когда им откроют двери. Стоят — ну хоть бы

[1] Пит Мондриан (1872—1944) — нидерландский живописец. Создатель неопластицизма — абстрактных композиций из прямоугольных фигур, окрашенных в основные цвета спектра.

что! — а мы напугались до полусмерти. И тут до нас доходит. Они думают, что так и надо. Ага! Они думают, что так и положено останавливать самолет! Втыкаешься крылом в песок, разворачиваешься, это приводит к остановке, и можно выходить! Вся штука в том, что они на самолете раньше никогда не летали — ну откуда ж им знать, как его останавливают! Решили, что так и надо! Решили, что так и положено!

Это воспоминание вызвало у Раскина раскатистый влажный хохот, грудь у него заходила ходуном, хохот перешел в судорожный кашель, лицо налилось кровью. Упираясь руками в край стола и откинувшись на спинку диванчика, он повторял: «Кхыммммм! Хмммммм! Хмммммм, хмммммммммм, хмммммммммм»,— будто продолжая с веселым недоумением вспоминать только что описанный случай. Он склонил голову, словно глубоко обо всем этом задумался. Потом уронил голову набок, изо рта у него вырвался звук, похожий на всхрап, и он припал плечом к плечу Фэллоу. У Фэллоу мелькнула мысль, что старикан уснул. Фэллоу повернулся, чтобы заглянуть Раскину в лицо, но тот всем телом навалился на него. Фэллоу в испуге дернулся, и голова Раскина очутилась у него на коленях. Лицо старика уже не было красным. Теперь оно было пугающе серого цвета. Рот приоткрыт. Дыхание вырывается частыми мелкими всхлипами. Не размышляя, Фэллоу попробовал снова привести его в сидячее положение. Это было все равно что пытаться поднять мешок удобрений. Держа его и подталкивая, Фэллоу видел, что две женщины и двое мужчин за соседним боковым столиком наблюдают за ним с презрительным любопытством, какое бывает у людей, когда на их глазах происходит нечто непотребное. Никто, разумеется, и пальцем не пошевельнул. Теперь, когда Раскина удалось посадить на диванчик прямо, Фэллоу заозирался в поисках подмоги. Рафаэль, два старших официанта, один младший и его помощник все еще хлопотали вокруг большого круглого стола, готовя его к прибытию мадам Такайя и ее гостей.

— Простите! — позвал Фэллоу. Никто его не услышал. Он сознавал, до чего глупо прозвучало это его британское «Простите!», когда имелось в виду «Помогите!» Тогда он сказал: — Официант! — Он постарался произнести это слово как можно более напористо. Один из официантов, возившихся у стола мадам Такайя, поднял взгляд и нахмурился, но подошел.

Одной рукой Фэллоу поддерживал Раскина в сидячем положении. Другой показал на его лицо. Рот у Раскина был полуоткрыт, глаза полузакрыты.

— С мистером Раскином случилось что-то... я не знаю что! — сказал Фэллоу официанту.

Тот бросил на Раскина такой взгляд, словно это уличный голубь, неведомо как проникший в ресторан и севший на лучшее место в зале. Повернулся, подозвал Рафаэля, и теперь на Раскина уставился Рафаэль.

— Что случилось? — спросил он у Фэллоу.

— У него приступ какой-то,— объяснил Фэллоу.— Здесь нет случайно врача?

Рафаэль обежал глазами помещение. Но было заметно, что ни на кого конкретно он не смотрит, а мысленно оценивает, что будет, если он попытается воззвать к тишине и обратиться за медицинской помощью. Он поглядел на свои часы и вполголоса выругался.

— Послушайте, ему нужен доктор! — повысил голос Фэллоу.— Вызовите полицию! — Для жестикуляции ему понадобились обе руки, и когда он отпустил Раскина, старик упал лицом в тарелку, прямо в «филе микадо». Женщина за соседним столиком вскрикнула «Аааааооов!» — почти взлаяла — и сразу закрыла лицо салфеткой. Между столиками было всего дюймов шесть, и каким-то образом в этом зазоре заклинило руку Раскина.

Рафаэль рявкнул что-то официантам у столика мадам Такайя. Официанты бросились отодвигать стол Раскина и Фэллоу от диванчика. Однако Раскин всем весом опирался на стол и начал теперь сползать вперед. Фэллоу обхватил его вокруг пояса, чтобы он не рухнул на пол. Но тяжесть оказалась ему не по силам. Голова Раскина соскользнула с тарелки. Фэллоу не смог удержать его. Старик сполз лицом со стола и вниз головой грохнулся на ковер. Теперь он лежал на полу с поджатыми ногами. Официанты оттаскивали столик все дальше, пока он не перегородил проход между боковыми столиками и столом мадам Такайя. Рафаэль орал на всех сразу. Фэллоу немного понимал по-французски, но из того, что говорил Рафаэль, не смог разобрать ни слова. Двое официантов с полными яств подносами стояли, поглядывая то себе под ноги, то на Рафаэля. Получилось нечто вроде транспортной пробки. Приняв, что называется, бразды, Рафаэль опустился на корточки и попробовал поднять Раскина за плечи. Куда там! Фэллоу встал. Выйти из-за стола ему мешало тело Раскина. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы убедиться: нет, не жилец. Землисто-серое, все во французском соусе и палочках шпината и сельдерея. Вокруг носа и рта начал проявляться синий отлив. Все еще открытые глаза — как два кусочка матового стекла. Некоторые в зале оглядывались, вытягивали шеи, но в целом ресторан еще продолжал гудеть разговорами. Рафаэль посматривал на дверь.

— Да господи! — возмутился Фэллоу.— Вызовите врача.

Рафаэль бросил на него свирепый взгляд и махнул рукой, дескать, не суйся. Фэллоу изумился. Потом рассердился. Ему тоже ни к чему возиться тут с умирающим стариком, однако этот заносчивый коротышка мэтр оскорбил его. Так что теперь он всецело на стороне Раскина. Фэллоу встал на колени, распрямил Раскину ноги. Распустил на нем галстук и раскрыл ворот рубашки, оторвав верхнюю пуговицу. Расстегнул пряжку ремня и, раздернув молнию на брюках, хотел было отлепить рубашку от тела, но она туго обмоталась — видимо закрутилась, когда он падал.

— Что с ним? Подавился? Задыхается? Дайте проведу ему маневр Хаймлиха!

Фэллоу поднял глаза. Над ним стоял крупный цветущий мужчина, огромный янки-тяжеловоз. Из посетителей, видимо.

— По-моему, у него сердечный приступ,— сказал Фэллоу.

— Это всегда так кажется, если кто подавился,— возразил мужчина.— Ну-ка, дайте проведу ему маневр Хаймлиха!

Рафаэль, воздев руки, попробовал его спровадить. Но мужчина его отодвинул и встал возле Раскина на колени.

— Маневр Хаймлиха! Маневр Хаймлиха! — повторял он.— Немедленно маневр Хаймлиха! — Эти слова звучали как военная команда. Просунув руки Раскину под мышки, он ухитрился перевести его в сидячее положение, после чего обхватил сзади вокруг грудной клетки. Стиснул Раскину ребра, потерял равновесие, и они оба повалились на пол. Со стороны казалось, что они борются. Фэллоу все еще стоял на коленях. А проводник маневра Хаймлиха встал и, держась за нос, из которого капала кровь, нетвердыми шагами удалился. Своими потугами он преуспел главным образом в том, что задрал на Раскине рубашку и нижнюю сорочку, открыв на всеобщее обозрение массивное голое стариковское брюхо.

Фэллоу начал было вставать, но почувствовал на своем плече какую-то тяжесть. На плечо оперлась женщина с соседнего столика, пытаясь протиснуться мимо. Он поглядел ей в лицо. Застывшая маска ужаса. Женщина так напирала, будто спешит на последний поезд из Барселоны. Нечаянно она наступила Раскину на руку. Глянула вниз и опять взлаяла: «Ааааоооов!» Сделала два шага в сторону. Подняла взгляд к потолку. И начала медленно поворачиваться. Тут в глазах у Фэллоу зарябило от быстроты движений. Рафаэль. Он метнулся к сто-

лу мадам Такайя, схватил стул и подставил его женщине как раз в тот миг, когда у нее подкосились ноги. И вот она уже в обмороке, безжизненно развалилась на стуле, свесив одну руку через спинку.

Фэллоу встал и, переступив через тело Раскина, оказался между Раскином и столом, который готовили к приходу мадам Такайя. Тело Раскина, распростертое, лежало поперек прохода как огромный, выброшенный на берег белый кит. Рафаэль стоял в двух шагах и разговаривал с телохранителем-азиатом, у которого из уха торчал шнур. Оба поглядывали на дверь. Фэллоу слышал, как они повторяют: *«Мадам Такайя Мадам Такайя Мадам Такайя»*.

Ну и подлец же этот коротышка!

— Что вы собираетесь делать? — грозно спросил Фэллоу.

— Мсье,— сердито отозвался Рафаэль,— мы вызвать полицию. Приедет «скорая помочь». Больше я ничего сделать не могу. Больше *вы* ничего сделать не можете.

Он подал знак официанту, тот с огромным подносом на ладони перешагнул через тело и принялся обслуживать людей за соседним столиком. Фэллоу обвел глазами лица соседей. Все наблюдали этот кошмарный спектакль, но никто ничего не предпринимал. На полу лежит тучный старик. Ему очень плохо. Может быть, он умирает. Уж это-то видно сразу, с первого взгляда. Сперва им было любопытно. Он что — собирается умереть прямо у нас на глазах? Зрелище чужого несчастья поначалу их даже взбодрило. Но драма что-то очень уж затянулась. Гул разговоров стих. Старик выглядел отталкивающе — брюки расстегнуты, большое голое брюхо непристойно выкачено. Теперь он представлял собой проблему этикета. Если в нескольких шагах от твоего столика лежит на ковре умирающий старик, как правильнее поступить? Предложить помощь? Но в проходе между столами и так уже образовался транспортный затор. Очистить помещение, чтоб было больше воздуха, вернуться и дообедать потом? Но чем ему помогут пустые столики? Отложить еду до тех пор, пока драма не закончится сама собой и старика не уберут? Но еда заказана, ее уже несут, нет никаких признаков заминки, а обед здесь, между прочим, обходится долларов по сто пятьдесят на человека, если считать с вином; да и не так-то просто было заказать в таком ресторане столик. Отвернуться? Что ж, похоже, это единственный выход. И вот все отвернулись и вновь занялись своими картинно оформленными блюдами... Но что-то оставалось в этом неприятное, давящее, потому что попробуй-ка прикажи глазам не вскидываться каждые несколько секунд — ну, что, наконец, убрали уже эту жуткую тушу? Человек умирает? Что ж, все мы смертны. И сердечный приступ может у кого угодно случиться. Страх перед ним сидит в душе практически у каждого в зале. Старые артерии делаются уже день за днем, месяц за месяцем; микрон за микроном наслаивает свои отложения каждый съеденный кусочек сочного мяса, каждый грамм соуса, ломтик свежайшего хлеба, глоток вина, суфле, кофе... Вот, значит, как это будет выглядеть? И ты тоже будешь лежать в каком-нибудь людном месте, на полу, с посиневшими губами и туманными, полуоткрытыми и стопроцентно мертвыми глазами? Таким спектаклем у кого угодно аппетит к чертям отобьешь. Вот уже и подташнивает. И уже трудно наслаждаться дорогими яствами, уложенными на тарелку в виде миленьких картинок. И вот любопытство переходит в смятение, смятение — в досаду, ну, а рестораторы ее подхватывают в удвоенном и даже учетверенном размере.

Рафаэль упер руки в боки и устремил сверху вниз на старика взгляд, в котором досада граничила уже с негодованием. У Фэллоу возникло ощущение, что дрогни у Раскина хотя бы веко, и коротышка метрдотель со своей лакейской вежливой наглостью отчитал бы его на чем свет стоит. Гомон начал вновь нарастать. О мертвом, наконец, все забыли. Все, кроме Рафаэля: *мадам Такайя идет!* Официанты беззаботно прыгали через труп, как будто для них это самое привычное дело,

как будто тут каждый вечер валяется какой-нибудь труп и ритм прыжков уже вошел в их мышечную память. Но как через эту тушу переправить императрицу Индонезии? Как даже и за стол-то ее посадишь, когда рядом такое безобразие? Какого дьявола не едет полиция?

«Вот вам ваши ребячливые янки, скоты проклятые,— думал Фэллоу.— Кроме того дурня с его маневром Хаймлиха, ни один даже не дернулся помочь бедному старому олуху». Наконец явился полицейский с двумя медиками из бригады «скорой помощи». Шум снова стих: все разглядывали людей в белых халатах — один негр, другой латиноамериканец — и их оборудование, состоявшее из раскладных носилок и кислородной подушки. Ко рту Раскина приставили кислородную маску. По тому, как разговаривали между собой медики, Фэллоу понял, что признаков жизни Раскин не подает. Разложили носилки, подсунули их под тело и пристегнули ремни.

Однако на выходе возникла новая проблема. С носилками через вращающуюся дверь не протиснешься. Начались попытки сложить одну к другой лопасти дверной крестовины, но никто, похоже, не знал, как это делается. Рафаэль твердил: «Поставьте стоймя! Поставьте стоймя! Стоймя пройдет!» Однако ставить вертикально носилки при сердечном приступе по медицинским правилам, видимо, не допускается, и напрашиваться на неприятности медикам не хотелось. Так что в вестибюле остановились и перед статуей «Серебряного вепря» устроили консилиум.

Рафаэль воздевал руки и топал ногами.

— Вы что думаете — я позволю, чтобы такое,— он показал на тело Раскина и помедлил, однако добавлять соответствующее существительное не стал,— чтобы такое оставалось тут в ресторане, на глазах у tout le monde? Я вас умоляю! Вы же сами видите! Здесь парадный вход! Страдает бизнес! У нас посетители! В любой момент может прибыть мадам Такайя!

— О'кей, — отозвался полицейский,— не надо так волноваться. Есть здесь какой-нибудь другой выход?

Шумное обсуждение. Один из официантов предложил женскую уборную, где окно выходит на улицу. Полицейский с Рафаэлем пошли через зал проверять. Вскоре они вернулись, и полицейский сказал:

— О'кей, по-моему, получится.

В результате Рафаэль, старший официант, полицейский, медики с носилками, младший официант, Фэллоу и недвижная глыба тела Артура Раскина снова появились в зале. Они пошли по тому же проходу между боковыми столиками и столом мадам Такайя, по которому какой-нибудь час назад триумфально шествовал Раскин. Он по-прежнему оставался центральной фигурой процессии, даже посмертно. Гомон в зале резко прервался. Посетители не верили собственным глазам. Как, опять это жуткое лицо, это белое брюхо демонстрируют у самых столиков?.. Эти мрачные остатки празднества плоти. Словно чумная зараза вдруг снова появилась среди гостей; они-то думали, с ней покончено, а она — тут как тут, да еще и опаснее прежнего.

Процессия втянулась в маленькую дверь в дальнем конце зала. За дверью обнаружился вестибюльчик, из которого вели две двери — в мужскую уборную и в женскую. В женской имелась еще небольшая комната отдыха, где и было окно на улицу. Изрядно повозившись, полицейский с официантом отворили окно. Рафаэль вытащил связку ключей и отпер решетку на петлях, защищавшую окно со стороны улицы. Задул прохладный, пахнущий копотью сквознячок. И весьма кстати. Скопление человеческих тел, живых и мертвых, делало пребывание в маленькой комнатке невыносимым.

Полицейский с одним из медиков выбрались через окно на тротуар. Второй медик и официант высунули им наружу конец носилок — той стороной, где лежала голова Раскина, лицо которого становилось серее и ужаснее с каждой минутой. Последнее, что попало в поле зрения Фэллоу,— это подошвы дорогих английских туфель Артура Раскина, паром-

шика, перевозившего арабов в Мекку, и его бренные останки исчезли в окне женской уборной ресторана «La Boue d'Argent».

В тот же миг Рафаэль пронесся мимо Фэллоу вон из женской уборной и снова в зал. Фэллоу двинулся следом. На полпути к выходу его перехватил старший официант, в чьем ведении был их с Раскином столик. Он улыбнулся клиенту мрачной улыбкой, как улыбаются людям, только что понесшим горькую утрату.

— Мсье,— сказал он, все еще улыбаясь (этак печально, но по-доброму), и подал Фэллоу листок бумаги. Похоже, что счет.

— Что это?

— L'addition [1], мсье. Чек.

— Чек?

— Oui, naturellement [2]. Вы заказали обед, мсье, вам его приготовили и подали. Мы очень сожалеем о том, что с вашим другом случилось несчастье...— Затем он понурился и пожал плечами — мол, все это так, но при чем тут мы, жизнь продолжается, и нам надо зарабатывать на хлеб. Такая беспардонность потрясла Фэллоу. Но еще больше его потрясла мысль о том, что этак ему придется платить, да еще в ресторане такого класса.

— Если вы так печетесь о своем l'addition,— ответил Фэллоу,— думаю, вам следует обратиться к мистеру Раскину.— Протиснувшись мимо официанта, он направился к двери.

— Нет-нет! Как же так! — воскликнул официант. Причем уже не тем, прежним приторным голосом ресторанного лакея.— Рафаэль! — заорал он и добавил что-то по-французски. В вестибюле дорогу Фэллоу преградил вынырнувший откуда-то Рафаэль. Вид у него был весьма суровый.

— Минуточку, мсье!

Фэллоу просто онемел. Но в этот миг Рафаэль вновь повернулся к двери и расплылся в профессиональной улыбке. Через вращающуюся дверь вошел, грозно стреляя глазами туда-сюда, мрачный плосколицый громадина азиат в строгой пиджачной паре. Вслед за ним появилась маленькая женщина лет пятидесяти, смуглая, с темно-красными губами и черными волосами, уложенными в высокую прическу, одетая в длинное шелковое манто, из-под которого виднелось длинное, до полу, красное шелковое платье. Ее драгоценности сверкали так, что в зале хоть свет гаси.

— Мадам Такайя! — выдохнул Рафаэль. И вытянул обе руки вперед, словно ловил брошенный ему букет.

На следующий день почти всю первую полосу газеты «Сити лайт» занимали два циклопических слова, набранных самым крупным шрифтом:

СМЕРТЬ
ПО-НЬЮ-ЙОРКСКИ

Выше, шрифтом помельче: ШИКАРНЫЙ РЕСТОРАН — МАГНАТУ: «УМИРАЙТЕ СКОРЕЕ, А ТО ПРИБУДЕТ МАДАМ ТАКАЙЯ».

И по низу страницы: *«Только в «Сити лайт»: Питер Фэллоу — наш человек за столиком».*

В придачу к основной статье, где злополучный обед описывался в красочных подробностях, не исключая и того, как официанты деловито прыгали через тело Артура Раскина, опубликован был еще и дополнительный материал, который привлек почти такое же внимание. Заголовок гласил:

СЕКРЕТ УМЕРШЕГО МАГНАТА:
КОШЕРНЫМИ БОИНГАМИ В МЕККУ

---

[1] Счет *(франц.)*.
[2] Да, разумеется *(франц.)*.

К полудню трескучий рейтеровский телетайп, стоявший в кабинете Мыша в углу, обрушил на редакцию ярость всего мусульманского мира. Мыш улыбался и потирал руки. Еще бы, ведь интервью с Раскином было его идеей.

И песнь, что он напевал себе под нос, переполненный радостью, какую не купишь и за миллионы, звучала так: «Вот теперь я лихой газетчик, вот теперь я лихой газетчик, вот теперь я лихоооооой газетчик!»

[...]

28

В ЛУЧШИЙ МИР

— Послушайте, Шерман! Вы что, вправду думаете, что ей сейчас не наплевать с высокой колокольни, джентльмен вы или нет? Неужто вы думаете, что она готова сознательно поставить под удар свои интересы ради того, чтобы помочь вам? Ведь она даже разговаривать с вами не желает, поймите!

— Не знаю.

— А я — *знаю!* Вы что, еще ничего не поняли? Она за Раскина *замуж пошла,* а думаете, она к нему что-нибудь испытывала? Спорим, ее только условия страховки интересовали. И больше ничего. Спорим, она изучила все статьи в страховом полисе.

— Может, вы и правы. Но для меня это не может служить оправданием. Речь о *похоронах* идет, о похоронах *ее мужа!*

Киллиан усмехнулся.

— Можете называть это похоронами, воля ваша. Но для нее это день рождения.

— Однако поступить так *со вдовой* в день похорон ее мужа, прямо над его мертвым телом!

— Ну, хорошо. Тогда я по-другому сформулирую. Вам что, нужна медаль за порядочность?.. Или ваши собственные похороны?

Киллиан сидел, опершись о подлокотники своего рабочего кресла. Подался вперед, склонил голову набок, как бы говоря: «Что-что, Шерман? Я не расслышал».

В этот момент Шерману было видение: *то место* и *те люди.* Если придется сесть в тюрьму даже на несколько месяцев, не говоря уже о годах..

— Это единственный случай, когда вы *точно* ее увидите,— сказал Киллиан.— Она просто не может не прийти на эти хреновы похороны. Она и с вами встречу выдержит, и еще с десятком таких, как вы, раз помер *этот.*

Шерман опустил глаза и проговорил:

— О'кей. Я это сделаю.

— Поверьте,— сказал Киллиан,— это совершенно законно, а в сложившихся обстоятельствах и совершенно честно. Марии Раскин вы ничего плохого не делаете. Вы защищаете себя. Вы в полном праве.

Шерман вскинул глаза на Киллиана и кивнул, но так, словно дал согласие на конец света.

— Тогда нам лучше начать,— предложил Киллиан,— пока Куигли не ушел на обед. Он у нас заведует техникой.

— Так вы к этому часто прибегаете?

— Говорю же вам, это теперь обычнейшая процедура. Не то чтобы мы трубили о ней на всех перекрестках, но делаем так частенько. Пойду позову Куигли.

Киллиан поднялся и ушел куда-то по коридору. Глаза Шермана блуждали по залитому безжалостным светом кабинетику. Жалкое, жалкое зрелище! Вот уж влип так влип. Но это его последний редут. Он пришел сюда по собственной воле и теперь сидит в ожидании, когда на него навесят аппаратуру, чтобы он, прибегнув к недостойнейшему обману, выкрал показания у той, которую он когда-то любил. Он кив-

нул, словно в комнате был кто-то еще, и кивок этот означал: «Да, но именно это мне и предстоит сделать».

Вернулся Киллиан с Куигли. У Куигли на поясе слева висел револьвер 38-го калибра, рукоятью вперед. В руках Куигли держал что-то вроде «дипломата». Коротко, по-деловому улыбнулся Шерману.

— О'кей,— сказал Куигли Шерману,— вам надо бы снять рубашку.

Шерман сделал как велено. Суетность мужчин в том, что касается их ста́тей, не имеет пределов. Первое, о чем подумалось Шерману, окажутся ли мышцы его груди, живота и рук достаточно рельефны, чтобы эти двое его зауважали. На какой-то миг эта мысль заслонила собой все прочие. Он знал, что, если чуть вытянет руки, будто бы просто свесив их по бокам, на них взбугрятся, напрягшись, трицепсы.

Подал голос Куигли:

— Магнитофон я пристрою вам на поясницу. У вас ведь сверху пиджак будет, верно?

— Да.

— О'кей, тогда без проблем.

Куигли опустился на одно колено, отпер «дипломат», вынул провода и магнитофон, который оказался размером с колоду карт. Серый цилиндрик микрофона напоминал ластик в металлической гильзе на кончике обыкновенного карандаша. Сперва Куигли клейкой лентой прилепил к спине Шермана магнитофон. Затем, так же закрепляя лентой, провел провод от спины к животу и вверх, по ложбинке между грудными мышцами, и там закрепил микрофон.

— Отлично,— сам себя похвалил он.— Глубоко сидит. Совсем видно не будет, особенно если на вас будет галстук.

Шерман воспринял это как комплимент. *Глубоко сидит... между массивными буграми моих атлетических грудных мускулов.*

— О'кей,— сказал Куигли,— надевайте рубашку, и мы все проверим.

Шерман вновь надел рубашку, галстук и пиджак. Ну вот... теперь он *заряжен.* Холодные металлические касания на пояснице и на груди... Он превратился в мерзкую тварь... Но мерзкая — это ведь всего лишь слово, не так ли? Теперь, когда он и в самом деле стал неким новым существом, он уже не ощущал совершенно никакого шевеления стыда. Страх очень быстро меняет моторику морали.

— Хорошо,— сказал Киллиан.— Теперь поработаем над тем, что вы будете говорить. Нам нужны от нее всего две-три фразы, но вы должны точно знать, как их добиться. Ладно? Ну, поехали.

Киллиан жестом показал на белый пластиковый стул, и Шерман сел учиться благородному искусству провокации. «Нет, не провокации,— сказал он себе.— Извлечения истины».

Бюро Гарольда А. Бернса, расположенное на Мэдисон авеню, уже многие годы считалось самой фешенебельной похоронной конторой в Нью-Йорке, однако до сих пор Питеру Фэллоу не приходилось переступать его порог. Между строгими пилястрами темно-зеленые двойные двери парадного входа. За ними вестибюльчик — всего метра четыре на четыре. Едва войдя, Фэллоу ощутил одно: избыток невыносимо яркого света, такого яркого, что не хотелось даже искать глазами его источник — как бы не ослепнуть вовсе. В вестибюле Фэллоу встретил лысый мужчина в темно-сером костюме. Подал ему программку и сказал:

— Пожалуйста, распишитесь в книге.

Тут же оказалась подставка с огромной книгой посетителей и шариковой ручкой на бронзовой цепочке. Фэллоу вписал в реестр свою фамилию.

Когда глаза попривыкли к свету, он заметил, что в вестибюле есть еще какой-то широкий проем и оттуда кто-то на него смотрит. Нет, не один кто-то, а несколько человек... и даже не несколько... множество!

От проема вверх вело несколько ступеней. Как много глаз оттуда сверху на него взирают! Скорбящие сидели в зале, напоминающем внутренность небольшой церкви, и все смотрели на него. Скамьи обращены к сцене, на которой, видимо, происходит служба и перед которой стоит гроб с новопреставленным. Вестибюль являл собой как бы вторую сцену, сбоку, так что, повернув головы, собравшиеся могли наблюдать появление каждого, кто входит. И все головы, естественно, поворачивались. А как же! Манхэттен, он и есть Манхэттен. Верхний Ист-Сайд! Что? — дражайший покойный? — тот, что лежит в гробу перед сценой? Увы, с беднягой кончено: ушел, преставился, сыграл в ящик. А вот живые, бодрые, полные сил — о, эти куда интересней. В них еще полным накалом горит светское напряжение города! Не ушедших царствие сие, но входящих! Так осветим же их и померимся с ними блеском!

И они прибывали, все до единого, самодовольное население мирка светских колонок прессы в полном составе, при этом все входили в ослепительно освещенный вестибюль с такими подобающе мрачными лицами, что Питера Фэллоу разбирал смех. Все торжественно вписывали свои фамилии в книгу. Фэллоу решил, что уходя надо будет хорошенько проглядеть череду автографов.

Скоро помещение заполнилось. По толпе пробегали шорохи. Сбоку от сцены открылась дверца. Собравшиеся вставали с сидений, вглядывались. Фэллоу тоже привстал.

Ага, вот она — да, кажется, это она и есть. Во главе процессии шла... Таинственная Брюнетка, она же Вдова Раскин. Элегантная женщина в черном шелковом костюме с большими плечами, в черной шелковой блузе и черной, похожей на феску шляпке с густой черной вуалью. На такое облачение, должно быть, пошли доходы не от одного билета в Мекку. С нею были еще человек шесть. Двое — сыновья Раскина от первого брака, немолодые мужчины, каждый из которых годился Марии Раскин в отцы. Женщина лет сорока — ее Фэллоу опознал как дочь Раскина и его второй жены. Еще старушка — возможно сестра Раскина, плюс еще две женщины и двое мужчин, родственную принадлежность которых Фэллоу разгадать не удалось. Они сели в первом ряду, у гроба.

Фэллоу находился в другом конце помещения, напротив двери, откуда Мария Раскин вошла и куда вполне могла исчезнуть в конце церемонии. Н-да, видно, потребуется грубый репортерский напор. Интересно, наняла ли Вдова Раскин на такой случай телохранителей?

Какой-то высокий, стройный щеголь взошел на сцену по ступенькам спереди и направился к подиуму. Одет в модный траурный костюм: темно-синяя пара с двубортным пиджаком, черный галстук, белая рубашка и узконосые черные туфли. Фэллоу заглянул в программку. То был, видимо, Б. Монти Грисволд, директор музея «Метрополитен». Он выудил из нагрудного кармашка пару полуочков, расправил перед собой несколько листков бумаги, глянул вниз, вверх, снял свои полуочки, помедлил и произнес довольно-таки певуче:

— Мы собрались здесь не за тем, чтобы скорбеть по Артуру Раскину, а чтобы порадоваться тому, сколь полна... и щедра была его жизнь.

Фэллоу от такого чисто американского слюнявого жизнелюбия передернуло. Эти янки не способны даже в последний путь человека проводить достойно. Теперь все будут в одну дуду дудеть. Он уже чувствовал, что воспоследует: бессмысленный дурацкий пафос, сентиментальность полными пригоршнями. Да, англичанину — хоть беги спасайся в лоне родной англиканской церкви, где смерть и все основные этапы жизни рассматриваются с позиции высокой и божественной, как нечто неотвратимое и преисполненное восхитительно формализованной значительности.

Все посвященные Раскину надгробные речи были сплошь ахинея и безвкусица, как, впрочем, Фэллоу и ожидал. Первым говорил член Се-

ната Соединенных Штатов от Нью-Йорка Сидни Гринспан, чей выговор был необычайно вульгарным даже по американским меркам. Он напирал на щедрость Раскина по отношению к еврейскому движению, но прозвучало это неудачно, ибо, как только что открылось, финансовое могущество покойного зиждилось на транспортировке мусульман в Мекку. После сенатора говорил один из компаньонов Раскина, Реймонд Радош. Он начал довольно плавно с анекдота о том периоде, когда они оба были на грани банкротства, но затем ударился в не совсем уместное восхваление их основной компании, акционерного общества «Рейарт», в котором дух Арти (он называл Раскина Арти), дух Арти будет жив до тех пор, пока акции имеют хождение и долговые обязательства обратимы. Затем джазовый пианист по имени Мэнни Леерман («любимый пианист Артура») вышел сыграть попурри из «любимых песен Артура». Мэнни Леерман был рыжеволосым толстячком в голубовато-сером двубортном пиджаке, который он, усевшись за фортепьяно, аккуратно расстегнул, чтобы ворот пиджака не нависал хомутом над воротничком рубашки. Любимыми песнями Артура оказались «Сентябрьский дождь», «Дня не хватает (когда ты со мной)» и «Полет шмеля». Последнее произведение пламенный коротышка исполнил бурно, но не безупречно. Свое выступление он закончил, крутнувшись на табурете на 180 градусов, но потом все же спохватился, что он не на концерте и раскланиваться не надо. Прежде чем уйти со сцены, он снова застегнул двубортный пиджак на все пуговицы.

За ним вышел основной оратор, киноактер Хьюберт Бэрнли, который, по-видимому, решил, что требуется добавить красок, высветить человечность натуры Артура Раскина, великого финансиста и главного паромщика на арабском Востоке. Он завяз в анекдоте, стержневой темой которого были проблемы водоочистки при эксплуатации системы плавательных бассейнов в городке Палм-Спрингс, штат Калифорния. Этот покинул сцену, прикладывая платок к уголкам глаз.

Последним в программе значился кантор Мирон Браносковиц из синагоги «Шломохом», что в Куинсе. Сильным и чистым тенором этот огромный, килограммов под сто тридцать, молодой мужчина запел на иврите. Его библейский плач становился громче и громче. Сетования лились нескончаемым и неудержимым потоком. Голос вибрировал и рыдал. Если был выбор между верхней тоникой и нижней, исполнитель всякий раз брал октавой выше, демонстрируя диапазон, как оперный певец на концерте. Он пел с таким надрывом, с такой слезой в голосе, что вогнал бы в краску самого крикливого Канио из оперы «Паяцы». Сперва собравшимся явно понравилось. Затем, когда сила звука увеличилась, они встревожились. Потом их охватило беспокойство: молодой человек стал раздуваться как лягушка. Все переглядывались, и каждый, наверное, думал: он что, спятил, что ли? А голос забирал все выше, выше, достиг вершины, чуть не сорвался на йодль альпийских горцев и, водопадом всхлипов устремившись вниз, вдруг смолк.

Панихида закончилась. Собравшиеся медлили — все кроме Фэллоу. Он выскользнул в проход и, чуть пригибаясь, стал торопливо пробираться вперед. Он был в десяти или двенадцати рядах от сцены, когда какой-то человек впереди него предпринял тот же маневр.

Это был мужчина в темно-сером костюме, фетровой шляпе и темных очках. Лишь на миг перед Фэллоу мелькнул его профиль... подбородок... Это был Шерман Мак-Кой! Явно шляпу и очки он надел специально, чтобы войти в похоронное бюро неузнанным. У первого ряда он резко свернул и пристроился позади группы родственников покойного. Фэллоу сделал то же самое. Теперь можно было получше его рассмотреть. Точно: Мак-Кой.

Люди уже шли к выходу, все перемешались, загомонили, давая выход энергии, накопившейся за тридцать или сорок минут неподвижности, которую приходилось терпеть из уважения к какому-то богачу, при жизни ни особых симпатий, ни теплых чувств к себе не вызывавшему.

Служитель похоронной конторы держал боковую дверцу открытой для Вдовы Раскин. Мак-Кой шел по пятам за высоким мужчиной, которого Фэллоу уже знал — это был Монти Грисволд, распорядитель церемонии. Выступавшие с речами должны были присоединиться к родственникам за сценой. Мак-Кой и Фэллоу были всего лишь частью скорбной толпы в темно-синих костюмах и черных платьях. Фэллоу скрестил на груди руки, чтобы спрятать латунные пуговицы своего блейзера — вдруг их сверкание кому-нибудь покажется неуместным.

Проблем не возникло. Служитель, поставленный при дверях, следил лишь за тем, чтобы ничто не мешало войти всем, кто захочет. За дверцей была короткая лестница, поднявшись по которой вошедшие попадали в помещение, похожее на небольшую квартиру. Все собрались в маленькой приемной, украшенной пышными занавесями и гобеленами в золоченых деревянных рамах в стиле Франции девятнадцатого века. Все выражали свои соболезнования вдове, которую было еле видно за стеной синих костюмов. Мак-Кой держался сбоку, все еще в темных очках. И Фэллоу поблизости, у него за спиной.

Он слышал баритон Хьюберта Бэрнли, что-то бормочущего вдове — без сомнения самые подходящие к моменту глупости — и улыбающегося знаменитой своей печальной, но обаятельной улыбкой. А, вот пришла очередь сенатора Гринспана, послышался его гнусавый голос, произносящий, вероятно, подходящие слова пополам с неподходящими. Затем подошел Монти Грисволд (этот, конечно же, все выскажет безупречно), он что-то сказал, потом подождал, пока вдова похвалит его за то, как он справился с ролью распорядителя. Монти Грисволд попрощался с миссис Раскин, и — бац! — перед ней тут же оказался Мак-Кой. Фэллоу стоял сразу за его спиною. Ему было видно даже лицо Марии Раскин за черной вуалью. Молода, красива на редкость! Платье подчеркивало ее грудь и обрисовывало низ живота. Она смотрела прямо на Мак-Коя. Мак-Кой склонился к ее лицу так близко, что Фэллоу сперва подумал, уж не собирается ли он ее поцеловать. Но он зашептал что-то. Вдова Раскин тихим голосом ответила. Фэллоу сунулся ближе. Чуть не прильнул к спине Мак-Коя.

Не разобрать никак... Отдельные слова разве что...

— ...непосредственно... важные... оба... машина...

Машина! Услышав это слово, Фэллоу испытал ощущение, ради которого журналист и живет на свете. Ум еще не успевает переварить то, что услышали уши, а нервная система уже бьет побудку. *Материал! Статья!* Чувство это возникает где-то в спинном мозгу, но оно столь же реально, как любое ощущение, отмечаемое пятью органами чувств. *Материал!*

Проклятье. Опять Мак-Кой бормочет неразборчиво. Фэллоу подался еще ближе.

— ...тот, другой... на пандусе... занесло...

На пандусе! Занесло!

Голос вдовы стал громче.

— Шууман! — Она называет его вроде как «Шуман».— Нельзя ли поговорить об этом позже?

Теперь и Мак-Кой возвысил голос:

— ...*время,* Мария! ...там, со мной — ты мой единственный свидетель!

— Я не могу сейчас заставить себя об этом думать, Шууман.— Тот же сдавленный голос и в конце фразы застрявший в горле всхлип.— Как ты не понимаешь? Не видишь, где ты находишься? У меня муж умер, Шууман.

Она опустила глаза долу и начала вздрагивать в беззвучных рыданиях. Немедленно рядом с нею вырос широкоплечий коренастый мужчина. Это был Реймонд Радош, произносивший речь во время панихиды.

Снова всхлипы. Мак-Кой быстро отошел и направился к выходу.

Фэллоу дернулся было за ним, но круто повернулся. Теперь материалом была Мария Раскин.

Радош так крепко обнимал вдову, что огромные плечи ее траурного одеяния поднялись горбом. Ее всю перекосило.

— Ничего, все в порядке, золотце,— говорил Радош.— Вы храбрая девочка, и я хорошо понимаю ваши чувства, ведь мы с Арти так много вместе испытали. Мы давно, давно вместе, еще с тех пор, когда вас, наверное, еще и на свете не было. И вот что я вам скажу. *Арти самому понравилась бы панихида.* Это я вам точно говорю. Ему бы понравилось все — и этот сенатор, и все остальное.

Он подождал какого-нибудь одобрительного слова.

Вдова Раскин преодолела свое горе. Иначе ей было не вырваться из объятий пылкого скорбящего.

— И особенно вы, Рей,— проговорила она.— Вы знали его лучше всех и потому сумели высказать все как надо. Я знаю: Арти там будет спокойнее, после всего того что вы сказали.

— Ну уж, ну уж! Спасибо вам, конечно, Мария. Вы знаете, когда я говорил, у меня Арти прямо перед глазами стоял. Мне не приходилось думать, что сказать. Все само выходило.

Наконец он отошел, и Фэллоу выступил вперед. Вдова улыбнулась ему, правда немного растерянно, потому что она не знала, кто он.

— Меня зовут Питер Фэллоу,— представился он.— Как вы, может быть, знаете, я был с вашим мужем, когда он умер.

— А, да,— сказала она, недоуменно на него глядя.

— Я только хотел, чтобы вы знали,— продолжил Фэллоу,— что он не страдал. Он просто потерял сознание. Раз — и все...— Фэллоу коротко развел руками.— Я хотел, чтобы вы знали, что все возможное было сделано — во всяком случае мне так кажется. Я пытался делать искусственное дыхание, и очень быстро прибыла полиция. Я знаю, как мучительны такого рода сомнения, и я хотел, чтобы вы знали. Мы как раз только что чудесно пообедали и вели чудесную беседу. Последнее, что мне запомнилось,— это замечательный смех вашего мужа. Без всякой утайки должен вам сказать, что бывают кончины хуже; ваша потеря ужасна, но это не был ужасный конец.

— Благодарю вас,— сказала она.— Вы очень добры, хорошо, что вы мне об этом рассказали. Я так ругала себя за то, что была далеко, когда он...

— Что вы, не надо,— сказал Фэллоу.

Вдова Раскин подняла взгляд и улыбнулась. Фэллоу заметил блеск в ее глазах и забавный изгиб ее губ. Надо же, способна облечь кокетством даже вдовью благодарность.

Не меняя тона, Фэллоу проговорил:

— Я случайно заметил, что с вами только что говорил мистер Мак-Кой.

Улыбалась вдова, чуть приоткрыв губы. Сперва завяла ее улыбка. Затем сомкнулись губы.

— Вообще-то я и разговор ваш случайно подслушал,— сказал Фэллоу. Потом, глядя радостно и дружелюбно, с роскошным британским выговором он произнес: — Я понял так, что во время того злосчастного инцидента в Бронксе вы были с мистером Мак-Коем в его машине.

Глаза вдовы превратились в пару горящих угольков.

— И я надеялся, что вы мне расскажете, что, собственно, тогда случилось.

Еще секунду Мария Раскин пристально на него смотрела, затем сквозь зубы процедила:

— Слушайте-ка, мистер... мистер...

— Фэллоу.

— Сволочь ты, вот кто. Это похороны моего мужа, и я не желаю тебя здесь видеть. Ясно? Убирайся вон.

Она повернулась и пошла к кружку, где стоял Радош с какими-то еще синими костюмами и черными платьями.

Выходя из похоронной конторы Гарольда А. Бернса, Фэллоу весь трепетал, распираемый только что полученным знанием. Статья существовала у него уже не только в голове, он ощущал ее кожей, солнечным сплетением. Она пронизывала не только каждый нерв в его теле, но и каждый его дендрит и аксон. Как только он доберется до текстового процессора, статья сама потечет из-под пальцев — уже сформировавшаяся, готовая. Ему не придется посредством всяческих экивоков, предположений и соображений намекать на то, что эта красивая, а теперь и баснословно богатая веселая молодая Вдова Мария Раскин — та самая таинственная Брюнетка. Мак-Кой сам за него сказал это. «...там со мной — ты мой единственный свидетель!» Вдова Раскин поджала губы, но она ведь не стала отрицать этого. Не отрицала и тогда, когда великий журналист... когда великий Фэллоу, когда я... я... я — ну конечно же! Он напишет от первого лица. Еще одна эксклюзивная статья и снова от первого лица, как «СМЕРТЬ ПО-НЬЮ-ЙОРКСКИ». Я, Фэллоу — господи, как он томится, *вожделеет* к текстовому процессору! Статья уже у него в мозгу, в сердце, чуть ли не в чреслах.

Однако он заставил себя остановиться в вестибюле и списать фамилии всех тех избранников судьбы, что оказались поблизости и пришли засвидетельствовать свое почтение прелестной вдове кормчего кошерного парома в Мекку, даже не подозревая при этом, какая драма разворачивается прямо перед их похотливыми носами. Ничего, скоро узнают. И все это я — я, *Фэллоу*.

29

РАНДЕВУ

На следующее утро Крамер, Берни Фицгиббон и двое следователей, Мартин и Гольдберг, сидели в кабинете Эйба Вейсса. Он собрал нечто вроде коллегии. Обсуждался вопрос, как подать большому жюри дело Шермана Мак-Коя. Доклад, который делал Мартин, Вейссу не нравился. Крамеру тоже. Время от времени Крамер бросал взгляд на Берни Фицгиббона. Видел он только маску мрачной ирландской бесстрастности, но она как бы радировала на коротких волнах: «Вот! Говорил я вам».

— Минуточку,— перебил Вейсс. Он обращался к Мартину.— Объясните еще разок, где вы откопали тех двух типов.

— Подметали крэкеров,— сказал Мартин.

— Подметали крэкеров? — удивился Вейсс.— Что это, к дьяволу, значит — подметать крэкеров?

— Подметать крэкеров — ну, это то, чем мы теперь все время занимаемся. Отойдите на несколько кварталов и увидите там столько продавцов крэка, что это уже не улица, а какой-то блошиный рынок. Многие здания стоят пустые, а из других, где еще живут, люди боятся за дверь выходить, потому что на улице нет никого, кроме тех, кто продает крэк, кто покупает крэк и кто курит крэк. Ну, мы их и подметаем. Подъезжаем и забираем все, что шевелится.

— И что-нибудь получается?

— Конечно. Парочка таких рейдов, и они перекидываются в другой квартал. До того дошло, что едва наш фургон показывается из-за угла, как они изо всех щелей разбегаются. Это как когда сносят дом: не успеют строители динамит рвануть— глядь, по улице крысы побежали. Надо бы, чтоб кто-нибудь разок с собой кинокамеру захватил. Прямо толпы, к хренам собачьим, по улицам бегут.

— О'кей,— сказал Вейсс.— Стало быть, эти двое парней, которых вы подцепили, знают Роланда Обэрна?

— Ага. Они там все знают Роланда.

— О'кей. И что же — то, что вы нам рассказываете, Роланд лично им говорил или они это где-то слышали?

— Нет, это у них слух такой ходит.

— В кругах крэкеров Бронкса,— уточнил Вейсс.

— Да, можно сказать и так.

— О'кэй, дальше.

— В общем, говорят, что пацана этого, Генри Лэмба, Роланд встретил случайно, когда тот шел в заведение «Цыплята по-техасски», и увязался за ним. Роланд любил над этим пацаном измываться. Лэмба они между собой считают паинькой, маменькиным сынком, который не ходит «шляться». Не слоняется по улицам, не участвует в ихних делах. Ходит в школу, ходит в церковь, хочет поступить в колледж, в переделки не попадает — словом, для тех кварталов чужой. Его мать копит деньги на покупку домика в Спрингфилд-Гарденс, а иначе бы они вообще там жить не стали.

— Но это вы не от тех двоих узнали?

— Нет, это мы выяснили еще до того.

— Давайте все-таки ближе к тем двум черномазым и к тому, что говорят они.

— Я просто хотел вам задний план, что ли, обрисовать.

— Хорошо. Теперь давайте передний.

— Ладно. Короче, Роланд идет по Брукнеровскому бульвару с Лэмбом. Они проходят мимо пандуса у Хантс-Пойнт авеню, Роланду на глаза попадается какой-то хлам на мостовой — покрышки, баки мусорные или еще что, и он понимает: кто-то здесь побывал, машины останавливал. Ну, он и говорит Лэмбу: «Секи, я тебе ща покажу, как обнести машину». Лэмб отнекивается, и Роланд говорит: «Да я ничего такого не буду, только покажу тебе, как это делается. Не боись». Он к пацану нарочно цепляется — дескать, маменькин сынок и тому подобное. Ну, пацан вышел с ним на пандус и не успел оглянуться, как Роланд уже швырнул покрышку, или бак, или еще там что на пути машины, этого обалденного «мерседеса», а там как раз и ехал Мак-Кой с какой-то бабой. Этот охломон хренов — в смысле Лэмб — стоит и смотрит. От такого расклада у него уже полные штаны, но и убегать страшно — из-за Роланда, который все это только и затеял, чтобы показать, какой Лэмб слабак. Но тут что-то наперекосяк пошло, потому что Мак-Кой и эта женщина ухитрились к чертовой матери оттуда смотаться, а Лэмба сбило машиной. Так, во всяком случае, выходит по уличным слухам.

— Н-да, ну и версия. Но вам хоть кого-нибудь удалось найти, кто бы сказал, что сам все это слышал от Роланда?

Тут вмешался Берни Фицгиббон:

— Эта версия объясняет, почему Лэмб, когда попал в клинику, ничего не сказал о том, что его сбила машина. Не хотел, чтобы его посчитали участником попытки ограбления. Он хотел, чтобы ему только руку вправили и отпустили домой.

— Угу,— отозвался Вейсс,— но мы-то ведь только и имеем, что версию, которую нам преподносят двое черномазых. Эти ребятки не понимают разницы между тем, что они слышат, и тем, что им *слышится.*— С клоунской ухмылкой он покрутил пальцем у виска.

— Все-таки, по-моему, стоит это проверить, Эйб,— сказал Берни.— Надо бы все же этим подзаняться.

Крамер встревожился, почувствовал гнев и обиду — обиду за Роланда Обэрна. Из них-то ведь никто не потрудился узнать Роланда так хорошо, как он. Роланд, конечно, не святой, но парень неплохой и говорит правду.

— Проверить, конечно, не вредно,— сказал он Берни,— но я, кажется, знаю, откуда берутся такие версии. На самом-то деле это версия самого Мак-Коя. Мак-Кой ее запустил в «Дейли ньюс», а оттуда на телевидение. Я к тому, что в народе она уже известна, ну, и принялась в какой-то мере. Она снимает один вопрос, но поднимает десять новых. На-

пример, зачем Роланду пытаться обнести машину в паре с пацаном, которого он знает как хлюпика и слюнтяя? Да и Мак-Кой — если он жертва попытки ограбления и в неразберихе сбил одного из нападавших, почему сразу не обратился в полицию? Ему бы это — *вот так!* — Крамер прищелкнул пальцами, про себя отметив, что говорит как-то очень уж раздраженно.

— Согласен, вопросов возникает масса,— кивнул Берни.— Значит, тем более не надо торопиться с большим жюри.

— Торопиться надо,— с нажимом проговорил Вейсс.

Крамер поймал направленный на него внимательный взгляд Берни. Черные ирландские глаза смотрели с осуждением.

В этот момент телефон на столе у Вейсса издал три басовитых гудка. Вейсс встал, подошел к столу, снял трубку.

— Да?.. О'кей, соедините... Нет, «Сити лайт» еще не видел... Что? Вы шутите!..

Повернувшись к столу заседаний, он сказал Берни:

— Это Милт. Думаю, с версией этих черномазых можно пока подождать.

Мигом появился Милт Лубелл — глаза квадратные, еле дышит, в руке свежий номер «Сити лайт». Он положил газету на стол заседаний. Всем бросился в глаза заголовок на первой странице:

ТОЛЬКО В *«СИТИ ЛАЙТ»*

ДЕЛО МАК-КОЯ:
ВДОВА ФИНАНСИСТА —
ТА САМАЯ
ТАИНСТВЕННАЯ БРЮНЕТКА

Мак-Кой на похоронах: «Спаси меня!»

Строчка по низу страницы гласила: *«Репортаж Питера Фэллоу с места событий. Фотографии — стр. 3, 4, 5, 14, 15».*

Все шестеро стоя, опершись ладонями о столешницу, склонились над газетой. Головы сошлись над эпицентром, которым был заголовок.

Вейсс выпрямился. Его лицо приняло выражение, какое бывает у человека, который понял, что ему выпало вести за собой других.

— Ладно, мы вот как сделаем, Милт. Звоните Ирву Стоуну в Первый канал.— Затем одним духом он перечислил фамилии пяти других журналистов, ответственных за новости, идущие по остальным каналам.— И позвоните Питеру Фэллоу. И этому Фланнагану из «Ньюс». А скажете им вот что. Эту женщину мы допросим, и очень скоро. Это официально. А неофициально скажите им, что если она та самая, что была с Мак-Коем, то над ней уголовная статья, потому что она вела машину после того, как Мак-Кой сбил пацана. Скрылась с места происшествия и не заявила. Сбили и сбежали. Он сбил, она сбежала. О'кей?

Затем, повернувшись к Берни:

— А вы, ребята...— Он окинул взглядом и Крамера, и Мартина с Гольдбергом — дескать, и вы тоже.— Вы, ребята, возьметесь за эту женщину и скажете ей то же самое. «Мы очень сожалеем, что у вас умер муж и т. д. и т. п. и пр., но нам необходимо быстренько задать вам кое-какие вопросы, причем если вы та самая, что была в машине с Мак-Коем, то вас ожидает куча неприятностей». Но если она захочет про Мак-Коя рассказать чистосердечно, мы гарантируем, что против нее обвинение выдвинуто не будет.— И Крамеру: — На это сперва особо не нажимайте. Да ну, к черту, вы и сами знаете, как в таких случаях делается.

Вошедшего к нему в кабинет Шермана Киллиан встретил словами:

— Боже мой, что с вами? Почему такой несчастный вид? Сейчас я вам все объясню, и вам не будет жаль времени, потраченного на дорогу сюда. Или вы думаете, что я позвал вас, чтобы показать это?

Он придвинул к краю стола номер газеты «Сити лайт». «ВДОВА ФИНАНСИСТА...» Шерман едва глянул. В открытой полости его сознания эта информация гудела уже вовсю.

— Он прямо туда пришел, к Бернсу. Этот Питер Фэллоу. А я его никогда не видел.

— Не важно,—отмахнулся Киллиан, который был в очень приподнятом настроении.— Это устарелая новость. Мы узнали раньше, верно? Я позвал вас сюда, чтобы сообщить *настоящую* новость.

На самом-то деле Шермана вовсе не раздражали поездки на Рид-стрит. Сидеть в квартире... ждать очередной угрозы по телефону... Великолепие его жилища представлялось насмешкой над его теперешним жалким положением. Сидишь и ждешь очередного удара. Уж лучше хоть что-нибудь делать. Ехать в машине на Рид-стрит, без помех перемещаясь по горизонтали — здорово! колоссально!

Шерман уселся, и Киллиан сказал:

— По телефону я не хотел даже упоминать об этом, но мне тут был очень интересный телефонный звоночек. Дело, можно сказать, в шляпе.

Шерман молча смотрел на него.

— Звонила Мария Раскин,—сказал Киллиан.

— Шутите.

— Об этом с вами я бы так шутить не стал.

— Мария вам позвонила? Бог ты мой! И что она сказала? Чего она хочет?

— Хочет с вами увидеться.

— Не может быть...

— Хочет с вами увидеться сегодня в полпятого вечера. Говорит, вы знаете где.

— Надо же... Кстати, вчера у Бернса она мне сказала, что позвонит. Но я не поверил в это ни на секунду. Она не сказала зачем?

— Нет, и я ее не спрашивал. Чтобы, не дай бог, она не передумала. Я только заверил ее, что вы придете. И вы таки будете там как штык.

— Говорил же я вам, что она позвонит!

— Вы — говорили? Вы только что сказали, что не поверили в это.

— Знаю. Вчера не поверил, потому что она меня избегала. Но разве я не говорил, что она не из тех, кто осторожничает? Она игрок. И осторожная игра не по ней. Любит смешать карты, и ее игра... ну, в общем, мужчины. Ваша — закон, моя — финансы, а ее — мужчины.

Киллиан ухмыльнулся, радуясь главным образом тому, что настроение у Шермана так разительно переменилось.

— О'кей,— сказал он,— колоссально. Что ж, поиграйте с ней. Пора уже. И вот еще почему я вызвал вас сюда вместо того, чтобы самому ехать к вам. Надо вас зарядить.

Он нажал кнопку и проговорил в селектор:

— Нина? Скажите, чтобы Эд Куигли зашел.

Точно в 4.30 Шерман с сильно бьющимся сердцем жал кнопку звонка с надписью «4Б Болл». Должно быть, Мария ждала у коробки сигнального устройства, которое работало лишь как звонок (переговорная его часть давно сломалась), потому что Шерман сразу же услышал за дверью гудение и мощный «щелк-щелк» электрического замка. Вошел. В нос ударило знакомым запахом — затхлая лестница, грязный ковер на ступеньках. Та же старая мрачная краска на стенах, те же обшарпанные двери, то же унылое освещение — все знакомое, но вместе с тем новое и пугающее, словно ему прежде никогда не приходило в голову разглядеть, что же, собственно, его здесь окружает. Волнующее очарование богемности куда-то исчезло. Теперь он имел несчастье увидеть свой недавний эротический сон глазами реалиста. Как могло все это привлекать его?

Скрип ступенек напомнил ему о вещах, которые он предпочел бы забыть. Перед глазами возникла такса, толстенькой гусеницей ковыляю-

щая вверх по лестнице. «Привет, Маршалл. Привет, ты, мокрая колбаса»... Он тогда был весь в поту... Потея, три раза спускался по этой облезлой лестнице за багажом Марии... А теперь тащит на себе ношу и вовсе неподъемную... *Заряжен.* Он ощущал на пояснице диктофончик, на груди — микрофон; чувствовал или воображал, что чувствует, липкость ленты, которой крепились к телу провода. Каждая из этих затейливых, предательски миниатюрных штуковин, казалось, росла в размерах с каждым его шагом. Кожа словно увеличивала их, как язык — зазубрину сломанного зуба. Они, конечно же, бросаются в глаза! Да и не видно, что ли, по его лицу? Не видно его предательства, его бесчестия?

Он перевел дух. Оказалось, что он весь в поту и пыхтит как паровоз — то ли подъем тому виной, то ли адреналин, то ли просто страх. На разгоряченном теле лента стала какой-то кусачей — или это ему тоже чудится?

Добравшись до двери — этой жалкой, уныло окрашенной двери,— Шерман еле дышал. Помедлил, снова перевел дух, потом постучал в дверь условным стуком: тук, тукитук тук — тук, тук.

Дверь медленно отворилась, но за нею никого не было. Вдруг —

— Гав! — Из-за двери показалось ее лицо, расплывшееся в улыбке.— Напугала?

— Да нет, в общем-то,— проговорил Шерман.— Меня тут уже такие специалисты пугали!

Она рассмеялась и, похоже, искренне.

— Тебя тоже? Тогда мы подходящая парочка, а, Шерман? — С этими словами она протянула к нему руки для приветственного объятия.

Шерман уставился на нее, смущенный и совершенно парализованный. Всяческие соображения пробегали в голове быстрее, чем он успевал их осмыслить. Вот она — в черном шелковом платье, траурном своем облачении, тесно облегающем талию и выставляющем напоказ великолепные формы внизу и вверху. Большие, сверкающие глаза. Темные безупречные волосы — густые и блестящие. Кокетливо оттопыренные губы, из-за которых он когда-то терял голову, такие пухлые, приоткрыты и улыбаются. Но все это вместе взятое теперь только лишь некая комбинация одежды, плоти и волос. На обнаженных руках едва заметный темный пушок. Надо скользнуть туда, меж этих вытянутых рук, обнять ее, раз она этого хочет! Дело очень деликатное! Нужно, чтобы она была на его стороне, доверилась ему, по крайней мере на то время, какое потребуется, чтобы признание некоторых фактов нашло дорогу через микрофон, пристроенный у него на груди, к магнитофонной ленте на пояснице. Ответственный момент... Но как быть? Что если он ее обнимет, а она наткнется на микрофон? Или вздумает погладить его по спине! Заблаговременно такой вариант ему в голову не пришел. (Ну в самом деле: кому захочется обнять человека, который *заряжен!*) И тем не менее — делай же что-нибудь!

И он двинулся ей навстречу, но ссутулив плечи и сгорбив спину, чтобы она не могла прильнуть к его груди. Так и обнялись — чувственное юное гибкое создание и странный калека.

Он быстро высвободился, попытавшись улыбнуться, а она недоуменно на него поглядела: дескать, что с тобой?

— Ты права, Мария. Мы с тобой пара, вместе на первых полосах газет,— с философической улыбкой проговорил он. (То есть не будем отвлекаться!) Нервно обвел глазами комнату.

— Пошли, сядем,— сказала она, махнув рукой в сторону дубового стола на одной ноге.— Пойду, принесу тебе выпить. Чего бы ты хотел?

Замечательно: сядем, поговорим.

— Виски есть?

Она вышла в кухню, а Шерман поглядел себе на грудь — не торчит ли микрофон. Стал перебирать в памяти вопросы. Подмывало проверить, крутится ли кассета.

Вскоре Мария вернулась, принесла ему бокал виски и другой с чем-то бесцветным — то ли джин, то ли водку — себе. Села на второй гнутый стул и, положив ногу на ногу (как искрится на них нейлон!), улыбнулась.

Подняла бокал, как бы предлагая тост. Он сделал то же самое.

— Стало быть, мы, Шерман, теперь пара, о которой говорит весь Нью-Йорк. Ох, и многим же, наверное, хотелось бы послушать *этот* наш разговор!

У Шермана екнуло сердце. Безумно захотелось скосить глаза вниз, проверить, не вылез ли микрофон. Она это что — с намеком? Он заглянул ей в глаза. Ни зги там не разглядел.

— Да уж, стало быть, так,— отозвался он.— По правде говоря, я думал, ты решила от меня скрыться. А меня, с тех пор как ты уехала, жизнь не очень-то балует.

— Шерман, клянусь, до возвращения я ничего не знала.

— Но ты даже не сказала мне, что уезжаешь.

— Знаю, но это не имеет никакого отношения к тебе, Шерман. Я просто... просто я была как сумасшедшая.

— А к чему это имеет отношение? — Он откинул голову и улыбнулся, чтобы показать, что не таит зла.

— К Артуру.

— А-а. К Артуру.

— Да, к Артуру. Думаешь, мне с Артуром было так легко, думаешь, я пользовалась большой свободой? Конечно, в определенном смысле — да, но ведь надо было еще и жить с ним, а при нем какая уж там свобода. Так ли, эдак ли, но он изводил меня по-страшному. Я тебе говорила, он, бывало, как начнет на меня орать, как начнет ругаться.

— Ты упоминала об этом.

— Кричит, что я шлюха и сука, прямо при слугах, да при ком угодно, если ему вздумается. А злобы сколько! Сначала хотел иметь молодую жену, а потом резко изменился и возненавидел меня за то, что я молодая, а он старик. Ему хотелось иметь вокруг себя интересных людей, он считал, что с его деньгами ему это причитается, а после вдруг — раз! — и возненавидел их всех, и меня возненавидел, потому что это были мои друзья, и вообще им была больше нужна я, чем он. Артур был нужен только этим его старым аидам, вроде Рея Радоша. Надеюсь, ты заметил, каким олухом он выставил себя на панихиде. Потом пришел за сцену и принялся меня *тискать*. Чуть платье с меня не содрал, ей-богу. Ты это видел? Ну да, ведь ты был так *взволнован!* Я все пыталась сказать тебе, чтобы ты успокоился! Никогда тебя таким не видела. А тот носатый ублюдок из «Сити лайт», лицемер британский, стоял прямо у тебя за спиной. Он все *подслушал!*

— Знаю, я действительно волновался,— сказал Шерман.— Я думал, ты от меня бегаешь. Боялся, что это мой последний шанс поговорить с тобой.

— Я от тебя не бегала, Шерман. Я же тебе объясняю. Единственный человек, от которого я бегала, это Артур. Я взяла и уехала. Просто... Взяла и уехала. Поехала на озеро Комо, но я знала, что он меня там может найти. Тогда я поехала погостить у Исабель ди Нодино. У нее дом в горах, в городке недалеко от Комо. Прямо как сказочный замок. Там было так здорово. Никаких звонков по телефону. Я даже ни одной газеты там не видела.

Одна-одинешенька, если не считать Филиппо Кирацци. Но это бог с ним, какая теперь разница. Как можно спокойнее Шерман сказал:

— Это хорошо, что тебе удалось отвлечься, Мария. Но ты знала, что я беспокоюсь. Ты знала про статью в газете, ведь я ее тебе показывал.— Совсем не выдать голосом возбуждение не удалось.— В тот вечер, когда еще тот бугай чокнутый приходил,— да ты сама помнишь.

— Ну-ну, Шерман. Что ты себя опять накручиваешь.

— А тебя когда-нибудь сажали за решетку?

— Нет.

— А вот меня да. Это среди прочего, что я вытерпел, пока тебя не было. Я...— Он прервался на полуслове, внезапно осознав, что ведет себя очень глупо. В данный момент пугать ее перспективой ареста ему было меньше всего нужно. Он пожал плечами, улыбнулся и заключил: — Что ж, тоже некий жизненный опыт,— как бы говоря этим: «Однако это не так страшно, как ты можешь подумать».

— Мне этим тоже угрожают,— сказала она.

— В каком смысле?

— Сегодня ко мне приходил какой-то тип из Окружной прокуратуры Бронкса, с двумя следователями.

Шермана так и передернуло.

— Да ну?

— Напыщенный такой мелкий поганец. Самому себе казался жутко крутым. Все этак голову откидывал и что-то гадкое выделывал шеей — как-то вот так, вот так, а на меня поглядывал, сузив глазки. Поганец.

— И что ты ему сказала? — (Нервно, очень нервно.)

— Ничего. Он был слишком занят — все объяснял, как он может со мной расправиться.

— В каком смысле? — (Паническое тремоло в голосе.)

— Он объяснил, что у него есть еще один свидетель. Таким важным начальственным тоном. Он даже не сказал, кто этот свидетель, но это, ясное дело, тот парень — здоровенный. Не могу даже описать, до чего гадкий тип.

— Его фамилия Крамер?

— Да. Так он представился.

— Это тот самый, который был в суде, когда меня отпустили под залог.

— Он все разложил по полочкам, Шерман. Если я буду свидетельствовать против тебя и подкреплю этим показания другого свидетеля, меня не тронут. А иначе меня объявят соучастницей и привлекут по статьям этим... Не помню точно, по каким.

— Но ты ведь...

— Он даже снабдил меня ксерокопиями газетных статей. Практически задал колею. Эти, дескать, статьи правильные, а эти состряпаны с твоей подачи. Если я скажу, что произошло на самом деле, попаду в тюрьму.

— Но ты ведь, разумеется, сказала ему, что произошло на самом деле!

— Ничего я ему не сказала. Хотела переговорить сперва с тобой. Шерман сидел на краешке стула.

— Но, Мария, некоторые вещи в этом деле настолько *на поверхности,* а они еще о них и не знают. Наслушались выдумок парня, который хотел нас ограбить! К примеру: это случилось не *на улице,* а *на пандусе,* верно? А остановились мы, потому что дорога была *перекрыта,* мы даже еще и не *видели* никого. Верно? Ведь верно же? — Он поймал себя на том, что повышает голос.

Лицо Марии озарилось теплой, грустной улыбкой, с какой смотрят на человека, мучимого болью. Мария встала и, уперев руки в боки, проговорила:

— Шерман, Шерман, Шерман, ну что нам с тобой делать?

Знакомым движением она выставила вперед правую ногу, туда-сюда качнула ею на высоком черном каблуке. Посмотрела на Шермана широко открытыми карими глазами и протянула к нему руки ладонями вверх.

— Иди ко мне, Шерман.

— Мария, у нас серьезное дело!

— Я знаю. Ну иди же.

Ч-черт! Она опять хочет обнять его! Ну... так обними же ее, идиот! Это знак того, что она на твоей стороне! Обними ее, схватись за спаси-

тельную соломинку! Да!.. но как? *Я же заряжен!* На груди капсюль позора! На пояснице бомба бесчестья! Чего она потом захочет? Повалит его на кровать? И что тогда? Это ж — Господи!.. Весь ее вид говорит: «Я твоя!» Она же единственная твоя зацепка! Не упускай этот шанс! *Делай что-нибудь! Действуй!*

И он поднялся со стула. Потянулся к тому лучшему, что есть в обоих мирах. При этом он согнулся, чтобы не коснуться грудью ее груди и чтобы ей было не дотянуться руками ему до поясницы. Он обнял ее точно старик, перегнувшийся через ограду, чтобы коснуться рукой могильного камня. В результате его голова оказалась очень низко. Подбородок пришелся ей под ключицу.

— Шерман,—сказала она.— В чем дело? Что у тебя со спиной?

— Ничего.

— Тебя всего скрючило.

— Прости.— Он повернулся боком, все еще обнимая ее за плечи.

— Шерман! — Она сделала шаг назад.— Ты какой-то весь скособоченный. Что случилось? Ты не хочешь, чтобы я к тебе прикасалась?

— Да нет! Нет... Это, наверно, волнение. Ты ведь не знаешь, что я перенес.— Тут он решил внести поправку.— Ты не представляешь, как я по тебе соскучился, как ты нужна мне.

Она изучающе посмотрела на него, затем одарила жарчайшим, влажным и каким-то до нутра распахнутым взглядом.

— Ну...— проговорила она.— Вот же я.

Она шагнула к нему. Все, влип. Да не корчись ты, дурень! И прекрати ерзать из стороны в сторону! Придется рискнуть! Может быть, микрофон все-таки глубоко, и она его не почувствует, особенно если целовать ее — страстно, бурно! Ее руки будут у него вокруг шеи. Пока она их так держит, до поясницы ей не добраться. Их разделяли всего несколько дюймов. Он просунул руки ей под мышки, чтобы она не могла обнять его иначе как только за шею. Сам обхватил ее где-то в области лопаток, чтобы ее руки не сползали ниже. Позиция несколько неудобная, но ничего не поделаешь, сойдет.

— О, Мария! — Такого рода страстные стоны были вообще-то ему не свойственны, но, опять-таки, сойдет, ладно.

Он поцеловал ее. Для вящей искренности закрыл глаза и сосредоточился на том, чтобы держать руки как можно выше вокруг ее торса. Сознание отметило, что помада у нее на губах липкая, что слюна теплая, а дыхание отдает прогорклым овощным душком.

Минуточку. Черт, что она там делает? Ведет ладони поверх его рук вниз, к его бедрам! Он развел локти и напряг мышцы плеч, чтобы незаметно отодвинуть ее руки подальше. Поздно! Она уже положила ладони ему на ягодицы, прижимает к себе. Но его растопыренные локти ей мешают! Вдруг она сдвинет ладони кверху, на поясницу? Он выпятил зад. Если ей будет не дотянуться, может, она отстанет. Ее пальцы... но где они?

— Шерман... Что это у тебя на спине?

— На спине? —Он попытался отстраниться, но она не отпускала. Не разжимала рук.

— Какая-то штука, железка какая-то, что ли — здесь, у тебя на спине.

Он почувствовал давление ее ладони. Как раз на пояснице, где диктофон! Он сделал попытку повернуться так, сяк, но ее рука оставалась на прежнем месте. Он дернулся. Бесполезно! Вцепилась и держит.

— Шерман, что это?

— Не знаю. Ремень... пряжка от ремня... я не знаю.

— Какая же пряжка на спине!

Она уже к нему не льнула, но руку не отнимала.

— Мария! Ты что?

Он крутнулся и высвободился. Теперь они стояли лицом к лицу.

— Шерман! — *Шууман.*— Кривит недоуменно губы, сейчас раздастся вопль. Медленно: — Я хочу знать... что там у тебя на спине.

— Бога ради, Мария, что на тебя нашло? Ничего там нет — может, пуговицы от подтяжек — не знаю.

— Шерман, я хочу посмотреть.

— Что значит посмотреть?

— Сними пиджак.

— Что значит — сними?

— Сними. Я хочу посмотреть.

— С ума сошла.

— Ты ведь здесь не только пиджак снимал, Шерман.

— Ну не дури, Мария. Успокойся.

— Вот ты меня и успокой. Покажи, что у тебя там на спине.

С мольбой:

— Мария, ну *не надо.* Поздновато уже в игры играть.

Она подошла к нему вплотную, с той же грозной усмешкой. Она намерена посмотреть сама! Он отскочил в сторону. Она за ним. Но он увернулся.

Как бы игривый как бы хохоток:

— Что ты делаешь, Мария!

Уже довольно-таки шумно дыша:

— Ну-ка, ну-ка! —Она набросилась на него. Тут он не сумел увернуться. Она хватает его за лацканы, за рубашку! Он заслонился, как красна девица.

— Мария!

— Нет, погоди, погоди...— И вопль: — Там *что-то спрятано!* Что у тебя под рубашкой?!

Она снова на него кинулась. Он уклонился, но каким-то непонятным образом она очутилась у него за спиной. Подсунула руки под пиджак. Ухватилась за диктофон — правда, он под рубашкой, а рубашка заправлена в брюки. Шерман почувствовал, как диктофон отлепляется от спины.

— И *провод,* Шерман!

Он прижал ее руку своей, не давая вытащить диктофон. Но ее рука была под пиджаком, а его — поверх. Он запрыгал по комнате, пытаясь удержать извивающийся живой клубок под пиджаком.

— Он — на проводе — ах ты — дрянь! — отдуваясь, выговорила она, наваливаясь на него. Все силы у нее уходили на борьбу, иначе бы она орала бог знает как.

Наконец он изловчился и ухватил ее за запястье. Во что бы то ни стало надо, чтобы она отпустила диктофон. Он сжал ей руку крепче. Еще крепче.

— Ты что — мне же больно!

Он стиснул еще сильнее.

Она взвизгнула и отпустила. На миг он остолбенел, такое злобное у нее было лицо.

— Шерман, ты подлый, бесчестный гад!

— Мария, клянусь...

— Ах, ты *клянешься!* — Она снова кинулась на него. Он бросился к двери. Она поймала его за рукав и за полу пиджака. Шерман попытался освободиться. Шов треснул. Рукав стал отрываться. Шерман продолжал ломить к двери. Чувствовал, как коробочка диктофона бьется о ягодицы. Теперь она болталась на проводе поверх брюк.

Взметнулся черный шелк, раздался тупой удар. Мария оказалась на полу. Один из ее высоких каблуков хрустнул, и она потеряла равновесие. Шерман побежал к двери. Он еле отпер замок, потому что пиджак у него был стянут с плеч и сковывал локти.

Вот он уже на площадке. Послышались рыдания Марии, а потом Мария крикнула:

— Давай, давай, беги! Волочи хвост между ногами!

А ведь верно. Он ковылял вниз по лестнице, а диктофон позорно болтался у него сзади. Шерман чувствовал себя как последний побитый пес.

К тому времени, когда он открывал дверь подъезда, истина предстала ему во всей наготе. Глупость, некомпетентность и трусость довели его до того, что он умудрился потерять единственное, что давало ему последнюю надежду.

Эх ты, Властитель Вселенной!

30

СПОСОБНАЯ УЧЕНИЦА

В островной цитадели помещения для заседаний большого жюри не такие, как обычные, залы суда. Они устроены наподобие небольших амфитеатров. Члены большого жюри сверху смотрят на стол и стул для свидетелей. Чуть в стороне стоит столик секретаря. В процедуре заседания судья не участвует. Обвинитель усаживает своих свидетелей на стул и допрашивает, а заседатели решают, достаточно ли обосновано обвинение, чтобы передать дело в суд, а если нет, то дело закрывают. Порядок этот был заведен в Англии в 1681 году и имел целью оградить граждан от недобросовестных обвинителей. Таков был замысел, но он давно превратился в пародию. Когда обвиняемый хочет дать показания перед большим жюри, он является в это помещение вместе с адвокатом. Если он: (а) растерялся, (б) скован страхом, (в) оскорблен вопросами обвинителя, он может покинуть помещение и посовещаться со своим адвокатом в коридоре за дверью — и, таким образом, предстать в виде (б), то есть скованного страхом обвиняемого, которому есть что скрывать. Немногие обвиняемые идут на такое. И заседания большого жюри превратились в театр, целиком подвластный обвинителю. За редкими исключениями большое жюри делает то, что ему так или иначе диктует обвинитель. В девяноста девяти случаях из ста он хочет предать обвиняемого суду, и заседатели, не моргнув глазом, делают ему такое одолжение. Обычно члены жюри — люди простые и законопослушные. Их избирают из давних жителей района. Изредка бывает, что по соображениям политического характера обвинитель хочет, чтобы обвинение отвергли. Нет проблем: ему просто надо определенным образом сформулировать свои доводы, как бы невзначай подпустив пару намеков, и большое жюри схватывает на лету. Но в основном большим жюри пользуются для возбуждения уголовного преследования; широко известны слова Сола Вахтлера, председателя апелляционного суда штата, что, если нужно, большое жюри «отдаст под суд даже бутерброд с ветчиной».

В самом деле: ты ведешь заседание, ты представляешь доказательства, допрашиваешь свидетелей, ты формулируешь выводы. Ты стоишь, свидетели сидят. Ты ораторствуешь, жестикулируешь, прохаживаешься, разворачиваешься на каблуках, недоверчиво качаешь головой или одобрительно, отечески улыбаешься, тогда как свидетели чинно сидят на своих местах, смотрят на тебя снизу вверх и ждут указаний. Ты одновременно и распорядитель и звезда этого небольшого спектакля. Вся сцена — к твоим услугам.

Ларри Крамер со своими актерами неплохо все отрепетировал.

Роланд Обэрн, вошедший в то утро в зал заседаний большого жюри, уже ни обликом, ни походкой не напоминал того закоренелого уголовника, который появился в кабинете у Крамера две недели назад. Он был в рубашке с кончиками воротничка на пуговках, правда, без галстука (заставить его натянуть эту фраерскую рубашку и то уже стоило большой борьбы), в серо-голубом твидовом спортивном пиджаке, о котором у него было такое же мнение, как и о рубашке, и черных штанах — штаны были его прежние, но, в общем-то, не слишком портили дело. Однако из-за обуви весь этот ансамбль чуть не распался напрочь. Роланд питал пристрастие к кроссовкам «Рибок», которые должны были быть не-

пременно с иголочки новыми и снежной белизны. В тюрьме «Райкерс-Айленд» он ухитрялся раздобывать *по две пары новеньких кроссовок в неделю*. Этим он показывал всему свету, что он крутой бандюга, достойный уважения арестантов, и к тому же лихо умеет манипулировать связями с внешним миром. Просить его выйти из стен «Райкерс-Айленда» без белых кроссовок «Рибок» было все равно что просить певца подстричься. Так что Крамер в конце концов позволил ему выйти за ворота в кроссовках под четкую договоренность о том, что в машине по дороге в суд он сменит их на пару кожаных туфель. Туфли были типа мокасин, и Роланд преисполнился к ним презрения. Он потребовал гарантий, что никто из тех, кого он знает, а также тех, кто может знать его, не увидят его в таком фраерском наряде. Последней проблемой была сутенерская развалочка. В этом Роланд был сродни ветерану марафонцу: тому тоже трудно поменять стиль бега. Наконец Крамер отчаянно напряг интеллект и решил проблему. Он заставил Роланда пройтись со сцепленными за спиной руками, как — он видел когда-то по телевизору — ходили принц Филипп и принц Чарльз, обозревая экспозицию в археологическом музее Новой Гвинеи. Сработало! Сцепленные руки закрепостили плечи, а закрепощенные плечи сбили ритм бедер. Так что теперь, когда Роланд шел по залу заседаний большого жюри — от входа к столу — в этих школярских одежках, он вполне мог сойти за какого-нибудь студента-филолога, погруженного в размышления о поэтах «Озерной школы».

Роланд сидел на свидетельском месте в точности так, как велел Крамер, то есть не разваливаясь на стуле, не расставляя колени, будто ты хозяин всего заведения, и не хрустя костяшками пальцев.

Крамер посмотрел на Роланда, затем повернулся, обвел взглядом ложу присяжных, сделал несколько шагов туда, несколько шагов сюда, задумчиво улыбнулся присяжным — так, чтобы без слов стало понятно: «Видите, перед вами сидит вполне симпатичный молодой человек, которому можно верить».

Крамер спросил Роланда о роде его занятий, на что Роланд тихо и скромно ответил: «Художник». Крамер спросил, есть ли у него в данный момент постоянная работа. Нет, сейчас нет, сказал Роланд. Крамер немного покивал, затем серией вопросов прояснил, почему этот талантливый молодой человек, всей душой стремящийся найти применение своим творческим силам, такового применения не нашел, и теперь ему — из песни слова не выкинешь — предстоит отбывать наказание за мелкое правонарушение, связанное с наркотиками. (Король крэка с Эвергрин авеню отрекся от престола и превратился в раба нездоровой среды.) Подобно своему другу Генри Лэмбу, хотя и будучи лишен преимуществ Лэмба в смысле стабильности семейной жизни, Роланд использовал ничтожный шанс, предоставляемый судьбой молодому человеку из муниципальных новостроек, и не утратил надежд и мечтаний. Единственно ради того, чтобы душа не рассталась с телом, Роланд опустился до своей коммерции, хотя и пагубной, но далеко не необычной в гетто. Ни он, обвинитель, ни сам Роланд, свидетель, не пытаются скрыть или приуменьшить его мелкие правонарушения, однако, учитывая среду, в которой проходила его жизнь, справедливые сограждане не должны из-за этого отказывать ему в доверии, когда речь идет о деле такой важности как судьба Генри Лэмба.

Сам Чарльз Диккенс, повествуя о жизни Оливера Твиста, не сумел бы подать ее в более выгодном свете, во всяком случае если бы стоял перед присяжными в зале заседаний большого жюри в Бронксе.

Затем Крамер провел Роланда через весь эпизод со сбитым на дороге Лэмбом и сбежавшим виновником происшествия. Особенно любовно он задержался на одном моменте. То был момент, когда сексапильного вида брюнетка обратилась к высокому мужчине, который вел машину.

— Что она ему крикнула, мистер Обэрн?

— Она крикнула: «Шуман, побеpегись».

— Она назвала его — *«Шуман»?*

— Мне послышалось так.

— Пожалуйста, повторите это имя еще раз, мистер Обэрн, в точности так, как вы его услышали в тот вечер.

— Шуман.

— «Шуман, поберегись»?

— Правильно. «Шуман, поберегись».

— Благодарю вас.— Крамер повернулся к присяжным, оставив это *«Шуман»* висеть в воздухе.

Итак, индивид, сидящий на свидетельском стуле,— это юный обитатель тех же опасных кварталов, истинный друг, чьих героических усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти Генри Лэмба от преступной халатности и безответственности банкира с Парк авеню. В свою очередь, Карл Брилл, владелец нескольких такси, подтвердил, что Роланд Обэрн действительно нанял одну из его машин, чтобы спасти Генри Лэмба. Эдгар (Кочан-Курчан) Табб рассказал, как он вез мистера Обэрна и мистера Лэмба в больницу. Что говорил мистер Лэмб, он не помнил, помнил только, что тому было больно.

Следователи прокуратуры Уильям Мартин и Дэвид Гольдберг рассказали о той неблагодарной полицейской работе, которую им пришлось провести, чтобы по нескольким цифрам номера машины разыскать банкира с Парк авеню, и как тот сразу начал юлить и суетиться. Рассказали и о том, как Роланд Обэрн без колебаний опознал Шермана Мак-Коя по фотографии, предъявленной в числе многих других. Гаражный сторож по имени Дэниэл Подернли показал, что Шерман Мак-Кой выезжал на своей машине именно в тот вечер и в те часы и возвратился в растрепанном и взбудораженном состоянии.

Все они входили, садились за стол и снизу вверх смотрели на волевого, но терпеливого молодого помощника окружного прокурора, чей каждый жест, каждая пауза, каждая поза говорили: «Нам надо только предоставить им возможность рассказать то, что они знают, и так, как им самим хочется, тогда истина проявится сама».

А потом он вызвал *ее*. Мария Раскин вошла в амфитеатр из вестибюля, пройдя мимо пристава, стоявшего в дверях. Она была великолепна. Костюм — как раз в нужном регистре: черное платье с жакетом, отделанным черным бархатом. Не выглядит ни принаряженной, ни одевшейся попроще. Идеальная скорбящая вдова, пришедшая участвовать в серьезном деле. И при всем этом — молодость, красота и чувственность, которой, казалось, дышат эти одежды, эти изумительные, даже в строгости, черты, безупречно убранные густые темные волосы, готовые рассыпаться в безумном порыве — в любой момент! — по любому поводу! — по первому знаку! — только мигни! Крамер услышал, как присяжные задвигались, загудели. Конечно, они ведь читают газеты. Смотрят телевизор. Таинственная Брюнетка. Клевая девица. Вдова финансиста — и все это *она*.

Безотчетно Крамер втянул живот, расправил грудь, развел плечи и откинул назад голову. Ему хотелось, чтобы она видела его мощную грудь и шею, а не портящую весь вид макушку. Как жаль, что нельзя рассказать присяжным все до конца. Им бы понравилось. Они бы смотрели на него с еще большим уважением. Сам факт, что она вошла в дверь и сидит теперь на свидетельском месте, настроенная на нужный лад, это триумф, *его* триумф, и добился он этого не речами, а личным обаянием. Но он, конечно же, не может рассказать им о своем визите к Клевой Брюнетке на квартиру, в ее герметизированный дворец.

Реши она поддержать состряпанную Мак-Коем сказку насчет ограбления на пандусе, все сделалось бы весьма проблематичным. Тогда возник бы вопрос о достоверности рассказа Роланда Обэрна, пресловутого Короля крэка, который пытается избегнуть отсидки. Показания Роланда стали фундаментом дела, но не очень прочным, к тому же Роланд может в любой момент его и взорвать — нет, не тем, что он говорит (у Крамера не было сомнений в правдивости его слов), а своим поведением.

Но теперь у Крамера есть и Мария. Он сходил к ней на квартиру, посмотрел ей в глаза — ей и ее БАСПам-охранителям,— и загнал ее в тупик, со всех сторон обложил неоспоримой логикой и страхом перед Властью. Она даже сообразить ничего не успела. В тот же вечер господа Такер Тригг и Клиффорд Придди — Тригг и Придди, Придди и Тригг — снобы несчастные! — уже звонили ему по телефону, чтобы обо всем договориться.

И вот она сидит перед ним, а он смотрит на нее сверху вниз, позволяя себе подолгу глядеть ей в глаза, сперва серьезно, а потом и не без некоторой игривости (во всяком случае так ему казалось).

— Ваше полное имя и адрес, будьте добры.

— Мария Тереза Раскин, Пятая авеню, 962.

Очень хорошо, Мария Тереза! Это он, Крамер, обнаружил, что ее второе имя — Тереза. Наверняка в составе большого жюри будет несколько итальянок и пуэрториканок в возрасте, и, конечно же, так оно и вышло. Им *Мария Тереза* станет как-то ближе, роднее. Только на красоту и богатство — опора зыбкая.

Присяжные смотрят во все глаза. Не могут налюбоваться. Это самый красивый образчик человеческой породы, который им доводилось видеть во плоти. Да и часто ли в этом зале свидетелями выступают люди, проживающие на Пятой авеню в районе Семидесятых улиц? Мария Раскин воплощала то, чем они не были, но (по убеждению Крамера) хотели быть: молода, красива, с шиком одета и неверна мужу. При этом все перечисленные качества вполне могли послужить ей на пользу, если она поведет себя как надо: будет простой, скромной, продемонстрирует легкое смущение тем, как высоко она вознесена,— в общем, если она предстанет маленькой Марией Терезой из маленького городка в Южной Каролине. Если она постарается быть «сердцем ну совсем такой же, как они», им будет лестно чувствовать свою сопричастность этой ее вылазке в мир уголовного права, они подпадут под очарование ее успеха, известности и богатства.

Крамер задал вопрос о роде ее занятий. Колеблясь, она некоторое время смотрела на него, приоткрыв губы, потом сказала:

— Мммм... Я... ммм... наверное, я... ммм... домохозяйка.

По ложе присяжных пробежал смешок, и Мария, опустив глаза, смиренно улыбнулась и покачала головой, как бы говоря: «Я понимаю, звучит странно, но я не знаю, как это назвать иначе». По ответным улыбкам присяжных Крамер определил: пока они на ее стороне. Они уже пленились этой редкостной прекрасной птицей, трепещущей перед ними в суде Бронкса.

Крамер воспользовался этим моментом, чтобы сказать:

— Я думаю, присяжных следует уведомить о том, что муж миссис Раскин, Артур Раскин, скончался всего несколько дней назад. Принимая во внимание это обстоятельство, мы должны быть благодарны ей за готовность пойти нам навстречу и помочь большому жюри в решении рассматриваемого вопроса.

Присяжные вновь воззрились на Марию. *Какая храбрая девочка!*

Мария вновь подобающим образом потупилась.

Молодец, Мария! Умница! «Мария Тереза»... «Домохозяйка»... Жаль, что нельзя живописать перед уважаемыми присяжными, как он ее наставлял в этих как бы незначительных, но очень существенных тонкостях. Все честно, все по правде!—но даже правда и честность могут пропасть втуне, если их не преподнести как должно.

Спокойно, без нажима, всячески показывая, что он понимает, как это ей должно быть нелегко, Крамер повел ее по цепочке событий того злосчастного вечера. Мак-Кой встретил ее в аэропорту Кеннеди. (Зачем, неважно, это к делу не относится.) Они заблудились, попали в Бронкс. Встревожились. Мистер Мак-Кой ведет машину по левому ряду широкой авеню. Мария замечает справа знак, показывающий дорогу обратно на скоростную трассу. Он внезапно на большой скорости сворачивает

вправо. Машина летит прямо на двоих парней, стоящих у бровки тротуара. Он замечает их слишком поздно. Одного задевает, чуть не сбивает второго. Она велит ему остановиться. Он повинуется.

— А теперь, миссис Раскин, будьте так добры, расскажите нам... В тот момент, когда мистер Мак-Кой остановился, машина была на пандусе, ведущем к скоростной трассе, или на самой улице?

— На улице.

— На улице?

— Да.

— А была ли там какая-либо преграда — баррикада или иное препятствие, вынудившее мистера Мак-Коя остановить машину?

— Нет.

— Хорошо, расскажите нам, что произошло потом.

Мистер Мак-Кой вышел посмотреть, что случилось, а она отворила дверцу и оглянулась назад. К машине направлялись двое молодых людей.

— Будьте добры, расскажите нам, что вы почувствовали, когда увидели, что они идут к машине?

— Я испугалась. Я подумала, что они на нас нападут — ну, из-за того, что произошло.

— Из-за того, что мистер Мак-Кой сбил одного из них?

— Да.— Глаза долу: надо понимать, ей стыдно.

— Они вам как-нибудь угрожали — словесно или какими-либо жестами?

— Нет, не угрожали.— Ой, стыдно, стыдно.

— Но вы подумали, что они могут напасть на вас?

— Да.— Этак смиренно.

— А вы,— (очень по-доброму),— не объясните нам, почему вы так подумали?

— Потому что мы были в Бронксе и наступил вечер.

Мягкий, отеческий голос:

— А может быть, еще и потому, что те двое молодых людей были негры?

После паузы:

— Да.

— Как вы думаете, мистер Мак-Кой чувствовал то же самое?

— Да.

— Словесно он это как-нибудь выразил?

— Да, выразил.

— Что же он сказал?

— Я точно не помню, но после мы это обсуждали, и он сказал, что это все равно, что схватка в джунглях.

— *Схватка в джунглях?* Двое молодых людей идут к вам после того, как мистер Мак-Кой сбил одного из них машиной, и это все равно, что схватка в джунглях?

— Так он сказал. Да.

Крамер помедлил, чтобы дать сказанному хорошенько укорениться.

— Ну ладно. Двое молодых людей идут к машине мистера Мак-Коя. Что вы делали дальше?

— Что я делала?

— Что вы делали — или говорили?

— Я сказала: «Поберегись, Шерман».— *Шууман.* Кто-то из присяжных хихикнул.

— Будьте добры,— проговорил Крамер,— повторите это, пожалуйста, миссис Раскин. Повторите то, что вы сказали мистеру Мак-Кою.

— Я сказала: «Поберегись, Шуман».

— А теперь, миссис Раскин... если позволите... У вас не совсем обычный выговор. Вы произносите имя мистера Мак-Коя несколько неотчетливо. *Шуман.* Я не ошибся?

По ее лицу пробежала виноватая, но достаточно милая улыбка.

— Наверное. Вам лучше судить.

— Тогда еще разок произнесите, как у вас получается. Имя мистера Мак-Коя.

— *Шууман.*

Крамер обернулся и посмотрел на присяжных. *Шуман.*

— Хорошо, миссис Раскин, что было дальше?

Она рассказала, как пересела за руль, а Мак-Кой сел на место пассажира, и она рванула с места, чуть не сбив молодого человека, которого едва не задел раньше Мак-Кой. Как только они выехали на скоростную трассу и опасность миновала, она изъявила желание заявить об инциденте в полицию. Но мистер Мак-Кой об этом и слушать не хотел.

— Почему он так противился тому, чтобы заявить?

— Он сказал, что, когда это случилось, машину вел он, значит, ему и решать, а он заявлять не намерен.

— Да, но он должен был привести какую-нибудь причину?

— Он сказал, что это стычка в джунглях, и все равно заявлять без толку, а потом он не хочет, чтобы узнал его начальник на работе и жена. Я думаю, он больше беспокоился насчет жены.

— Как бы она не узнала, что он сбил кого-то машиной?

— Как бы она не узнала, что он встретил меня в аэропорту.— (Глаза долу.)

— И это он счел достаточной причиной, чтобы не сообщать о происшествии, в котором пострадал молодой человек и, как выясняется, пострадал серьезно?

— Ну... я не знаю. Я ведь не знаю всего, что у него было на уме.— (Тихо, печально.)

Молодец, Мария Тереза! Способная ученица! Это очень кстати — признать неполноту своего знания!

Так прелестная Вдова Раскин утопила мистера Шермана Мак-Коя как котенка.

Зал заседаний большого жюри Крамер покинул в состоянии, знакомом главным образом спортсменам,— он торжествовал победу. Как мог прятал улыбку.

— Эй, Ларри!

По коридору к нему спешил Берни Фицгиббон. Отлично! Теперь у него есть о чем порассказать зловредному ирландцу.

Но прежде чем он успел вымолвить хоть словечко про свой триумф, Берни сказал:

— Ларри, ты это видел?

И сунул ему свежий номер «Сити лайт».

Только что вошедший Куигли поднял со стола Киллиана номер «Сити лайт» и принялся читать. Шерман сидел у стола в жалком фиберглассовом креслице и, как ни отводил глаза, все же не мог не видеть заголовки на первой странице.

Через всю полосу шапка:

«ТОЛЬКО В «СИТИ ЛАЙТ»! НОВОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ В ДЕЛЕ МАК-КОЯ!»

Слева сверху помещалась фотография Марии: платье с большим вырезом, сильно обнажающим грудь, полуоткрытые губы. Фотографию обрамлял заголовок из громаднейших черных литер:

ПРИДИ
В МОЕ
ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО
С КОНТРОЛИРУЕМОЙ КВАРТПЛАТОЙ!

Внизу, шрифтом помельче:

«МИЛЛИОНЕРША МАРИЯ УБЛАЖАЛА МАК-КОЯ В КВАРТИРЕ ДЛЯ СВИДАНИЙ, КОТОРУЮ СНИМАЛА ЗА 331 ДОЛЛАР В МЕСЯЦ.
СТАТЬЯ ПИТЕРА ФЭЛЛОУ».

Киллиан сидел за столом и, откинувшись в своем крутящемся кресле, изучающе глядел на мрачно насупившегося Шермана.

— Послушайте,— сказал Киллиан,— не стоит об этом беспокоиться. Пакостная статейка, но нам она не вредит. Может, даже помогает. Подрывает к ней доверие. Она тут предстает потаскухой.

— Это очень верно,— проговорил Куигли тоном, который замышлялся как ободряющий.— Мы уже знаем, где она была, когда у нее умирал муж. Шлялась по Италии с парнем по имени Филиппо. А теперь этот гусь Уинтер говорит, что к ней туда мужики то и дело шастали. Этот Уинтер — малый не промах, правда, Томми?

— Прелесть, а не домохозяин,— отозвался Киллиан. Затем Шерману: — Это может только помочь нам, если Мария будет вас подставлять. Не сильно, но все-таки.

— Да я сейчас думаю не об этом,— сказал Шерман. Он вздохнул и опустил свой выдающийся подбородок на грудь.— Я думаю о жене. Это конец. Она было почти простила меня, или, во всяком случае, решила со мной остаться, решила спасать семью. А это ее доконает.

— Вы связались с отъявленной шлюхой,— сказал Киллиан.— Не вы первый, не вы последний. Тоже мне, большое дело.

Со шлюхой? К своему удивлению, Шерман почувствовал желание защитить Марию. Но сказал всего лишь: — К несчастью, я поклялся жене, что у меня никогда... ничего с ней не было, разве что легкий флирт.

— Вы что, думаете, она поверила? — спросил Килиан.

— Это не важно,— отозвался Шерман.— Я поклялся, что это правда, и попросил простить меня. Так распинался. А теперь она, как и весь Нью-Йорк, весь мир, узнает, прочитает на первой полосе желтой газетенки, что я был... Даже и не знаю...— Он покачал головой.

— Но у вас же не было ничего серьезного,— вставил Куигли.— Эта женщина просто отъявленная шлюха, вот и Томми тоже говорит.

— Не называйте ее так,— грустно возразил Шерман, не глядя на Куигли.— Она единственный порядочный человек во всей этой грязной истории.

— Да уж,— поморщился Киллиан,— такая порядочная, что того и гляди подставит вас, если уже не подставила.

— Она хотела поступить по-честному,— сказал Шерман.— Я убежден в этом. А я ей в душу плюнул.

— Не мелите чушь. Не хочу даже слышать.

— Она позвонила мне и пригласила к себе туда в квартиру не для того, чтобы *закладывать меня.* А я пришел *заряженный...* чтобы заложить *ее.* Какой ей был прок от нашей встречи? Никакого. Ее адвокаты, вероятно, всячески отговаривали ее со мной встречаться.

Киллиан кивнул.

— Верно.

— Но Мария не такая, у нее просто голова по-другому работает. Всякие предосторожности не по ней. Она не станет большой законницей только потому, что ее загнали в угол. Я же сказал, что мужчины — это ее среда обитания, и так оно и есть, это как... как у дельфина среда обитания море.

— Может, на акуле сойдемся? — усмехнулся Киллиан.

— Нет.

— О'кей, будь по-вашему. Пусть она будет русалкой.

— Называйте ее как угодно. И все же: как бы они ни вздумала поступить, но в отношении меня, человека, который был ей близок, она не намеревалась прикрываться адвокатами — да и вообще, никогда бы не явилась ко мне *заряженной...* чтобы добыть доказательства. К чему бы дело ни шло, а она хотела со мной повидаться, быть со мной рядом, поговорить со мной, по-настоящему поговорить, *по-честному,* не играя в слова, ну, и — лечь со мной в постель. Можете считать, что я спятил, но это именно то, чего она хотела.

Киллиан только брови поднял.

— Я также считаю, что и в Италию она уехала не для того, чтобы улизнуть. По-моему, она поехала именно по тем причинам, о которых она сказала. Чтобы удрать от мужа... и от меня... и я не виню ее... ну, и чтоб поразвлечься с привлекательным молодым человеком. Можете называть ее из-за этого шлюхой, если вам хочется, но она единственный человек во всей этой истории, кто шел строго по прямой.

— Смертельный номер: перешагивание по прямой через ваш труп,— нахмурился Киллиан.— Где-то у меня был экстренный телефон, куда звонить насчет космических пришельцев. А то тут уже вырисовывается какая-то внегалактическая концепция морали.

Шерман вдавил кулак в ладонь левой руки.

— Ну как я мог это сделать! Если бы я вел себя с нею честно! Я — с моими претензиями на респектабельность и порядочность! И вот теперь — пожалуйста.

Он поднял номер «Сити лайт» и приготовился нырнуть в пучину публичного позора.

— «Любовное гнездышко»... «тайная квартира для свиданий»... фотография той самой кровати, на которой «миллионерша Мария ублажала Мак-Коя»... И все это увидит моя жена... жена и еще добрых два миллиона читателей... и моя дочь... Моей дочурке почти семь лет. Ее подружки уже вполне способны предоставить ей недостающую информацию о том, что все это значит... и с удовольствием это сделают... Уж конечно... Подумать только! Этот сукин сын Уинтер не постеснялся привести репортеров, чтобы сфотографировали *кровать!*

Вступил Куигли:

— Они люди неуправляемые, мистер Мак-Кой, эти хозяева домов с контролируемой квартплатой. Просто маньяки. С утра и до вечера одержимы одной мыслью: как бы выгнать жильцов. Ни в одном сицилийце не найдешь той ненависти, какую они питают к своим жильцам. Жильцы, как они считают, пьют их кровь. Они прямо с ума сходят. Такой увидит фото Марии Раскин в газете, узнает, что у нее двадцатикомнатная квартира на Пятой авеню, сразу ноги в руки и летит в редакцию.

Шерман развернул газету на странице 3, где была полностью напечатана статья. Снимок фасада здания. Еще один снимок Марии, юной и сексапильной. Снимок Джуди, старой и изможденной. Еще один снимок его самого... его аристократический подбородок... его широкая ухмылка.

— Это конец,— вырвалось у него негромко, но так, что Киллиан и Куигли услышали. Глубже, глубже, в самую пучину стыда... Вслух зачитал:

— «По словам Уинтера, он располагает информацией о том, что миссис Раскин платила из-под полы 750 долларов в месяц законной квартиросъемщице, Жермене Болл, которая платила хозяину 331 доллар в месяц». Это правда,— сказал Шерман,— но откуда, интересно, он узнал? Мария ему не говорила, Жермена — тоже, я совершенно уверен. Как-то раз мне Мария об этом рассказывала, но от меня не узнала ни одна живая душа.

— Где? — встрепенулся Куигли.

— Что где?

— Где она вам об этом рассказывала?

— Это было... в последний раз, когда я приходил к ней в ту квартирку. В день выхода первой статьи в «Сити лайт». Когда еще тот бугай, тот чудовищный хасид к нам вломился.

— Ух ты,— вырвалось у Куигли. Лицо его расплылось в улыбке.— Ты усек, Томми?

— Нет,— сказал Киллиан.

— А я — да. Может, я и ошибаюсь, но думаю, я его раскусил.

— Кого?

— Да этого шустрого сукина сына,— сказал Куигли.

— Ты о чем, вообще, говоришь-то?

— Потом объясню,— не переставая ухмыляться, бросил Куигли.— А сейчас иду прямо туда.

Он вышел из комнаты и чуть не бегом бросился по коридору.

— Что он затеял? — спросил Шерман.

— Не совсем понятно,— ответил Киллиан.

— Куда он пошел?

— Не знаю. Я даю ему возможность действовать по своему усмотрению. У Куигли природный нюх.

На столе Киллиана зазвонил телефон, и в селекторе раздался голос секретарши:

— Мистер Фицгиббон по 3-0.

— Беру,— сказал Киллиан и поднял трубку.— Алло, Берни?

Киллиан слушал, глядя вниз, но временами вскидывая глаза на Шермана. Что-то записал. Шерман почувствовал, что его сердце начинает учащенно биться.

— Из каких таких соображений? — проговорил Киллиан. Послушал немного еще.— Бодяга это, ты же знаешь... Ага, в общем-то, я... я... Что?!.. А в чьей секции?.. Уммм-хммм...— После небольшой паузы он сказал: — Да, он там будет.— Киллиан проговорил это, глядя на Шермана.— О'кей, спасибо, Берни.

Киллиан повесил трубку и обратился к Шерману.

— Н-да... большое жюри вынесло решение привлечь вас к суду. Она вас подставила.

— Он так вам и сказал?

— Нет. Он не имеет права сообщать о том, что происходило на заседании большого жюри. Но он вложил это в подтекст.

— Что это значит? Что теперь будет?

— Первым делом будет то, что завтра утром окружной прокурор потребует, чтобы суд повысил сумму залога.

— Повысил сумму залога? Как же это можно?

— Это делается из тех соображений, что, поскольку обвинение поддержано, у вас появляется более сильная мотивация уклониться от явки в суд.

— Но это же абсурд!

— Конечно, но они собираются поступить именно так, и вам надлежит при этом присутствовать.

До Шермана постепенно начал доходить ужасный смысл сказанного.

— Сколько они запросят?

— Берни не знает, но, видимо, много. Полмиллиона. По меньшей мере четверть миллиона. Какую-нибудь совершенно дикую сумму. Это все Вейсс — накручивает заголовки, накручивает голоса черных избирателей.

— Но... они и вправду могут установить такой высокий залог?

— Зависит от судьи. Председательствовать будет Ковицкий — он у них еще и главный по надзору за большим жюри. Ковицкий — крепкий орешек. С ним у вас хотя бы какой-то шанс есть.

— Но если они повысят залог — сколько мне дадут времени, чтобы собрать деньги?

— Времени? Да как соберете, так и выпустят.

— *Выпустят?* — Ужасная догадка.— Что значит *выпустят?*

— Выпустят из-под стражи.

— Но зачем меня нужно *брать* под стражу?

— Ну, с момента, когда установлен новый залог, вы под стражей до тех пор, пока он не внесен, если вы не внесете его немедленно.

— Минуточку, Томми. Уж не хотите ли вы сказать, что если мне завтра утром повысят залог, меня возьмут под стражу сразу же, как только утвердят новую сумму?

— Ну да. Но вы не спешите с выводами.

— То есть меня возьмут прямо там, в зале суда?

— Да, *если*... да вы не...

— Возьмут и поместят — куда?

— Ну, в следственный изолятор в Бронксе, по-видимому. Но дело в том, что...

Шерман сидел и тряс головой... Ощущение у него было такое, будто воспалились мозговые оболочки.

— Это выше моих сил, Томми.

— Зачем же сразу предполагать худшее! Мы еще многое можем сделать.

Шерман, продолжая трясти головой:

— Никаким способом я не могу за нынешний вечер собрать полмиллиона и сложить в мешок.

— Я же ни о чем подобном не говорю. Что вы, в самом-то деле! Там же все-таки будет *слушание*. Судья должен будет *выслушать* аргументы сторон. У нас есть сильные доводы.

— Да, конечно,— отозвался Шерман.— Но вы ведь сами говорили, что это политический футбол.— Он сидел, понурившись, и мотал головой.— Боже мой, Томми, это выше моих сил.

Рэй Андриутти наворачивал сосиски, запивая их кофейной бурдой, а Джимми Коуфи, говоря с кем-то по телефону об очередной бодяге, в которой ему предстояло разбираться, вздымал кверху огромный надкушенный бутерброд с ростбифом и размахивал им как дирижерской палочкой. Крамер голода не чувствовал. Он внимательно читал статью в «Сити лайт». Статья его захватила. Подумать только: любовное гнездышко с контролируемой квартплатой — 331 доллар в месяц. Это разоблачение на самом деле ни в ту, ни в другую сторону на ход дела не влияло. Мария Раскин, конечно, уже не выглядит той трогательной милашкой, которая всех покорила на заседании большого жюри, но полезным свидетелем она все равно остается. И когда она исполнит свой *«шумановский»* дуэт с Роландом Обэрном, Крамер в два счета упрячет этого Шермана Мак-Коя в кутузку. Любовное гнездышко, контролируемая квартплата, 331 доллар в месяц. А что если взять да позвонить мистеру Хиллигу Уинтеру? Почему бы и нет? В любом случае его следует допросить... проверить, вдруг он сообщит какие-либо дополнительные подробности об отношениях Марии Раскин и Шермана Мак-Коя в связи... в связи с любовным гнездышком с контролируемой квартплатой 331 доллар в месяц.

Шерман вышел из гостиной в холл, прислушиваясь к звуку собственных шагов по торжественному зеленому мрамору. Затем он повернул и, так же вслушиваясь, пошел в библиотеку. Только одна лампа — около кресла в библиотеке — оставалась еще не включенной. Теперь он включил и ее. Вся квартира, оба этажа, сияла огнями и пульсировала тишиной. Сердце панически колотилось. Под стражу... Завтра они опять засадят его — *туда*. Хотелось крикнуть, позвать кого-то, но во всей огромной квартире не было никого, кто бы его услышал; да и вне квартиры тоже.

Он подумал о ноже. Рассуждая отвлеченно, это инструмент стальной надежности — длинный кухонный нож. Но затем он попытался представить себе его в действии. Куда он его воткнет? Сможет ли выдержать? Вдруг только напустит кровищи и этим все ограничится? Выброситься из окна. Сколько отсюда лететь до мостовой? Секунды... нескончаемые секунды... лететь и думать — о чем? О том, как это повлияет на Кэмпбелл, о том, что он избрал выход, к которому прибегают трусы? И потом — насколько это у него всерьез? Или он нарочно предается суеверным измышлениям — мол, вообразив худшее, он сможет выдержать то,

что произойдет, когда его снова бросят... снова *туда?* Нет, он этого не выдержит.

Он снял трубку и опять набрал номер в Саутгемптоне. Гудки; весь вечер там никто не отвечает, несмотря на то, что, по словам матери, Джуди с Кэмпбелл, Бонитой, мисс Лайонс и таксой выехали из дома на Семьдесят третьей улице Ист-Сайда в Саутгемптон еще до полудня. Видела ли мать статью в газете? Да. Видела ли ее Джуди? Да. Мать даже не смогла себя заставить что-либо сказать по этому поводу. Что скажешь о подобной мерзости? А Джуди каково? Она вообще не поехала в Саутгемптон! Решила исчезнуть, взяв с собой Кэмпбелл... на Средний Запад... назад в Висконсин... Вспышка памяти: унылые равнины, лишь изредка оживляемые модернистскими грибами алюминиевых серебристых водонапорных башен да рощицами чахлых деревьев... Вздох... Что ж, там Кэмпбелл будет лучше, чем в Нью-Йорке, где все напоминало бы об опозоренном отце, которого на самом деле уже нет на свете... об отце, у которого отсечено все, чем определяется человеческая личность, кроме имени, превратившегося в кличку карикатурного злодея, над которым газеты, телевидение, да и вообще любые клеветники вольны издеваться как им заблагорассудится... Он совсем сдался и тонул, тонул, тонул в бесчестье и жалости к себе... но тут, примерно на двенадцатом гудке, трубку подняли.

— Алло?

— Джуди?

Пауза.

— Я так и думала, что это ты,— произнес голос Джуди.

— Ты, конечно, видела статью,— сказал Шерман.

— Да.

— Понимаешь, я...

— Если не хочешь, чтобы я повесила трубку сразу, не начинай об этом. Даже не пытайся.

Он замялся.

— Как Кэмпбелл?

— Нормально.

— Насколько она в курсе?

— Она понимает, что что-то случилось. Какая-то неприятность. Не думаю, что она знает, какая. По счастью, в школе уже нет занятий, но и без того будет довольно скверно.

— Дай я объясню...

— Не надо. Я не хочу слушать твоих объяснений. Прости, Шерман, но ты уже достаточно поиздевался над моим здравым смыслом. Хватит.

— Хорошо, но я должен, по крайней мере, сообщить тебе, что на повестке дня. Завтра меня снова возьмут под стражу. Обратно в тюрьму.

Тихо:

— Зачем?

Зачем? Какая разница — зачем! Я взываю к тебе — поддержи меня! Но у меня уже нет на это права! Поэтому Шерман просто объяснил ей насчет повышения суммы залога.

— Понятно,— сказала она.

Он подождал, но это было все.

— Джуди, я просто не знаю, смогу ли я.

— В каком смысле?

— Это и в первый раз было ужасно, при том, что я сидел всего несколько часов во временном вольере. А теперь я попаду в следственный изолятор в Бронксе.

— Но это пока не внесешь залог.

— Да я не знаю, как и один-то день там выдержу, Джуди. После всей этой шумихи там будет полно людей... у которых на меня зуб... Я хочу сказать — даже если они не знают, кто ты такой, и то паршиво. Представляешь, каково будет...— Он не договорил. Хотелось взмолиться: *пожалей!* Но он потерял такое право.

Боль в его голосе она уловила.

— Не знаю, что тебе сказать, Шерман. Если бы я могла быть с тобой, я бы как-то тебя поддержала. Но ты все время выбиваешь почву у меня из-под ног. У нас ведь уже был точно такой же разговор. Что у меня для тебя осталось? Я просто... сочувствую тебе, Шерман. Не знаю, что еще сказать.

— Джуди?

— Да.

— Скажи Кэмпбелл, что я ее очень люблю. Скажи ей... Скажи, чтобы вспоминала отца таким, каким он был до того, как все это произошло. Скажи ей, все это так действует, что прежним уже никогда не станешь.

Ему отчаянно хотелось, чтобы Джуди спросила его, что он имеет в виду. Выкажи она хоть малейший интерес, он излил бы ей душу.

Но она только сказала:

— Я уверена, Кэмпбелл всегда будет любить тебя, что бы ни случилось.

— Джуди?

— Да.

— Помнишь, как я прощался, уходя на работу, когда мы жили в Гринич-Виллидже?

— Как ты прощался?

— Когда я только начал работать в «Пирс-и-Пирсе»? Помнишь, я, выходя из квартиры, поднимал кверху левый кулак — вроде как салют «Черного движения»?

— А, да, помню.

— А помнишь, что это должно было значить?

— Кажется, да.

— Это значило, что да, я буду работать на Уолл-стрит, но сердцем и душой я всегда буду чужд банковскому миру. Я его использую, но потом восстану и порву с ним. Помнишь все это?

Джуди не ответила.

— Я понимаю, получилось не совсем так,— продолжил он,— но я помню, какое это было прекрасное чувство. А ты помнишь?

Опять молчание.

— Ну вот я и порвал с банковским миром. Или он — со мной. Я понимаю, это не одно и то же, но каким-то странным образом я чувствую освобождение.— Он умолк, надеясь дождаться от нее какой-нибудь реакции.

Наконец голос Джуди произнес:

— Шерман?

— Да?

— Это лишь воспоминания, Шерман, этого больше нет.— Ее голос дрогнул.— Да и воспоминания о тех временах уже растоптаны. Я знаю, ты хочешь, чтобы я совсем не это тебе сказала, но меня предали, меня унизили. Мне бы очень хотелось быть для тебя тем, чем я была в те давние времена, хотелось бы помочь тебе, но я просто не могу.— (Слышно, что она еле сдерживает слезы.)

— Если бы ты хоть простила меня... дала бы мне один, последний шанс...

— Ты уже об этом меня просил, Шерман. Ладно, я тебя прощаю. И снова спрашиваю: что это меняет? — Она тихо плакала.

Ответить ему было нечего, и разговор кончился.

После этого он сидел в блещущей множеством огней тишине библиотеки. Откинулся во вращающемся рабочем кресле. Сафьян цвета «бычья кровь», 1100 долларов только за обивку спинки и сиденья одного этого кресла. Дверь библиотеки была открыта. Он выглянул в холл. Там на мраморном полу увидел экстравагантно выгнутые ножки одного из кресел работы Томаса Хоупа. И ведь не какая-нибудь там имитация, а оригинал, настоящее красное дерево. Красное дерево! Как по-детски ра-

довалась Джуди, когда нашла эти настоящие, красного дерева, кресла самого Томаса Хоупа!

Зазвонил телефон. Это она — перезвонила! Он моментально схватил трубку.

— Алло?

— О! Шерман! — Сердце упало. То был Киллиан.— Хорошо бы вы сейчас снова ко мне заехали. Хочу вам кое-что показать.

— Вы все еще на работе?

— Да, и Куигли тоже здесь. Нам надо кое-что показать вам.

— А что такое?

— Ну — не по телефону. Приезжайте, ладно?

— Ладно... Сейчас выхожу.

Все равно он не очень-то представлял себе, как выдержит в этой квартире еще хотя бы минуту.

В подъезде старого здания на Рид-стрит ночной сторож — то ли киприот, то ли армянин — слушал огромный транзисторный приемник — передавали музыку в стиле «кантри». Шерману пришлось остановиться и вписать в журнал свое имя и время посещения. Сторож, отчаянно коверкая слова, подтягивал припев:

«Нос не вешаю, с улыбкой
Вдаль гляжу, хоть столько зла там...»

А выходило у него так:

«Нас не вешай, Юсу лыбкий.
Вдаль, к ежу, хоть сталь козла там...»

Шерман поднялся в лифте, прошел по обшарпанному пустому коридору и остановился перед дверью, пластмассовая табличка рядом с которой гласила: «ДЕРШКИН, БЕЛЛАВИТА, ФИШБЕЙН и ШЛОССЕЛЬ». Мелькнула мысль об отце. Дверь была заперта. Он постучал, и через пять или десять секунд Эд Куигли отворил ему.

— Ооооо! Заходите! — заулыбался Куигли. Его лицо сияло. То есть буквально светилось. Внезапно он превратился в закадычнейшего приятеля Шермана. Еле сдерживая распиравший его радостный хохоток, повел Шермана к кабинету Киллиана.

Киллиан встретил их стоя, улыбаясь, как кот, который только что съел канарейку. На столе стоял большой магнитофон — явно из неких более возвышенных кругов царства электроники.

— Привет, привет! — сказал Киллиан.— Садитесь. И приготовьтесь. Вы не поверите своим ушам.

Шерман сел боком к столу.

— А что такое?

— Вот вы мне это сейчас и скажете,— отозвался Киллиан.

Куигли стоял рядом с Киллианом, неотрывно глядя на магнитофон и нервно переминаясь, как школьник, вызванный на сцену за похвальной грамотой.

— Мне не хотелось бы чересчур вас обнадеживать,— продолжал Киллиан,— потому что тут еще возникает парочка серьезнейших проблем, но послушать вам будет интересно.

Он нажал что-то на магнитофоне, и послышалось басовитое гудение «фона». Потом мужской голос:

«Я знал с самого начала. Надо было сразу же заявить». Голос он в первую секунду не узнал. Потом понял: *это же его голос!* А голос продолжал: «Просто не верится, что я... что мы попали в такое положение».

Затем женский голос: «Поздно теперь, Шерман.— *Шууман.*— Дело прошлое».

Та сцена — страх, напряжение, вся атмосфера — вновь ожила, разлившись по нервной системе Шермана... Как они сидели в ее тайной

квартирке вечером того дня, когда в «Сити лайт» появилась первая статья о Генри Лэмбе: «МАТЬ ОТЛИЧНИКА УЧЕБЫ: СОВЕРШЕН НАЕЗД И БЕГСТВО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, А ПОЛИЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ»... Заголовок разложенной на дубовом столе газеты словно стоял у него перед глазами...

Его голос: «...просто рассказать, что было на самом деле».

Ее голос: «Конечно... Нас остановили два пацана, пытались ограбить, но ты бросил в одного шину, а я села за руль и рванула, как... рокер какой-нибудь, вот только не заметила, что сбила человека».

«Но ведь так оно и было, Мария».

«Было, да кто поверит?..»

Шерман глянул на Киллиана. Киллиан смотрел с напряженной полуулыбкой. Поднял руку, дескать, подождите говорить, послушайте дальше. Куигли не спускал глаз с магического аппарата. Изо всех сил сжимал губы, которые сами собой расплывались в широкую ухмылку.

Вскоре пришел великан: «*Вы* здесь проживаете?»

Голос Шермана: «Вам же сказано, у нас нет времени».

Тон ужасно высокомерный и раздраженный. Вновь Шерман пережил унижение той минуты, ужасное чувство, что сейчас ему придется вступить в некий мужской поединок, весьма вероятно, даже схватиться врукопашную, и выйти победителем он заведомо не сможет.

«*Вы* не проживаете, *она* не проживает. Что же вы тут делаете?»

Раздраженный сноб: «Это вас не касается! А теперь будьте добры, убирайтесь!»

«Вы тут лицо постороннее. Так? Дело серьезное».

Затем голос Марии... перебранка... страшный треск, стул разваливается, и великан падает на пол... его позорное бегство... заливистый хохот Марии...

Наконец ее голос: «Жермена платит всего триста тридцать один доллар в месяц, а с меня берет семьсот пятьдесят. Этот дом с пониженной квартплатой... Они бы рады ее схватить за руку и выставить отсюда».

Вскоре голоса стихли... и Шерман вспомнил, заново *прочувствовал* те судорожные объятия в постели...

Когда лента кончилась, Шерман сказал:

— Боже мой, это поразительно. Откуда это у вас?

Глядя на Шермана, Киллиан показал пальцем на Куигли. Шерман повернулся к Куигли. А тот как раз этого момента и ждал.

— Как только вы сказали мне, где она говорила вам про эти фокусы с квартплатой, я понял. С ходу понял. Они же психи. И не один Хиллиг Уинтер. Запись там включается с голоса. Ну, я сразу и кинулся. У этого типа микрофоны спрятаны в каждой квартире в коробках переговорного устройства. А магнитофон внизу, в подвале, в запертом шкафу.

Шерман недоуменно смотрел на непривычно сияющее лицо Куигли.

— Но зачем ему вся эта морока?

— Чтобы выкидывать съемщиков! — радостно пояснил Куигли.— В таких домах с контролируемой квартплатой половина народу живет нелегально. Половина подснимает, вот как ваша приятельница. Но доказать это в суде — поди попробуй. И вот этот маньяк записывает все разговоры в доме на пленку. Запись включается, как только раздается голос. Поверьте мне, не один он такой.

— Но... это ведь незаконно?

— Незаконно!— с огромным удовольствием повторил Куигли.— Это настолько незаконно, что даже не смешно! Это настолько, блядь, незаконно, что, если бы он вот прямо сейчас вошел в дверь, я бы ему сказал: «Привет, я забрал твою хренову пленку. Что скажешь?» А он ответил бы: «Не понимаю, о чем речь»,— и тихо-мирно удалился бы. Я ж говорю вам: они совершенно *шизанутые,* эти маньяки.

— И вы пошли и забрали ее? Как же вы туда пробрались-то, вообще?

Невероятно довольный собой, Куигли пожал плечами.

— Тоже мне, большое дело.

Шерман взглянул на Киллиана.

— Господи... так может быть... если это на пленке, то может быть... Сразу после того, как это случилось, мы с Марией приехали на эту квартиру и все обсудили в деталях. Если это на пленке — вот было бы... грандиозно!

— Этого нет,— сказал Куигли.— Я прослушал километры пленки. Таких давних разговоров там нет. Наверное, он время от времени записывает новые поверх старых, чтобы не тратиться на новую пленку.

Воспрянув духом, Шерман сказал Киллиану:

— Что ж, может быть, и этого достаточно!

— Между прочим,— присовокупил Куигли,— вы не единственный визитер, кого она у себя там принимает.

Киллиан прервал его:

— Ладно, ладно, это в данный момент представляет разве что исторический интерес. Тут, Шерман, дело обстоит вот как. Мне не хотелось бы вселять в вас чересчур радужные надежды. У нас две серьезные проблемы. Во-первых, Мария напрямую не говорит, что парня сбила она, а не вы. Она лишь косвенно это подтверждает. Половину ее высказываний можно трактовать так, что она, похоже, подтверждает то, что говорите вы. Ничего, это тоже хорошее оружие. За глаза хватит, чтобы посеять у присяжных сомнения. Она определенно подтверждает вашу версию о том, что имела место попытка ограбления. Но есть и другая проблема, и, честно говоря, я понятия не имею, как ее решить. Дело в том, что эту пленку нельзя использовать как вещественное доказательство.

— Да? Но почему же?

— Как сказал Эд, это совершенно незаконная пленка. Шизанутый Уинтер мог сесть за нее в тюрьму. О том, чтобы использовать тайно и незаконно произведенную запись разговора как доказательство в суде, не может быть и речи.

— Но тогда зачем вы посылали к ней с магнитофоном меня? Тоже тайно произведенная запись. Как же вы ее-то собирались использовать?

— Она тайная, но законная. У вас есть право записывать ваши собственные разговоры, хоть тайно, хоть явно. Но если это чей-то чужой разговор, такую запись закон запрещает. Если бы этот псих Уинтер записывал свои собственные разговоры, тогда пожалуйста.

Шерман уставился на Киллиана с открытым ртом: все его едва народившиеся надежды рухнули.

— Но это *несправедливо!* Это же... доказательство крайней *важности*! Не могут же они из-за какой-то формальности не принять во внимание такое важное свидетельство!

— Да? Так вот знайте: могут. И именно так они и сделают. А нам надо подумать о том, как бы с помощью этой пленки выудить у кого-нибудь законные показания. Ну, к примеру, найти способ заставить эту вашу приятельницу Марию во всем сознаться. Ценные мысли имеются?

На секунду Шерман задумался. Потом вздохнул и уставился в пространство. Абсурд какой-то.

— Да вы ее и прослушать эту чертову дребедень не заставите.

Киллиан поглядел на Куигли. Куигли покачал головой. Все трое умолкли.

— Погодите-ка,— произнес Шерман.—Дайте взглянуть на пленку.

— Взглянуть? — переспросил Киллиан.

— Ну да. Дайте ее мне.

— Вынуть из магнитофона?

— Да.— Шерман протянул руку.

Куигли перемотал кассету и осторожно, словно это тончайшей работы стеклянная статуэтка, вынул из аппарата. Подал Шерману.

Шерман взял ее обеими руками и принялся разглядывать.

— Будь я проклят,— наконец проговорил он, подняв взгляд на Киллиана.— Она моя.

— Что значит ваша?

— Моя кассета. Я ее записывал.

Киллиан оторопело посмотрел на него, как бы пытаясь понять шутку.

— Что значит — вы ее записывали?

— А то, что в тот вечер я сам зарядил себя аппаратурой — из-за статьи, которая только что вышла в «Сити лайт». Я подумал, нужно запастись подтверждением того, как все было в действительности. То, что мы прослушали,— это пленка, которую я записал в тот вечер. Моя пленка.

У Киллиана отвисла челюсть.

— То есть как это?

— А так. Я сам записал эту кассету. Кто скажет, что это не так? Кассета у меня. Верно? Вот она. Я пожелал иметь точную запись своего собственного разговора. Скажите мне, советник, такую пленку закон допускает в качестве вещественного доказательства?

Киллиан поглядел на Куигли.

— Господи, бога душу мать! — Потом поглядел на Шермана.— Давайте тогда поставим точки над i, мистер Мак-Кой. Вы говорите мне, что сами зарядились аппаратурой и записали на эту пленку ваш разговор с миссис Раскин?

— Именно. Закон это позволяет?

Киллиан поглядел на Куигли, улыбнулся и снова перевел взгляд на Шермана.

— Разумеется, мистер Мак-Кой, разумеется. Но вы должны кое-что объяснить мне. Каким, собственно, образом вы делали эту запись? Какой аппаратурой пользовались? Куда ее прилаживали? Раз вы хотите, чтобы суд признал это доказательством, будьте готовы отчитаться во всех своих действиях— что называется, от и до.

— А я бы предпочел, чтобы мистер Куигли *угадал,* как я это сделал. Похоже, он весьма осведомлен в этой области. Хотелось бы послушать, как он будет *угадывать.*

Куигли бросил взгляд на Киллиана.

— Давай, Эд,— распорядился Киллиан,— угадывай.

— Ну,— начал Куигли,— сперва я на вашем месте приобрел бы диктофон «Награ-2600», у которого запуск с голоса, потом бы я...— и он в мельчайших подробностях описал, как он этим чудесным аппаратиком себя зарядит и добьется наилучшего качества записи.

Когда он закончил, Шерман сказал:

— Мистер Куигли, вы и впрямь большой специалист в этой области. И знаете, почему я говорю это? Потому что именно так я и действовал. В точности, шаг за шагом.— Поглядел на Киллиана.— Ну вот. Что скажете?

— Что скажу? — медленно повторил Киллиан.— Скажу, что вы меня прямо огорошили. Даже не думал, что вы на такое способны.

— Я тоже не думал,— махнул рукой Шерман.— Но в последние несколько дней я начал прозревать. Я уже не Шерман Мак-Кой. А кто-то совсем иной, у кого и имени-то человеческого нет. Я стал другим в тот день, когда меня арестовали. В тот день я почувствовал... почувствовал, что в корне что-то изменилось, но сперва не понял что. Сперва я думал, что я все тот же Шерман Мак-Кой — Шерман Мак-Кой, который просто-напросто переживает очень черную полосу́ в своей жизни. Но за последние дни я, наконец, уяснил: я — другой человек. Во мне нет ничего ни от Уолл-стрит, ни от Парк авеню, ни от Йейла, Святого Павла и Бакли, ни даже от Льва «Даннинг-Спонджета».

— Какого такого льва? —удивился Киллиан.

— Я так всегда мысленно называл отца. Правитель, аристократ. Он, может, и в самом деле таков, но я-то к нему больше отношения не имею.

Я не тот, за кого выходила замуж моя жена, не тот отец, которого знает дочь. Я совершенно другой человек. Человек, существующий здесь, *на дне,* если вас не обидит, что я это так именую. Я вовсе не исключительный клиент для фирмы «Дершкин, Беллавита, Фишбейн и Шлоссель». А самый обычный, рядовой. У каждого животного своя среда обитания, и вот моя как раз здесь. Либо Рид-стрит, либо Сто шестьдесят первая, где вольеры; внушая себе, что я выше этого, я попросту себя обманывал, но теперь я смотрю на все открытыми глазами.

— Да ну, что это вы,— заговорил Киллиан.— Не так еще все и плохо.

— Нет, именно так,— не согласился Шерман.— Но клянусь, мне теперь стало легче. Понимаете, это как с собакой, когда из домашней собаченции, которую ласкали и баловали всю жизнь, делают злого сторожевого пса.

— Слыхал об этом,— проронил Киллиан.

— Ну, стало быть, принцип вам ясен,— сказал Шерман.— Характер собаке меняют не лакомствами и не таблетками. Ее привязывают, ее бьют, дразнят, издеваются и снова бьют, пока она при первом же звуке не начнет кидаться с оскаленными клыками, готовая разорвать глотку любому.

— Верно,— подтвердил Куигли.

— Но и в такой ситуации собаки оказываются умнее, чем люди,— продолжал Шерман.— Пес раньше усваивает, что он больше не любимец семьи, не красавчик на грандиозной собачьей выставке. Пес схватывает все на лету. Он чувствует, когда пришло время стать зверем и броситься в бой.

31

В СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

На этот раз день был погожий — чудесный тихий июньский денек. Воздух был так светел, что казался чистым и освежающим — даже здесь, в Бронксе. Короче — прекрасный день; для Шермана же он был ужасен. Он воспринял это как личную обиду. Какое бессердечие! Как могли Природа, Судьба, Бог сотворить такое благостное обрамление для его несчастья! Бессердечие со всех сторон. У него даже кишки спазматически сжались от страха.

Шерман сидел в «бьюике» сзади, рядом с Киллианом. Спереди сидел Эд Куигли, рядом с шофером, у которого была темная кожа, густые прямые черные волосы и тонкие, изысканные, почти красивые черты лица. Азиат какой-нибудь? Они съехали по пандусу со скоростной трассы сразу за стадионом «Янки», проехали рекламный щит с надписью «Команда «ЯНКИ» против команды КАНЗАС-СИТИ. Начало в 19.00». Какое бессердечие! Десятки тысяч народу соберутся здесь сегодня, что бы с ним ни произошло,— будут два часа пить пиво и смотреть, как летает и скачет белый мяч, а он будет *там,* во тьме невообразимой. *И начнется.* Глупцы! что они знают о жизни! Десятки тысяч соберутся на стадионе «Янки» смотреть игру, игрушечную войну, тогда как он будет на войне *настоящей.* И начнется... безудержное физическое насилие...

«Бьюик» уже взбирается по длинному склону холма к Сто шестьдесят первой улице. Ехать осталось всего ничего.

— Сегодня нам в другое здание,— сказал Киллиан.— Вон в то, на холме, справа.

Шерман увидел огромное белокаменное строение. Оно смотрелось очень внушительно в конце подъема Большой Магистрали, освещенное летним солнцем; солидное и тяжеловесное несказанно. Шерман заметил, как шофер поискал взглядом его глаза в зеркальце заднего обзора, их взгляды неприятно сцепились — и разбежались. Куигли, сидевший рядом с шофером, был в пиджаке и галстуке, которые явно его стесняли.

Твидовый пиджак цвета протухающего мяса навис хомутом над рябой шеей детектива. Больше всего Куигли напоминал хулигана, которого так и подмывает скинуть пиджак, галстук и пустить в ход кулаки — насажать всем подряд синяков, а не то всласть поизмываться над ошалевшим от страха слабаком, который не способен достойно принять вызов.

Когда машина въехала на холм, Шерману открылась толпа, запрудившая улицу перед входом в белокаменное здание. Проезжающие машины едва протискивались.

— Что там такое? —спросил он.

— Похоже, демонстрация,— ответил Куигли.

— Де-мон-стррра-сиа? Ха-ха-ха-ха,— сказал шофер. У него оказался певучий акцент и манера нервозно посмеиваться.— В честь чего? Ха-ха-ха-ха.

— В честь нас,— сказал Куигли мертвым голосом.

Шофер глянул на Куигли.

— В честь ва-а-с? Ха-ха-ха-ха.

— Знаешь, что за джентльмен сидит у тебя в машине? Про мистера Мак-Коя слышал? — Куигли мотнул головой в направлении заднего сиденья.

В зеркальце появились глаза шофера, взгляды опять сцепились.

— Ха-ха-ха-ха,— отозвался шофер и умолк.

— Ты не волнуйся,— сказал Куигли.— В эпицентре беспорядков безопаснее, чем на периферии. Это известный факт.

Шофер снова глянул на Куигли и произнес свое «ха-ха-ха-ха». После этого он притих, очевидно, прикидывая, кого больше бояться — демонстрантов, к которым приближалась машина, или преступника, сидящего сзади, всего в нескольких дюймах от его пока еще не свернутой шеи. Он опять поймал в зеркальце взгляд Шермана, ухнул в разверстую полость и выскочил прочь с вытаращенными от ужаса глазами.

— Ничего не будет,— сказал Шерману Киллиан.— Там посты полиции. Не дадут им разгуляться. Кстати, каждый раз одна и та же компашка: Бэкон и его люди. Вы что, думаете, в Бронксе кому-нибудь до вас есть дело? Не льстите себе. Это все одна и та же компашка выкидывает одни и те же номера. Чистой воды шоу. Вы только не открывайте рта и не смотрите по сторонам. На сей раз у нас для них сюрприз.

Свернув на Уолтон авеню, автомобиль нырнул в толпу. Толпа смыкалась вокруг всего цоколя огромного здания на вершине холма. До Шермана донесся голос, усиленный громкоговорителем. Послушная этому голосу, толпа поднимала скандеж. Человек, орущий в микрофон, похоже, стоял на крыльце, ступени которого выходили на Сто шестьдесят первую улицу. Над морем голов там и сям торчали камеры съемочных групп.

— Мне ка-а-к — остановить? Ха-ха-ха-ха.

— Езжай, езжай,— сказал Куигли.— Я скажу, когда остановиться.

— Ха-ха-ха-ха.

Киллиан — Шерману:

— Войдем через боковой.— Затем водителю: — А сейчас направо.

— Ну и нарооодищу! Ха-ха-ха-ха.

— Во-во, здесь направо,— распоряжался Куигли,— а насчет этих не беспокойся.

— Пригнитесь,— сказал Шерману Киллиан.— Шнурок поправьте или там еще что-нибудь.

Машина поехала вдоль нижней стороны огромного белокаменного здания. Но Шерман сидел прямо, не сгибаясь. Ничто теперь не имело значения. *Когда же начнется?* Взгляду предстали сине-оранжевые фургоны с решетками на окнах. Толпа на тротуаре не умещалась, выплескивалась на мостовую. Все лица были повернуты в сторону входа со Сто шестьдесят первой улицы. Голос из громкоговорителя горячил толпу, стоящие на ступеньках крыльца начинали скандеж.

— Чуть влево,— скомандовал Киллиан.— Вот сюда. Вон ту красную фишку видите? Вот тут.

Автомобиль свернул под девяносто градусов к поребрику у стены здания. Человек в форме, напоминающей полицейскую, поднял с середины парковочной площадки коническую пластиковую фишку. Куигли прижал левой рукой к лобовому стеклу какую-то карточку — видимо, чтобы ее заметил полицейский. На тротуаре стояли еще четверо или пятеро полицейских. На них были белые рубашки с короткими рукавами, на бедре у каждого по огромному револьверу.

— Когда я открою дверцу,— инструктировал Киллиан,— становитесь между мной и Эдом, и вперед.

Они вылезли. Куигли был от Шермана справа, Киллиан слева. Люди на тротуаре глазели на них, но никто, похоже, не знал, кто они. Трое полицейских в белых рубашках отделили толпу от Шермана, Куигли и Киллиана. Киллиан ухватил Шермана за локоть и повел к двери. Куигли тащил тяжелый чемоданчик. Полицейский в белой рубашке встал в дверях, потом отступил в сторону, пропуская их в вестибюль, освещенный тусклыми флюоресцентными лампами. Справа была дверь в какое-то, вероятно, служебное помещение. Взгляд Шермана различал черные и серые силуэты людей, сидящих на скамьях.

— Спасибо им, демонстрацию на том крыльце устроили,— сказал Киллиан. Его голос был резким и напряженным. Двое сержантов проводили их к лифту, еще один распахнул дверцу.

Вошли в лифт, сержант шагнул за ними следом. Он нажал кнопку девятого этажа; поехали вверх.

— Спасибо, Брюси,— сказал сержанту Киллиан.

— Не за что. А вот Берни можете поблагодарить.

Киллиан глянул на Шермана, дескать, что я говорил?

На девятом этаже у дверей комнаты, помеченной табличкой «Секция № 60», в коридоре толпились и шумели люди. Полицейские пристава цепью теснили их в сторону.

— Эй!.. Вон он!

Шерман смотрел прямо перед собой. *Когда же начнется?* Вдруг перед ним возник человек — белый, высокий блондин с глубокими залысинами по обеим сторонам лба. На нем был темно-синий блейзер и галстук в тон, рубашка с полосатым передом и белым жестким воротничком. Тот самый репортер, Фэллоу. Последний раз Шерман видел его у Центрального распределителя... перед тем как войти *туда...*

— Мистер Мак-Кой! — *Тот самый голос.*

Находясь между Киллианом с одной стороны, Куигли с другой и позади сержанта Брюси, прокладывающего дорогу, Шерман чувствовал себя словно в составе летящей эскадрильи. Они смели с пути англичанина и вошли в дверь. Зал суда. Слева толпа... места для зрителей... черные лица... нет, вот несколько белых... В одном из передних рядов высокий негр с золотой серьгой в ухе. Он привстал и, тонкой длинной рукой указав на Шермана, произнес басовитым, нутряным полушепотом:

— Это он! — Потом громче: — Не под залог, а под замок!

Откликнулся низкий женский голос:

— За решетку!

Го-го-го-го!.. Это он!.. Гляньте на него!.. Под замок! Не под залог! Уже? Нет, пока нет. За локоть его держал Киллиан, шепча на ухо:

— Игнорируйте!

Вопль резким фальцетом:

— Шерррр-маааннннн... Шеррр-маааннннн!

— МОЛЧАТЬ! ВСЕМ СЕСТЬ!

Такого зычного голоса Шерману еще не доводилось слышать. Сперва он подумал, это относится к нему. Почувствовал себя ужасно виноватым, хотя и не произнес ни звука.

— ЕЩЕ ОДИН ВЫКРИК — И Я ВСЕХ УДАЛЮ ИЗ ЗАЛА. Я ПОНЯТНО ВЫРАЖАЮСЬ?

На судейском помосте под надписью «НА ГОСПОДА УПОВАЕМ» стоял тощий человек с ястребиным носом, лысый, в черной мантии; он опирался кулаками выпрямленных рук о крышку стола, словно бегун, готовый рвануть вперед со старта. Он обвел публику свирепым взглядом — Шерману были видны бешеные белки его глаз. Демонстранты возроптали, но затихли.

Судья — это был Майрон Ковицкий — продолжал смотреть на публику испепеляющим взором.

— В этом зале говорят тогда, когда велит суд. Свои суждения о согражданах высказывают те, кто избран в состав присяжных, и тогда, когда об этом их просит суд. Вы встаете и докладываете ваше частное мнение, когда суд предлагает вам встать и доложить. А до тех пор — ВСЕМ СИДЕТЬ И МОЛЧАТЬ! ЗДЕСЬ СУД... А СУД — ЭТО Я! Я ПОНЯТНО ВЫРАЖАЮСЬ? Если среди вас есть такие, кто со мной не согласен и хотел бы выразить суду свое неуважение, то им я могу предложить провести некоторое время в качестве гостей штата Нью-Йорк и на досуге поразмыслить над моими словами. Я — ПОНЯТНО — ВЫРАЖАЮСЬ?

Он прошелся глазами по рядам слева направо, потом справа налево и опять слева направо.

— Хорошо. Теперь, когда вы все поняли, надеюсь, вы сможете наблюдать происходящее как ответственные члены общества. Пока вы таковыми остаетесь — пожалуйста, наблюдайте, зрительские места в вашем распоряжении. Как только выйдете за рамки — вы пожалеете, что встали сегодня с постелей! Я — ПОНЯТНО — ВЫРАЖАЮСЬ?

Его голос опять достиг такой силы и так внезапно, что публика словно бы отпрянула, страшась вновь навлечь на себя гнев этого низкорослого яростного человека.

Ковицкий сел и расставил руки. Мантия его распахнулась как два крыла. Наклонил голову. Под зрачками все еще виднелись белки. Стало тихо. Шерман, Киллиан и Куигли стояли у барьера, отделявшего зрительскую аудиторию от места, предназначенного собственно суду. Ковицкий остановил взгляд на Шермане с Киллианом. Похоже, он и на них гневался. Выдохнул как бы с отвращением.

Затем он повернулся к секретарю, сидевшему за большим столом сбоку. Посмотрев в ту же сторону, Шерман увидел стоящего рядом с этим столом Крамера, помощника окружного прокурора.

— Объявите дело,— велел Ковицкий секретарю.

Секретарь зачитал:

— «Вердикт о привлечении к уголовной ответственности за номером четыре-семь-два-шесть: народ против Шермана Мак-Коя». Кто представляет Шермана Мак-Коя?

— Я,— произнес Киллиан, шагнув к барьеру.

— Сообщите сведения о себе,— сказал секретарь.

— Томас Киллиан, Рид-стрит, 86.

— Мистер Крамер,— сказал Ковицкий,— вам нужно в данный момент что-либо заявить?

Помощник прокурора, этот самый Крамер, приблизился на несколько шагов к судейскому помосту. Походка у него была как у футболиста. Остановился, закинул голову, зачем-то напряг шею и заговорил:

— Ваша честь, обвиняемый мистер Мак-Кой выпущен в настоящее время на свободу под залог в десять тысяч долларов, что является суммой совершенно незначительной для человека с его состоянием и положением в финансовом мире.

Го-го-го-го!.. В тюрьму! Под замок!.. Пусть расплачивается!

Ковицкий набычился. Хор голосов развалился, сменился ропотом.

— Как вашей чести известно,— продолжил Крамер,— большое жюри обвиняет его в серьезных преступлениях: в халатности за рулем, в том, что он скрылся с места происшествия, и в том, что не заявил о слу-

чившемся. Теперь, ваша честь, поскольку большое жюри нашло достаточно оснований для обвинения его в пренебрежении нормами человеческого общежития, выразившемся в совершении названных преступных деяний, народ считает, что он способен точно так же пренебречь и залогом, тем более когда его сумма столь невелика.

Го-го... Правильно... Ух-ху-ху...

— Таким образом, ваша честь, народ полагается на суд в том, чтобы послать ясный сигнал, причем не только обвиняемому, но и общественности, сигнал, из которого бы явствовало, что к рассматриваемому факту суд относится со всей возможной серьезностью. В основе дела, ваша честь, лежит судьба юноши по имени Генри Лэмбл, примерного юноши, ставшего для жителей Бронкса символом одновременно и надежд, которые они возлагают на своих сыновей и дочерей, и смертельно опасных препятствий к их осуществлению. Ваша честь, вы уже осведомлены о том неусыпном внимании, с которым общественность следит за продвижением этого дела. Был бы этот зал суда больше, здесь собрались бы сотни, а то и тысячи человек, ведь сейчас люди стоят по всем коридорам и за дверями на улице.

Врежь ему!.. Не под залог, а под замок!.. Правильно!

БАБАХ!

Ковицкий со страшным громом хватил по столу молотком.

— ТИХО!

Гул голосов вновь сник до слабого ропота.

Набычившись, со зрачками, плавающими по штормовой белизне, Ковицкий проворчал:

— Ближе к делу, мистер Крамер. Вы не на митинге. Здесь заседает суд.

По опыту Крамер знал, что означает такой вид Ковицкого. Эти плавающие в пенном море зрачки. Эта опущенная голова. Грозно выставленный клюв. Чуть еще, и судья взорвется. С другой стороны, подумалось Крамеру, отступать нельзя. Нельзя поддаваться. Все-таки своим поведением Ковицкий — при том, что это совершенно обычный, нормальный Ковицкий и не более: как всегда громогласный, как всегда агрессивно утверждающий свою власть,— все-таки своим поведением судья ставит себя в положение противника демонстрантов. Тогда как Окружная прокуратура Бронкса — на их стороне. И Эйб Вейсс — на их стороне. И Ларри Крамер — на их стороне. Сейчас он выступает поистине от имени Народа. Разве не для этого он здесь? Так что с Ковицким придется вступить в бой, и пускай тот сколько угодно сверлит его этими своими глазами защитника Масады.

— Об этом я не забываю, ваша честь,— проговорил он каким-то не своим, надсадным голосом,— но я не должен забывать также и о важности этого дела, об ответственности перед народом, перед всеми Лэмбами, нынешними и будущими жителями нашей страны и нашего города...

Правильно!.. Врежь ему!.. Верно!

— И вот поэтому,— громко продолжил Крамер, торопясь закончить, пока Ковицкий не взорвался,— народ ходатайствует перед судом об увеличении обвиняемому залога до действительно значительной для него суммы — миллиона долларов — с тем, чтобы...

В тюрьму! Под замок!.. В тюрьму! Под замок!.. В тюрьму! Под замок! — хором принялись скандировать демонстранты в зале.

— Правильно!.. Миллион!.. Го-го-го-го!..— взвыл зал. Переливы ликующего хохота. И наконец, дружно, хором:

В тюрьму! Под замок!.. В тюрьму! Под замок!.. В тюрьму! Под замок!.. В тюрьму! Под замок!

Ковицкий высоко занес над головой молоток — Крамер внутренне сжался, ожидая, как он им грохнет.

БАБАХ!

Свирепо покосившись на Крамера, судья подался всем корпусом вперед, повел глазами по рядам.

— ПОРЯДОК В СУДЕ!.. МАААЛЧАТЬ!.. КТО ЗДЕСЬ МЕНЯ НЕ ПОНЯЛ? — Его зрачки метались туда и сюда в пеннокипящем море.

Скандеж прекратился, крики опять перешли в ропот. Однако судя по то и дело раздающимся дробным смешкам, люди просто ждали следующего удобного случая.

— ХОТИТЕ, ЧТОБЫ Я ПРИКАЗАЛ ОЧИСТИТЬ...

— Ваша честь! Ваша честь! — То был голос Киллиана, адвоката Мак-Коя.

— В чем дело, мистер Киллиан?

Неожиданно перебив судью, он озадачил публику. Зал притих.

— Ваша честь, разрешите к вам обратиться?

— Хорошо, мистер Киллиан. Подойдите.— Ковицкий поманил его к себе.— И вы, мистер Крамер! — Крамер тоже подошел к помосту.

И вот он стоит уже рядом с этим Киллианом, разодетым франтом, и на них взирает грозный судья Ковицкий.

— О'кей, мистер Киллиан,— сказал Ковицкий,— что у вас?

— Судья,— начал Киллиан,— если я не ошибаюсь, вы осуществляете надзор за большим жюри в этом деле?

— Совершенно верно,— ответил тот Киллиану, но тут же переключил внимание на Крамера.— У вас нелады со слухом, а, мистер Крамер?

Крамер ничего не ответил. На такие вопросы он отвечать не обязан.

— Вам что — одобрение вот этих вот,— Ковицкий кивнул на зрителей,— в голову ударило?

— Нет, судья, но к данному делу ни в коем случае нельзя подходить как к обычной судебной тяжбе.

— В этом зале, мистер Крамер, к нему будут подходить так, хрен его подери, как я считаю нужным. Я понятно выражаюсь?

— Вы всегда понятно выражаетесь, судья.

Ковицкий смерил его взглядом, явно прикидывая, нет ли в ответе Крамера скрытой дерзости.

— Хорошо, стало быть, вы понимаете, что если вы еще раз допустите в этом зале такое безобразие, вы пожалеете, что знакомы с Майком Ковицким!

Этого Крамер снести ну никак не мог, тем более когда тут же стоит Киллиан, и Крамер огрызнулся:

— Послушайте, судья, я имею полное право...

Ковицкий не дал ему договорить.

— Полное право на что? Устраивать у меня в зале суда предвыборный митинг в пользу Эйба Вейсса? Черта лысого, мистер Крамер! Скажите ему, чтоб снял помещение, созвал пресс-конференцию. Пусть, наконец, на теледебатах выступит. Бога ради.

Крамер от злости онемел. Стоял весь красный. Все же сквозь зубы процедил:

— Это все, судья? — и, не дожидаясь ответа, на каблуках развернулся и пошел прочь.

— Мистер Крамер!

Крамер остановился. Ковицкий сердито поманил его назад.

— У мистера Киллиана какой-то вопрос, как я понимаю. Или вы хотите, чтобы я выслушал его без вас?

Крамер сжал зубы и промолчал.

— Хорошо, мистер Киллиан, говорите.

— Судья,— начал Киллиан,— в моем распоряжении находится важное доказательство, которое не только способно повлиять на решение по ходатайству мистера Крамера о залоге, но и ставит под вопрос обоснованность возбуждения дела.

— Какого рода доказательство?

— У меня есть пленки переговоров между моим клиентом и одним из основных лиц, проходящих по этому делу. Похоже, из них явствует, что большому жюри было предоставлено лжесвидетельство.

Что еще за чертовщина?! Срочно вмешаться!

— Судья,— перебил Киллиана Крамер,— это же чушь! У нас на руках вердикт большого жюри. Если мистеру Киллиану хочется оспорить...

— Подождите, мистер Крамер,— сказал Ковицкий.

— ...если ему хочется оспорить действия большого жюри, он должен следовать установленной процедуре...

— Да подождите же. Мистер Киллиан говорит, что у него есть какое-то доказательство...

— Доказательство! С доказательствами ему надо было выходить на предыдущее слушание, судья! Не может же он вот так вот запросто прийти и ex post facto [1] оспорить решение большого жюри! А вы не можете...

— МИСТЕР КРАМЕР!

Услышав, что судья повысил голос, в зале снова зашевелились, загомонили.

Зрачки в пенном прибое:

— Мистер Крамер, вы знаете, в чем ваша проблема? Вы ни хрена не слушаете, черт вас дери! И ни хрена не слышите!

— Судья!

— МАААЛЧАТЬ! Суд будет слушать мистера Киллиана с его доказательством.

— Судья...

— Мы это сделаем при закрытых дверях.

— При закрытых? Но почему?

— Мистер Киллиан говорит, что у него есть какие-то пленки. И мы их сначала прослушаем при закрытых дверях.

— Погодите, судья...

— Не хочется уходить из зала, да, мистер Крамер? Боитесь остаться без вашей публики?

Кипя от возмущения, Крамер опустил глаза и покачал головой.

Шерман стоял сзади, у барьера. У него за спиной — Куигли с тяжелым чемоданчиком в руке. Но главным образом... за спиной — *они. Когда все начнется?* Шерман не спускал глаз с тех троих, что сошлись у судейского стола. Он просто не смел оглядеться. И тут стали раздаваться голоса откуда-то сзади, зловеще протяжные:

— Последние шаги в твоей жизни, Мак-Кой!

— Последняя вечеря.

Потом тихим фальцетом:

— Последний вздох.

Где-то по обеим сторонам от него — пристава. Они ничего не предпринимают. Господи, да они боятся так же, как я!

Тот же фальцет:

— Э, Мак-Кой, чего ежисся?

Тут съежишься! Остальным, видимо, понравилось. Они принялись пискляво подпевать:

— Шееер-маааан...

— Мак-Кой, Мак-Кой, ежисся на кой?

Хихиканье, смешки.

Шерман неотрывно смотрел на судейский помост — туда, где пребывала единственная надежда. Как бы в ответ на его молчаливую мольбу судья вдруг посмотрел на него и проговорил:

— Мистер Мак-Кой, подойдите, пожалуйста, на минуточку сюда.

Сопровождаемый гомоном и хором писклявых выкриков, пошел за барьер. У помоста успел услышать, как помощник окружного прокурора Крамер говорит:

[1] Исходя из совершившегося позднее *(лат.)*.

— Не понимаю, судья. Зачем вам присутствие обвиняемого?

— Это его ходатайство, его доказательство. Кроме того, я не хочу, чтобы он без толку здесь болтался. Вас это устраивает, мистер Крамер?

Крамер не ответил. Сердито глянул на судью, затем на Шермана.

— Мистер Мак-Кой,— сказал судья,— вы пойдете со мной, мистером Киллианом и мистером Крамером в мои покои.

Затем он три раза громко бахнул своим молотком и провозгласил:

— Суд вместе с обвинителем и защитником удаляется на совещание. В мое отсутствие в этом зале БУДЕТ СОБЛЮДАТЬСЯ ПОРЯДОК. Я понятно выражаюсь?

Зал загудел, заклокотал, но Ковицкий предпочел не обратить на это внимания, встал и сошел по ступенькам с судейского помоста. Секретарь тоже встал и двинулся следом. Мигнув Шерману, Киллиан пошел назад, к зрительской части зала. Судья, его консультант, секретарь и Крамер направились к двери в отделанной деревом стене сбоку от помоста. С тяжелым чемоданчиком в руке вернулся Киллиан. Помедлил, пропуская Шермана вперед вслед за Ковицким. Замыкал процессию толстый пристав, у которого складка жира свешивалась через ремень с кобурой.

За дверью оказалось помещение, совершенно не похожее на то, что можно было ожидать после судебного зала, да самому величественному названию «покои» и не соответствующее. Покоями оказалась единственная комната, единственная и довольно унылая комнатенка. Пустая, грязная, неухоженная, покрашенная казарменной желтоватой краской, которая местами была содрана, а местами отслаивалась, закручиваясь жалкими завитками. Слегка облагораживали ее лишь необычайно высокий потолок да окно восьми или девяти футов высотой, заливавшее помещение светом. Судья уселся за обшарпанный металлический стол. Секретарь устроился за другим. Крамер, Киллиан и Шерман сели в какие-то тяжелые, старинного вида деревянные кресла с закругленными спинками — такие кресла еще называют банкирскими. Консультант и пристав остались стоять, подпирая стенку. Вошел высокий мужчина, принес слоговую пишущую машинку, какими пользуются судебные стенографисты. Надо же, как он хорошо одет! В зеленовато-сером твидовом пиджаке, белой рубашке с пуговками на кончиках воротничка, безупречной, прямо как у Роли, в старинном, ручной вязки, галстуке, черных фланелевых брюках и спортивных полуботинках. Внешне похож на йейльского профессора, имеющего вдобавок к твердому окладу еще и независимый источник дохода.

— Мистер Салливан,— обратился к нему Ковицкий.— Принесите-ка сюда и свой стул.

Мистер Салливан вышел, вернулся с небольшим деревянным стульчиком, сел, поковырялся с машинкой, посмотрел на Ковицкого и кивнул.

Ковицкий сказал:

— Итак, мистер Киллиан, вы утверждаете, что обладаете информацией, имеющей непосредственное и существенное касательство к решению большого жюри по этому делу?

— Да, именно так, судья,— отозвался Киллиан.

— Хорошо,— сказал Ковицкий,— я выслушаю вас, но берегитесь, если ваше ходатайство окажется необоснованным.

— Оно таким не окажется, судья.

— Потому что в таком случае я ваши действия буду рассматривать как очень неприглядные, самые неприглядные, какие я только наблюдал за многие годы работы судьей, то есть действительно весьма неприглядные. Я понятно выражаюсь?

— Безусловно, судья.

— Хорошо. Итак, вы готовы в настоящее время предоставить суду вашу информацию?

— Готов.

— Тогда давайте.

— Три дня назад, судья, мне позвонила по телефону Мария Раскин, вдова мистера Артура Раскина, и выразила желание поговорить с мистером Мак-Коем. Насколько мне известно — и из газет, кстати, тоже,— миссис Раскин давала по этому делу показания перед большим жюри.

Ковицкий — Крамеру:

— Это так?

— Она вчера давала показания,— ответил Крамер.

— И я организовал встречу миссис Раскин и мистера Мак-Коя, на которую мистер Мак-Кой отправился, взяв с собой по моему настоянию скрытый магнитофон, чтобы получить документальную запись предстоящего разговора. Встреча происходила на Семьдесят седьмой улице Ист-Сайда, в квартире, которую миссис Раскин снимает, по-видимому, для... гм... приватных встреч... и запись той встречи на пленку была произведена. Пленка при мне, и я думаю, что суду следует знать о содержании имевшей место беседы.

— Одну минуточку, судья,— вмешался Крамер.— Он что — хочет сказать, что его клиент отправился к миссис Раскин *заряженным* аппаратурой?

— Насколько я понял, это именно так,— сказал судья.— Верно, мистер Киллиан?

— Совершенно верно, судья,— ответил Киллиан.

— В таком случае я вношу протест, судья,— сказал Крамер,— и требую занести его в протокол. Сейчас не время рассматривать подобное ходатайство, а кроме того — аутентичность пленки, которую мистер Киллиан намеревается представить, невозможно проверить.

— Сперва мы послушаем пленку, мистер Крамер, и посмотрим, что там есть. Посмотрим, стоит ли она дальнейшего рассмотрения prima facie [1], а затем обсудим привходящие соображения. Это вас удовлетворяет?

— Нет, судья, я не понимаю, как можно...

Судья, раздраженно:

— Включайте пленку, советник.

Киллиан раскрыл чемоданчик, вынул оттуда большой магнитофон и поставил на стол Ковицкого. Вставил кассету. Кассета была на удивление маленькая. Почему-то эта маленькая тайная кассетка казалась столь же отвратительной и подлой, как и вся затея.

— Сколько голосов на пленке? — спросил Ковицкий.

— Только два, судья,— ответил Киллиан.— Мистера Мак-Коя и миссис Раскин.

— Мистер Салливан легко разберется в том, что мы будем слушать?

— Наверное,— подтвердил Киллиан.— Нет, простите, судья, я забыл. В самом начале пленки вы услышите, как мистер Мак-Кой разговаривает с шофером машины, на которой он ехал на встречу с миссис Раскин. А в конце будет снова разговор с шофером.

— Что еще за шофер?

— Это шофер машины, которую заказал для той поездки мистер Мак-Кой. Я не хотел ни в малейшей мере редактировать запись.

— Угу. Что ж, давайте включайте.

Киллиан включил аппарат, и сперва были слышны лишь посторонние звуки — какой-то низкий гул, всевозможные транспортные шумы, вплоть до завывания пожарной сирены. Потом малоразборчивое бормотанье — разговор с водителем. Как это все отвратительно! Шермана накрыло волной стыда. Ведь они собираются слушать все, до конца! Стенографист запишет каждый его сопливый всхлип — особенно когда

---

[1] По первому впечатлению (*лат.*); при отсутствии доказательств в пользу противного (*юр.*).

он крутится и выплясывает, увертываясь от Марии, отрицает очевидное, а именно, что он, выродок и стукач, пришел к ней «заряженным». Много ли из этого будет передано только лишь словами? Достаточно, подонок ты этакий.

И вот уже из динамика глуховато слышится звонок в подъезде, щелчок электрической щеколды и — а может, это ему кажется? — скрип ступенек под его ногами. Затем открывается дверь... и веселый, доверчивый голос Марии: «Гав!.. Напугала?» В ответ мерзавец и лицемер небрежно роняет голосом, который едва узнаваем: «Да нет, в общем-то. Меня тут уже такие специалисты пугали!» Украдкой Шерман глянул по сторонам. Все сидели опустив головы, глядя в пол или на аппарат, стоящий на столе у судьи. Тут Шерман поймал на себе взгляд толстого пристава. Интересно, что он думает? А другие, те, кто на него не смотрит? Да о чем речь! Им не надо и смотреть, они и так уже глубоко в разверстой полости, копаются там как хотят, силясь расслышать слова его отвратительно исполненной роли. Длинные пальцы стенографиста пляшут по клавишам маленькой хитроумной машинки. Давящая печаль охватила Шермана. Такая тяжесть... не шевельнешься. В унылой облезлой комнатенке кроме него еще семеро мужчин, семь чужеродных организмов, сотни фунтов мягких тканей и костей, дышат, перекачивают кровь, сжигают калории, усваивают питательные вещества, выделяют отходы и токсины, гоняют туда-сюда нервные импульсы — семь теплых гадких и страшных животных, которые за деньги копаются в общедоступной полости той, что он раньше считал своей душой.

Крамеру смертельно захотелось поглядеть на Мак-Коя, но он решил сохранять профессиональную бесстрастность. Хотя любопытно, как выглядит предатель, прилюдно слушающий запись собственного предательства,— ведь в комнате полно людей, которые знают, что он предатель, не постыдился явиться к подружке «заряженным»! Крамер почувствовал неосознанное, но оттого не менее сладостное облегчение. Этот Шерман Мак-Кой, англосакс и аристократ, банковский воротила, питомец Йейла,— такой же точно стукач, как любой торговец наркотиками, которого Крамеру приходилось самому заряжать техникой, чтобы он предавал себе подобных. Нет, Мак-Кой хуже, чем стукач. С наркодельца и взятки гладки — подлец он и есть подлец. Но там, в высших сферах, в заоблачных высях приличий и нравственности, в стратосфере, где правят бледные тонкогубые БАСПы, там слово «честь» якобы не пустой звук. И все равно, припертые к стенке, они оказываются таким же дерьмом, как и последние подонки. Это облегчает дело, поскольку его все-таки мучило опасение, высказанное Берни Фицгиббоном: вдруг следствие проведено недостаточно тщательно? Мария Раскин, конечно, подтвердила версию Роланда Обэрна перед большим жюри, но в глубине души Крамер понимал, что надавил на нее довольно сильно. Загнал ее в такой тесный угол, и так быстро, что она могла и...

Эту мысль он предпочел не додумывать.

А когда знаешь, что Мак-Кой в сущности такое же дерьмо, только с более выигрышной анкетой, можно ни о чем уже не беспокоиться.

Уверившись в правоте своего дела, Крамер позволил себе предаться откровенной ненависти к этому псевдоаристократу, сидящему всего в нескольких шагах от него и наполняющему комнату миазмами своего предательства. Когда слушаешь эти два голоса на пленке — аристократический баритон Мак-Коя и протяжный южный говорок Марии Раскин,— не нужно большого воображения, чтобы представить себе, что там происходит. Паузы, дыхание, шорохи — ага, это Мак-Кой, подонок, заключает свою роскошную шлюху в объятия... А квартирка на Семьдесят седьмой Ист-Сайда, где они встречались! У этих обитателей Северного Ист-Сайда только для удовольствий — *для удовольствий!* — есть специальные квартиры, тогда как ему приходится изо всех сил скрести в затылке (и в карманах), силясь придумать, где бы восполь-

зоваться благосклонностью мисс Шелли Томас. А Красотка и Стукач все болтают... Когда она вышла из комнаты за выпивкой, возникла пауза, во время которой раздался какой-то скрежет — наверняка это Мак-Кой пощупал спрятанный микрофон. Стукач. Вновь зазвучали голоса, и она сказала: «Ох, и многим же, наверное, хотелось бы послушать этот наш разговор!»

Услышав это, даже Ковицкий не удержался от того, чтобы обвести глазами комнату, но Крамер из принципа не ответил ему улыбкой.

Опять голос Марии. Теперь она жалуется на семейную жизнь. Когда, к черту, о деле-то заговорят? Какие-то скучные бабьи жалобы. Ну, вышла замуж за старика. А чего, интересно, ты ожидала? — лениво подумалось Крамеру. Он ее ясно видел, словно она сидит тут же с ними в комнате,— томно закидывает ногу на ногу, поглядывает с улыбочкой...

Внезапно Крамер насторожился, будто от толчка:

«Сегодня ко мне приходил какой-то тип из Окружной прокуратуры Бронкса, с двумя следователями».— Затем: — «Напыщенный такой мелкий поганец».

Его как ошпарило. Особенно задело слово «мелкий». Этакое снисходительное презрение к нему с его могучими грудинно-ключично-сосцевидными мышцами,— и он поднял голову посмотреть, как реагируют остальные, готовый прибегнуть к спасительной усмешке, если эта возмутительная фраза у кого-нибудь вызовет улыбку. Но на него никто не смотрел, и уж тем более Мак-Кой, которого Крамер в тот момент задушил бы собственными руками.

«Все этак голову откидывал и что-то гадкое выделывал шеей — как-то вот так, вот так, а на меня поглядывал, сузив глазки. Поганец».

Лицо Крамера стало красным, запылало от гнева и — хуже того — смятения. Кто-то в комнате то ли кашлянул, то ли хмыкнул. «Сука!» — холодно определило его сознание. А нервная система кричала: «Мерзавка, сокровеннейшие мои надежды рушит!» В этой полной народу комнатке он испытывал ту боль, с которой мужское эго теряет невинность, когда мужчина впервые слышит нелицеприятное, категорично высказанное мнение красивой женщины о его мужских достоинствах.

Дальше пошло еще хуже.

«Он все разложил по полочкам, Шерман,— говорил голос из магнитофона.— Если я буду свидетельствовать против тебя и подкреплю этим показания другого свидетеля, меня не тронут. А иначе меня объявят соучастницей и привлекут по статьям этим...»

Затем:

«Он даже снабдил меня ксерокопиями газетных статей. Практически задал колею. Эти, дескать, статьи правильные, а эти состряпаны с твоей подачи. Если я скажу, что произошло на самом деле, попаду в тюрьму».

Лживая сука! Конечно, он загнал ее в угол, но он не задавал ей никакой колеи! — Он не *инструктировал* ее в том, что именно говорить, не отговаривал выходить с правдивыми показаниями...

У него вырвалось:

— Судья!

Ковицкий отстраняющим жестом поднял ладонь; пленка продолжала крутиться.

Голос помощника прокурора напугал Шермана. Но судья не дал тому слова. Шерман напрягся в ожидании того, что прозвучит дальше.

Голос Марии:

«Иди ко мне, Шерман».

Всем существом он прочувствовал заново тот миг — тот миг и ту ужасную борцовскую схватку...

«Шерман... Что у тебя со спиной?»

...И это еще только начало!.. Дальше его голос, его собственный жалкий, лживый голос: «Ты не представляешь, как я по тебе соскучился, как ты нужна мне». И голос Марии: «Ну... Вот же я». Потом ужас-

ное предательское шуршание — и он вновь ощутил запах ее дыхания и прикосновение ее рук к спине.

«Шерман... Что это у тебя на спине?»

В комнате словно забил фонтан стыда. Шерману хотелось провалиться сквозь землю. Он вжался в кресло. Уронил подбородок на грудь. «Шерман, что у тебя под рубашкой?»... Ее пронзительный голос, его неуклюжие отговорки, беспорядочные стуки, сбившееся дыхание, вскрики... «И провод, Шерман!»... «Ты что — мне же больно!» ...«Шерман, ты подлый, бесчестный гад!»

Как это верно, Мария! Невыносимо верно!

До Крамера все доносилось как бы сквозь багровый туман стыда. Сука и Стукач — па-де-де, обернувшееся мерзкой дракой. Насмеялась, унизила, опорочила, оклеветала — действительно, его теперь можно привлечь за подстрекательство к даче ложных показаний.

Шерман даже удивился — до чего громко, оказывается, он ловил ртом воздух, судя по звукам, доносящимся из аппарата на столе у судьи. Постыдные звуки. Боль, страх, трусость, слабость, обман, унижение — как все это недостойно, а в довершение — еще и неуклюжее топанье. Это уже он бежит вниз по лестнице. Казалось, все в комнате видят воочию, как он убегает с болтающимся между ногами диктофоном.

К тому времени, когда запись кончилась, Крамеру удалось выбраться из-под обломков рухнувшего самолюбия и собраться с мыслями.

— Судья,— сказал он.— Я не знаю, что...

— Секундочку,— прервал его Ковицкий.— Мистер Киллиан, вы не могли бы перемотать пленку? Хочу послушать разговор мистера Мак-Коя и миссис Раскин в том месте, где он касается ее свидетельских показаний.

— Но, судья...

— Мы прослушаем это еще раз, мистер Крамер.

Они прослушали еще раз.

Слова уже не доходили до Шермана. Он утопал в своем позоре. Как ему теперь смотреть этим людям в глаза?

— Хорошо, мистер Киллиан,— сказал судья.— Какой вывод вы предлагаете суду из всего этого сделать?

— Судья,— произнес Киллиан,— либо миссис Раскин проинструктировали относительно того, какие показания давать, а какие утаивать, чтобы не подвергнуться судебному преследованию, либо она считает, будто ее проинструктировали, но результат один. И...

— Это абсурд! — вскричал Крамер. Клонясь со стула, он с совершенно безумным видом тыкал в Киллиана мясистым указательным пальцем.

— Дайте ему закончить,— остановил его судья.

— И более того,— продолжал Киллиан,— как мы только что слышали, у нее имелся достаточный повод лжесвидетельствовать не только чтобы защитить себя, но и с целью причинить зло мистеру Мак-Кою, которого она называет «подлым, бесчестным гадом».

Подлого, бесчестного гада вновь скорчило от унижения. Что может быть убийственнее чистой правды? Между Киллианом и помощником окружного прокурора разразилась перепалка на повышенных тонах. Что они говорят? Перед лицом очевидной, безотрадной правды какая все это чушь!

— МААЛ-ЧАТЬ! — гаркнул судья. Они замолчали.— Вопрос о подстрекательстве меня в данный момент не интересует, если вы именно об этом беспокоитесь, мистер Крамер. Однако я действительно склоняюсь к тому, что во время слушания дела большим жюри показания свидетельницы были небезупречны.

— Ерунда! — возмутился Крамер.— Рядом с этой женщиной все время были двое адвокатов. Можете их спросить, что я говорил ей!

— Если до этого дойдет, их спросят. Но мне не так интересно, что говорили вы, как то, что было у нее на уме, когда она свидетельствовала перед большим жюри. Вы меня поняли, мистер Крамер?

— Нет, не понял, судья, а кроме того...

Вмешался Киллиан:

— Судья, у меня есть и вторая пленка.

Ковицкий:

— Так. Что это еще за вторая пленка?

— Судья!..

— Не перебивайте, мистер Крамер. Вам предоставят возможность высказаться. Продолжайте, мистер Киллиан. Что это за вторая пленка?

— Это разговор с миссис Раскин, который, по словам мистера Мак-Коя, он записал двадцать два дня назад, после появления в газете первой статьи, где говорилось о пострадавшем Генри Лэмбе.

— Где производилась запись?

— Там же, где и первая, судья. В квартире миссис Раскин.

— И так же без ее ведома?

— Совершенно верно.

— Какое отношение эта запись имеет к нашему слушанию?

— В ней содержится честный отчет миссис Раскин о происшествии с Генри Лэмбом, когда она искренне и добровольно разговаривает с мистером Мак-Коем. Это к вопросу о том, не изменила ли она сознательно свою версию, когда свидетельствовала перед большим жюри.

— Судья, это же идиотизм! Нас пытаются уверить, что обвиняемый днем и ночью не расстается с аппаратурой! Мы уже знаем, что он стукач, как это именуется на уличном жаргоне, так почему мы должны верить...

— Успокойтесь, мистер Крамер. Сперва мы послушаем пленку. Потом будем оценивать. Решений пока не выносим. Давайте, мистер Киллиан. Подождите минутку, мистер Киллиан. Прежде я хочу привести мистера Мак-Коя к присяге.

Под взглядом Ковицкого Шерману потребовалось невероятное усилие, чтобы не отвести глаза. К собственному своему удивлению, он почувствовал ужасную вину из-за того, что собирался сделать. А собирался он дать ложную клятву.

Ковицкий приказал секретарю по фамилии Бруцциели привести Шермана к присяге, затем спросил, действительно ли он произвел записи на обеих пленках в те дни и точно так, как говорил Киллиан. «Да»,— сказал Шерман, принуждая себя смотреть Ковицкому в глаза и гадая, не выдаст ли его как-нибудь выражение лица.

Пленка пошла:

«Я знал с самого начала. Надо было сразу же заявить».

Шерман почти не слушал. Я совершаю подлог! Да... но во имя истины... Это такой подземный проход к свету... Ведь разговор действительно был... Каждое слово, каждый звук — правда... Если ее скрыть... получилась бы еще худшая нечестность... Разве нет? Да — но я совершаю подлог! Вновь и вновь это проносилось у него в голове, а пленка шла... И Шерман Мак-Кой, только что присягнувший на верность своей животной сущности, открыл для себя то, что другие открыли намного раньше. А именно, что у воспитанных мальчиков и девочек совесть и стремление подчиняться правилам становятся рефлексами, превращаются в неустранимые детали механизма жизни.

Еще до того как великан хасид протопал вниз по лестнице и в замызганной судейской комнатенке в Бронксе отзвучал заливистый хохот Марии, обвинитель Крамер принялся яростно протестовать.

— Судья, вы не можете допустить, чтобы это...

— Я дам вам возможность высказаться.

— ...дешевое надувательство...

— Мистер Крамер!

— ...повлияло...

— МИСТЕР КРАМЕР!

Крамер умолк.

— Вот что, мистер Крамер,— произнес Ковицкий.— Я полагаю, вам знаком голос миссис Раскин. Вы согласны с тем, что это был ее голос?

— Возможно, но дело не в том. Дело в том, что...

— Минуточку. Если это все же ее голос — то, что вы только что слышали, отличается от показаний миссис Раскин перед большим жюри?

— Судья... это же бред какой-то! По этой пленке вообще не поймешь, что там происходит!

— Мистер Крамер, *отличается* или нет?

— Расхождения есть.

— «Расхождения есть» и «отличается» — это одно и то же?

— Судья, ведь невозможно установить, при каких обстоятельствах произведена запись!

— Prima facie, мистер Крамер, отличается?

— Prima facie отличается. Но вы не можете допустить, чтобы это дешевое надувательство...— он презрительно махнул рукой в сторону Мак-Коя,— повлияло на ваше...

— Мистер Крамер...

— ...решение! — Крамер видел, что судья постепенно набычивается. Под зрачками начала проглядывать белизна. Море пошло пенными барашками. Но Крамер не мог себя сдержать.— Ведь так просто: большое жюри вынесло законное решение! Вы не... это слушание не имеет юрисдикции над...

— Мистер Крамер...

— ...над процессуально безупречным вердиктом большого жюри!

— БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ЦЕННЫЙ СОВЕТ, МИСТЕР КРАМЕР!

Помощник прокурора замер с открытым ртом.

— Позвольте напомнить вам,— проговорил Ковицкий,— что я являюсь судьей по надзору за работой большого жюри, и мне не нравится, что показания основного свидетеля в этом деле могут оказаться ложными.

Весь кипя, Крамер затряс головой.

— Ничто из того, что эти два... индивида...— он снова махнул рукой в сторону Мак-Коя,— говорили в своем любовном гнездышке...— Он опять затряс головой, от ярости не в состоянии закончить фразу.

— Иногда именно так и выходит наружу истина, мистер Крамер.

— *Истина!* Двое избалованных богачей, причем один из них заряжен, как подсадная наседка, пытаются уверить в чем-то народ, собравшийся в зале суда...

Выпалив все это, Крамер понял, что совершил ошибку, но остановиться уже не мог.

— ...и еще тысячу людей, ожидающих снаружи, людей, которые ловят каждое наше слово! Попробуйте сказать им...

Он не договорил. Зрачки Ковицкого снова плавали в бурном море. Крамер ожидал очередного взрыва, но Ковицкий на этот раз сделал нечто худшее. Он улыбнулся. С опущенной головой, с выставленным клювом, с барражирующими над океаном зрачками, он улыбался.

— Спасибо, мистер Крамер. Я попробую.

Когда судья Ковицкий возвратился в зал, собравшиеся, предоставленные самим себе, вовсю веселились, перекрикивались, хихикали, расхаживали туда-сюда, корчили рожи и всячески показывали взводу судебной охраны, кто здесь хозяин. При виде Ковицкого они слегка приутихли, но скорее из любопытства, нежели из-за чего-либо еще. Атмосфера оставалась накаленной.

Шерман и Киллиан направились к столу защиты сбоку у судейского помоста, и вновь писклявый фальцет затянул:

— Шееер-маааан...

Крамер стоял возле секретаря и разговаривал с высоким белым мужчиной в дешевом габардиновом костюме.

— Это тот самый Берни Фицгиббон, о котором вы слышали, но верой в которого не прониклись,— сказал Киллиан и усмехнулся. Потом добавил, указывая на Крамера: — Следите за физиономией этого паршивца.

Шерман, ничего не понимая, стал смотреть.

Ковицкий пока еще не поднялся на свой помост. Стоял шагах в пяти, переговариваясь со своим рыжеволосым консультантом. Шум в зрительской части зала нарастал. Ковицкий медленно взошел на помост, ни разу не взглянув в зал. Остановился у стола, глядя куда-то себе под ноги.

И вдруг:

БАБАХ! — Вишневый молоток грохнул как бомба.

— ЭЙ, ВЫ ТАМ! МОЛЧАТЬ И СЕСТЬ!

Зал на миг замер, пораженный громоподобным голосом этого маленького человечка.

— ТАК ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО... ХОТИТЕ... ИСПЫТАТЬ... ВЛАСТЬ СУДА?

Зрители начали молча разбредаться по местам.

— Очень хорошо. Значит, так: по делу «Народ против Шермана Мак-Коя» вынесено решение большого жюри. Своей властью судьи по надзору за работой большого жюри, без предубеждения выслушав стороны, в интересах правосудия я объявляю это решение недействительным с правом обжалования окружному прокурору.

— Ваша честь! — Крамер вскочил на ноги, поднял руку.

— Мистер Крамер...

— Своими действиями вы наносите непоправимый вред не только данному делу народа против Мак-Коя...

— Мистер Крамер...

— ...но и народу как таковому. Ваша честь, сегодня в этом зале...— он сделал жест в сторону зрителей,— присутствуют многие члены общины, жизненные интересы которой данное дело затрагивает, так что системе уголовного суда этого округа не подобает...

— МИСТЕР КРАМЕР! ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СУДИТЬ О ТОМ, ЧТО ПОДОБАЕТ, А ЧЕГО НЕ ПОДОБАЕТ!

— Ваша честь...

— МИСТЕР КРАМЕР! СУД ПРИКАЗЫВАЕТ ВАМ МОЛЧАТЬ!

Крамер уставился на Ковицкого разинув рот, словно у него дух перехватило.

— А теперь, мистер Крамер...

Но Крамер уже пришел в себя.

— Ваша честь, я прошу занести в протокол, что судья повысил голос. А точнее, кричал на меня.

— Мистер Крамер... если на то пошло, суд повысит... НЕ ТОЛЬКО ГОЛОС! Кто вам дал право оказывать на суд давление, апеллируя к мнению местных жителей? Закон не служит ни меньшинству, ни большинству. И поколебать суд угрозами вам не удастся. Суду известно о вашем поведении во время заседания, на котором председательствовал судья Ауэрбах. Вы размахивали петицией, мистер Крамер! Размахивали ею над головой как знаменем! — Ковицкий поднял правую руку и помахал.— Вас показывали ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ, мистер Крамер! Художник изобразил, как вы размахиваете петицией, словно Робеспьер или Дантон, и это показывали ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ! Вы заигрывали с толпой, не так ли? И, может быть, сейчас в этом зале присутствуют те, кому это ваше представление НРАВИЛОСЬ, мистер Крамер. Так вот, у меня для вас НОВОСТЬ! Те, кто в ЭТОМ суде будут размахивать знаменами... ОСТАНУТСЯ БЕЗ РУК!.. Я ПОНЯТНО ВЫРАЖАЮСЬ?

— Ваша честь, я просто...
— Я ПОНЯТНО ВЫРАЖАЮСЬ?
— Да, ваша честь.
— Хорошо. А теперь я обьявляю решение по делу «Народ против Мак-Коя» недействительным с правом обжалования.
— Ваша честь! Я вынужден повторить... такие действия наносят непоправимый вред делу народа! — Последние слова Крамер выпалил как можно скорее, пока Ковицкий не заглушил их своим громоподобным голосом. Ковицкого, похоже, удивили его дерзость и настойчивость. Он посмотрел с недоумением, и в этот миг, осмелев, демонстранты взвыли:
— Гоооо!.. Долой правосудие для богатых! — Один вскочил с места, потом другой, третий. Верзила с серьгой в ухе был в первом ряду, он вскочил, вздымая вверх сжатый кулак.
— Отбеливаете! — кричал он.— Отбеливаете!
БАБАХ! Снова взрывной удар молотком. Ковицкий встал, опершись кулаками о стол, и подался вперед.
— Охрана!.. УДАЛИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА! — С этими словами Ковицкий выбросил вперед правую руку, указывая на верзилу с серьгой. Два пристава в белых рубашках с короткими рукавами и с револьверами на поясах двинулись к нему.
— Народ вам не удалить! — заорал тот.— Народ вам не удалить!
— Ага,— произнес Ковицкий,— но ВАС я удаляю!
Пристава подошли к человеку с серьгой с двух сторон и принялись подталкивать его к выходу. Он оглядывался на своих собратьев, но те были явно в замешательстве. Они подняли вой, но смелости дружно противостоять Ковицкому им не хватило.
БАБАХ!
— ТИХО! — рявкнул Ковицкий. Как только толпа более или менее угомонилась, Ковицкий глянул на Фицгиббона, затем на Крамера.— Судебное заседание объявляю закрытым.
Зрители стали подыматься и побрели к двери, все громче ропща и злобно оглядываясь на Ковицкого. Девять приставов выстроились цепью, отделяя публику от судейского помоста. Двое из них держали руки на рукоятях револьверов. Раздались приглушенные выкрики, смысла которых Шерман не разобрал. Киллиан встал и двинулся к Ковицкому. Шерман пошел за ним.
Вдруг сзади поднялась возня, Шерман резко обернулся. Верзила негр прорвался сквозь цепь охранников. Это был тот самый — с золотой серьгой в ухе, которого Ковицкий удалил из зала. Пристава, видимо, оставили его в коридоре, и он в ярости ворвался обратно. Он был уже за барьером. И с искаженным от злости лицом шел прямо на Ковицкого.
— Ах ты, пидер лысый! Ах ты, пидер лысый!
Три пристава вышли из цепи, теснившей публику к выходу. Один из них схватил верзилу за руку, но тот вывернулся.
— Правосудие для богатых!
Зрители начали просачиваться сквозь брешь в цепи приставов, гомоня, ворча и понемногу распаляясь. Шерман смотрел на них, завороженный зрелищем. *Вот, начинается!* Чувство страха... *и предвкушение!.. Начинается!* Пристава быстро отступали, стараясь держаться между толпой и персоналом суда. Демонстранты толклись в толпе, рыча, улюлюкая, сами себя взвинчивали, прикидывая, насколько они сильны и храбры.
Огогогоооооо!.. Эгегей!.. Йях-хааа!.. Ты! Гольдберг!.. Пидер лысый!
Слева от себя Шерман вдруг увидел костистый напружиненный торс Куигли. Тот присоединился к приставам. Помогает теснить толпу. Зверское выражение на лице.
— О'кей, Джек, достаточно. Закончили. Теперь все идут по домам, Джек.— Он всех их называл «Джеками». Он вооружен, но револьвер у

него все еще где-то под зеленоватым спортивным пиджаком. Пристава медленно отступают. Руки все ближе к кобурам с револьверами. Коснутся — и снова прочь, как бы в испуге от того, что может произойти в этом зальчике, если кто-нибудь вытащит револьвер и откроет пальбу.

Толкотня, свалка... взмахи рук... Куигли!.. Куигли хватает демонстранта за кисть, выкручивает ему руку назад, дергает вверх — аааа! — и подсекает ногой. Двое приставов — один по имени Брюси и еще один, здоровенный, с валиком жира на поясе — пятятся мимо Шермана, приседая, держа руки на рукоятях револьверов. Брюси через плечо кричит Ковицкому:

— В лифт, в лифт, судья! Ради бога, идите в ваш лифт!

Но Ковицкий неколебим. Сверлит взглядом толпу.

Тот верзила с золотой серьгой остановился перед двумя приставами. Прорваться не пытается. Тянет голову на длинной шее вверх и орет на Ковицкого:

— Ты, пидер лысый!

— Шерман! — Это Киллиан, он здесь, рядом.— Пошли! Спустимся на судейском лифте! — Киллиан тянет его за рукав, но Шерман словно врос в землю. *Начинается! Зачем откладывать?*

Перед глазами что-то мелькнуло. Разъяренный тип в синей рабочей рубашке. Перекошенное лицо. Громадный костлявый палец.

— Кончилось твое время, Парк авеню!

Шерман сжимается. Вдруг — Куигли. Вырастает между ними и с совершенно безумной улыбкой тянется к парню:

— Привет!

Парень недоуменно смотрит на Куигли, а тот, продолжая с улыбкой глядеть ему в глаза, заносит левую ногу и — хрясь ему каблуком по ноге. Жуткий вопль.

Это снимает толпу с тормозов. *Йях-ххаа!.. Бей его!.. Бей!..* Прорываются сквозь цепь. Брюси отпихивает верзилу с серьгой. Того шатнуло. Прямо на Шермана. Уставился ошалело. Они лицом к лицу! Что теперь? Смотрят друг на друга. Шерман похолодел от страха... *Давай!* Он стал перед ним вполоборота, присел — *вот оно! давай же!* — и, развернувшись, врезал ему кулаком в солнечное сплетение.

— Ы-ы!

Мерзавец оседает с открытым ртом — глаза выпучены, кадык конвульсивно дергается — и падает на пол.

— Шерман! Пошли! — тянет его за рукав Киллиан. Но Шерман будто оцепенел. Не может отвести глаз от мужчины с золотой серьгой. Тот завалился на бок, лежит, согнувшись пополам, ловит ртом воздух. Серьга свисает с мочки уха под нелепым углом.

Двое дерущихся налетают на Шермана, он пятится. *Куигли.* Сгибом локтя левой руки Куигли захватил за шею какого-то высокого белого парня, а ладонь правой упер ему в физиономию, словно пытаясь вдавить ему нос назад в череп. Парень мычит и истекает кровью. Вместо носа у него кровавая каша. Куигли шумно кряхтит. Отпускает его шею, и парень падает на пол. Куигли с силой наступает каблуком ему на руку. Отчаянный вскрик. Куигли хватает Шермана за локоть и толкает назад.

— Пошли, Шерм! — *Шерм.*— Валим отсюда на хрен!

Я врезал ему кулаком под дых, он взвыл — Ы-ы! — и рухнул. Последний взгляд на свисающую серьгу...

Куигли толкает его, а Киллиан тянет за руку.

— Пошли! — орет Киллиан.— С ума, что ли, мать твою, спятил?

Жидкое полукружие охранников и Куигли отделяют толпу от группы, состоящей из Шермана, Киллиана, судьи, консультанта и секретаря; толкаясь плечами, теснясь, они протискиваются в дверь, ведущую в судейские покои. Демонстранты уже в полной ярости! Один лезет в дверь... Брюси пытается его остановить и не может... *Куигли...* В руке — револь-

вер. Поднимает его. Вплотную придвигается к прорвавшемуся демонстранту.

— Ну ты, пидер! Сделать тебе третью дырку в носу?

Тот замирает, каменеет как статуя. Не из-за револьвера. Выражения лица Куигли ему достаточно.

Им врезали... всего-то пару раз... И хватило. Опоясанный валиком жира пристав открывает дверь персонального судейского лифта. Всех туда запускают — Ковицкого, консультанта, секретаря, Киллиана. Спиной вперед заталкивают Шермана, валятся на него Брюси и Куигли. Три пристава остаются наверху, готовые взяться за револьверы. Но толпа выдохлась, утратила решимость. *Куигли. Как он на него смотрел. «Ну ты, пидер! Сделать тебе третью дырку в носу?»*

Лифт идет вниз. Жарко до невозможности. Все притиснуты друг к другу. *Аа-хх, ааа-ххх, ааа-хххххх, ааааааа-ххххххххх.* Оказывается, это он сам, Шерман, так тяжело дышит — и он, и Куигли, да и Брюси *тоже, и тот, другой, толстый. Аааа-хххх, ааа-хххххх, ааааа-ххххххххх, ааааа-хххххххххх, ааааа-хххххххххх.*

— Шерм! — Это Куигли, с трудом проговаривает сквозь одышку.— Эк ведь ты его... хренососа... Шерм!.. Ну, ты его... лихо уложил!

Свалился на пол. Согнувшись пополам. Серьга повисла. Раз — и победа! Обдает холодом страха — *теперь они до меня* доберутся! — и сразу же жгучее нетерпение. *Еще! Я хочу еще!*

— Погодите радоваться.— Это голос Ковицкого, строгий, негромкий.— Это ведь полный провал. Вы и не представляете, до чего все скверно. Мне не следовало так сразу закрывать заседание суда. Надо было поговорить с ними. Они же... *не понимают*. Они даже не понимают, что сами-то натворили.

— Судья,— обратился к нему Брюси,— это еще не все. Демонстрантов полно и в коридорах, и снаружи.

— Где снаружи?

— Главным образом у парадного входа со Сто шестьдесят первой улицы, но есть народ и на Уолтон авеню. Где ваша машина, судья?

— Где обычно. В яме.

— Может быть, кому-нибудь из нас вывести ее оттуда и подрулить со стороны Магистрали?

Ковицкий секунду подумал.

— Нехрен. Много чести им будет.

— Они же об этом не узнают, судья. Я не к тому, чтобы пугать вас, но они собрались там... говорят о вас... у них микрофоны, усилители и всякое такое.

— Смотри-ка ты! — сказал Ковицкий.— А что бывает, когда препятствуют администрации, они слыхали?

— Думаю, они знают только, как устраивать беспорядки, но это они умеют хорошо.

— Что ж, спасибо, Брюси,— улыбнулся Ковицкий. И обернулся к Киллиану: — Помните, как я гнал вас из своего лифта? Даже забыл теперь, почему вы в нем оказались.

Киллиан улыбнулся и кивнул.

— Вы не хотели выходить, и я сказал, что оштрафую вас за неуважение. А вы сказали: «Неуважение к чему? К лифту?» Помните?

— Я-то помню, судья, это уж вы не сомневайтесь, только я надеялся, что вы забыли.

— А знаете, что меня разозлило? Что вы были правы. Это меня и разозлило.

Еще прежде чем лифт дошел до первого этажа, в нем уже слышался мощный ЗЗЗЫНННЬЗЗЗЫНННЬЗЗЗЫНННННЬ сигнала тревоги.

— Гос-споди. Какой болван тревогу-то включил? — пробормотал Брюси.— Кого они собираются поднимать? Весь личный состав и так уже на ногах.

Ковицкий вновь помрачнел. Покачал головой. Какой все же он маленький — этот костлявый лысый старичок в необъятной черной мантии, стиснутый в душном лифте.

— Они не понимают, что натворили. Ни хрена не понимают... Я же им друг, единственный, кто им друг!..

Когда дверь лифта открылась, сигнал тревоги — этот ЗЗЗЫНННЬЗЗЗЫНННЬЗЗЗЫНННННННЬ — стал оглушительным. Все вышли в небольшой вестибюльчик. Одна дверь вела на улицу. Другая — в коридор первого этажа островной цитадели.

— Как думаете отсюда выбираться? — крикнул Шерману Брюси.

Ответил Куигли:

— У нас машина, правда, где она, бог знает. Этот, блядь, шофер, блядь, так испугался, что еще, блядь, на подъезде чуть со страху не помер.

— И где он должен вас ждать теперь? — спросил Брюси.

— У входа с Уолтон авеню, но насколько я знаю этих пидеров, он не иначе как уже на полпути в Канди.

— В Канди?

— Это, блядь, город такой на Цейлоне, откуда он родом, город Канди. Чем ближе мы, блядь, подъезжали, блядь, к зданию, тем упорней он распространялся об этом своем Канди. Это, блядь, город так называется.

В этот миг Брюси, выпучив глаза, заорал:

— Э-э! Судья!

Ковицкий направлялся к двери, которая вела в коридор.

— Судья! Не ходите туда! Их там полно!

Вот! Еще! Еще! Шерман рванулся к двери и побежал за удаляющейся фигурой в черном.

Голос Киллиана:

— Шерман! Куда, к дьяволу, вас несет!

Голос Куигли:

— Шерм! Господи боже мой!

Шерман был уже посреди широкого мраморного коридора, который полнился звоном тревоги. Ковицкий шагал впереди, полы его мантии раздувались. Он походил на ворона, набирающего высоту. Чтобы догнать его, Шерману пришлось перейти на рысь. Кто-то бегом опередил его. Брюси.

— Судья! Судья!

Поравнявшись с Ковицким, Брюси попытался ухватить его за левый локоть. Шерман был уже рядом. Ковицкий сердито стряхнул руку пристава.

— Судья, куда же вы! Что вы делаете!

— Надо им объяснить! — отозвался Ковицкий.

— Судья! Они же убьют вас!

— Надо им объяснить!

Оказалось, что и другие устремились следом, бегут с обеих сторон, догоняют... и жирный пристав... и Киллиан... и Куигли... Все, кто был в коридоре, остановились, смотрят, не могут понять, что происходит,— почему так разъярился этот низенький судья в черной мантии и почему его спутники бегут за ним и кричат: «Судья! Не надо, не надо!»

Послышались выкрики:

— *Это он!.. Хааа! Гад, тот самый!..*

ЗЗЗЫНННЬЗЗЗЫНННННЬЗЗЗЫНННННННННЬ!.. Звон тревоги бил по ушам всех без разбора.

Брюси вновь попытался удержать Ковицкого.

— Пустите, БЫЛЛЯДЬ, МОЮ РУКУ! — рявкнул Ковицкий.— Это, БЫЛЛЯДЬ, МОЙ ПРИКАЗ, БРЮСИ!

Чтобы не отставать, Шерман снова пустился рысью. Держался на полшага позади судьи. Остро вглядывался в лица встречных. *Вот!— еще!* Они завернули за угол. Очутились в громадном конструктивист-

ском холле, примыкающем к террасе, выходящей на Сто шестьдесят первую улицу. В холле было пятьдесят или шестьдесят зевак с горящими от восторга и возбуждения лицами, все смотрели в сторону террасы. Сквозь стеклянную дверь Шерман увидел скопление людей.

Ковицкий подошел к дверям, отпахнул перед собой одну створку и подождал. ЗЗЗЫНННННЬЗЗЗЫНННННННЬЗЗЗЫНННННННННЬ!

— Не выходите, судья! — крикнул Брюси.— Я прошу вас!

В центре террасы стоял микрофон на стойке, как будто это концертная эстрада. У микрофона высокий негр в черном костюме и белой рубашке. Вокруг толпились люди — как черные, так и белые. Рядом с негром белая женщина с жесткими светлыми седеющими волосами. Толпа, состоявшая из черных и белых, занимала террасу и ступеньки, ведущие на нее с двух сторон. Судя по шуму, на главном крыльце и тротуаре Сто шестьдесят первой улицы собрались сотни, а может, тысячи людей. Тут Шерман понял, кто этот высокий человек у микрофона. Преподобный Бэкон.

Он говорил с толпой ровным, хорошо поставленным баритоном, и каждое его слово звучало так, словно это очередной решительный шаг судьбы.

— Всей душой мы были преданы обществу... и его властным структурам... и что мы имеем? — (В толпе гул и сердитые выкрики.) — Мы верили их обещаниям... и что мы получили? — (Взвизги, стоны, крики.) — Мы верили в их правосудие. Нам говорили, что правосудие не взирает на лица. Что Фемида слепа... что она *беспристрастна*... да?.. Что эта женщина не видит различия в цвете кожи... И кем же эта слепая женщина оказалась? Как ее *имя?* Какую личину она надевает, когда предается своим лживым расистским игрищам? — (Крики, уханье, вопли, кровожадные призывы.) — Мы *знаем* эту личину и *знаем* имя... МАЙ-РОН КО-ВИЦ-КИЙ! — (Снова вопли, улюлюканье, хохот, выкрики, переходящие в оглушительный вой.) — МАЙ-РОН КО-ВИЦ-КИЙ! — (Вой переходит в рев.) — Но мы можем подождать, братья и сестры... мы способны ждать... Мы долго ждали, и идти нам больше некуда. МЫ ПОДОЖДЕМ!.. Подождем, когда прихвостни власти покажут нам свои лица. Сейчас он там. Во-он там! — Лицом Бэкон остался повернут к толпе и микрофону, но руку с указующим перстом отбросил назад, в сторону здания.— Он знает, что здесь собрались люди, потому что... *он-то*... вовсе не слеп... Он живет на этом островке страха среди могучего людского моря, зная: люди — и правосудие! — ждут его. И ускользнуть ему не удастся! — Толпа заревела, а Бэкон на секунду наклонился в сторону, и седеющая женщина что-то прошептала ему на ухо.

В этот момент Ковицкий распахнул перед собой обе стеклянные створки. Его мантия раздувалась как огромные черные крылья.

— Судья! Бога ради!

Ковицкий остановился в проеме, придерживая широко расставленными руками створки дверей. Мгновение... другое... Руки упали, вздувавшиеся крылья мантии обвисли вокруг хрупкого тела. Он повернулся и шагнул обратно в холл. Он шел, опустив голову и вполголоса бормотал:

— Их единственный друг, единственный, на хрен, друг! — Глянул на пристава: — Ладно, Брюси, пойдемте.

Нет! Как же так!

— Нет-нет, судья! — вырвалось у Шермана.— Не отступайтесь! Я пойду с вами!

Ковицкий резко обернулся к Шерману. Явно он до последней минуты его не замечал. Свирепо нахмурился.

— Какого дьявола...

— Не отступайтесь! — повторил Шерман.— Не отступайтесь, судья!

Ковицкий молча посмотрел на него. Увлекаемые Брюси, они все вместе уже шли скорым шагом по коридору. Народу в коридорах при-

бавилось... Какой сброд... *Это Ковицкий! Это он — тот самый!* Выкрики... злобный вой... ЗЗЗЫНННННННЬЗЗЗЫНННННННЬЗЗЗЫНННННННННННЬ! — тревога надрывалась звоном, он несся по всем коридорам, отдаваясь от мраморных стен... Какой-то мужчина постарше, не из демонстрантов, подошел сбоку, преграждая путь Ковицкому, ткнул в него пальцем и сразу в крик:

— Вы...

Но Шерман кинулся к нему с воплем:

— А ну, т-твою мать, проваливай!

Мужчина отпрыгнул, не успев закрыть рот. Какое испуганное лицо! *Вот! — еще!* — врезать ему кулаком под дых, размозжить нос, вышибить каблуком глаз! Шерман оглянулся на Ковицкого.

Ковицкий смотрел на него, как на умалишенного. Так же смотрел и Киллиан. И оба пристава.

— Вы что, спятили? — рассердился Ковицкий.— Хотите, чтобы вас убили?

— Судья,— ответил Шерман,— это не важно! Не важно! — И улыбнулся. Почувствовал, как вздернулась, обнажая зубы, верхняя губа. Из горла вырвался хриплый безумный смешок. Без вожака толпа в коридоре неуверенно расступалась, Шерман всматривался в лица, словно расстреливая их на ходу взглядом. Сердце его полнилось страхом... и восторгом — *еще! еще!*

Маленький отряд, сохраняя боевой порядок, отступал по мраморным коридорам.

ЭПИЛОГ

Годом позже на полосе Б-1 раздела городских новостей в газете «Нью-Йорк таймс» была опубликована следующая заметка за подписью Овертон Холмс Младший.

В смерти примерного школьника обвиняется финансист

Вчера бывшего финансиста с Уолл-стрит Шермана Мак-Коя привезли в наручниках в Бронкс, чтобы судить за непредумышленное убийство девятнадцатилетнего Генри Лэмба, черного школьника, которым гордился весь его квартал в Южном Бронксе.

Смерть мистера Лэмба наступила в понедельник вечером в клинике имени Линкольна вследствие черепно-мозговой травмы, полученной 13 месяцев назад, когда его сбил мистер Мак-Кой, проезжая в своем спортивном «мерседесе» по Брукнеровскому бульвару. С тех пор мистер Лэмб в сознание не приходил.

Когда сотрудники прокуратуры вели мистера Мак-Коя к зданию уголовного суда Бронкса на 161-й улице, демонстранты из «Всенародной солидарности» и других организаций встретили его криками: «уолл-стритский убийца», «капиталистический бандит» и «наконец-то попался». В прошлом году вокруг вопроса о предполагаемой роли мистера Мак-Коя в нанесении телесных повреждений мистеру Лэмбу разразилась политическая буря.

Видный мужчина

На вопрос репортеров, как вяжется его положение уолл-стритского финансиста, жителя Парк авеню, с ситуацией, в какой он находится в настоящее время, мистер Мак-Кой выкрикнул: «У меня нет ничего общего ни с Уолл-стрит, ни с Парк авеню. Я профессиональный обвиняемый. Меня уже год таскают по судам, и я выдержу еще год, а потребуется, так и от 8 до 25».

Цифры, конечно же, означают рамки возможного срока заключения, который грозит ему, если будет вынесен обвинительный приговор в связи с этим новым обвинением. Говорят, что к заседанию большого жюри окружной прокурор Бронкса Ричард А. Вейсс подготовил обвинительное заключение на пятидесяти страницах. Широко известно, что решительность, проявленная в расследовании этого дела мистером Вейссом, была его главным козырем при выдвижении своей кандидатуры на ноябрьских перевыборах, где он одержал победу.

Мистер Мак-Кой — сын известного уолл-стритского адвоката Джона Кэмпбелла Мак-Коя, питомец школы Св. Павла и Йейльского университета, теперь ему 39 лет; этот высокий, видный мужчина был одет в спортивную рубашку без галстука, защитного цвета брюки и туристские ботинки. Такой наряд является полной противоположностью двухтысячедолларовым шитым на заказ в Англии костюмам, которыми он славился, когда, работая в компании «Пирс-и-Пирс» и получая по миллиону долларов в год, был легендарным «королем рынка облигаций».

Когда его через боковую дверь здания суда вводили в Центральный распределитель Бронкса, мистер Мак-Кой в ответ на вопросы репортеров сказал: «Говорю же вам, я целиком посвятил себя карьере обвиняемого. Теперь я одеваюсь специально для тюрьмы, хотя никто меня еще не признал виновным ни в каком преступлении».

Понизившийся жизненный уровень

На слушании дела, состоявшемся спустя шесть часов, мистер Мак-Кой предстал перед судьей Сэмюелем Ауэрбахом со слегка распухшей левой скулой и ссадинами на костяшках пальцев обеих рук. Судье Ауэрбаху на вопрос, что случилось, он ответил, сжав кулаки: «Не беспокойтесь, судья. Это мои трудности».

Начальник охраны сказал, что мистер Мак-Кой оказался вовлеченным в «спор» с двумя другими заключенными в общей камере, спор перешел в потасовку, но от предложенной медицинской помощи мистер Мак-Кой отказался.

Когда судья спросил его, признает ли он себя виновным, мистер Мак-Кой громко сказал: «Абсолютно безвинен». Вопреки совету судьи он настоял на том, чтобы самому представлять себя на предварительном слушании и дал понять, что так же будет поступать на предстоящем процессе.

Из кругов, близких к мистеру Мак-Кою, состояние которого когда-то оценивалось более чем в 8 000 000 долларов, стало известно, что чрезвычайно высокие судебные издержки за год привели к тому, что он «едва способен платить за крышу над головой». Бывший владелец кооперативной квартиры стоимостью в 3 200 000 долларов в доме 816 по Парк авеню, теперь он снимает две скромные комнаты в блочном доме послевоенной постройки на 34-й улице Ист-Сайда в районе Первой авеню.

Первоначально выдвигавшееся против мистера Мак-Коя обвинение в халатности за рулем было с него снято в июне прошлого года во время бурного слушания в суде под председательством бывшего члена коллегии окружного суда Майрона Ковицкого. Это вызвало бурю протеста в черной общине, и мистер Вейсс представил обвинение новому составу большого жюри и вновь получил вердикт о привлечении к уголовной ответственности.

Организация Демократической партии в Бронксе, откликнувшись на требования общественности, отказалась поддерживать кандидатуру судьи Ковицкого, и на ноябрьских перевыборах он потерпел сокрушительное поражение. Его сменил ветеран юстиции судья Джером Мелдник. В феврале слушание дела Мак-Коя закончилось патовой ситуацией, когда присяжные не смогли прийти к согласию: все три белых заседателя и один латиноамериканец стояли за оправдание.

Два месяца назад по вчиненному мистеру Мак-Кою гражданскому иску присяжные Бронкса присудили компенсацию в пользу мистера Лэмба в сумме 12 000 000 долларов; мистер Мак-Кой подал апелляцию. Недавно поверенный Элберт Вогель, действуя от имени мистера Лэмба, обвинил мистера Мак-Коя в сокрытии имущества с целью уклонения от выплаты упомянутой суммы. Имелись в виду деньги, вырученные от продажи квартиры на Парк авеню и дома в Саутгемптоне (Лонг-Айленд), которые он пытался передать непосредственно своей живущей отдельно жене Джуди и их семилетней дочери Кэмпбелл. На эти средства, так же как и на остатки его капиталовложений и представляющих ценность личных вещей, суд наложил арест на время рассмотрения его апелляции по делу об имущественном ущербе.

По имеющимся сведениям, миссис Мак-Кой с дочерью переехала на Средний Запад, однако вчера она сидела в зале суда среди зрителей, видимо, не узнанная группой демонстрантов, черных и белых, занимавших большинство мест. Был такой момент, когда мистер Мак-Кой посмотрел на жену, слегка улыбнулся и приветственно поднял вверх левую руку со сжатым кулаком. Значение этого жеста неясно. Говорить с репортерами миссис Мак-Кой отказалась.

«Любовное гнездышко с контролируемой квартплатой»

Брак мистера Мак-Коя оказался под угрозой, после того как выяснилось, что в автомобиле с мистером Мак-Коем в тот вечер, когда был сбит мистер Лэмб, находилась Мария Раскин-Кирацци, наследница состояния Раскина, которое он нажил авиаперевозками. Парочка находилась в любовной связи, используя для встреч тайную квартиру, которую позже окрестили «любовным гнездышком с контролируемой квартплатой». Первый муж миссис Кирацци, Артур Раскин, незадолго до того как ее вовлеченность в дело Мак-Коя получила огласку, умер от сердечного приступа.

Окружной прокурор Вейсс собирался заново возбудить дело по обвинению мистера Мак-Коя в халатности за рулем, но мистер Лэмб умер, и над мистером Мак-Коем нависло более серьезное обвинение — в непредумышленном убийстве. Мистер Вейсс уже объявил, что

поддерживать обвинение будет помощник окружного прокурора Рэймонд И. Андриутти. Необычность ситуации состоит в том, что мистеру Вейссу пришлось отстранить от дела Лоренса Н. Крамера, поддерживавшего обвинение на первом процессе, так как открылось, что мистер Крамер упросил домовладельца поселить в квартире, названной выше «любовным гнездышком с контролируемой квартплатой», свою приятельницу, мисс Шелли Томас, художественного редактора в рекламном агентстве. Мистер Крамер, женатый мужчина, познакомился с мисс Томас, когда она исполняла обязанности члена коллегии присяжных при рассмотрении совершенно другого дела, где он также поддерживал обвинение. В результате приговор по этому делу — в отношении мистера Герберта Кантрелла (Герберта 92ИКС), обвинявшегося в убийстве первой степени,— отменен по причине «нарушения этических норм со стороны обвинения».

Мистер Андриутти вчера сказал, что на новый процесс по делу мистера Мак-Коя он собирается вызвать в качестве свидетельницы обвинения миссис Кирацци, несмотря на то что именно спорность данных ею перед большим жюри показаний побудила Ковицкого отменить первый вердикт о привлечении к уголовной ответственности. На первом процессе она лично не присутствовала.

Шикарное поместье

Взаимоотношения мистера Мак-Коя с законом вчера осложнились еще и тем, что сотрудница фирмы по торговле недвижимостью Салли Ротроут вчинила ему иск в Манхэттенском гражданском суде на сумму 500 000 долларов. Продав квартиру мистера Мак-Коя на Парк авеню за 3 200 000 долларов, миссис Ротроут получила 192 000 долларов комиссионных. Однако мистер Лэмб через мистера Вогеля вчинил ей иск на эти 192 000 долларов на том основании, что они являются частью двенадцатимиллионной компенсации, которую должен выплатить мистеру Лэмбу мистер Мак-Кой. Свой иск миссис Ротроут мотивировала тем, что мистер Мак-Кой «незаконно представил на продажу обремененную долгами собственность». В устном заявлении она указала, что «всего лишь ограждает себя от возможной потери принадлежащих ей по праву комиссионных», а мистеру Мак-Кою, вообще-то, зла не желает.

Как мистер Мак-Кой сумеет выйти из этого и других юридических затруднений, проистекающих из его дела, неясно. Бывший адвокат мистера Мак-Коя, Томас Киллиан, которого удалось застать в его доме на Лонг-Айленде, сказал, что больше не может представлять мистера Мак-Коя по причине отсутствия у последнего средств на поддержание защиты.

Мистер Киллиан и сам тяжко обременен множеством судебных исков, вчиненных ему новыми соседями по фешенебельному поселку Латтингтаун на Северном Берегу. Недавно он приобрел двадцатиакровое поместье Фиппсов и пригласил известного архитектора, Хаднелла Столворта, чтобы тот спроектировал большую пристройку к главному зданию, которое занесено в Реестр памятников национальной истории. Местные ревнители старины считают, что любые изменения облика величественного георгианского строения были бы неприемлемы.

Тем не менее мистер Киллиан с жаром высказывается в пользу мистера Мак-Коя. Вчера на неофициальном обеде он произнес речь, в которой, как свидетельствуют очевидцы, обвинение Мак-Коя в убийстве отмел, применив для оценки обвинения широко известный кано-скатологический бранный термин, а кроме того сказал: «Если бы это дело рассматривалось in foro conscientiae (в суде совести), на скамье подсудимых должны были бы сидеть Эйб Вейсс, Реджинальд Бэкон и Питер Фэллоу из «Сити лайт».

Милтон Лубелл, представитель мистера Вейсса, сказал, что окружной прокурор не станет отвечать на «провокации» человека, который «более не причастен к делу». Он добавил: «Только благодаря особому к себе отношению со стороны некоторых функционеров системы правосудия мистер Мак-Кой столь долго оставался вне досягаемости закона. Трагично, что понадобилась смерть Генри Лэмба, олицетворявшего собой высочайшие идеалы нашего города, чтобы в этом деле наконец восторжествовала справедливость».

Представитель мистера Бэкона во «Всенародной Солидарности» Красавчик Джонс отмел выдвинутое Киллианом обвинение как «обычную расистскую демагогию расистского прихвостня, выступающего в пользу известного капиталиста и расиста», который пытается уклониться от «расплаты за расистское убийство прекрасного молодого человека».

Мистера Фэллоу, удостоенного Пулицеровской премии за серию газетных репортажей о деле Мак-Коя, найти и расспросить не удалось. Говорят, что он, справив две недели назад свадьбу, уехал на Эгейское море, где отдыхает на борту яхты со своей молодой женой леди Эвелин, дочерью сэра Джеральда Стейнера, издателя и финансиста.

См. статью ТОМА ВУЛФА на стр. 193

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА

Рассказы

Перевод с итальянского Ф. ДВИН

ОПИСАНИЯ

В том, что замысел мой трудноосуществим, убеждать меня не надо, я и сам это знаю. Недоверие окружающих меня не остановит. Самому Христофору Колумбу приходилось выносить насмешки мудрецов из Саламанки, а Америку все-таки открыл он, мудрецы же из Саламанки не открыли ничего.

Идея моя очень проста и вытекает из банального, но верного, как и всякая банальность, наблюдения: мир изменяется быстро и переживает сейчас переломный момент, и если мы, сообща, не проявим необходимой бдительности, в нашей памяти начисто сотрется то, что нами достигнуто, то есть сама цивилизация. Короче говоря, я имею в виду создание целой серии описаний, которые должны дойти до наших потомков. Описаний чего? Вот тут-то и соль вопроса: *описывать надо все,* поскольку все когда-нибудь изменится или исчезнет. Естественно, говоря *все,* я имею в виду и то, что создано природой, и творения рук человеческих,— в общем, объективный материальный мир в полном его объеме.

Приведу пример. Возьмите хотя бы созданный человеком автомобиль. По-моему, ясно: речь идет об устаревшем средстве передвижения, которому довольно скоро суждено исчезнуть — и не столько из-за нефтяного кризиса, сколько именно из-за присущей этому предмету моральной «усталости». До сих пор автомобили конструируются на основе разработанного еще Леонардо да Винчи физического закона рычага и системы передач, а это чревато излишними затратами энергии. Достаточно заметить, что реактивный двигатель состоит из какой-нибудь сотни основных деталей, а двигатель внутреннего сгорания — из доброй тысячи. Когда автомобили исчезнут, и люди с течением времени забудут, что́ именно соответствовало слову *автомобиль,* им будет трудно понять всякие тексты, в которых то и дело повторяется это слово, утратят смысл многие книги — культурное достояние нашего времени. Давайте оглянемся в не такое уж далекое прошлое: наши дети не знают, например, что такое локомотив. Локомотивов практически уже не осталось, а сохранение нескольких таких машин в музеях ничего не дает. С течением времени (я имею в виду, разумеется, времена достаточно отдаленные) даже мощный локомотив исчезнет, как мыльный пузырь в воздухе, а вот описание сохранится на тысячелетия, потому что слова прочнее вещей.

Приведу вам другой пример. Мы в своей речи до сих пор употребляем — во всяком случае, сохранили в языке — такие обороты, которым суждено вскоре совершенно утратить связь с реальной действительно-

---

© 1988, Arnoldo Mondadori Editore S. p. A. Milano

стью. Вот один из них: «ставить телегу впереди лошади». Какой смысл извлечет будущий читатель из этой фразы, если он ни телеги, ни лошади никогда не видел? Вот тут-то и пригодится предлагаемое мною описание и телеги, и лошади.

Наука доказывает, что многие виды животных уже исчезли с лица земли, а многие постепенно вымирают. Нужно спешить с описанием этих животных, не то мы, вернее, наши потомки не смогут понять, что такое волк, точно так же, как сегодня мы не можем составить себе более или менее четкое представление о динозаврах. Я прекрасно понимаю, подобные описания с научной точки зрения — дело довольно трудное, но именно поэтому нужно мобилизовать специальную группу ученых, и прежде всего писателей, которые полностью посвятят свою жизнь составлению описаний, то есть откажутся от роли писателей, с тем чтобы взять на себя пусть и более скромную, зато куда более полезную роль описывателей. Таким образом, мы окажемся даже в выигрыше, поскольку сократится количество выпускаемых ежегодно романов. Причем мы имеем полное право допустить плагиат: в некоторых случаях совершенно ни к чему трудиться над новым описанием, если можно использовать целиком или частично уже существующее. Прежде всего надо заботиться о результате, то есть о функциональности и точности описания.

Работа, которую я предлагаю осуществить, должна, разумеется, и в финансовом, и в организационном плане опираться на поддержку крупных культурных центров — особенно университетов,— а отобранный материал следует объединить в большой Всеобщей Энциклопедии Описаний, перевести ее на все языки и снабдить ею все библиотеки мира. Нельзя упустить ничего, ибо конечная цель, главная задача предлагаемого мною великого предприятия в пользу наших потомков состоит в том, чтобы *описать весь мир*. Я прекрасно понимаю, что подобная постановка вопроса может показаться утопической. Но утопии остаются утопиями до тех пор, пока их не реализуют. Скажу больше: окончив описание предметов материального мира, следует перейти к описанию пустых пространств между предметами, то есть создать своего рода негативы вещей. Но это уже можно отложить на потом, когда мы перейдем ко второй — дополнительной, параллельной энциклопедии.

Само собой разумеется, что критерии такой работы во избежание перекосов и повторов должны как-то регулироваться и координироваться едиными оперативными центрами. Я еще не знаю, уместно ли использовать для этого дела компьютеры, поскольку они пока нередко допускают сбои и создают путаницу. Особо нужно позаботиться о максимальной простоте и ясности изложения, являющихся залогом долговечности описания. Тут уж — никаких литературных изысков и, конечно, как можно меньше эпитетов. Надо, как от чумы, спасаться от иных писателей, которые обожают изысканные эпитеты или слишком длинные и сложные фразы. Иллюстрации следует подбирать, исходя из тех же критериев, что и тексты.

Я уже, просто так, чтобы сделать первый шаг, заполнил одну толстую тетрадь некоторыми описаниями и надеюсь найти издателя, который согласится их опубликовать. Моя книга — а я так ее и назову «Описания» — должна стать своего рода specimen [1] предстоящей работы. Начал я с описания спички. Казалось бы — пустяк, но только одна эта глава стоила мне нескольких месяцев труда: пришлось переписывать ее раз десять, пока я не добился удовлетворительного результата. Вы только вдумайтесь, как много разных видов спичек у нас в ходу,— и поймете, насколько сложно мое предприятие. Спички бывают обычные, серные, а бывают фосфорные, шведские, в коробках, рассыпные и отрывные, и все различия между ними надо описать с большой точностью, потому что нам-то одни названия сразу же дают представление о пред-

[1] Образец *(англ.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*

мете, а для человека грядущего это будут слоза, начисто лишенные смысла.

Я привел в пример главу о спичках, но у меня уже есть наметки и ряда других разделов. По отдельным предметам можно восстановить историю целой цивилизации. Некоторые предметы, вроде бы ничем не примечательные, могут стать ключиком к пониманию множества других вещей. Конечно, не следует пренебрегать прошлым: историческая память и сохранившиеся документы могут еще сослужить нам службу. Но иногда оказывается, что мы уже опоздали: я имею в виду даже не древность, а позавчерашний день. Для ясности приведу еще один пример: возьмем слово «перо». Перо, которым пишут. Кто помнит, что когда-то люди действительно писали гусиными перьями? Сегодня не найти человека, который мог бы рассказать, как это перо подготавливали для письма. Как затачивали острие? Перочинным ножиком? Был ли кончик пера расщеплен посередине, как у золотых и стальных, или его оставляли сплошным? Какие именно перья использовались — из крыльев или из хвоста птицы? Только гусиные или куриные тоже? Вот сколько набралось вопросов, на которые мы уже не в состоянии ответить, потому что в свое время никто не потрудился сделать подробное описание гусиного пера.

Короче говоря, нельзя терять время, нужно заинтересовать этим делом и культурные институты, и издателей: пусть начинают отыскивать и набирать подходящих авторов. Я, как было сказано выше, уже начал свою работу и сейчас бьюсь над проблемой, поставившей меня в затруднительное положение. Мне хотелось взяться за одну очень ответственную главу. Сразу же скажу, за какую: речь идет о главе «Человек». Но, спрашивается, на кого должно быть рассчитано это описание? На людей будущего? Если в будущем люди сохранятся такими же, какие они сегодня, моя работа окажется пустой тратой времени. Если же люди со временем исчезнут, как и прочие предметы, мое описание будет совершенно необходимым. Вот только кому?

СИНЬОРА ИЗ WWF[1]

Почти каждый день я предлагал ей бежать со мной и поселиться где-нибудь в африканских джунглях. Я знал, что она активная экологистка и, кажется, занимает какой-то пост в WWF, во всяком случае любит зверей, даже змей и крокодилов. Соглашаться она не спешила, но мое предложение ей импонировало — тут у меня никаких сомнений не было. Мне нравятся джунгли, говорил я, где растут одни каштановые деревья. Не только потому, что они красивы, но и из чисто практических соображений. Каштаны очень питательны и в жареном и в вареном виде, а лепешки из каштановой муки, да еще с кедровыми орешками — вообще моя слабость. И моя, говорила синьора из WWF. В каштановых рощах, говорил я, растут грибы — белые и маслята, которые очень легко запечь на углях, добавив лишь щепотку соли. При упоминании о грибах взгляд ее оживлялся, и хотя идею мою она не развивала, было ясно, что к грибам моя собеседница явно неравнодушна. Не зря говорят, что темпераментные женщины обычно любят вкусно поесть.

Но в Африке, кажется, нет джунглей, говорила она. Надо узнать.

Меня устроили бы и джунгли из банановых, кокосовых пальм, говорил я, с тобой я готов бежать в любые джунгли, до того я тебя люблю. Но кокосовые орехи ей не нравились, и бананы тоже. И тогда я говорил: а с чего мы взяли, что в Африке нет ресторанов? Наверняка там найдутся такие джунгли, от которых до ресторана рукой подать. Так что, проголодавшись, мы сможем заказать все, что нам захочется.

---

[1] WWF — World Wildlife Fund — Международная организация защиты диких животных.

По-моему, прекрасная идея. Поев, мы снова станем дикарями, и я и ты, мы вдвоем, только вдвоем, и будем кувыркаться нагишом в гнезде из веток и листьев, как обезьяны. Никто нам не запретит захватить с собой даже одеяло, чтобы разостлать его поверх листьев. И еще зубные щетки. И будем разгуливать по джунглям с утра до вечера нагишом — ведь в Африке всегда жарко. Придется только остерегаться змей и особого вида прожорливых муравьев, очень охочих до человечьего мяса: они могут обглодать тебя до косточек в мгновение ока. Нельзя забывать также о множестве других диких зверей, говорил я, таких, например, как львы, тигры, ягуары, леопарды и свирепые обезьяны с острыми, как бритва, когтями. В общем, я предлагал ей бежать в джунгли, хотя никакого желания быть обглоданным муравьями или разорванным в клочки ягуаром у меня не было. И у меня тоже, говорила синьора из WWF, и у меня тоже. А когда я стал расписывать ей тропические болезни, сведения о которых были почерпнуты мной из статьи в одном медицинском журнале (я как раз недавно хорошо его проштудировал), она перебила меня и сказала, что никто не заставляет нас бежать именно в Африку, где нашему здоровью угрожает столько опасностей, ведь есть прекрасные леса и в других местах, например, Каринтия в Австрии или Шварцвальд в Германии.

В Австрии и в Германии холодно, говорил я, там мы не сможем разгуливать нагишом, как нам хочется. В общем, мы отставили Австрию и Германию и решили, что нам больше подходит какой-нибудь итальянский лес — ну, хотя бы в Гаргано. Это даже удобнее, потому что его можно из конца в конец проехать на машине, там прекрасная асфальтированная дорога, и если остановиться, можно увидеть, как среди деревьев скачут косули и мириады птиц перелетают с ветки на ветку или порхают в кустах. К сожалению, вдоль всей дороги тянется двухметровой высоты сетчатая ограда — чтобы никто не входил в лес. Вы, из WWF, сами заставляете ставить такие ограды, говорил я, вы конечно правы, природу надо беречь, но это несправедливо — весь лес отдавать животным и не пускать туда человека, являющегося, так сказать, царем животного мира. Она смеялась, а я говорил, что не вижу в этом ничего смешного, ибо наверняка найдутся и другие представители рода человеческого, которым, как и нам, хотелось бы пожить дикарями на природе, а поди, попробуй, при таких вот двухметровых оградах.

Знаешь, что я тебе скажу, говорила синьора, которой я предлагал бежать со мной в джунгли, знаешь, что я тебе скажу? Я видела одну потрясающую рощу вековых дубов в Манциане, над озером Браччано, в каких-нибудь тридцати километрах от Рима. Гаргано далеко, отсюда по меньшей мере шестьсот или семьсот километров, и при нынешних ценах на бензин и пошлинах на автострадах не очень-то разъездишься, до Манцианы же и за полчасика можно добраться. Вот там эта старая дубовая роща как раз и находится. А сколько в ней всевозможных птиц и прыгающих с ветки на ветку белок, и зайцев, ежиков, сурков, ящериц. Конечно, там тоже попадаются муравьи, скорпионы, гадюки и другие змеи, говорил я, нужно только быть поосторожнее, чтоб какая-нибудь из этих тварей тебя не укусила. Да и кто нам запрещает надеть сапоги? Посреди рощи в Манциане, говорила моя приятельница, много тропинок и проселочных дорог, по которым можно ездить и на машине. Она знает, потому что киношники снимают там фильмы, действие которых происходит в лесу. Но тогда как мы сможем разгуливать нагишом, говорил я, при киношниках я буду стесняться. Ты прав, говорила она, не исключено, что мы там можем встретить и знакомых, ну, например, какого-нибудь приятеля моего мужа с семьей: вдруг им вздумается съездить туда на пикник. По субботам и воскресеньям в лесу полно туристов, которым хочется подышать свежим воздухом и нарвать цветов, что, в общем-то, запрещено, так как там есть цветы очень редкие: если их сорвешь, семя не попадет в землю и на будущий год ничего больше не вырастет. А эти безобразники, оставляющие после себя на земле пла-

стиковые упаковки, стеклянные банки и бутылки, которые не разлагаются! Сколько людей вообще не имеет никакого представления об экологии! А я говорил, что следовало бы обязать туристов при входе в лес раздеваться догола, ибо голый человек по крайней мере разлагается. Если я захочу, то могу быть экологистом почище ваших из WWF. Прощай жизнь дикаря, говорил я, да, боюсь, придется нам проститься с идеей пожить нагишом на природе, в джунглях.

Сказать честно, это мое предложение окунуться в жизнь дикарей и разгуливать голыми по лесам, пусть даже и итальянским, было всего лишь данью романтике и способом покорить мою синьору-экологистку, любительницу природы и животных. В действительности я не выношу даже комаров, а при виде скорпиона у меня начинают дрожать поджилки, мне просто дурно делается. Конечно же, я не самый подходящий человек для жизни в джунглях, где тебя подстерегают тысячи опасностей. Но перед женщиной я никогда не обнаружу своих слабостей и ни за что не признаюсь в том, что однажды, когда меня ужалила оса, бряк-нулся в обморок.

В конце концов мы решили сходить погулять в парк Виллы Боргезе. Какой смысл тащиться куда-то далеко, подумали мы, если буквально под носом у нас есть такой райский уголок. В парке Виллы Боргезе растут вековые деревья, римские пинии, каменные дубы, липы, платаны и множество гигантских магнолий, есть там также два озерка с золотыми рыбками и уйма щебечущих среди ветвей птичек. К счастью, в парке не водятся страшные змеи, ягуары, тигры и крокодилы, там нет даже свирепых обезьян с острыми как бритва когтями. Конечно, ложиться на траву нужно осторожно, что верно, то верно, ведь в траве всегда может оказаться гадюка, а уж о муравьях и прочих опасных насекомых и говорить не приходится. Но они же не такие, как в Африке.

Я сунул в карман полиэтиленовый плащ — из тех, что складываются в небольшой пакетик,— и когда мы нашли укромное местечко за Собачьей лужайкой, я сказал: вот удача, случайно в кармане у меня оказался плащ, и его можно расстелить на траве. Потом мы с синьорой спрятались за большим цветущим кустом душистого жасмина — слишком даже душистого, ибо я аллергик и сразу же несколько раз чихнул. Но, будучи человеком предусмотрительным, весной я всегда ношу с собой какой-нибудь антигистаминный препарат. Таким образом, уладив эту небольшую неприятность, мы стали шалить, предаваться милым любовным утехам. Смотри, как прекрасна природа, говорил я, чувствуешь, какой аромат источают эти деревья, видишь, сколько оттенков зеленого у этих листьев, как хорошо здесь в лесу, вдали от автомобилей, от цивилизации,— а моя рука между тем блуждала по ее телу. Она томно вздыхала и выглядела очень счастливой. Я, пожалуй, тоже был бы счастлив, если бы не боялся, что, пока мы лежим вот так, тесно-тесно прижавшись друг к другу, наш куст облюбует какая-нибудь бродячая собака.

СОВЕРШЕННО ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

Позор, ставший достоянием общественности, особенно мучителен (потом вы сами поймете, насколько точно употребленное мною определение), если случай, из-за которого он пал на вашу голову, произошел в небольшом городке. Действие же у меня разворачивается в Парме, в квартале, берущем начало от проспекта Сольферино, то есть в верхней, аристократической части города. Главных действующих лиц я назову просто Мартой и Раньеро (в моем рассказе кроется подвох, но, боюсь, раскусить его смогут лишь посвященные лица).

Муж Марты — известный хирург, работающий в главной городской больнице. Очень удобная профессия для неверной жены: Марта, позвонив в больницу и узнав, что муж только что приступил к операции, может быть уверена, что раньше, чем через два часа, он не освободится.

Она даже научилась определять продолжительность разных операций — час, два часа, а то и все четыре.

Раньеро женат на дочери адвоката либерального толка и занимает виллу в Викофертиле, то есть в нескольких километрах от города, где у его тестя обширные земельные угодья. Почти ежедневно он бывает в городе: Раньеро специалист по торговому праву, и у него там контора. Но нередко вместо деловых свиданий с клиентами он устраивает свидания с Мартой в маленькой мансарде на улочке, спускающейся к проспекту Сольферино.

В тот день Марта заболталась с приятельницей и на встречу с Раньеро явилась позже обычного.

— Уже без четверти десять,— сказал он раздосадованно. Марта взглянула на часы и ответила:

— Да нет, сейчас только девять часов сорок пять минут.

Раньеро не знал, обратить ли все в шутку или принять ее слова как очередную маленькую хитрость, которые часто выводят его из равновесия. Но, не желая портить вечер, он решил улыбнуться и простить ей опоздание. Потом Раньеро поставил пластинку с грустной до боли песней Луи Армстронга «On the Sunny Side of the Street» [1]. Он знал, что женщины любят, когда им оказывают знаки внимания — пусть это только пластинка. Словно все у них впервые.

Пошел снег и, лежа в кровати, за стеклами низких окон в свете уличных фонарей они могли видеть, как падают белые хлопья. Топи, песик Марты, как всегда, устроил сцену ревности: стоило хозяйке улечься в постель с Раньеро, как Топи, повизгивая, начинал метаться взад-вперед по комнате. А когда Марта сама громко завизжала, Топи впился зубами в резиновый шланг газовой печки и яростно стал трепать его, пока не сорвал с металлического патрубка.

Расслабленный и удовлетворенный Раньеро, выпростав руку из-под одеяла, лениво потянулся за сигаретами и спичками. Он намеревался проделать все это одной рукой, но, хочешь не хочешь, пришлось ему высвободить и другую, на которой покоилась голова Марты. Вот теперь, наконец, он сможет зажечь спич...

Прохожие на проспекте Сольферино вдруг увидели наверху в темноте вспышку зеленоватого пламени, затем раздался взрыв, во все стороны полетели обломки кирпича, бревен, черепицы, куски штукатурки. Крыша небольшой виллы взвилась в воздух, как пробка из бутылки, и обрушилась градом обломков на платаны и на асфальт. Из виллы, оставшейся без крыши, с воплями стали выбегать люди. Это бомба! Нет, котел парового отопления! Утечка газа! Короткое замыкание! Соседи вызвали по телефону пожарную команду и полицию. На улице стали останавливаться автомобили и велосипеды, образовалась небольшая толпа. Наконец с включенными сиренами прибыли пожарные и полицейские машины.

Раньеро и Марту унесли на носилках: тела их покрывали ожоги первой и второй степени, оба были черны, будто два осмоленных цыпленка. Не прошло и часа, как стали перезваниваться знакомые, по городу поползли сплетни, всем хотелось узнать, что завтра напишет (и напишет ли?) об этом «Гадзетта». В последующие дни стало известно, что «ее» муж (известный хирург) и «его» жена (дочь богатого адвоката) потребовали развода. Придется еще возместить причиненный ущерб, покрыть виллу новой крышей, оштукатурить стены. К счастью, градом обломков не покалечило никого из прохожих. Но ущерб ущербом, а нужно как-то перенести позор — весь город ведь смеется.

У этой истории нет совершенно никаких аналогий в реальной действительности, а у ее героев — прототипов, живущих в Парме. И саму историю, и персонажей придумал я, она — плод моей фантазии. Естественно, в городе найдется много молодых женщин по имени Марта, и

---

[1] «На солнечной стороне улицы» *(англ.)*.

не исключено, что одна из них замужем за хирургом. Уверяю вас — это чистое совпадение. Да и Раньеро — имя весьма распространенное, и если случайно сыщется Раньеро, женатый на дочери адвоката, то вряд ли сойдется и остальное, то есть что он тоже однажды зимним вечером посетил мансарду в районе Сольферино и крыша этой мансарды взлетела на воздух от взрыва газа. Все, конечно, может быть, но и у совпадений есть свои пределы. Песик тоже плод моего воображения, и хотя Топи — всего лишь бессловесная такса, его присутствие необходимо для развития сюжета. Что сталось с этим придуманным мною «персонажем», неизвестно. Меня он интересовал лишь в той мере, в какой это необходимо для сочинения рассказа. Если же кто-то подозревает, что такая история действительно имела место и вызвала в городе пересуды, он может перелистать подшивки «Гадзетты» и внимательно просмотреть страницы городской хроники. Не отрицаю, там можно отыскать факты, чем-то похожие на описанные мною, но ведь известно: в хронике постоянно что-то повторяется. Глупо было бы человеку, придумывающему рассказ, еще и проверять, не произошло ли нечто подобное в действительности.

Так вот, уверяю вас, случай с мансардой придумал я сам — просто захотелось позлословить. Никто же не заставляет меня рассказывать в свое оправдание и о тех личных чувствах, которые побудили меня взяться за перо. Это было бы и неуместно, и неоправданно.

ДОМ ЯГУАРА

В наших краях у каждого дома есть имя. Как у людей. Мой дом в Абу-Даби называется «Домом ягуара», а поскольку я живу в нем с рождения, многие думают, что «ягуар» — мое прозвище. Надо сказать, что название это старое, как сам дом (а он просто древний), и весьма часто встречается в топонимике Берега Пиратов и даже всего Аравийского полуострова. Я не раз задумывался: почему именно ягуар — животное, которое в этих местах не водится? Оно ведь живет в джунглях, а не в пустыне, любит тень, густые кроны деревьев, а не наш песок и солнце.

Объяснение можно найти всему или почти всему. Говорят, в очень давние времена здесь были джунгли; впоследствии человек их вырубил, и на этом месте появились бескрайние орошаемые поля. И еще говорят, что чрезмерная ирригация истощает землю; вода растворяет и вымывает все минеральные соли, то есть именно те вещества, которые делают ее плодородной. Так постепенно, на протяжении веков, обезвоженные и заброшенные земли превращались в пустыню.

По-видимому, еще до того, как началась вырубка этих древних джунглей, там водились дикие звери, в том числе и ягуары. Вот почему название этого животного сохранилось в аравийской топонимике, хотя на всем полуострове вы не сыщете ни одного ягуара. В общем, произошло то же, что и с верблюдами, правда, с ними все было наоборот. Вот скажите, почему в Коране ни разу не упоминается верблюд, хотя в аравийских странах верблюдов полно? А потому, что в основе Корана лежат древнейшие легенды, которые восходят к временам, когда еще не существовало магометанства и полуостров был покрыт лесами, а в лесах, как известно, верблюды не водятся, там водятся ягуары.

Весь этот разговор о лесах и пустынях я завел для того, чтобы вы поняли: у нас, арабов, двойственная натура — мы любим тень, то есть прохладу и свежесть зеленых растений, и любим зной, то есть сухой горячий воздух, пустыню, песок, раскаленный ветром, и жаркое солнце, от которых темнеет кожа и пересыхает во рту. Тяга к лесам европейцу понятна, а вот любовь к пустыне ему кажется непостижимой. Арабы же, на протяжении тысячелетий живущие в пустыне или рядом с ней, научились ее любить. Для некоторых из нас пустыня — как наркотик, без которого мы уже не можем обойтись.

После того как в наших местах нашли нефть, многое изменилось. Буквально свалившееся с неба чрезмерное богатство преобразило жизнь наших городов и селений. Я бы сказал, что в некоторых случаях оно изменило и природную среду. Там, где раньше были только иссушенная земля и песок, сейчас зеленеют деревья и газоны на английский манер. Когда есть деньги, доступно все или почти все. На судах нам доставили из Европы, главным образом из Италии, самую плодородную землю. Вулканическую — из Капуи и каштановую — из Умбрии. Вулканическая почва хороша для всех видов растительности, а каштановая в основном для цветов. Мой сад, разбитый на земле из Умбрии, разросся необычайно пышно, но и у более экономных моих соседей, закупивших землю в Греции, сады тоже хороши. Воду мы берем из артезианских скважин, с глубины двухсот или трехсот метров, а еще глубже, на уровне тысячи метров, уже начинается нефть.

Сейчас здесь, в Абу-Даби, у всех в домах такая приятная прохлада от кондиционеров и густой тени деревьев. В общем, богатство позволило нам удовлетворить древнюю тоску по жизни среди зелени, но это не значит, что мы подавили в себе вторую натуру, то есть нашу любовь к солнцу и пустыне. В моем возрасте — а мне столько лет, что и сказать неловко,— нельзя подавлять в себе голос традиций. Так уж получилось, что прожив с десяток лет в своем искусственном саду, я вдруг ощутил потребность отдать дань и моей второй натуре, «солнечной». Поначалу я, как и мои сограждане, поверил, что этот зеленый цветущий сад — великое благо, радость жизни, но потом осознал, что в глубине души мне все же чего-то не хватает: и прохлады, созданной кондиционерами, и тени деревьев мне мало, они больше меня не удовлетворяют. Короче, однажды я выкинул номер, поразивший моих друзей и сограждан.

Надо сказать, что и здесь, в Абу-Даби, укоренилась заимствованная у европейцев привычка проводить конец недели в загородных резиденциях, в роскошных виллах, построенных на доходы от торговли нефтью. И вот однажды, в субботу, вместо того, чтобы сесть в машину и отправиться на свою загородную виллу, я оседлал коня, купленного несколькими днями раньше на рынке, и двинулся в сторону пустыни Ар-Рималь (что означает на нашем языке «Пески»). За мной следовал автофургон с припасами и стадо коз. Пропутешествовав три часа под солнцем, я с помощью двух молодых крепких слуг прямо на песке разбил шатер. Вечером собственноручно подоил коз, сквасил молоко и сделал творог, поджарил на углях съедобные кактусы и поужинал так, как ужинали наши предки тысячу лет назад. А потом улегся в шатре и крепко заснул. В городе я сплю плохо, беспокойно, а здесь, в пустыне, укрывшись от ночного холода грубыми шерстяными одеялами, я беспробудно проспал до рассвета. Сон, по-моему,— лучший показатель физического и психического состояния человека. Беспокойный сон нередко свидетельствует о каком-нибудь недуге или душевном расстройстве. Когда я в ладу с самим собой и с окружающим миром, мне снятся приятные сны.

Может показаться странным, что в ту первую проведенную в пустыне ночь мне приснилось, будто я попал в чудесный оазис, где растут цветы величиной с зонтик и деревья, усыпанные нежнейшими и сладчайшими плодами. Я вкушал их, сидя в тени огромных цветов, и был счастлив.

С тех пор я стал неизменно проводить конец недели, или, как говорят европейцы, уик-энд, в пустыне со своим конем, шатром и стадом коз, дающих пенистое молоко. Во время таких поездок мне не раз доводилось встречать европейцев с нефтепромыслов: они двигались в противоположном направлении, чтобы провести свой уик-энд в городе. В пустыне мне еще много раз снились пышные деревья, колодцы с ключевой водой, гигантские цветы и бархатистая трава.

Думаю, так я удовлетворил свою двойственную натуру — человека джунглей и пустыни,— натуру каждого из нас. Я имею в виду арабов.

Сначала друзья смеялись надо мной и говорили: посмотрите на этого ненормального — он проводит свой уик-энд в пустыне. Потом кто-то из них решил любопытства ради составить мне компанию, а кто-то — отправился без меня, и теперь я вижу, как по субботам город покидает множество маленьких караванов: люди разбивают шатры в самых засушливых уголках наших пустынь и, если кого-нибудь застигает там песчаная буря, считают, что им ужасно повезло, и, возвратившись, живописуют свое приключение, как матросы, пережившие страшный шторм.

К сожалению, мода губит все — и идеи, и окружающий мир. Сегодня целые семейства выезжают в пустыню на «ленд-роверах» или даже на «кемперах» с холодильником и кондиционером. Козье молоко везут с собой в пластмассовых канистрах, а потом оставляют на песке всякий мусор: грязную бумагу, пластиковые упаковки, банки из-под пива и кока-колы. Короче говоря, загрязняют среду, остававшуюся до сих пор экологически чистой: скоро в пустыне не найдешь и метра нетронутого песка, а мне самому придется брать самолет и лететь на уик-энд в Сахару, что уже делают некоторые мои друзья — любители природы. Говорят, в Сахаре на рассвете, когда первые лучи солнца падают на увлажненный росой песок, можно увидеть радугу.

СЕРЕБРЯНАЯ ГОЛОВА

С некоторых пор со мной творится что-то странное. Сказать-то просто, а вот как это объяснить? У меня испортились отношения с собственным телом, с разными его органами. Начать с того, что я «ощущаю» свою кожу: впечатление такое, будто ты покрыт какой-то странной оболочкой, которая плотно облегает каждый квадратный сантиметр тела, словно перчатка руку. Любой ведь человек, естественно, знает, что у него есть кожа, но, наверное, немногие ощущают ее на себе, как я. Да что там кожа! Точно такие сложности у меня и со всем остальным. Мне кажется, люди не могут постоянно чувствовать, что у них есть печень, селезенка, сердце и так далее, а вспоминают о них только, когда что-то заболит. Конечно, если у человека болит печень, он помимо своей воли будет помнить, что она у него есть, пока боль не уляжется. А вот я о печени никогда не забываю. Чувствую, как мой желудок и кишечник переваривают пищу, как печень фильтрует, а сердце, словно насос, качает кровь. Я ощущаю все свои вены (каждую в отдельности), все мышцы, все косточки. Бывают дни, когда мне приходится специально чем-нибудь отвлекаться, так как мой мозг просто не в состоянии за всем поспеть; я превратился в наблюдателя, неотступно следящего за работой невероятно сложной машины — человеческого организма.

Несколько лет тому назад, спускаясь с горы на лыжах, я налетел на дерево и сломал себе руку и ногу. В больнице мне их привели в порядок, «забив» два стальных гвоздя в бедренную кость и еще два — в плечевую. При выписке из больницы хирург решил меня успокоить и сказал: вот увидите, через неделю вы об этих гвоздях и думать забудете. Но я присутствие их так и не перестал ощущать и ощущаю до сих пор, хотя прошло уже четыре года. Особенно я удивился, заметив, что к этой «осязательной» памяти добавилось еще одно чувство: оказывается, наличие металла в теле не так уж неприятно. Моя чувствительность к этим стальным скрепкам, пожалуй, не уступала по силе даже повышенной чувствительности к собственному живому телу.

После этого несчастного случая я перестал кататься на лыжах и начал гонять на мотоцикле. Носился как сумасшедший по нашим апеннинским дорогам, и все мне говорили: смотри, поосторожнее, а то еще башку разобьешь. И что бы вы думали? Разбил. Мое не подававшее признаков жизни тело подобрали на одном из виражей и доставили в больницу. Чинить разбитую голову дело не из легких, но сегодня хирургия творит чудеса, и спустя четыре месяца я вышел из больницы с боль-

шой серебряной заплатой, которую врачи наложили мне на череп. Этот серебряный колпак стал теперь частью моей головы и тщательно замаскирован волосами, которые не отличить от настоящих. Признаться, я бы не прочь оставить колпак неприкрытым и всячески ухаживать за ним, начищать его, как столовое серебро, но жена решительно воспротивилась этому. Я человек мягкий, сговорчивый и скрепя сердце уступил ее требованию замаскировать металл.

Время от времени я заключал пари с теми, кто не посвящен в мою тайну, и предлагал желающим уколоть мне голову булавкой. И всегда выигрывал. Но стоило объяснить проигравшему, что череп-то у меня серебряный, как в глазах у него появлялось выражение растерянности и даже сочувствия.

В общем, я заключал такие пари, а потом перестал, так как случилась странная вещь: металл постепенно начал приобретать чувствительность. Как бы получше это объяснить? Я говорил кому-нибудь: попробуй, уколи мне голову булавкой, тот безуспешно пытался уколоть, а я вдруг ощущал что-то вроде боли — не физической, реальной, а психической, что ли. По-видимому, металл от продолжительного контакта с нервными клетками в какой-то мере утратил инертность и стал передавать импульсы в мозг, и мне казалось, что я испытываю боль. Рассказывают, что после ампутации конечностей многие ощущают боль в руке или ноге, которых у них уже нет. Это так называемые фантомные боли — явление, хорошо известное специалистам-ортопедам. Вот и моя боль была фантомной.

Тут меня заинтересовало еще одно: хотя зрение мое — лучше не бывает, все же хотелось бы знать, как обстоит дело со стеклянным глазом? Ясно же, что человек не может видеть стеклянным глазом, и его наличие в глазнице выполняет чисто эстетическую функцию. Но один мой друг, который уже много лет пользуется таким протезом, признался, что иной раз, прикрыв здоровый глаз рукой, он стеклянным смутно различает окружающие предметы. Это не значит, что он им видит, но он может умозрительно представить себе вещи, на которые «смотрит» его стеклянный глаз. Разве это не свидетельствует о том, что материя, обычно считающаяся инертной, например, стекло, пребывая в постоянном контакте с человеческим организмом, вдруг приобретает определенную чувствительность, каким-то образом устанавливает связь с нервными клетками и передает им импульсы? Все это из разряда явлений, не признаваемых официальной наукой. Я пытался заговорить об этом с врачами, но всякий раз наталкивался на полное непонимание. Нет, этого им никогда не постичь.

Я не боюсь признаться, что вообще люблю металлы, и горжусь моим собственным серебром и золотом, из которого сделано несколько коронок у меня во рту. Это просто какая-то страсть к металлам. Когда дантист, бывало, спрашивал, какую коронку делать — фарфоровую или пластмассовую, я отвечал: золотую. За исключением, разумеется, передних зубов, все остальное — пломбы, мостики, коронки — по моему настоянию он ставил только из золота.

Пластмассы интересуют меня меньше. Из пластмасс делают искусственные клапаны для сердечной мышцы, новые участки вен и артерий, воссоздают части кишечника и суставы, изготовляют замечательные протезы ног и рук. Я слышал, что многие люди живут с ними, не испытывая никаких неудобств, но мне они не интересны.

Я не раз пытался понять причину — философскую, что ли,— моей тяги к металлам и в конце концов пришел к весьма простому, пожалуй, даже банальному выводу: нас окружает очень твердый мир. Дерево, о которое я сломал руку и ногу, камень, пробивший мне голову, стены домов, мебель, полы, автомобили, поезда, дороги, тротуары, лед — все это твердое, как тверды горы и вообще земная кора. А вот человек — мягок. Я думал об этом беспрестанно и все время возвращался мыслью к своим собственным металлам.

Когда я говорю о том, как мне приятно, что некоторые части моего тела воссозданы в металле, никто меня не понимает. Это естественно. Чтобы понять, прежде всего нужно все испытать на себе. Но и этого мало. Надо прочувствовать все «физически». Я имею в виду особую чувствительность организма, к которой, разумеется, нужно иметь предрасположенность, но которую можно развить путем упражнений. Такая чувствительность позволяет сосредоточивать внимание то на одной, то на другой части тела, но с течением времени она может распространиться на весь организм и стать автоматической. Когда я вышел из больницы с серебряным колпаком, я ощущал на поверхности металла что-то вроде легкого зуда, но как ни странно, зуд этот сразу же стал доставлять мне удовольствие. Не знаю, как лучше объяснить: помимо воли все мое внимание сосредоточилось на этом металле, словно он стал какой-то привилегированной частью моего организма, этакой дарованной свыше благодатью. Вероятно, я преувеличиваю, но у меня появилось желание все части моего тела сделать металлическими. Да. А хирург, прощаясь, еще назвал мои четыре гвоздя «инородными телами»!

Сказав, до какой степени я неравнодушен к металлам, вживленным в человеческое тело, должен честно признаться и в некоторых неудобствах. Например, когда находишься долго на солнце с непокрытой головой, серебро — а оно, как известно, отличный проводник тепла — раскаляется и начинает припекать мозг. Это очень неприятно и, пожалуй, даже опасно. Врач прямо так и объявил: не будешь беречься, можешь чего доброго и с ума сойти. Вот уж что мне совсем ни к чему...

Сосуществование с металлами создает, конечно, и проблему равновесия между металлическими деталями и остальными частями тела. Есть и другой неприятный момент. Это когда металлических деталей несколько и они, как бы точнее выразиться, еще не скоординировались. Признаюсь, поначалу я становился в тупик, не знал, как лучше отрегулировать мое сосуществование с металлами. Надо учесть, что мой личный опыт был результатом травм: сначала сломанные рука и нога, потом проломленная голова, а это и болезненно, и опасно. Если бы я поставил себе серебряный колпак не после несчастного случая, все было бы гораздо проще. Но сегодня не найдется хирурга, который взялся бы за операцию такого рода: нет пациентов, а раз нет спроса, нет и предложения.

Вообще-то человек, даже не подозревая, завидует машинам, особенно тем, в которых можно заменять детали по мере их поломки и изнашивания. Но очень немногие отдают себе в этом отчет. Нужно начать пропагандировать такую подавляемую нами тягу, учиться осознавать ее. Что до меня, то я хотел бы быть металлическим весь — с головы до пят. Стороннему человеку подобное заявление покажется абсурдным, но я думаю, что в будущем, притом не столь уж отдаленном, многим людям удастся превратиться в сверкающие машины. Вот открыл душу вам и заметил, что трусливо прибегаю к иносказанию. Признаться, я чертовски боюсь слов. А все очень просто: мне хочется стать роботом, и я думаю, что в не столь отдаленном будущем многие люди станут ими.

Должен сразу же оговориться. Прежде всего под этим словом я подразумеваю именно механический, металлический робот, еще более умный, чем те, о которых пишет в своих книгах Азимов, в общем робот «очеловеченный». Я не желаю отказываться от собственной индивидуальности, хочу остаться самим собой. Если придется отказаться от моего «я», мне все это будет уже не интересно. Некоторые люди мечтают летать, как птицы, я даже знал типа, желавшего стать крокодилом. Одному моему приятелю время от времени хочется быть Наполеоном, так почему мне нельзя стать роботом?

Как-то я попытался прозондировать почву на этот счет в разговоре с женой. Я описывал, разумеется, все «в общих чертах», говорил: подумай только, как хорошо было бы нам превратиться в металлических роботов — на транзисторах, с электродами, управляющими нашей жиз-

недеятельностью, и так далее. А она давай смеяться. Но, поняв, что я говорю серьезно, разозлилась. «Ты и так весь в металлических заплатах,— заявила она,— остается приделать тебе еще одну металлическую штуковину, и будет полный порядок». Вообще моя жена за словом в карман не лезет, а иногда говорит даже дельные вещи. Признаюсь, эту деталь я как-то упустил из виду. Интересно, а как решается проблема любви у роботов? Вообще-то обладать такой железной штуковиной было бы совсем недурно, хотя для этого дела больше подходит не железо, а более мягкие и пластичные металлы — латунь, например, бронза или медь: они не ржавеют, и их скольжение не сопровождается чрезмерным трением и неприятным скрежетом. Не зря же их используют в водопроводных кранах и в насосах. Пришлось прервать наш разговор, а то и до развода дело могло дойти.

Но я не перестал вынашивать свою идею, лелеять эту мечту. Если правда, что природа любит аналогии, то человек, являющийся частью природы, должен взяться за производство чего-то себе вполне подобного, но более простого, а главное — более твердого. Простота и твердость — вот что больше всего привлекает меня в роботах при сравнении их с человеческим телом. Металлы — сверкающие, прочные, небьющиеся, тепло- и морозоустойчивые, а человеческие органы — мягкие, подверженные порче: достаточно укола булавки подлиннее, чтобы убить даже самого сильного на земле человека.

Я сломал бедро и плечевую кость и получил свои четыре стальных гвоздя. Потом я разбил голову, и у меня появился серебряный колпак. Мне этого мало, я неудовлетворен. Я чувствую себя хрупким и уязвимым в нашем мире, состоящем из твердых, каменных, враждебных и упрямых вещей, из выпирающих отовсюду жестких углов. Даже в Библии сказано, что плоть человеческая слаба — и это не просто метафора, там говорится еще, что она превращается в прах, в ничто. Я не хочу превратиться в прах. Я хочу быть целиком металлическим, блестящей металлической машиной, способной противостоять жесткости мира.

Критика

ТОМ ВУЛФ

ОХОТА НА МИЛЛИАРДНОНОГОГО ЗВЕРЯ

Да будет мне позволено взять в качестве эпиграфа мой собственный текст из четвертой главы «Костров амбиций». Главный персонаж романа Шерман Мак-Кой едет по мосту Трайборо в спортивном «мерседесе», рядом, на светлом кожаном сиденье,— двадцатишестилетняя подруга (а не сорокалетняя жена), и он с гордостью смотрит влево, где открывается вид на Манхэттен. «Небоскреб к небоскребу, прямо чувствуется вес и мощь. Сколько народу во всем мире мечтает очутиться на этом острове, на его узких улицах, в его умопомрачительных небоскребах! Вот он — Рим, Париж, Лондон XX века, город честолюбивых стремлений, магнитная скала, властно влекущая всех, кто борется за право быть в центре событий...»

На мой взгляд, написать об этом поразительном мегаполисе большой роман, чтобы он вместил под своей обложкой, по возможности, весь Нью-Йорк,— самая заманчивая и самая трудная задача, естественно встающая перед американским писателем. Впервые такой замысел возник у меня в 1968 году, хотя тогда я имел в виду не художественный, а документальный роман, если воспользоваться многократно оспоренным термином, изобретенным в те годы. Я как раз закончил работу над произведением в этом жанре — «Наркотический тест с электризованным прохладительным напитком» — о психоделическом движении хиппи и стал предаваться крамольным мыслям о документальном репортаже как одном из видов художественной прозы. Эти мои размышления позже составили книгу, которую я назвал «Новый журнализм». Но по секрету признаюсь, один в своей квартирке на Пятьдесят восьмой улице Ист-Сайда я испытывал тайные опасения, что, наверно, кто-то уже сидит и пишет большой реалистический художественный роман о хиппи и эта книга, конечно, перечеркнет мой «Наркотический тест». Кто-то? Может быть, даже и не один, а многие. Ведь в среде хиппи было немало людей образованных, а уж творческими натурами они провозглашали себя чуть ли не все. Но прошел год, два, три, четыре — и, к моему вящему облегчению, переходящему в недоумение, книги эти не появлялись. И не появились до сих пор.

Наконец я обратился к задуманному документальному роману про Нью-Йорк. По моему замыслу, это должен был быть именно роман о городе, как Бальзак и Золя писали о Париже, а Диккенс и Теккерей — о Лондоне, город у них всегда на переднем плане, всегда оказывает жесткое воздействие на души его обитателей. Непосредственным образцом я выбрал «Ярмарку тщеславия». Теккерей и Диккенс жили в первую великую эпоху мегаполисов. Теперь, столетие спустя, в 1960-е годы, взаимодействие неких могущественных сил положило начало второй такой эпохе. В 60-е годы целое десятилетие подряд длился без каких-либо признаков спада экономический бум, начавшийся еще в середине второй мировой войны. Стабильное процветание породило иллюзию полной защищенности, и нормы, действовавшие на протяжении тысячелетий, были отброшены в угаре скотского, беспамятного веселья. Одним из результатов этого оказалась так называемая сексуальная революция — название, которое я лично считаю изящным эвфемизмом для зловещей свистопляски, происходившей на самом деле.

Косвенным образом этот бум повлек за собой еще одно явление: открытый расовый конфликт. Подспудно взаимное озлобление кипело и варилось в больших городах еще со времен великого исхода с аграрного Юга в 20-х годах. Но в середине 60-х дошло до взрыва — последовала серия расовых беспорядков, сначала в Гарлеме (1964) и Лос-Анджелесе (1965), потом в Детройте (1967) и пик — в Вашингтоне и Чикаго в 1968 году. Эти беспорядки и могли произойти только в 60-е годы. Федеральное правительство предприняло тогда кампанию «Война с бедностью», основанную не на милостыне для неимущих, а на так называемых Программах общественного действия. Это было нечто новое в истории политических наук. Правительство предлагало жителям трущоб для улучшения их положения восстать против системы и, в частности против самого правительства.

Статья была опубликована в сборнике «Лучшие американские эссе». Нью-Йорк, 1990.

А правительство предоставит для этой цели деньги, помещения и инструкторов. И жители трущоб не заставили себя умолять. Правда, уличные беспорядки были лишь крайностями этого движения. Обычной же его формой являлась конфронтация. «Конфронтация» — вообще термин 60-х годов. И недаром местом, где были сформулированы десять пунктов программы «Черных Пантер», самой воинственной из конфронтационных групп Америки, был Центр борьбы с бедностью в Норт-Оклендe. Центры борьбы с бедностью для того ведь и предназначались.

Таков был общий фон в январе 1970 года, когда я был приглашен на прием, который давали в своей квартире на углу Парк авеню и Семьдесят девятой улицы Леонард Бернстайн и его жена Фелиция. И давали именно в честь «Черных Пантер». Я надеялся почерпнуть там материал для одной из глав задуманной мною документальной «ярмарки тщеславия» о Нью-Йорке. Но действительность значительно превзошла мои ожидания. Потому что на этом приеме поднялся один из фельдмаршалов «Черных Пантер» и, опершись о *северный рояль* — в этом доме имелся еще и *южный* рояль,— разъяснял свои десять пунктов, а они, пьянея от nostalgie de la boue[1], слушали, как им расписывают мир после революции, в котором больше не будет таких вот двухэтажных тринадцатикомнатных квартир с двумя роялями — на одну семью.

Как я сказал, меня интересовал лишь определенный материал для документального романа. Но мне представилась такая изумительно характерная картина, что я не удержался и написал очерк для «Нью-Йорк мэгэзин», который озаглавил «Радикальный шик», и в дополнение к нему — статью «Людоеды против бомбардировщиков» на тему о конфликтах, порожденных «Войной с бедностью» в Сан-Франциско. Оба эти материала были изданы осенью 1970 года отдельной книгой. И снова я с опаской ждал, что вот-вот появятся крупные реалистические произведения на тему о расовой вражде в больших городах, этом важном факторе американской жизни конца 60-х — начала 70-х годов. И снова проходили годы, а эти произведения не появлялись.

Теперь, впрочем, мое чувство облегчения было не столь глубоким. Задуманная мною большая книга про Нью-Йорк все еще не была написана. Я вынужден был немного отложить работу над нею. В 1972 году пришлось отложить опять. Я отправился на мыс Канаверал освещать запуск «Аполлона-17», последний в серии полетов на Луну, для журнала «Роллинг стоун». В конце концов, я написал четырехчастный репортаж об астронавтах, а потом решил потратить еще месяцев пять-шесть и сделать книгу. Пять-шесть месяцев растянулись на год, полтора года, два года, и я уже озирался через плечо: стало известно, например, что Трумэн Капоте пишет большой роман о Нью-Йорке под заглавием «Услышанные молитвы». И наверняка не он один. Уж очень богатый материал, и день ото дня становится богаче.

Но еще год прошел... а обещанного романа почему-то все не было.

Тут я решил остановиться, оглядеться вокруг и выяснить, что, собственно, происходит в мире американской литературы? Оказалось, что я не одинок. Половина издателей на Мэдисон авеню — в то время издательским компаниям еще по карману были помещения на Мэдисон авеню,— прилипнув носами к своим окнам во всю стену, высматривали на улицах миллиардноногого города приближение молодых романистов, которые принесут им толстые романы о расовых конфликтах, движении хиппи, новых левых, буме на Уолл-стрит, сексуальной революции, войне во Вьетнаме. Но таких романистов словно бы больше не существовало на свете.

Дело в том, что молодых писателей, ставящих перед собой серьезные литературные задачи, перестали интересовать мегаполисы и вообще большие сочные куски современной действительности. Странно, но факт. За те последние пятнадцать лет, что я был погружен в журналистику, в истории американской литературы началась новая и совершенно удивительная глава (которая не кончилась до сих пор). Создалась ситуация неожиданная и курьезная; когда-нибудь удачливый докторант проявит трудолюбие Хёйзинги или Хаузера и исследует ее досконально. Я же могу сделать лишь самый общий обзор.

В сороковых годах, после второй мировой войны, в среде американских интеллектуалов стала возрождаться мечта, мимолетно проблеснувшая еще в двадцатые. Им хотелось создать американскую интеллигенцию по образцу французской или английской, своего рода интеллектуальную аристократию,— вне социальных зависимостей, вне классовых различий, со сферой деятельности в политике и искусстве. В искусстве ее аудиторией должно было стать неизбежно малочисленное меньшинство по-настоящему образованных людей, в противоположность толпе, которая жаждет лишь, чтобы ее развлекали и поддерживали в приятном сознании собственной «культурности». Теперь, если угодно, толпу называют средним классом.

Американские интеллигенты подхватили модную европейскую идею о том, что «роман умер», подразумевается: роман реалистический. Лайонел Триллинг еще в 1948 году придал этой мысли позднемарксистское направление, по которому впоследствии пойдут дальше Джордж Стейнер и другие. Реалистический роман, согласно их теориям,— это дитя промышленной буржуазии середины XIX века. Он представляет собой срез действительности, правдивую и яркую картину жизни человека и общества — но лишь в условиях буржуазного порядка и старой классовой системы. Ныне же, когда буржуазия находится в «состоянии кризиса и частичного разгрома» (выражение Стейнера) и старая классовая система рушится, реалистический роман теряет смысл. Кому нужен срез рассыпающейся груды обломков? А интеллигенция, как ухитрялся

[1] Тоска по первобытной грязи *(франц.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*

доказывать Арнольд Хаузер в своей «Социальной истории искусства», на самом деле всегда презирала реалистический роман — жанр, связанный с копанием в грязи будничной жизни и в грязных тайнах классовой ненависти, вдобавок легко доступный пониманию и отвечающий вкусам толпы, то есть среднего класса. В викторианской Англии интеллигенция считала Диккенса «писателем для необразованной, темной публики». Понадобилась пропасть времени, ни много ни мало — восемьдесят лет, чтобы отделить сами произведения от грубого мира, в котором живут их персонажи, после чего Диккенс был канонизирован в британских литературных кругах. Интеллигенция всегда отдавала предпочтение более утонченным художественным формам, таким, скажем, как ее многолетний фаворит — французский психологический роман.

В начале 60-х мысль о смерти реалистического романа была подхвачена пишущей американской молодежью, словно некое божественное откровение. Это был полный поворот кругом. Кажется, еще только вчера, в тридцатые годы, большой реалистический роман с его широким социальным захватом впервые вывел американскую литературу на международный уровень. В 1930 году Синклер Льюис, реалистический романист, пользовавшийся такой же скрупулезной репортерской техникой, как в свое время Золя, первым в американской литературе получил Нобелевскую премию. В своей Нобелевской речи он призвал коллег-писателей дать Америке литературу, которая была бы достойна ее грандиозности, и четверо из пяти последующих американских писателей — нобелевских лауреатов — Перл Бак, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй и Джон Стейнбек — действительно принадлежали к реалистическому направлению. (Пятым был Юджин О'Нил.) Да и наиболее заметные новые романисты послевоенного поколения — Джеймс Джонс, Норман Мейлер, Ирвин Шоу, Уильям Стайрон, Колдер Уиллингем — были все реалистами.

Тем не менее в 1962 году, когда Нобелевская премия была присуждена Стейнбеку, молодые литераторы и вообще интеллектуалы уже относились к его творчеству с сомнением. Перл Бак считалась и того хуже, да и Льюис тоже, на их взгляд, мало чего стоил. Фолкнер и Хемингуэй, правда, еще пользовались уважением, но это было уважение к старикам, с которых что же взять — делали что могли в свои допотопные непросвещенные времена. Наивные «квадратные люди» (термин Джона Гарднера), всерьез верившие, что можно взять кусок реальной жизни и намазать на страницы книги. Им невдомек было, что роман — это тонкая литературная игра.

А вот серьезные молодые писатели — «серьезные» в смысле стремящиеся завоевать литературный престиж — это отлично понимали и спешили разделаться с реалистическим романом кто как исхитрится. Демаркационной линией стал 1960 год. Пишущей братии, обучавшейся в колледжах после 60-го года, тут все было ясно. Чтобы оставаться тогда на позициях реализма, от молодого серьезного писателя требовались отвага и упрямый нонконформизм.

Те же, кто учился до, например, Сол Беллоу, Роберт Стоун или Джон Апдайк, затруднились отойти от реализма. И были еще многие, застрявшие как бы посредине, не зная, куда податься. Например, Филип Рот, выпускник Бакнелла 1954 года, в 1960 году, двадцати семи лет от роду, получивший Национальную книжную премию за сборник рассказов «Прощай, Коламбус». Название сборнику дала блестящая нравоописательная новелла, которая в высшей степени реалистична. Но к 1961 году взгляды Рота изменились. Он сделал заявление, оказавшее огромное воздействие на других молодых писателей. Мы живем в такую эпоху, провозгласил он, когда воображение романиста бледнеет рядом с тем, о чем мы завтра прочтем в утренних газетах. «Действительность постоянно превосходит нашу творческую фантазию, культура при ежедневном встряхивании образует такие прихотливые узоры, что сочинителю остается только завидовать».

Даже сегодня — может быть, сегодня в особенности — с этим согласится всякий, писатель или не писатель, не важно. Разве какой-нибудь романист отважится сочинить, к примеру, такой сюжет: телевизионный евангелический проповедник с Юга застигнут в мотеле во время любовного свидания с церковной секретаршей из Вавилона, штат Нью-Йорк — еще и вавилонская, надо же! В результате вся карьера его рушится, он разорен и вынужден распродать свое земное имущество, включая собачью конуру с кондиционером — конура с кондиционером! Его обозвал «развратным помпадуром» другой телепроповедник, о котором мы вскоре узнаем, что он, мелко завив свою поповскую гриву и надев для маскировки налобную повязку, появляется в приморских мотелях Луизианы в обществе самых что ни на есть активно функционирующих проституток — ну, это уж слишком! А третий телевизионный евангелист, имеющий реальные шансы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, считает возможным по данному поводу заявить, что этот компромат попал в прессу стараниями вице-президента Соединенных Штатов, между тем как вышеупомянутая церковная секретарша, обнажив бюст перед фотокамерами, становится международной знаменитостью и отныне счастливо проживает в сказочном замке «Чертог Плейбоя»... а ее бывшего любовника, евангелиста номер один, последний раз видели прячущимся в эмбриональной позе под кушеткой у адвоката в Шарлотте, что в Северной Каролине...

Какой романист осмелился бы нагромоздить столько фантастических измышлений, да еще ждать, чтобы ему поверили? Урок, который целое поколение серьезных молодых писателей вынесло из жалобы Рота, таков: пора обратить взоры в другую сторону. Писать реалистические романы такого масштаба, как Бальзак, Золя или Льюис, бессмысленно. К середине 60-х укрепилось убеждение, что не только реалистический роман теперь невозможен, но и сама американская жизнь больше не может считаться «реальной». Американская жизнь хаотична, разорвана, алогична, беспорядочна — одним словом, абсурдна. На уни-

верситетских семинарах по литературному творчеству молодые писатели вели долгие философские дискуссии, в которых доказывали, что реальность — это нанесение слов на бумагу, а так называемая американская действительность — это вымысел, в который почти невозможно поверить. «Так называемая действительность» — стало расхожей фразой.

Волна за волной начали появляться новые типы романа, и каждый был попыткой занять авангардные позиции за гранью реализма. Писались романы абсурда, романы в духе магического реализма, романы «полностью разомкнутых связей» (выражение романиста и критика Роберта Тауэрса), где правдоподобные события и правдоподобные характеры подаются в фантастических и противоестественных комбинациях, часто приводящих к ужасным катастрофам, которые изображаются в ироническом ключе и вызывают хохот. Иронический подход считался высшим подходом, что особенно характерно для романа марионеток — категории, которая часто накладывалась на прочие. Авторы романов марионеток, кукловоды, особенно любили утверждать, что роман — это прежде всего литературная игра; романист, играючи, просто раскидывает слова по страницам. Рональд Сукеник, автор широко расхваленного романа «Верх» (1968), сообщает читателям, как он выглядит в ту минуту, когда пишет данные строки. В каком-то месте вы узнаете, что он сидит в чем мать родила. В другом он ставит вас в известность о том, что вычеркивает и исправляет читаемые вами слова. И знакомит с новым вариантом. В рассказе под названием «Смерть романа» он все время повторяет: á la Сэмюэл Беккет: «Дальше не могу». Понукает себя: «Давай, давай дальше». И действительно, рассказывает дальше. В конце «Верха» он объявляет, что ни одно из действующих лиц реально не существует: «Я все это придумываю на ходу».

Авторы-кукловоды стали называть свои книги «вымыслами» в подражание Хорхе Луису Борхесу с его ficciones. Аргентинец Борхес сделался богом молодого поколения американских литераторов. Теперь, в соответствии с космополитическими устремлениями интеллигенции, все боги у нас — иностранцы: Борхес, Набоков, Беккет, Пинтер, Кундера, Кальвино, Гарсиа Маркес и, превыше всех, Кафка; хлынул целый поток книг, где герои обозначаются буквами H, или V, или T, или P (но почему-то никогда не A, B, D или E). Дошло до того, что на преподавателя литературного творчества в университете Джонса Гопкинса, назвавшего Льва Толстого мастером романа, его молодые слушатели уже смотрели как на умилительно отставшего от жизни чудака. Как объяснял потом один из них, Фредерик Бартелм: «он толковал нам о Льве Толстом, когда мы были поглощены Лоренсом Стерном, Францем Кафкой, Итало Кальвино и Габриэлем Гарсиа Маркесом. Габриэль Гарсиа Маркес был даже уже пройденный этап».

К 1970 году стали отбрасывать не только реализм, но и все, что с ним связано. Один из самых широко расхваливаемых представителей нового направления, Джон Хоукс, говорит: «Я начинал писать в твердом убеждении, что главными врагами романа являются: фабула, характеры, обстановка и тема». Самая радикальная группа, так называемые неофабулисты, решила вернуться к первобытным истокам литературы, к блаженным временам до реализма с его зловредными влияниями, к мифу, притче, легенде. В этом духе начинали Джон Гарднер и Джон Ирвинг, но неоспоримым вождем их направления был Джон Барт. Он выпустил книгу, состоящую из трех повестей, под общим названием «Химера», где излагались дальнейшие приключения Персея и Андромеды, а также некоторых других персонажей из греческой мифологии. Эта книга получила Национальную книжную премию США за 1972 год.

Другие неофабулисты писали современные притчи в духе Кафки, где действие если и происходит, то непонятно где. Не скажешь даже, в каком полушарии. Просто некая условная сцена — пустыня, или лес, или открытое море, или заснеженные просторы. Персонажи не имеют своей среды, являются неизвестно откуда, произносят ненатуральные речи. В том, что́ они говорят, как поступают, чем владеют, не просматривается никаких признаков классовой или этнической принадлежности. И прежде всего неофабулисты избегают изображать сильные и простые чувства и переживания, в чем был особенно силен реалистический роман, потрясавший души такими сценами, как смерть крошки Нелл в «Лавке древностей». Полная анестезия — вот правило даже для подобных эпизодов. Мотив бесчувственности и одиночества становится одним из основных в серьезной литературе 70-х годов. А вот минималисты, известные также как «мелочные реалисты», описывали реальные ситуации, но микроскопические, какие-то мелкие домашние случаи где-нибудь в глуши, по соседству от деревенского водопроводного резервуара. И писали нарочито невыразительно, простыми, наивными короткими предложениями, совершенно выключая чувства, как бы под новокаиновой блокадой. Мой любимый минималистский зачин — это первая фраза в рассказе Роберта Кувера: «Чтобы приступить к делу, он поселился один на острове и застрелился».

Многие из этих прозаиков работали с блеском. Это были настоящие виртуозы. В своих узких пределах, которые они сами себе поставили, они выделывали такие чудеса, что и вообразить трудно. Но что за безлюдный остров они себе избрали для обитания? Ведь им, нам всем выпало жить в век, который — как его ни оценивай — приходится считать американским, в век, в котором мы оказались самой могучей военной державой за всю историю, и в наших силах простым поворотом двух цилиндрических ключей в ракетном бункере взорвать весь мир, а взорвав, покинуть землю на звездолетах. Нам выпало присутствовать при том, как впервые с начала времен человек сумел наконец вырваться из объятий земного притяжения и устремился исследовать остальное пространство. И вдобавок ко всему этому мы еще создали изо-

билие, которое распространилось на все слои. Мастеровые и торговцы живут сейчас так, что от такого богатства у Короля-Солнца глаза бы на лоб полезли; и сегодня в книгах неофабулистов и минималистов любой электрик, или механик по кондиционерам, или слесарь, ремонтирующий установки электрической охраны в квартирах, вполне может оказаться где-нибудь на Сент-Китсе, Барбадосе или Пуэрто-Вальярте, одетый в рубашку с портретом Гарри Беллафонте, расстегнутую чуть не до пупа, чтобы видны были поблескивающие в волосах на груди золотые цепочки, сидеть себе на террасе со своей третьей женой и пить минеральную воду в ожидании, пока подадут обед...

Какое богатое угощение разложено перед каждым писателем Америки! Кто сможет удержаться? Лично я не мог.

В 1979 году, завершив наконец работу над книгой об астронавтах «Высокая проба», я снова вернулся к мысли о романе про Нью-Йорк. Теперь я решил, что это будет не документальный роман, а художественный. Отчасти, я думаю, меня подталкивало любопытство, вернее, тайное сомнение, донимавшее в глубине души, я думаю, всех писателей, экспериментировавших на протяжении последних десяти—пятнадцати лет в области документального жанра: может, тебе просто слабó принять вызов эпохи и написать настоящий Роман? Но на уровне сознательного я просто стремился кое-что доказать. В 1973 году в «Новом журнализме» я сформулировал некое пророчество и теперь хотел, чтобы оно осуществилось. Я утверждал, что будущее художественного романа — это скрупулезнейший реализм, основанный на репортаже, реализм, гораздо более достоверный, чем все, что сейчас пишут, реализм, показывающий личность в тесной, нерасторжимой связи с окружающим обществом.

Одна из аксиом литературной теории семидесятых годов состояла в том, что реализм — это всего лишь «формальный прием в ряду многих, а вовсе не универсальный способ обработки жизненных впечатлений», как выразился редактор «Партизан ревью» Уильям Филлипс. Я же был убежден — и только еще утвердился с тех пор в своем мнении,— что на самом деле все как раз наоборот. Когда в XVIII веке в литературу с книгами Ричардсона, Филдинга и Смоллетта пришел реализм, это было как появление электричества в технике. Повседневный реализм типа ричардсоновского оказывал на чувства такое воздействие, какого еще не ведали прежде, именно реализм придает то «захватывающее, поглощающее» качество, которым так отличается роман,— качество, позволяющее читателю ощущать себя втянутым не только в описываемую ситуацию, но прямо в мысли, в нервную систему персонажей. Никто никогда не проливал слезы над злосчастной судьбой героев и героинь Гомера, Софокла, Мольера, Расина, Сиднея, Спенсера или Шекспира. Но даже сам безупречный лорд Джефри, издатель «Эдинбургского обозрения», признался, что плакал — рыдал в голос, взахлеб, всхлипывал и стонал,— читая описание смерти крошки Нелл в «Лавке древностей». Писателю в погоне за новыми приемами письма отказаться от такого способа воздействия на читательские души — все равно что инженеру, разрабатывающему новую, современную технологию, для начала отказаться от электричества на том основании, что в предшествующее столетие им слишком щедро пользовались все кому не лень.

Одной из специфических черт реалистического романа начиная с Ричардсона был показ воздействия общества на личность, даже на самые интимные стороны ее жизни. Прав был Лайонел Триллинг, когда в 1948 году сказал, что великие литературные характеры в европейском романе XIX века возникли там, где «черты класса воплощаются в конкретной индивидуальности». Но дальше он доказывает, что, поскольку теперь старая классовая структура разрушена, особенно в Соединенных Штатах, этот способ оказался не нужен. И опять я бы возразил, что как раз все наоборот. Если в формуле Триллинга «класс» заменить «статусом», то такая техника даст очень точное изображение внутренней жизни индивидуума. Тем более если описывается современный большой город. Глупо, по-моему, думать, будто можно изобразить личность в современном городе, не изобразив при этом самого города.

Когда у Фолкнера как-то спросили, какие три романа он бы порекомендовал в первую голову вниманию начинающих писателей, он якобы ответил: «Анна Каренина», «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Но что лежит в основе не только личных драм, но всей психологической ситуации в «Анне Карениной»? Мысль Толстого о конфликте между сердцем и общественным устройством. Рассказы о переживаниях Анны, Вронского, Каренина, Левина и Китти выглядели бы просто как растянутые любовные истории, если бы Толстой не поместил их на широком фоне российского общества. Их поражающие иррациональностью поступки — это порывы сердца, доведенного до крайности давлением общества.

Триллинг бы тут, должно быть, сказал: «Ну, конечно,— черты класса, воплощенные в конкретной индивидуальности». Персонажи Толстого являются субстанциональными характерами («субстанциональный» — еще один излюбленный термин Триллинга) именно потому, что общество тогда было четко разделено на классы, каждый со своей особой культурой, со своими традициями. А в сегодняшнем Нью-Йорке, сказал бы Триллинг, Анна бы просто-напросто переехала к Вронскому, знакомые преспокойно внесли бы соответствующие исправления в адресные книги, а по случаю рождения ребенка — если бы они надумали все же рожать — появилась бы разве что пара язвительных намеков в разделах светской хроники. Это верно, подтвердил бы я. Структура общества изменилась. Но стратификация даже и не думала исчезать. Существование различных статусов в обществе причиняет сегодня неисчислимые страдания Аннам и Вронским Ист-Сайда,— и Ленинграда, кстати сказать, тоже. Кто в этом сомневается, пусть пойдет и познакомится с ними лично.

Американское общество сегодня ничуть

не более и не менее хаотично, разорвано, алогично и абсурдно, чем русское, французское или английское общество сто лет назад, как ни соблазнительно писателю для простоты думать иначе. Оно всего лишь стало многообразнее и сложнее и труднее поддается схематизации. В Прологе к «Кострам амбиций» есть монолог мэра, который он мысленно произносит, когда группа демонстрантов сгоняет его с трибуны в Гарлеме. Он размышляет обо всех богатых белых жителях Нью-Йорка, которые в это время сидят, отгороженные стенами своих кооперативных квартир, и наблюдают происходящее по телевизору. «Думаете, этот город по-прежнему ваш? Разуйте глаза! Величайший город XX века! Никакими деньгами вам его не удержать! Спуститесь на землю из своих кооперативных апартаментов, вы, юристы и бизнесмены. Внизу давно уже третий мир. Пуэрториканцы, вестиндийцы, гаитяне, доминиканцы, кубинцы, колумбийцы, гондурасцы, корейцы, китайцы, сиамцы, вьетнамцы, эквадорцы, панамцы, филиппинцы, албанцы, сенегальцы и афро-американцы! Посмотрите, где проходит граница, вы, трусливые счастливчики! Морнингсайд-хайтс, Сент-Николас-парк, Уошингтон-хайтс, Форт-Трайон — por qué pagar mas![1] Вот и Бронкс — Бронкс уже вами утрачен» — и так далее. Нью-Йорк, да в сущности и любой другой крупный город в Соединенных Штатах, сейчас подвергается глубокой перестройке. В страну хлынула четвертая большая волна иммигрантов, на этот раз из Азии, Северной Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна. Через каких-нибудь десять лет политическая власть в крупных американских городах неизбежно перейдет к не-белому большинству. Что же, жизнь в этих городах станет уж совсем уму непостижимой, действительно совершенно бессмысленной? Я полагаю, что нет. Просто-напросто труднее сделается задача писателя, который захочет исследовать, какие именно силы давят на сердце индивидуума, белого и не-белого, живущего в мегаполисе в последнее десятилетие XX века.

Эта задача, как мне представляется, требует обращения к репортажу. Я считаю репортаж одним из самых действенных и недооцененных инструментов, имеющихся в распоряжении писателя, работающего как в книге, так и для кино, театра или звукозаписи. Молодым писателям постоянно твердят: «Пишите о том, что знаете». Против этого, как исходного правила, возразить нечего, но оно очень быстро приобретает преувеличенную форму неоспоримой максимы: единственное знание — это то, что ты лично пережил.

Эмерсон говорил, что у каждого человека имеется материал на интересную автобиографию, важно только, чтобы он понимал, какие именно обстоятельства им лично пережиты. Но Эмерсон не говорил, что у каждого человека есть материал на *две* автобиографии. Диккенс, Достоевский, Бальзак, Золя и Синклер Льюис считали, что романист должен выходить за рамки своего личного опыта и вторгаться в общество как репортер. Золя называл это «документализмом», и его «документалистские» — с репортерским блокнотом в руках — экспедиции в трущобы, в угольные шахты, на ипподромы, в кабаре, универсальные магазины, на городские рынки, в газетные редакции, в хлебные амбары, на железнодорожные станции, в паровозные депо — стали легендарными. Льюис, задумав «Элмера Гентри», где он не просто изобразил одного безнравственного святошу-евангелиста, но и дал обобщенный портрет протестантского священнослужителя в ту эпоху, когда они задавали моральный тон во всей Америке,— оставил свой дом в Новой Англии и переехал в Канзас-Сити. Там он организовывал для пасторов кружки по изучению Библии, произносил проповеди с церковной кафедры во время летних каникул, присутствовал на молитвенных собраниях, миссионерских лекциях, церковных съездах, занятиях в семинариях — и все время, день за днем, делал записи на специальных карточках размером пять на восемь.

Именно таким способом, благодаря тщательному «документализму», Льюис на 60 лет предвосхитил скандал с Джимом Беккером и сумел придать своему придуманному персонажу полное историческое и психологическое правдоподобие. Посмотрите две заключительные главы «Элмера Гентри». Там мы видим, как великого проповедника Элмера застигают во время любовного свидания с... церковной секретаршей (по имени Хетти Доулер)... а она оказывается в сговоре с хитрым проходимцем-адвокатом... и они на пару шантажируют Элмера, вымогая весьма внушительную сумму за неразглашение, которую он им с радостью и выплачивает. Однако с помощью друзей ему удается все обернуть в свою пользу и добиться оправдания и реабилитации в глазах людей и в прессе. На последней странице читаем, как воскресным утром Элмер на коленях стоит перед прихожанами возле кафедры, возведя очи горé и служа перед грудью ладони в Дюреровской позе, и как, проливая потоки слез, он громогласно благодарит Господа за избавление от аспидов. А кончается книга тем, что он вдруг замечает среди певчих прибавление — «барышню со стройными лодыжками и озорным взором».

Можно ли утверждать, что самым уважаемым американским прозаиком 20-х годов Льюис сделался благодаря методу репортажа? Нет, конечно. Однако богатейший материал, собранный методом репортажа, позволял ему разобраться, как правило очень глубоко и точно, во всем многообразии душевной жизни людей и в сложной статусной структуре общества. Сформулировав эту мысль, я сейчас открою секрет, известный, я думаю, каждому автору, хотя до сих пор, кажется, никто в этом не признался. Молодой писатель, избирающий поприще литературы потому, что у него есть своя мысль, своя тема, потому что ему «есть что сказать»,— явление довольно редкое. Большей частью за литературу берутся те, кто обладает музыкальностью в обращении со словом. Поскольку поэзия — это музыка слов, выдающихся молодых поэтов сколько угодно. Но вырастая, молодой гений сталкивается с проклятой проблемой *материала,* то есть: о чем, соб-

[1] Ты еще за это заплатишь *(исп.)*.

ственно, писать? — так как со временем он убеждается, что основная арена литературы — все же проза, проза вымысла или эссеистики. Правда, он сохраняет пропорцию. Он держится того мнения, что 95% составляет его неповторимый дар, хранящийся в хрупком тигле его черепа, а 5% — это материал, глина, из которой он лепит.

Я помню, как сам проходил через такую стадию. В колледже «Вашингтон и Ли» я решил, что буду писать кристальную прозу. Именно это слово: кристальную. Прозу вне эпохи, вне времени, совершенную, летящую, ослепительную и прозрачную, как небесная музыка Скарлатти. И она будет брать за душу жителей XXV века так же, как и современников. (Впоследствии я, естественно, с интересом узнал, что Айрис Мердок в соответствующем возрасте тоже мечтала о такой прозе и даже выбрала для нее то же самое слово: кристальная.) В Йейле на первом курсе я раскопал несколько Елизаветинских книг по риторике, в которых выделяются, по моим подсчетам, 444 фигуры красноречия, охватывающие все возможные разновидности словесных оборотов. Я анализировал прозу особо ценимых мною авторов (одним из них, помнится, был Де Куинси), чтобы найти самые совершенные ряды таких фигур, и даже изобрел специальные знаки для их записи наподобие нотных. Этот скелет я собирался потом одеть плотью материала, дайте только срок.

Такие эксперименты, разумеется, продолжаются недолго. Проклятое чудовище — материал все раздается ввысь и вширь и становится все несноснее. В конце концов оказываешься перед выбором, либо спрятаться от него, чтобы оно куда-нибудь сгинуло, либо вступить с ним в борьбу. Думаю, что едва ли найдется писатель старше сорока, который не понимал бы в глубине души, что в прозе пропорции состава таланта скорее все же иные: пожалуй, на 65% это материал и только на 35% — литературный дар в заповедном тигле.

Мне было с самого начала ясно, что для того, чтобы сочинить большое художественное произведение про Нью-Йорк, я должен буду проделать репортерскую работу, точно такую же, как та, что легла в основу моих предыдущих книг «Высокая проба» или «Радикальный шик»... И это при том, что я прожил в Нью-Йорке без малого двадцать лет. Когда в 1981 году я непосредственно приступил к работе, я уже понимал, что «Ярмарка тщеславия» на самом деле не может служить мне образцом. «Ярмарка тщеславия» описывает главным образом высшие слои британского общества. Книга про Нью-Йорк 80-х годов XX века должна охватить весь город, сверху и до самых низов. И я выбрал в качестве верхней точки спектра Уолл-стрит, а в качестве нижней — Южный Бронкс. На Уолл-стрит у меня имелось несколько больше знакомых, чем в Южном Бронксе, но с точки зрения личного опыта и то и другое было для меня terra incognita. И я устремился туда, в эти неведомые области. Любая книга про Нью-Йорк, по моим представлениям, должна содержать хотя бы одну сцену в подземке. Поэтому я начал ездить по Бронксу в метро. И как-то увидел в противоположном конце вагона одного знакомого в довольно странном одеянии. Это был брокер с Уолл-стрит, я не встречался с ним лет десять. И вот теперь он сидел в метро в деловом костюме, но с завернутыми дюйма на три-четыре штанинами, так что на виду были голые голени, военного образца носки цвета хаки и растоптанные полосатые кроссовки. А на полу между кроссовками покоился белый пластиковый пакет. Поверх костюма мой знакомый был одет в грязный плащ и засаленную клеенчатую шляпу и все время стрелял глазами туда-сюда. Я подошел, поздоровался. И вот что я узнал. Этот человек живет с семьей в отдаленном районе Северного Бронкса, где до сих пор есть зеленые, приятные кварталы вроде Уэстчестера. А работает на Уолл-стрит. Ездить на работу в метро ему очень удобно, однако в последнее время дело несколько осложнилось. По вагонам стали рыскать ватаги несовершеннолетних хулиганов. Они на глаз намечают себе среди пассажиров подходящую жертву, обступают ее, садятся справа и слева и, окружив, требуют денег. А руки держат в карманах, и хотя оружия не достают, но откровенно издевательских, угрожающих взглядов, как правило, бывает достаточно. Когда пришла очередь моего знакомого, он сразу капитулировал, отдал всю свою наличность — и с тех пор нервничает в метро, как настоящий невропат. Вот почему он придумал ездить до Уолл-стрит и обратно в этом маскарадном одеянии — авось не приглянется грабителям. А в пластиковом магазинном пакете у него с собой приличные носки и туфли.

Я решил использовать этот эпизод в своей книге. И здесь я понял не столько жалобы Рота, сколько закон Маггериджа. Когда Мальколм Маггеридж работал редактором «Панча», было объявлено, что в Англию приезжают Хрущев с Булганиным. Маггериджу пришло в голову составить шуточный маршрут по самым невероятным местам, где и вообразить было невозможно появление двух пузатых, грушевидных советских лидеров, явившихся в страну с важным государственным визитом. Но в последний миг половину придуманного маршрута пришлось из гранок вырезать. Она совпала с только что опубликованным официальным маршрутом, разработанным для высоких посетителей соответствующими инстанциями. После чего Маггеридж и сформулировал свой закон: мы живем в эпоху, когда стало невозможно шутить — какую немыслимо комичную ситуацию ни выдумаешь, ее тут же у тебя на глазах кто-нибудь, иногда известный человек, воплотит в реальной жизни.

Так оно оказалось и со мной. Я писал «Костры амбиций» главами для журнала «Роллинг стоун», выдавая продолжение — кровь из носа! — каждые две недели. В третьей главе я вывел одного из основных персонажей — тридцатидвухлетнего прокурорского помощника в Бронксе, которого зовут Ларри Крамер,— он едет в метро, одетый примерно так же, как встреченный мною знакомый, и так же стреляет туда-сюда глазами, будто помешанный. Я рассчитывал, оборвав на этом месте, заинтри-

говать читателей. Что могло довести вполне здорового молодого мужчину до такого жалкого состояния? Эта глава вышла в июле 1984 года. Потом в апрельском номере 1985 года я планировал поведать читателям об испытанном им унижении, когда волчья стая отняла у бедного прокурорского помощника все деньги, да еще в придачу и прокурорский значок. Однако случилось так, что в декабре 1984 года в такое же положение попал в нью-йоркском метро реально существующий молодой человек по имени Бернхард Гёц. На него напали четверо парней, кстати сказать, из Южного Бронкса. А он не только не спасовал перед ними, а, наоборот, вытащил револьвер 38-го калибра и подстрелил всех четверых, стяжав самую шумную и скандальную славу на всю Америку. Мог ли я в этих условиях привести в исполнение мой план спустя четыре месяца после реального происшествия? Люди бы сказали: у этого бедняги Вулфа ни капли воображения. Прочел в газетах, и что прочел, то и пишет, только у него Крамер поджал хвост и покорился хулиганам. И я вынужден был отказаться от запланированного продолжения, я просто выпустил весь дальнейший эпизод, так что те из читателей журнала «Роллинг стоун», кто сгорал от нетерпения узнать, чем объясняется такой неподобающий костюм прокурорского помощника и его болезненные гримасы, так и не смогли удовлетворить свое любопытство.

Однако в одной области я опередил события, и это придало книге своеобразный сверхъестественный отблеск. По сюжету, у меня один чернокожий юноша получил жестокое увечье в уличном происшествии, в котором была замешана белая пара. Пострадавший лежит при смерти, а между тем в дело ввязываются разнообразные силы — пресса, политики, прокуроры, агенты по торговле недвижимостью,— и все, каждый по своим личным причинам, заинтересованы в том, чтобы сделать из этого случая расовый Армагеддон [1]. Первую скрипку тут играет Преподобный Бэкон, гарлемский священнослужитель, гениально манипулирующий средствами массовой информации, и вскоре у него уже весь город кипит, возмущенный гибелью черного юноши. В книге все эти события отбрасывают тень на предстоящие выборы и грозят поражением белому мэру.

«Костры амбиций» попали в книжные магазины в октябре 1987 года, за неделю до биржевого краха на Уолл-стрит. В прессе с самого начала появлялись неодобрительные — подчас злобные — отклики на образ Преподобного Бэкона. Что за гротескная карикатура (если не сказать хуже) на черного активиста?! Но тут, не прошло и трех месяцев, как разразилось дело Таваны Броули [2]. В этом деле видную роль сыграл черный активист и священнослужитель преподобный Эл Шарптон, истинный гений манипуляции, который как хотел вертел прессой, даже попадая в самые, казалось бы, безвыходные ситуации. Так, однажды в редакции «Нью-Йорк пост» прослышали, что Шарптон делает себе прическу à la Байрон в косметическом салоне в Бруклине. Репортер и фотограф устроили засаду, выждали, пока преподобного не запихали головой в сушилку, и тогда ворвались в салон. Но Шарптон не поднял руки вверх, не стал жаловаться, что вторгаются в его личную жизнь, отнюдь. Он преспокойно поманил к себе своих преследователей и сказал: «Подойдите, подойдите ближе, ребята. Я хочу, чтобы вы видели, как ухаживает за волосами настоящий мужчина». Прямо вот так. Ну, тут, конечно, полный триумф, в средствах массовой информации появляется корреспонденция под заголовком: «Мужественности хоть отбавляй!» Шарптон так прославился, что оценки моего Преподобного Бэкона стали меняться на противоположные. Теперь я слышал, как люди говорили: у этого бедняги Вулфа — ни капли воображения. Вон в газетах, на первых полосах, сколько замечательного материала. А он нам подсовывает какого-то скромного богослова Бэкона.

Но наряду с этим стали появляться высказывания, притом все чаще и чаще, что «Костры амбиций» — книга «пророческая». Дело Броули было лишь одним из серии происшествий с расовой окраской, в которых молодые негры оказывались — или выставлялись — жертвами жестокости белых. И эти происшествия действительно повлияли на предвыборную борьбу за должность мэра Нью-Йорка. Как в Прологе к роману, демонстранты в Гарлеме орали, улюлюкали и свистели, не давая говорить старому мэру (правда, с трибуны его согнать не смогли ни разу). И, возможно, эти скандальные столкновения были среди тех факторов, которые стоили белому мэру его должности. Но я ни в малейшей мере не считаю «Костры амбиций» пророческой книгой. В ней просто показано то, что было очевидно еще в начале 80-х годов для всякого, кто, как я, вышел из четырех стен и открыто взглянул в новое лицо города и прислушался не только к отдельным голосам, но и к гулу толпы.

И последнее. Дело не только в том, что репортерская работа полезна для добывания мелких правдивых фактов, которые придают роману правдоподобие и делают его увлекательным, интересным,— хотя этой стороной дела тоже не стоит пренебрегать. Я лично считаю, что именно «правдивым фактам», тем паче в такую эпоху, как наша, литература обязана высшими своими достижениями. В 1884 году Золя посетил угольные шахты Анзена — он собирал материал для задуманного им романа «Жерминаль». Назвавшись секретарем одного члена Палаты депутатов Франции, Золя спускался в шахты, не сменив городского костюма, во фраке, в сорочке со стоячим воротничком и цилиндре (что лично меня особенно умиляет по причинам, о которых

---

[1] Апокалипсическая катастрофа (см. Откровение Иоанна Богослова, 16, 16).

[2] Негритянская девочка-подросток, сочинившая про себя, что якобы она была изнасилована белым полицейским. В конце концов она призналась в своей выдумке, но «прогрессивные» средства массовой информации успели раздуть это дело и вызвать огромный общественный скандал.

не стану распространяться) и держа в руках блокнот и перо. Однажды на глубине 150 футов под землей Золя увидел огромную ломовую лошадь-першерона, тащившую по штольне салазки с углем. Золя спросил у шахтеров, которые служили ему проводниками: «Но как вам удается каждый день спускать ее сюда и подымать обратно?» Шахтеры сначала подумали, что он шутит. Потом поняли, что вопрос задан всерьез, и один из них ответил: «Неужто вы не понимаете, мсье Золя? Эту лошадь спустили сюда только один раз, она была тогда чуть побольше жеребенка и помещалась в бадье, в которой спускаемся мы. Здесь она выросла. Здесь года через два ослепла, из-за недостатка света. Здесь она таскает уголь, пока хватает сил, а потом здесь же подохнет, и здесь зароют ее кости». Когда читаешь это «документализованное» признание, перенесенное писателем на страницы «Жерминаля», по коже бегут мурашки. Понимаешь без разъяснения, что эта лошадь — сами шахтеры, которые впервые спускаются в шахту детьми и копают уголь глубоко под землей, пока хватает сил копать, и здесь же нередко в прямом смысле слова обретают свою могилу.

Эпизод с лошадью в «Жерминале» — одна из вершин французской литературы, и она была бы недостижима без той специальной черной работы, которую Золя называл «документализацией». Нам в Америке, в нынешний бледный, худосочный период развития нашей беллетристики, нужен целый батальон, целая армия таких Золя, чтобы они спустились на нашу грубую, шалую, непредсказуемую, химерическую, гротескную землю и возвратили бы ее во владения литературы. Филип Рот абсолютно прав. Фантазия романиста меркнет рядом с тем, что он прочтет завтра утром в газетах. Но из этого совершенно справедливого наблюдения целая генерация американских писателей делала совершенно ошибочный вывод. Надо не оставлять это грубое чудовище — материал, иначе говоря, окружающую действительность, газетчикам и репортерам, а делать то же, что делают газетчики и репортеры, или, по крайней мере, должны делать, а именно — схватиться с чудовищем врукопашную и постараться его одолеть.

В одном я уверен. Если писатели-беллетристы не обратятся лицом к очевидной реальности, в истории американской литературы вторая половина XX века останется не только как время, когда все богатство жизненного материала сосредоточилось в руках журналистов,— журналисты овладеют и литературными вершинами тоже. Всякий литератор, который сегодня оглянется на последние двадцать пять лет американской литературной истории,— но только непредвзято оглянется, честно, в тиши своего кабинета,— вынужден будет признать, что по крайней мере четыре из пяти лучших документальных книг этого времени превосходят по чисто литературным параметрам самые расхваленные беллетристические произведения. Честный наблюдатель пойдет даже дальше. Уже много лет самые расхваленные беллетристические произведения с чисто литературной точки зрения уступают книгам, которые специалисты высокомерно относят к так называемому «популярному жанру» (примечательные слова порицания). Я имею в виду таких романистов, как Джон Ле Карре или Джозеф Уэмбоу. Оставим в стороне вопрос литературного таланта — Ле Карре и Уэмбоу имеют над своими чисто литературными собратьями одно огромное преимущество. Они не только не уклоняются от рукопашной с чудовищем, но всем сердцем рады с ним схватиться.

В 1973 году в «Новом журнализме» я писал, что документальные книги заняли в американской литературе передовые позиции, вытеснив художественный роман. Это не равнозначно утверждению, что царству художественного сочинительства пришел конец, но близко по смыслу. Для того времени сказано довольно смело, впрочем, como Fidel lo ha dijo[1], история нас рассудит. Если только в последующие десять лет в американской художественной литературе не родится какое-то новое направление, более значительное, чем все, что мы наблюдаем теперь, вторая половина XX века останется в истории как эпоха плодотворных экспериментов документальной прозы.

Предрекаю это, как вы, наверно, заметили, не без удовлетворения, ведь я — журналист, притом журналист, испытавший свои силы и в документальной, и в недокументальной литературе. К работе над «Кострами амбиций» я приступал с самоуверенностью человека, плохо представляющего себе, за что он берется. Очень скоро уверенность сменилась отчаянием. Я не учел одного вполне очевидного обстоятельства. В документальной литературе и обстановка, и характеры, и сюжет — к твоим услугам. Твоя задача, и задача чрезвычайно трудная,— привести эти элементы в движение, вдохнуть в них жизнь, чтобы получилось так же убедительно, как в лучших произведениях реалистического вымысла. Сочинять ничего не нужно. Сочинять нельзя. А тут вдруг выдумывай, примысливай сколько угодно. Мне стало страшно. По меньшей мере год ушел у меня на то, чтобы освоиться с этой свободой, научиться использовать ее огромные преимущества. Последние три десятилетия были в Америке эпохой крупных и подчас мучительных социальных перемен, особенно в гигантских городах. Четвертая большая волна иммиграции сделала общую картину еще более хаотичной, беспорядочной и разорванной (если вспомнить постоянные эпитеты недавнего прошлого). И я с восторгом ухватился за возможности, которые дает реалистический вымысел, для того чтобы объединить разнообразные течения городской жизни в одном компактном сюжете. Репортер такими возможностями не располагает, а я с каждым месяцем все больше убеждаюсь, насколько они необходимы. Я вижу, как, несмотря на модные разговоры об объединении, в современных городах возникают все новые и новые группы и землячества, которые упорно стремятся отгородиться друг от друга. Документальный роман, скажем, о деле Таваны Броули, как

[1] Как сказал Фидель *(исп.)*.

бы ни был он превосходно написан и какие бы серьезные мысли ни содержал, не в состоянии вместить под своей обложкой жизнь всего Нью-Йорка за 1989 год. Он может осветить отдельные ее сферы, прессу, в первую голову, или судопроизводство, но не проникнет ни на Уолл-стрит, ни на Парк авеню, куда Эл Шарптон, при всей своей предприимчивости, не имеет доступа. В 1970 году «Черные Пантеры» присутствовали на приеме у Леонарда Бернстайна. Сегодня смешение цветов в модных салонах уже не считается шиком, ни радикальным, ни иным.

Двери закрываются, возводятся стены! Но это всего лишь новый вызов для литературы, особенно для романа. А разве может писатель, будь он документалист или сочинитель, не пойти туда, где весело, если его приглашают? В финале «Мертвых душ» Гоголь спрашивает: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ». Русь ответа не дает и мчится еще быстрее, «гремит и становится ветром разорванный в куски воздух», а Гоголь не отступается, хоть у него перехватывает дух и глаза наполняются удивлением. Сегодняшней Америке, тоже несущейся вперед своим путем, быть может, и не нужна литература, которая была бы достойна ее грандиозности. Но уж американским романистам в этот неврастенический час наверняка нужна сила духа, чтобы не отстать от Америки в ее бешеной скачке.

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

ЭРНСТ ЮНГЕР. ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО

Редкостный синтез умозрения и художества — глубинная суть творческого дара Э. ЮНГЕРА, одного из самых спорных авторов XX века. Предлагаем вниманию читателей статью, посвященную его творчеству, и фрагменты из философской прозы.

А. ЛУКИН, ВЛ. РЫНКЕВИЧ

АВАНТЮРНОЕ СЕРДЦЕ

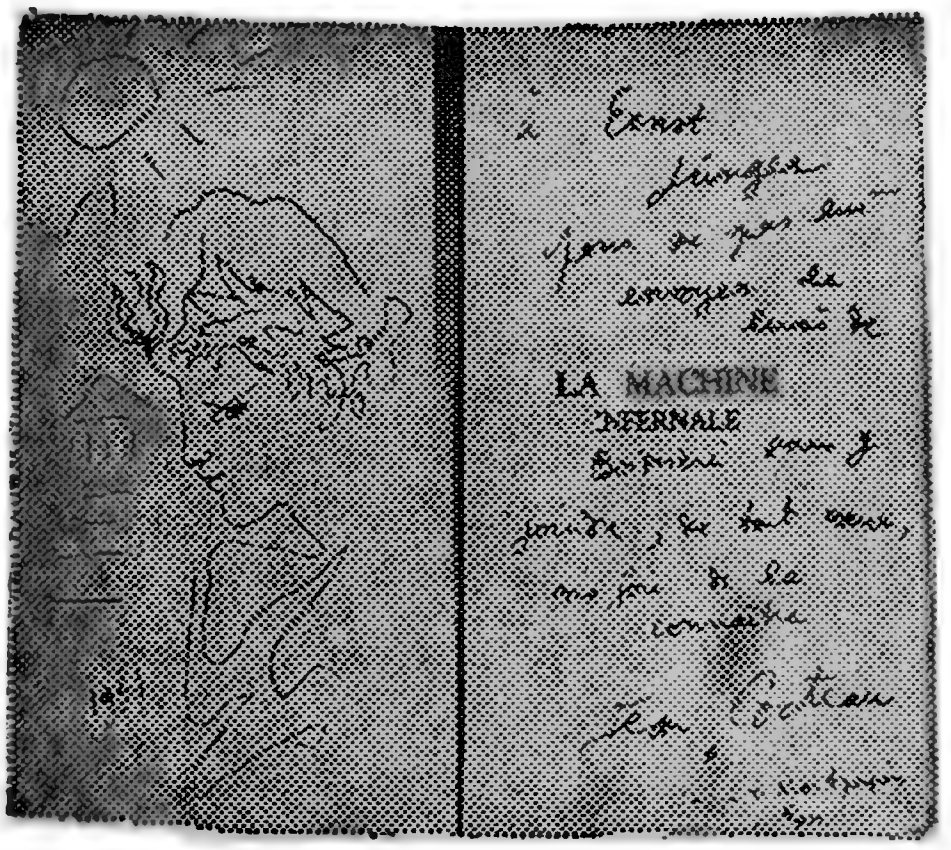
Своеобразие личности Эрнста Юнгера, этого аристократа Мечты, трудно увидеть на фоне организованного движения Массы, порождающего тоталитаризм и нивелирующего все уникальное и самобытное. И наша критика также не избежала соблазна отождествить консервативное мировоззрение Юнгера с идеологией правого радикализма в его фашистской версии.

Нелегко понять противоречия и раздвоенность той части немецкой интеллигенции, которая искренне верила в национальное возрождение Германии после ее поражения в первой мировой войне и деятельно стремилась способствовать этому процессу. В силу страстной убежденности она не могла существовать вне Германии и, мучительно размежевываясь с теорией и практикой фашизма, в конечном счете оказывалась во внутренней оппозиции к режиму. Именно к этой интеллигенции принадлежит Юнгер, чьи трагические поиски небезразличны нашему читателю, ибо проблемы сосуществования культуры и тоталитаризма, а также вопрос о личной позиции деятеля культуры по отношению к господствующему строю имеют прямое отношение к нашей недавней истории.

Эрнст Юнгер родился 29 марта 1895 года в Хайдельберге. В его характере рано проявились мечтательность и склонность к рефлексии, что плохо сочеталось со строго заведенным порядком в гимназии и в доме отца, сторонника модных в то время идей позитивизма. Отцу удалось привить юному Эрнсту живой интерес к природе (он сохранился и по сей день), но в мире «магической реальности» писателя и философа этот интерес впоследствии приобрел своеобразный характер: многообразие жизненных форм он стремился объединить не только с помощью научного описания (метода, столь близкого Юнгеру, страстному энтомологу и естествоиспытателю), но и путем интуитивного прозрения, отражая глубинные процессы, объемлющие органическое и неорганическое, человека и природу. Первые литературные опыты приходятся на школьные годы. Тогда же в юноше зарождается страсть к путешествиям и приключениям, не оставляющая его всю жизнь. В 18-летнем возрасте он убегает из дому и вербуется в Иностранный легион (через несколько недель авантюра заканчивается вмешательством отца). Впоследствии этот эпизод биографии Юнгера был описан им в повести «Африканские игры» (1936).

Вступление в ряды легионеров представлялось юноше романтическим бегством в жизнь, полную опасностей и неподвластную законам повседневности. Однако каждодневная рутина воинской службы в небольшом алжирском городке показала несбыточность этих надежд: «Рывок в неподвластное закону поучителен, как первая любовная связь или первая битва. Этим ранним столкновениям присуще нечто общее — поражение, которое будит в нас новые, более могучие силы. Мы рождаемся неприрученными, и нам приходится лечить злые лихорадки горьким питьем. И все же я долго ощущал себя уязвленным в своем чувстве свободы и не хотел касаться этой вылазки, как боятся дотронуться до раны, которая не скоро заживет. «Своевольничать может всякий»,— гласит известное присловье. Вернее будет сказать, что по своей воле не может жить никто».

В 1914 году Юнгер добровольцем отправляется на фронт. Чудом оставшись в живых и получив 14 ранений, он был награжден высшим прусским военным орденом «За заслуги». Военный опыт находит отражение в первой книге Юнгера «В стальных ураганах» (1920). Написанная в форме дневника, она стала исходным пунктом творческой эволюции писателя и сделала его имя известным не только в Германии, но и за ее пределами (уже в 20-е годы книга переводится на основные европейские языки). Пытливо наблюдая за ходом современной войны, «битвой титанических сил техники», он вырабатывает «стереоскопическое видение», позволяющее отстраниться от собственной вовлеченности в действие.



Титульный разворот книги Ж. Кокто «Адская машина» с рисунком автора и дарственной надписью Э. Юнгеру (1941).

В послевоенные годы мироощущение Юнгера далеко от пессимизма «потерянного поколения». Первую мировую войну он считает поворотным пунктом истории и оценивает выше Великой французской революции, ибо видит в ней «процесс созидательного разрушения» буржуазного порядка, враждебного подлинной духовности. Тема войны в его творчестве играет исключительную роль: сражение выступает некой универсальной моделью, с помощью которой осмысляются многообразные явления истории, культуры и философии. Эти взгляды легли в основу книги «Бой как внутреннее переживание» (1922), написанной под ощутимым влиянием О. Шпенглера. Однако послевоенное творчество Юнгера нельзя рассматривать как апологию войны и насилия. Сдержанностью в описании военных будней и отказом от их чрезмерной героизации отмечен небольшой роман «Штурм» (1963), где неразрешимое противоречие между варварскими стихиями сражения и эстетическими ценностями изначально определяет судьбу героя. Прапорщик Штурм жертвует своими фронтовыми записками, чтобы развести огонь в засыпанном блиндаже. Рукопись, воплощающая в себе все духовное и нетленное, что удалось сберечь в пламени битвы, превращается в пепел, символически предрекая близкую гибель героя в «стальных ураганах». И все же взвешенная и объективная оценка феномена войны появляется лишь у позднего Юнгера, прошедшего через трагический опыт фашистской диктатуры и еще одной мировой катастрофы.

Мировоззрение Юнгера в годы, предшествующие второй мировой войне, характеризуется критическим отношением к ведущим политическим силам эпохи: он сознательно выбирает позицию наблюдателя не только в творчестве, но и в общественной жизни. Вместе с тем в напряженной духовной атмосфере, сложившейся в Германии конца 20-х — начала 30-х годов, некоторые воззрения Юнгера сыграли определенную роль в формировании идеологических стереотипов, связанных с идеей национального возрождения в условиях авторитарного режима. Поэтому неудивительны многочисленные попытки националистов самых различных оттенков привлечь широко известного писателя на свою сторону.

Отношение Юнгера к национал-социализму — сложная тема, породившая массу недоразумений в оценке его многообразного литературно-философского творчества. Хотя он и был убежденным противником Веймарской республики, критикуя ее с позиций «революционного консерватизма», он решительно отмежевался от политики фашизма. Юнгер дважды, в 1927 и 1933 годах, отказался от сомнительной чести быть депутатом рейхстага от партии национал-социалистов, а после их прихода к власти отказался от предложения стать членом Немецкой академии искусств, к тому времени уже подвергшейся основательной чистке. В отличие от многих деятелей культуры Германии он никогда не был членом фашистской партии. Критическое отношение к правящей нацистской верхушке нашло отражение в дневниках 1941—1948 годов («Излучения»), где даны весьма нелестные характеристики вождям третьего рейха.

В этот период писатель ставит перед собой задачу «духовного постижения катастрофы», которую он предвидел еще до прихода Гитлера к власти. Близкие отношения с представителями антифашистской оппозиции Э. Никишем, Э. Мюзамом, Э. Толлером, Б. Брехтом и другими навлекли на Юнгера подозрения гестапо, и в доме писателя был произведен обыск. Сыну Юнгера за откровенные антигитлеровские высказывания грозило тюремное заключение (по решению военного трибунала он был оставлен в рядах действующей армии и в 1944 году погиб в Италии).

Некоторые реалии политической жизни Германии тех лет переданы в романе-притче «На мраморных скалах» (1939). В ряде эпизодов романа исследователи творчества Юнгера усматривают аналогию с внутрипартийной борьбой между СС и штурмовиками во главе с Ремом. Впрочем, сам

П. Пикассо в своей мастерской на улице Гран Августин (1943).

Э. Юнгер. Париж (1942).

писатель считал подобные аналогии слишком поверхностными и прямолинейными. И в этом с ним, пожалуй, можно согласиться. Ибо замысел романа, его идейное содержание значительно глубже, а его изощренная символика допускает различные истолкования.

Здесь впервые встречается мотив, присутствующий и в более поздних произведениях Юнгера. Это — конфликт между «оформленным нигилизмом и дикой анархией», которые в равной степени могут служить основой абсолютной тирании. Главный герой, от лица которого ведется повествование, держится в стороне от этих распрей. Вместе с братом они ведут созерцательный образ жизни ученых-отшельников, пока не оказываются вовлечены в борьбу обитателей побережья с разбойничьими ордами. Мирные жители не способны оказать сопротивления и вынуждены покинуть страну, преданную огню и мечу. Перенесенные испытания оставляют в душе рассказчика глубокий след: пройдя через очистительный опыт борьбы и страдания, он возвращается на свою духовную родину.

Командировка в Россию зимой 1942—1943 года [1] (ей посвящен раздел дневников, озаглавленный «Кавказские зарисовки») на многое открыла Юнгеру глаза. Под его беспощадным в своей холодной аналитичности пером события обретают подлинный облик, лишенный ореола героизма. Картины разрушений не заслоняют от взгляда писателя тот глубокий упадок, к которому привел Россию сталинский режим. Мерой в оценке событий Юнгеру во многом

[1] Подробнее об этом см. интервью с Э. Юнгером в «ИЛ», 1990 № 8. *(Здесь и далее прим. авторов публикации.)*

служат образы русской классической литературы, высокий гуманизм которой противостоит бесчеловечности войны.

В 1939 году Юнгера призывают на военную службу. Благодаря связям в вермахте он почти всю войну находится в Париже в должности офицера при штабе главнокомандующего оккупационных войск. Писатель сближается с интеллектуальной элитой Франции (Ж. Кокто, П. Пикассо, Ж. Брак, Л. Ф. Селин, Ж. Жироду, А. де Монтерлан, П. Моран, Г. Галлимар) и входит в круг антигитлеровски настроенных офицеров, многие из которых впоследствии стали участниками заговора против Гитлера 20 июля 1944 года и погибли в застенках гестапо.

В послевоенный период Юнгер по-прежнему работает над дневниками, пишет эссе о своих многочисленных путешествиях. Его философское мировоззрение претерпевает определенную эволюцию, о чем свидетельствуют такие произведения, как «Мир» (1945), «Язык и строение тела» (1947), «Через черту» (1950), «Путь через лес» (1951), «Гордиев узел» (1953), «Мировое государство» (1960). Совместно с М. Элиаде [1] он издает журнал «Антей», посвященный религиозно-философской и культурно-исторической проблематике. С 1959 года он живет в Вильфлингене (Швабия). Имя писателя и философа, лауреата многочисленных литературных премий хорошо знают не только на родине, но и за рубежом. В 1983 году выходит в свет последний, 18-й том собрания его сочинений. Книги Юнгера переводят почти на все европейские языки, его произведения имеют успех в Японии и Латинской Америке. Хорхе Луис Борхес, еще в юности с восторгом прочитавший первый перевод на испанский язык книги «В стальных ураганах», в 1982 году побывал в Вильфлингене, чтобы лично познакомиться с ее автором. Отдавая дань уважения мыслителю, чьи социально-философские взгляды всегда служили сближению культур Германии и Франции, Вильфлинген посещали такие политики сегодняшней Европы, как Г. Коль и Ф. Миттеран.

Для Юнгера художественное постижение мира изначально предполагает отстраненность по отношению к описываемым событиям и глубокую рефлексивность. Однако рефлексия Юнгера — это не проявление пассивности и неспособности к действию, а, напротив, критическое переосмысление происходящего, основанное на отказе от бессознательности механического соучастия. Далекий от того чтобы слепо принять неизбежный приговор судьбы, художник, находясь в гуще событий, сохраняет внутреннюю свободу в их восприятии. Тем самым автор-наблюдатель становится режиссером и духовным центром вершащихся и грядущих судеб истории.

По мысли Юнгера, творческая личность должна быть своего рода барометром, чутко фиксирующим изменения в духовной атмосфере эпохи. В силу этого художник оказывается как бы «по ту сторону добра и зла»: его задача — служение динамическим тенденциям времени, то есть их отражение независимо от их позитивной или негативной направленности. В свою очередь

[1] Подробнее о М. Элиаде см. «ИЛ», 1989, № 8.

эти тенденции подчинены некоему незримому божественному началу. Поэтому творчество — это не только авантюра Духа, но и мистический экстаз, экспликация результатов которого несет в себе и нечто магическое. Слово художника превращается в «волшебный клинок, и перед блеском его молнии блекнет власть тиранов. Триедины суть Слово, Свобода и Дух».

Излюбленная идея Юнгера — мысль о том, что всякое произведение есть лишь «приближение» к невидимой духовной основе мира, сокрытой за изменчивостью Бытия, за круговоротом Вечного Возвращения. Для Юнгера «Истина не заключена в Слове, как в клетке, но Слово всегда находится в распоряжении у Истины». Отсюда постоянный поиск многообразных «приближений» к Истине, опосредованный литературным творчеством с его неисчерпаемым богатством языковых средств. «Слову никогда не удается охватить безмолвное Бытие, в котором оно берет начало. Все преходящее есть только символ [1], а Слово и Язык принадлежат преходящему. Отсюда неудовлетворенность Словом: выраженное Словом окружает Неизреченное подобно кольцу и может лишь обозначить его место».

Для Юнгера нет строгой границы как между обыденным словоупотреблением и научными понятиями, так и между собственно художественным образом и «понятием-образом». Образ воплощается в слове, неся в себе всю бездну потенциально скрытых в слове смыслов. Он мифологизируется. Это уже не художественный образ в обычном понимании, поскольку он обладает глубокой философской значимостью. Будучи интуитивно выхвачен из потока становления «стереоскопическим» взглядом художника, он тотчас превращается в орудие философского дискурса. Центральные Образы (Gestalten) суть органические понятия, которые в процессе размышления претерпевают эволюцию, диктуемую самим бытием. Таковы проходящие через все творчество философа образы Рабочего, Солдата и Идущего через лес. Переосмысление природы художественного образа позволяет Юнгеру раздвинуть границы традиционных жанров. Поэтому литературной формой, в которой автор чувствует себя особенно свободно, является дневник. Он дает возможность переходить от умозрительных размышлений к описанию мгновенных впечатлений, от строго документальных зарисовок — к мистическим прозрениям, от личных переживаний — к пророческим описаниям судеб эпохи.

Дневниковые записи наряду с диалогами, внутренними монологами и даже рассуждениями из области теории литературы заполняют многоплановое пространство романов Юнгера, создавая их неповторимое своеобразие. Именно в этой масштабной художественной форме наиболее полно проявились особенности его творческого метода. Описание места действия носит условный характер, а его времени присуща не столько историческая, сколько мифологическая природа, и в нем возможно соединение событий разных эпох. В основе такой концепции времени лежит идея исторического круговорота, имеющая глубокие мифологические корни. Представление о замкнутом временном цикле, присутствующее у Гесиода и стоиков, впоследствии было развито Дж. Вико и Ф. Ницше, философские идеи которых Юнгер особенно высоко ценил. Персонажи его романов не характеры, а скорее обобщенные типы, напоминающие эпических героев Гомера и «Эдды». Олицетворяя определенные метафизические идеи, они оказываются близки Образам философских работ Юнгера. Дополняя друг друга и развивая излюбленные мысли автора, персонажи романов вместе с «метафизическими героями» философских трактатов становятся вехами его мировоззренческой эволюции.

Особое место в творческой биографии писателя принадлежит роману «Гелиополис» (1949). Уцелевший от уничтожения город не случайно носит это название, что свидетельствует о духовной преемственности романа с двумя классическими утопиями прошлого — с «Островом Солнца» Ямбула и «Городом Солнца» Т. Кампанеллы. Однако, в отличие от гелиониситов и соляриев, обитателям Гелиополиса далеко до полного счастья, а их государство не может служить образцом совершенства. По сути дела они живут в антиутопии: Гелиополис оказывается «нижним миром» в иерархии универсума, на дне которого царит хаос политических распрей, процветает национальная рознь и преследуются инакомыслящие.

Здесь, как и в романе «На мраморных скалах», происходит борьба между двумя различными подходами к созданию тоталитарного общественного устройства. Однако в развитии сюжета «Гелиополиса» этот конфликт играет ключевую роль, а программа враждующих группировок более четко очерчена. Идеология одной партии предполагает абсолютное господство бюрократии, опирающееся на могущество техники. По мысли Юнгера, такая программа обнаруживает родство с идеями «старых народных партий» и позволяет «возвысить до государственности коллектив, не имеющий истории». Враждебная сторона лелеет мечту об установлении аристократического режима и ориентирована на традиционные ценности. Главный герой, Люциус де Геер, принадлежит к военной касте и выступает на стороне аристократии. Полная драматизма история его любви к Будур Пери служит внешней фабулой романа. Действие завершается тем, что главные персонажи на космическом корабле покидают арену продолжающегося конфликта, устремляясь к сферам высшей духовности.

Идейную связь с «Гелиополисом» обнаруживает роман «Эвменсвиль» (1977). Легендарным основателем описываемого города-государства считается диадох Эвмен [1]. В этом полисе идет борьба между сторонниками республики и приверженцами тирана Кондора. Однако писателя интересует не столько соперничество партий, сколь-

[1] «Все преходящее есть только символ» — строчка из «Мистического хора» II части «Фауста».

[1] Эвмен — «благожелательный», «благомысленный» *(древнегреч.)* — реальное историческое лицо (362—316 гг. до н. э.), личный секретарь и один из полководцев Александра Македонского.

Э. Юнгер, Вернер Гейзенберг (слева), М. Хайдеггер (внизу) в аудитории Высшей технической школы в Мюнхене, где М. Хайдеггер выступил с докладом «Вопрос о технике» (18/11/1953).

ко личность главного героя. Мануэль, от лица которого ведется повествование, считает себя «анархом». Проводя различие между анархистом и анархом, Юнгер от имени своего персонажа пишет: «Мировую историю движет анархия. Свободный человек анархичен, анарх — нет. Анарх — позитивная аналогия анархиста. Для монарха он не соперник в игре, он остается для него неприкосновенным, хотя несет в себе угрозу несмотря на то, что держится в отдалении. Он не противник монарха, но его «пандан». Монарх жаждет господствовать над многими, даже надо всеми. Анарх хочет властвовать лишь над собой. Благодаря этому он приобретает объективное, более того, скептическое отношение к власти и позволяет себе не замечать ее тузов». Образ главного героя выступает воплощением индивидуалистического бунта против общества, и в нем прослеживается развитие характерных черт Идущего через лес из философской работы Юнгера 1951 года.

Исторические экскурсы-авантюры Мануэля, путешествующего во времени, символизируют элитарное бегство творческой личности из ненавистного общества «конца времен». Роман завершается исчезновением «анарха» на охоте, которую устраивает Кондор. За этим поворотом сюжета скрывается более глубокий смысл: растворение свободной индивидуальности в вечном круговороте времени как бы делает неизбежной перспективу гибели полиса, олицетворяющего судьбы Цивилизации.

Юнгера всегда занимала проблема отношения человека к миру техники, и он неизменно к ней возвращался на протяжении своего творческого пути. В романе «Стеклянные пчелы» (1957) делается попытка художественного осмысления феномена современной техники. Здесь вновь герой оказывается носителем консервативного образа мыслей и сильной личностью, опирающейся в своих поступках на воинский кодекс чести. Действие этой метафизической притчи условно может быть отнесено к первой трети XX века, однако описываемые здесь технические достижения фантастичны даже по современным меркам. Идея, владеющая умами их творцов,— создание техники, более совершенной, чем сам человек. И эта программа оказывается близка к осуществлению. Правда, такая «победа» дается человеческому разуму дорогой ценой. Изобретатели и рабочие, создающие чудеса технического совершенства, живут в системе жесткого контроля и полностью утрачивают свободу, растворяясь в обезличенности производственного процесса. Такое коллективное «творчество» в конечном счете уродует их собственную личность. В результате оказывается, что технократически ориентированный разум, нацеленный на создание внешнего совершенства, внутренне несовершенен. Эту контраверзу технической рациональности, по мысли автора, может разрешить только сильная индивидуальность, свободная от узости сциентистского взгляда на мир. Однако главный герой так и не берет на себя ответственность в решении чудовищных проблем, встающих перед людьми, когда мощь техники превосходит возможности человеческого разума.

Понимание Юнгера как писателя невозможно без понимания Юнгера-философа. Его мировоззрение — яркая страница поздней «философии жизни». В процессе своего духовного роста Юнгер впитал многие идеи Ницше и Шпенглера. Однако бытующее мнение о том, что Юнгер — лишь эпигон и популяризатор их идей, вряд ли обосновано. Его философские произведения («Тотальная мобилизация», «Рабочий», «Путь через лес», «Через черту») свидетельствуют о вполне самостоятельном миросозерцании. В силу особенностей мышления Юнгера, да, пожалуй, и некоторых интенций, вообще присущих «философии жизни», его взгляды не обрели формы законченной и строгой системы.

Заслуга Юнгера — в умении точно и образно передать дух исторической эпохи. Юнгеру присущи вживание в ситуацию, способность вступить в непосредственную связь с ее динамической сутью. Именно это создает оригинальность ви́дения им таких важнейших социальных явлений, как техника, тоталитаризм, судьба личности в современную эпоху.

Самое известное и, по признанию автора, основное его философское произведение, вызывающее до сих пор прямо противоположные оценки, это — «Рабочий. Гос-

Э. Юнгер (1971).

Э. Юнгер с Х. Л. Борхесом в Вильфлингене. Сзади жена писателя, Лизелотта Юнгер (1982).

подство и Образ» (1932). Непосредственная реакция главного рупора фашистской прессы «Фёлькишер беобахтер» была крайне негативной, но книга получила широкий общественный резонанс, о чем, в частности, свидетельствует то, что «Рабочий» стал предметом семинара, который М. Хайдеггер вел во Фрайбургском университете зимой 1939—1940 годов. Обширное произведение, написанное в свободной эссеистической манере, впоследствии было многими воспринято как апология грядущего тоталитаризма. В действительности «Рабочий» отнюдь не оправдание тоталитаризма, а достаточно точный диагноз объективных тенденций развития общества. Об этом, спустя много лет, пишет сам автор в письме М. Хайдеггеру (1967): «Книгу, в сущности, обошли вниманием, и она оказалась фактически скрыта завесой внешних событий, хотя высказанные в ней диагнозы и прогнозы продолжают ежедневно подтверждаться».

Юнгеру удалось увидеть не только изменения, происходившие в Германии, но и общую направленность эволюции современного государства, порожденную могуществом техники. Мощь государства в соединении с ее титаническими силами неизбежно ведет к нивелировке личности и превращению ее в придаток машины. Новая эпоха находит свое наиболее полное выражение в Рабочем как социальном феномене. По Юнгеру, это — метафизический Образ, воплощающий Жизнь в ее современных формах социального бытия. Создавая образ Рабочего, полностью утратившего индивидуальность и подчиненного «перспективному рабочему плану», Юнгер опирался не только на германскую действительность: известно, что он специально интересовался опытом планирования, посещая лекции «Общества по изучению советского планового хозяйства» в посольстве СССР.

В те годы Юнгер считал, что возврат от тоталитарного режима «рабочей демократии» к подлинно демократическим порядкам невозможен. Однако наш политический опыт последних лет говорит о другом: существующие возможности преобразования тоталитарного устройства путем частичных и постепенных реформ ограничены. Процесс демократизации наталкивается на серьезные препятствия, ибо тоталитарный строй предполагает неразрывную взаимосвязь между всеми составляющими социальной системы. Именно эту взаимосвязь тонко подметил Юнгер, указывая, что все политические институты и организации вместе с правящей партией образуют «органическую конструкцию», сходную с военизированными монашескими орденами средневековья.

В конечном счете органичность подобной конструкции оказывается мнимой, ибо она обеспечивается не рациональностью управления и планирования, но опирается на насилие. При этом насилие представляет собой непосредственную угрозу или же присутствует в общественном сознании в качестве одного из мифов. Когда общество преодолевает страх, оно свергает прогнившую диктатуру, а попытка восстановления ее былого «имперского» великолепия требует обязательного участия всех институтов, составляющих тоталитарную систему. Об этом красноречиво свидетельствует неудавшийся государственный переворот 19 августа 1991 года, в котором оказалась замешана не только военная и партийная верхушка, но и высшее звено административно-хозяйственной бюрократии.

Юнгер одним из первых запечатлел процесс рождения тоталитаризма XX века и сделал это с редкой убедительностью. Дру-

Президент Франции Ф. Миттеран в Вильфлингене (1985).

гое дело, что оценки действительности, высказанные им в 20—30-е годы, вряд ли могут вызвать одобрение у демократически настроенного читателя. Характеристика тоталитаризма, порожденного всеобщей рационализацией действительности, у Юнгера внутренне противоречива: с одной стороны, в нем выражается действительная сила жизни, а с другой — он ведет к уничтожению индивидуальности, без которой немыслимо органическое жизнеощущение. Для Юнгера наступление эры Рабочего — неизбежность, которая сродни фатализму, подчиняющему себе не только индивида, но и коллективную судьбу человечества. В таком понимании исторической ситуации проявляется уязвимость позиции Юнгера как художника и мыслителя: стремление отразить динамику вечной изменчивости мира с беспристрастностью естествоиспытателя не позволяет возвыситься над происходящим.

Для Юнгера понимание неизбежности тоталитаризма — это не политическая линия, а метафизическая позиция, которая подразумевает критическое отношение к практике тоталитаризма как в его гитлеровской, так и в сталинской версии. И все же политический консерватизм Юнгера в сочетании с националистическими предрассудками наложил существенный отпечаток на осмысление им основных сил на политической арене Германии первой половины XX века. Представляемые читателю отрывки из «Рабочего» и примыкающих к нему по содержанию статьи «Тотальная мобилизация» (1930) и книги «Максима-Минима» (1963) характерны для манеры и стиля философствования Юнгера и в известной степени позволяют судить о концепции его основного труда. Гимн свободе-подчинению, во многом повторяющий идеи Шпенглера,— не окончательный итог творческой эволюции мыслителя. В 30-е годы Юнгер еще не имел той точки опоры, которая позволила бы ему критически взглянуть на тоталитаризм как на мировую судьбу XX века. Этой опорой в послевоенные годы для него станет свободный и решительный индивид, способный также до конца противостоять «Левиафану тоталитарного государства», как метафизические Рабочий и Солдат не на жизнь, а на смерть готовы служить ему. Именно опыт гитлеризма показал Юнгеру не только самоценность свободы индивида (что он всегда признавал), но и ее значимость для нормальной политической жизни общества.

В литературном творчестве Юнгера далеко не последнее место занимает описание духовного развития подростка и процесс становления личности (повесть «Африканские игры», роман «Рогатка», 1973). В настоящей публикации оно представлено небольшим рассказом «Охота на вепря» (1950), своеобразно раскрывающем эту тему. Наряду с тонкостью психологического анализа рассказу присущ жесткий лаконизм стиля, позволяющий тем не менее наглядно передать объемность изображаемого в его непосредственной телесности. За конкретным жизненным случаем просматривается одна из идей, лежащих в основе его представлений о Человеке. Мысль об особых состояниях сознания, имеющих решающее значение не только в жизненном опыте индивида, но и в его внутреннем духовном мире, была сформулирована еще в 1929 году: «Три вещи служат ключами ко всем формам: волна, облако, пламя. Поэтому всегда находились достойные любви каббалисты, с радостью покидающие любое общество, чтобы без помех предаться созерцанию неба, воды, уютного огня в камине. Три состояния служат ключами ко всем переживаниям: экстаз, сон, смерть. Поэтому никогда не было недостатка в хмельных пиршествах Жизни и всегда находились светлые и сумеречные аристократы Мечты, воины, ландскнехты и авантюристы, презревшие мир продавцов и покупателей наемного труда, отринувшие мир торгашей и денег. Пусть же они никогда не обманываются в себе, пусть не забывают о своем ранге. Ибо это из их мечтаний созидается всякий порядок, это им он вновь приносится в жертву. Сам порядок становится бесполезным, коль скоро в нем не воплощается в действительность великая Мечта».

Герой рассказа — подросток. В повторяющихся образах его сновидений смутно предвосхищается грядущий зрелый опыт. Но лишь сама жизнь может открыть человеку изначальные тайны. Охота служит Рихарду неким магическим посвящением в скрытый трагический смысл бытия. Однако он не принимает в ней активного участия, занимая излюбленную автором позицию наблюдателя. Вепрь, воплощающий в себе стихийные силы и бессознательное упоение свободой, обретает в глазах юноши символическое значение. Экстатическое переживание «мощи, ужаса и величия», по мысли автора, должно быть основой зрелого восприятия жизни. Так в прозе Юнгера конкретный опыт индивида сопрягается с метафизическими основаниями бытия.

Неординарность видения блестящего эссеиста, с беспристрастностью летописца фиксировавшего большие и малые события Времени, раскрывается в мозаике фрагментов из его произведений разных лет:

30209

«Бой как внутреннее переживание», «Авантюрное сердце», «Граффити», «Излучения», «По своим следам», «Максима-Минима». Причудливая, порой мистическая связь ассоциаций, присущая стилю мышления Юнгера, сродни символизму алхимических процессов: многообразие живых чувственных впечатлений кристаллизуется в законченное единство творения.

Мятежное перо Эрнста Юнгера преображает застывшую данность феноменального мира, позволяя узреть в магическом калейдоскопе вселенной незыблемое совершенство миропорядка. Но, подобно любимому им Гераклиту, открывая в вечносущем становлении Космоса его внутренний закон, Юнгер в своих духовных авантюрах взыскует скорее безграничной Свободы — и обретает ее в царстве мечты, по ту сторону всякой подзаконности. Но и дерзновение свободы не в силах снять с человека чудовищное бремя нравственной ответственности, стать основой нейтральной позиции там, где ее нет и быть не может. Антиномию морального закона и аристократического своеволия не разрешить в пользу последнего.

Мировоззренческие искания Юнгера показывают нам неоспоримость этой истины. Поверяя сокровенные мысли дневнику, этому немому свидетелю и собеседнику, Юнгер писал в 1941 году, в период серьезного пересмотра жизненных ценностей: «Дурной стиль заметнее всего проявляется в связи с моральными проблемами, когда какой-нибудь писака пытается оправдать преступления, например расстрелы заложников. Это выглядит отвратительнее любых эстетических погрешностей. Ибо глубочайшая основа стиля — справедливость. Только справедливый знает, как взвесить каждое слово, каждую фразу. Вот почему лучшие из писателей никогда не станут служить неправому делу».

ЭРНСТ ЮНГЕР

Из философской прозы

АВТОР И АВТОРСТВО

Автор занимает определенное место в иерархии. Он состоит в непосредственном и свойственном лишь ему одному отношении к высочайшему Автору Вселенной. На этом основана его теология, ему самому неведомая. Произведения суть более или менее удачные переводы, делающие это неведомое достоянием видимого мира. Они указывают на некое отношение, которое не объять словом.

Поэтому всякое творение несовершенно. Совершенное же лежит за его пределами. Только благодаря этому запредельному возможно творчество. Отношение между автором и слушателем, зрителем, читателем обретает жизнь в незримом Третьем, которому сопричастны оба.

Никакое произведение само по себе не может полностью захватить читателя. Для этого необходимо его деятельное соучастие, которое простирается за пределы созданного автором. Чтобы загорелся свет, ток должен пойти через оба полюса.

«ГРАФФИТИ», 1960

Кирххорст, 13 ноября 1945 г.

(...) Задача автора, если в глазах других людей авторство несет в себе какой-то смысл,— это создание духовного отечества, обители Духа. Ею может стать скромная ниша с изображением святого, скамья за воротами, деревенский дом, дворец, лесные и горные просторы, пространство Космоса. Творчество пленяет мир гораздо сильнее, чем знание и политика; поэтому его победы выдерживают испытание временем.

И сегодня поэзия позволяет нам подняться на стены Трои, она открывает перед нами дворец Агамемнона. Как Герой обеспечивает гостеприимность и надежность обитаемых мест, так Поэт творит, чтобы их узнавали и помнили, чтобы впоследствии в них обретали духовную родину.

Щедрой рукой поэты раздаривают уютные пристанища, просторные жилища. Там, где поэтов нет, воцаряется запустение. Земли еще обитаемы, но уже негостеприимны. Для нас они утрачивают смысл и становятся внутренне чуждыми. (...)

«ИЗЛУЧЕНИЯ», 1941—1948

(...) О ты, одинокий читатель, жаждущий общества героев! И для тебя наступит время, когда ты станешь перелистывать полную приключений книгу мира. Эту книгу ты написал собственной кровью, чтение ее зовут воспоминанием. Тебе, как и каждому из нас, встретятся в ней неудачные страницы, в авторстве не хочется признаваться, и тогда ты говоришь себе, что на одном из рубежей, находящихся под твоей защитой, свой стяг водрузила пошлость. И поскольку ты — свой собственный автор, тебя вдвойне будет это терзать, ибо ты изменил себе и своему притязанию на действительность, которое состоит единственно в идее и соответствующей этой идее деятельности. Здесь станешь ты причастен тому плодотворному страданию, тому недовольству, которое лишь в себе самом черпает решающую помощь.

Быть может, с твоим Настоящим, сооружения которого ты слишком ценишь, чтобы принести их в жертву новым замыслам, ты поступишь так же, как с книгой, нагоняющей сон. Ты откладываешь ее в сторону, чтобы впоследствии вновь открыть, не испытывая ни малейшего участия, решительно прочесть до конца, до самой последней главы. Ибо я знаю тебя, ты — из тех юношей, в чьих сердцах Настоящее уже давно прочло свой приговор, и ныне они с болью преследуют образы, некогда побуждавшие к действию, словно постыдный сон, достояние лишь недостойных. Длительность его лживой действительности зависит только от силы и страстности твоей воли к пробуждению.

«АВАНТЮРНОЕ СЕРДЦЕ», 1929

Сведенборг осуждает «скупость Духа», которая удерживает в тайне его познания и видения.

Но как быть с отвращением Духа, не желающего становиться разменной монетой? Как быть с аристократической замкнутостью Духа и его уединенностью в волшебных замках Ариосто? Подобно тому как золото в сплаве с медью превращается в деньги и ходит по рукам, Неизреченное унижает себя, отчеканиваясь в слове и делаясь общедоступным. Какой язык свободен от запахов, сопутствующих работе по передаче оттенков чувства? Тот, кто при свете дня тщится запечатлеть свои ночные грезы, видит, как они ускользают из сетей мысли, словно беспокойные стаи серебристых мальков, которых неаполитанские рыбаки порой замечают у самой поверхности вод залива.

В коллекциях лейпцигского Института минералогии я видел кусок горного хрусталя высотой около метра, который откололи при прокладке туннеля в массиве Сен-Готард. Поистине редкостная и неповторимая греза Материи!

Мною владеет подозрение, порой переходящее в уверенность, что среди нас есть Избранные, давно покинувшие библиотеки и пыльные арены. Вдали от мира, где-нибудь в сумрачном Тибете, они — за работой. Я верю в тех, кто бодрствует ночами в своих одиноких жилищах. Они недвижны, словно скалы, но в их потаенных пещерах брызжет искрами мощный поток. Снаружи его силой вращаются мельницы и в заданном ритме работают армии машин, здесь же, чуждый всякой цели,

21 10 12

он пленен сердцами, что навеки лишены дневного света, словно пламенные колыбели всех сил и усилий.

За работой? Не они ли суть важнейшие артерии, в которых зримо пульсирует кровь? Наитягчайшие грезы грезятся в безымянных кладовых, в тех сферах, откуда законченное произведение видится чем-то случайным и лишь в малой степени несущим в себе необходимость. Микеланджело в своих последних скульптурах лишь намечал лица: сокровенную жизнь каменных хризалид он вверил вечности, оставив мраморные глыбы безмолвно дремать в нишах. Проза Ницше в его «Воле к власти» — неубранное поле брани Мысли, реликт одинокой, чудовищной ответственности, фабричный цех, заваленный ключами: их бросил тот, у кого уже не было времени открывать и истолковывать. В зените творчества прославленный Бернини говорит об отвращении к законченной работе, а Гюисманс в позднем предисловии к роману «Наоборот» пишет, что не может читать своих книг. Было бы парадоксом, если бы некто, обладая оригиналом, стал изучать плохой комментарий. Великие романы остались недописанными. Они и не могли быть завершены, ибо пали жертвой своего замысла.

За работой? Где святые обители, в которых души в своих полночных царственных триумфах победоносно обретали сокровище милосердия? Где столпы отшельников, эти памятники возвышенного сообщества? Где сознание того, что мысли и чувства непреходящи, что есть некая тайная двойная бухгалтерия, и каждая потеря в какой-нибудь дальней графе выступает как приобретение? Единственное отрадное воспоминание связано с теми мгновениями минувшей войны, когда вспышка от разорвавшегося снаряда внезапно выхватывала из мрака одинокую фигуру часового, не покидавшего свой пост в течение многих часов. Братья! Те бессонные ночи, что вы провели на посту, среди смертельных опасностей, завоевали для Германии сокровище, которое никогда не иссякнет.

Вера в Одиноких берет начало в тоске по безымянному Братству, в жажде глубочайшего духовного отношения, какое только возможно между людьми.

«АВАНТЮРНОЕ СЕРДЦЕ»

(...) Наблюдение содержит в себе свободу. В той степени, в какой человеку удается «представить» ситуацию, в которой он находится, сделав ее предметом своего наблюдающего духа, он освобождается от нее и возвышается над ней.

Едва ли индивидуум волен отказаться от участия в тех битвах, на которые его посылает государство. Но он свободно может занять позицию наблюдателя, и тогда он ставит государство себе на службу, словно это он — устроитель грандиозного спектакля. Но это возможно лишь в том случае, когда на своей внутренней арене он уже одержал победу над страхом. Вот почему наблюдателей всегда так мало. (...)

«ГРАФФИТИ», 1960

Перспектива достигнуть относительной завершенности, вопреки всем мучениям, заманчива, даже если это не принесет удовлетворения. Последнее слово всегда — предпоследнее. Оно — лишь осторожный стук в дверь в надежде, что когда-нибудь она откроется. Оно всегда остается предпоследним, когда мы пытаемся очертить контуры Абсолюта, когда мы приближаемся к нему и хотим взять в кольцо с помощью более или менее удачных подобий.

Когда слово для нас не просто разменная монета и мы видим в нем нечто большее, чем средство общения, то, прежде чем овладеть им, мы должны обрести его по ту сторону Речи. Будучи изреченным, оно выигрывает в реальной силе, но теряет в метафизической. Однако Пребывающее в молчании, Неизреченное еще связано с ним, словно частицы почвы, приставшие к корням.

Если через много лет самому автору открывается сокрытый смысл одной фразы, то это — хороший знак. Это подобно жизненному пути. Нам поздно открывается то, что вещи, издавна занимающие нас, обладают неким другим, простым смыслом. Хорошо, что мы принимали их всерьез.

«ПО СВОИМ СЛЕДАМ», 1965

Париж, 2 ноября 1941 г.

Когда борьба идет на духовном плане, смерть принимают в расчет как один из элементов стратегии. Человек становится неуязвимым: мысль о том, что враг может уничтожить его физически, пугает меньше всего. Напротив, в высшей степени важно, чтобы его гибель стала звеном символической взаимосвязи, в которой он пребудет свидетелем истинным. Временами кажется, что он отступает перед близостью смерти, но в этом он похож на полководца, который не спешит подавать сигнал к наступлению и терпеливо ждет своего часа. Победы бывают разные.

Враг смутно предчувствует это и беснуется в слепой ярости. Ему противостоит истинная духовность, и он пытается действовать, не стесняясь в средствах: спровоцировать стычку на аванпостах, подкупить, обманом увлечь на ложный путь. В таких столкновениях наступает момент, когда все внешние, исторически обусловленные причины вражды затушевываются и на первый план выступает то, во имя чего на земле изначально идет борьба. Противники словно меняются ролями: теперь страшится тот, кто нападает. Все средства будут пущены в ход, чтобы жертва отказалась от предуготованной ей гибели. И когда они исчерпаны, наступает триумф кровавой расправы. История знает примеры, когда смерть захватывают врасплох, как вражеский штаб: процесс над тамплиерами, на котором Великий Магистр внезапно сорвал маски с себя и со своих судей. Так боевой корабль, разрывая пелену миража, предстает изумленному взору во всеоружии и с поднятым флагом. В тот же день Великий Магистр был сожжен, но место казни всю ночь охраняли, чтобы пепел костра не стал священной реликвией. Не должно было остаться и праха — даже прах внушает тиранам ужас.

Париж, 22 июня 1942 г.

Днем был у Пикассо. Он живет в старинном здании с обширными внутренними помещениями, которые приспособили под склады и амбары. Этот дом, расположенный на улице Гран Августин, фигурирует в романах Бальзака. Сюда привезли Равальяка после убийства Генриха IV. В одном его крыле — винтовая лестница со ступенями из камня и старого дуба. На узкой двери прикреплен листок бумаги, на котором синим карандашом выведено: «Ici»[1]. Я позвонил, и мне открыл невысокий человек в простом рабочем халате — сам Пикассо. Я уже встречал его однажды, правда мимолетно; тогда на нем была остроконечная шапочка, придававшая его облику черты мага. И теперь мной снова овладело чувство, что передо мной — маг.

Кроме небольшой квартиры с подсобными помещениями Пикассо занимает еще две просторные кладовые: нижняя используется им для пластики, а верхняя — для живописи. Пол выложен кирпичами в форме сот, стены, выкрашенные желтой краской, подпирают дубовые балки. По потолку тянутся почерневшие от времени ребра дубовых перекрытий. Должно быть, здесь хорошо работается: в этих древних стенах, хранящих атмосферу прошлого, остановилось время.

Сначала мы внизу рассматривали старые эскизы, потом поднялись наверх. Среди стоявших там картин мне понравились два неброских женских портрета и морской пейзаж. Если в него долго всматриваться, он начинал играть красными и желтыми тонами. Глядя на картину, мы беседовали о технике живописного и литературного письма по памяти.

---

[1] Здесь *(франц.)*.

Пикассо спросил меня, какой ландшафт лег в основу пейзажа, описанного в моем романе «На мраморных скалах».

Другие вещи, как, например, ассиметричные головы, показались мне безобразными. Тем не менее когда столь исключительный дар на протяжении многих лет и даже десятилетий обращается к подобным темам, возникает ощущение, что в них он объективно передает действительность, даже если ты сам этого и не видишь. В сущности, здесь речь идет о еще нерожденном и никем не виденном и об экспериментах, близких к опытам алхимиков. Интересно, что в беседе несколько раз всплывало слово «реторта». Никогда еще мне не было ясно с такой гнетущей отчетливостью, что гомункулус — отнюдь не досужая выдумка. Сначала образ человека рождается в предвидении мага, и лишь немногим дано почувствовать страшную бездну решения, которое выпадает художнику.

Я несколько раз пытался навести его на эту тему, но он, похоже, сознательно от нее уклонялся:

«Есть химики, которые всю жизнь занимаются тем, что исследуют элементы, содержащиеся в кусочке сахара. Так и мне хочется знать, что есть цвет».

О воздействии:

«Мои картины окажут то же самое влияние, если, окончив их, я закрою их и запечатаю, никому не показывая. Здесь речь идет о воздействии, которое обнаруживается непосредственно».

О войне:

«Мы с вами договорились бы о мире уже сегодня. А вечером люди, ничего не опасаясь, смогли бы зажечь в домах свет».

«ИЗЛУЧЕНИЯ»

ЭРОС

Когда факел войны бросал багряный отблеск на серые громады городов, каждый ощущал себя внезапно вырванным из цепи дней. Над взбудораженной и одурманенной массой, в смятении растекавшейся по улицам, вздымался чудовищный гребень кровавой волны. Под ее натиском все ценности мельчали: чрезмерно рафинированное наслаждение, все изысканное и усложненное исчезало в огнедышащем кратере инстинктов, считавшихся давно погребенными. Пестование разума, утонченный культ интеллекта шли ко дну под металлический лязг возрожденного варварства. Иных богов возвели на трон дня: силу, кулак, мужскую доблесть. Воплощенные в стройных рядах вооруженного юношества, они шествовали по мостовой, и ликующими толпами овладевали восторг и благоговейный ужас.

Когда на щит вновь поднимают несгибаемую силу, беспредельную мужественность, иными становятся отношения между полами, пробуждается ненасытная жажда объять жизнь во всей ее полноте, насладиться блаженством бытия в эфемерном танце над бездной вечности.

Потрясения культурных основ всегда влекут внезапный взрыв чувственности. Жизненный нерв, надежно защищенный гарантиями общества, внезапно оголяется и становится беззащитным. Жизнь, поглощаемая бездумно как воздух, приелась, и непривычная близость опасности рождает бурю небывалых ощущений. Прежде жатва наслаждений тщательно распределялась по нивам лет: если иссякнет первозданный источник, то засохнет плод. И вдруг все, что считалось достатком и изобилием — сокровища в сундуках, вина в подвалах,— превращается в обузу, тяготит владельца. Руки тянутся к дукатам: пока не поздно — трать! Бургундское не по карману? Вздор! Ляжешь в могилу — другой отхлебнет из наполненной чаши. Еще и тело твое не остынет, а наследник уже насладится букетом. Осушить бы все бочки одним махом! После нас хоть потоп! За гробовой доской — какие радости?

О жизнь! Еще, еще раз, быть может — в последний! Расточать, расхищать, проматывать! Разметать бы весь фейерверк на тысячи огненных солнц и пылающих каруселей, спалить запасы сбереженных сил перед походом в ледяные пустыни! Ринуться в водоворот плоти, алчно заглатывать сотнями глоток, воздвигнуть фаллосу ослепительный храм! Пусть часам суждено умолкнуть навеки, стрелки будут бешено мчаться по циферблату, путая границы дня и ночи!

Силы, сцепленные друг с другом как шестерни в зубчатой передаче, разрушали отлаженную механику, чтобы воссоединиться в могучем утверждении чувственного человека. В этом была необходимость, скрытая за романтической вуалью и воплощенная духом времени в более или менее привлекательные формы, но жизнь всегда устремляется к своим истокам, когда колеблется твердая почва бытия. Из каждого окна в ночную неизвестность струится мерцающий свет, улицы закипают лихорадочной сутолокой, атмосфера, до предела насыщенная пафосом агитации и самоотречения, грозит взрывом. Жизнь пленяет тем, что самые яркие и волнующие переживания она дарует в разгар революций, эпидемий и войн, когда смерть особенно ненасытна в своем сладострастии. Когда бушуют грозы мировых перемен, двое людей спешат укрыться в объятиях друг друга, и всякий любовный союз знаменует победу жизни с ее неоскудевающей силой. Это смутно чувствовал каждый, даже самый отчаявшийся: сливаясь с вечной вселенной, отдаваясь коловращению жизни, он терял всякую связь с собственным «я», его дыхание замирало в любовном вихре, и на мгновение смерть представлялась ничтожной и презренной. Из бездны отчаяния кривая чувства круто взмывала ввысь, вырываясь за пределы сознания.

Причину взрыва чувственности мы видим в двух изначальных влечениях: в стремлении жизни к самоутверждению и в бегстве в пучину экстазов, когда в сладострастном угаре забывается грозящая опасность. Немало иных мятежных порывов вовлечено в этот безудержный вихрь, но наш вопрошающий взгляд способен узреть лишь ничтожно малые пространства в царстве души.

Чем дольше длилась война, тем отчетливее проступала в ее облике чувственность. Как походная утварь, любовная страсть скоро теряла внешнюю привлекательность под ударами неутомимого молотобойца[1]. Ее пронизывал тот же дух, что переполнял сердца участников сражений. Дух битвы титанических сил техники и рукопашных схваток, беспримерных по жестокости и беспощадности, произвел на свет небывалую породу людей. Это была новая раса, воплощение энергии и мощи: выносливые, жилистые тела, стальные мускулы, четко очерченные лица, глаза, смотревшие смерти в лицо и окаменевшие под каской. Это были победители, заранее готовые пойти на самые чудовищные жертвы. Неудержимой лавиной неслись они над выжженной землей, знаменуя последний триумф запредельного ужаса. Невиданные силы пробуждались ото сна, когда они дерзко врывались в разбитые укрепления, где застыли серые фигуры с безумным остекленевшим взглядом. Жонглеры смерти, повелители огня и динамита, великолепные хищники, они рыскали по вражеским траншеям. В миг встречи с противником они воплощали огневую воинственную стихию этого мира, являя собой пронзительное единство тела, ума, воли и чувства.

Носителями духа времени всегда были единицы. Под чудовищным давлением войны только избранные выдерживали испытание на прочность, сжимаясь в тугой комок. Их сущность отражалась в поступках — дерзких, хладнокровных, молниеносных. Предпочитая всем винам чистый спирт, они стремились испытать все мыслимые экстазы. Броситься в бездну хмельного угара, сполна упиться жизнью — вот их девиз на время кратких передышек между боями. Пусть рассвет застигнет под

---

[1] В древнегерманской мифологии молот был атрибутом Тора, бога грома и войны.

столом среди разбитой мебели и остатков кутежа: репутация бюргера осталась дома. Здоровье? Пусть о нем печется тот, кто намерен жить долго!

Они шагали по улицам чужих городов, ландскнехты войны и любви, с колючими глазами на обветренных лицах, нетерпеливые первопроходцы ратных дорог, привыкшие брать, не церемонясь и не разводя сантиментов, ибо терять им было нечего. На долгие ухаживания, на весь романтический вздор, потребный бюргерским дочкам, у них не было времени. Они хотели сразу и цвет, и плод. Любовь они искали там, где она предлагала себя без покровов.

Ночь за ночью на скрещениях ратных дорог горели огни под знаком освобожденного Эрота. Нескончаемым парадом шествовала вседоступная Женственность, лотос асфальта. Брюссель! Жизнь, бурлящая пеной под гребными винтами сонма кораблей! Безудержный размах могучих сил, зрелище величественное и столь же жуткое в своем автоматизме, как и эта война. Только стальные натуры могли выстоять в бешеном водовороте и не гибли в пучине. Голую функцию воплощали любвеобильные тела, беззастенчиво гибкие под шелестящими платьями, которые призывно развевались, словно яркие плакаты. Однажды, прислонясь к фонарному столбу, я жадно следил за сценой, которая разыгрывалась вновь и вновь, с монотонностью волн, набегающих на берег. Ее участникам не хватало слов, чтобы объясниться, а те немногие, что были, служили небогатой сервировкой на этом обильном пиршестве плоти.

Воспаленные глаза красных фонарей заманивали нетерпеливую страсть в темные закоулки старого квартала. В глубине неприглядных домишек мерцали зеркала, неверный свет тонул в удушливом пурпуре бархата. Из комнат доносились взрывы пьяного смеха, когда стальные пальцы впивались в податливую плоть. Воин и девушка — старый мотив.

Что помнят бесчисленные деревушки, окружавшие зону ужаса? Когда через них проходили войска, они замирали в ночной темноте, только штык часового поблескивал на рыночной площади. Но чужая раса оставила неизгладимый след на этой земле.

Когда кроваво-багряная жизнь бешено бьется о черные рифы смерти, буйство инфернальных красок рождает пронзительные образы. Пришла эпоха освобождения от оков, срывания масок и покровов. Долой все тонкое, томное и изнеженное! Всюду, особенно в любви и в искусстве, жизнь, устремившаяся к истокам, сжимается в кулак, обретая языческое изобилие и татиническую силу. Теперь не время лить слезы над «Вертером».

Каждый из нас подобен призме. Но кто выразит в единой формуле все цвета спектра? Порой даже на грани уничтожения, в смертельном соседстве с бьющимися титанами техники теплится искра света. Он струится из окон единственного во всей округе обитаемого дома. Просочившись сквозь щели в ставнях, этот свет пронзает леденящий ужас ночи, словно горячая рука возлюбленного, ищущая ответного тепла. В бедной комнате, под грубым холщовым покрывалом, лежат двое. На краткое время они чувствуют себя в безопасности, как пташки, что укрылись от урагана, свирепствующего в ночном лесу. Кто они? Какой-нибудь бывший студент и пикардийская крестьянка, выброшенные на скалистый берег войны. Два сердца, горящие друг для друга в оледеневшем мире, слились в едином чувстве. В такт громовым ударам артиллерийской канонады дребезжат оконные стекла, а из губ девушки, с нежной настойчивостью прижатых к уху возлюбленного, льется мелодия незнакомой речи. Вся книжная и университетская премудрость меркнет в эти светлые минуты, когда Он прозревает душу Ее земли. Может ли разум соперничать с уразумением сердца?

Эта ночь несла искупление и избавление, а завтрашний день может сгинуть бесследно в гудящем пламени. Он снова в рядах закаленных

ландскнехтов, глаза его сияют и поступь легка. Всеми владеет дух, не нуждающийся в бравых песнях и грубых шутках, но под натиском смертоносного шквала его сердце бьется ровнее, чем у других. Невозмутимо стоит он под градом свинца, а волосы еще хранят прикосновение нежных уст. Смерть приближается как друг и срезает созревший колос.

«БОЙ КАК ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ», 1922

ОХОТА НА ВЕПРЯ

РАССКАЗ

Цепь стрелков растянулась вдоль просеки. За ними черной зубчатой стеной стоял еловый лес. Густая пожелтевшая трава оплетала нижние ветви, плотно прижимая их к земле. Деревья напоминали темные шатры, раскинувшиеся среди глубоких снегов,— убежища от холода и урагана.

Этот участок леса граничил с владениями князя. Летом здесь было знойно и душно, и над прогалинами кружили тучи слепней. Осенью, когда в воздухе носились паутинки, целая армия грибов покрывала заросшую мхом землю, а на вырубках коралловыми бусинами блестели ягоды.

Снег перестал падать. Воздух, пройдя через фильтр снежных хлопьев, приобрел какой-то особенный, редкостный привкус. Дышалось легче, каждый звук разносился по лесу, и все невольно понижали голос. Трудно было представить что-либо ослепительнее белизны свежевыпавшего снега. Рождалось предчувствие царственных, непотревоженных тайн.

Лучшая позиция с наибольшей зоной обстрела была между просекой и перелеском, где зеленые верхушки молодых елей едва виднелись из-под снега. Рихард с воспитанником Брайером стояли между вырубками, на участке нетронутого леса; он был таким густым, что ветви почти соприкасались и заслоняли перспективу. Место было самое невыгодное и предназначалось для новичков, но Рихард с таким нетерпением ждал своей первой охоты, что не обращал на это внимания. На какое-то время неодолимое стремление, поглотившее все его мысли и чувства, утратило свою остроту; до последней минуты он надеялся, что отец доверит ему ружье.

Рихард не знал более страстного и настойчивого желания. В мечтах он постоянно видел перед собой голубоватую сталь, ложу из ореха, дубовые листья, выгравированные на металле. Легкое и удобное, оно казалось ему чудеснее любой игрушки. В темной глубине ствола мерцала серебряная спираль нарезки. При взводе курка раздавался щелчок: слово самой надежности слышалось Рихарду в этом металлическом звуке, и сердце его радостно трепетало. Спусковой механизм можно было отладить с помощью особого устройства, и курок становился таким чувствительным, что, казалось, выстрел повинуется движению мысли. Волшебный и бесценный предмет нес в себе судьбу и смерть, и с этим не могла сравниться никакая фантазия. Рихард предчувствовал, что обладание этим сокровищем, восполнив нечто недостающее, преобразит его. Грезя перед сном, он часто представлял себя в лесу с ружьем, но он не собирался стрелять: они просто прогуливались, как неразлучная пара. Рихарду вспоминалась надпись на старом кувшине для вина, которым пользовался отец: «Когда с тобою мы вдвоем, довольно нам друг друга». Во сне эти картины продолжались. Иногда они внушали страх: Рихард нажимал на курок, но какие-то злые чары не давали ружью выстрелить. Он вкладывал всю свою волю в этот порыв, но как он ни старался, выстрела не было. Он хотел крикнуть, но голос не слушался его. Вздрогнув, Рихард просыпался. Каким блаженством было сознавать, что это всего лишь глупый сон!

Заветная мечта сбудется, когда ему исполнится шестнадцать. Как

мучительно ждать наступления этого дня, глядя на молодых охотников и воспитанников вроде Брайера, который всего на два года старше и едва ли выше ростом. Но сейчас в лучезарной тишине зимнего леса все его терзания утихли. Безмолвный и величественный мир торжественно хранил свои тайны.

Что-то прошелестело и мгновенно смолкло в отдалении. Это вспорхнули золотистые корольки, оперением напоминавшие лесных дятлов. В темной чаще они клевали еловые шишки и чувствовали себя в безопасности. Но вот с опушки леса, облетев заснеженное пространство, донесся звук горна: охота началась.

По лесу распространялась волна тревоги. Она нарастала, и сердце билось сильнее. Через лесную чащу продирались загонщики в тяжелых кожаных фартуках, они били топорищами по стволам елей, выкрикивая: «Урр-урр-урр!» Издалека их голоса казались задорными и веселыми, но, приближаясь, звучали все более грубо и зловеще. Вторгаясь в тайну леса, они несли с собой атмосферу трактира: едкий запах табачного дыма, винные пары, азарт пьяной драки.

Загонщики были уже близко, как вдруг на фоне криков и треска сучьев послышались новые, незнакомые звуки. Из зарослей тростника метнулась неясная тень и, ища укрытия, бросилась в ту сторону, где стояли Брайер и Рихард. Зверь мчался с невероятной быстротой, но Рихарду все же удалось разглядеть его: это был вепрь. Его спугнули, и он выскочил из логовища. Он летел словно стрела, пущенная из лука. Клинообразное туловище с могучей грудью покрывала вдоль хребта жесткая щетина, торчащая наподобие гребня, который охотники называют «оперением». Рихарду показалось, что по нему скользнули маленькие глазки, под которыми грозно сверкали кривые клыки. Он успел рассмотреть и резцы зверя: их оскал придавал морде выражение гневного презрения. Что-то бесконечно свирепое ощущалось в этой бурой взъерошенной массе с огненно-рыжим отливом. Темное рыло было странно изогнуто, почти вывернуто, словно вольного обитателя лесов оскорбляла близость преследователей с их ненавистным человеческим запахом. Заметив юношей, кабан издал короткое хрюканье, но в сторону не свернул.

Во мгновение ока зверь исчез из виду, но в памяти Рихарда этот образ запечатлелся с поразительной остротой. Он навсегда запомнил сочетание мощи, ужаса и величия. Рихард почувствовал, что у него подогнулись колени и открылся рот, но не мог произнести ни звука.

Брайер был потрясен не меньше Рихарда. Побледнев, он широко раскрытыми глазами следил за вепрем. Тот едва не задел его, пробегая мимо, и уже скрылся в чаще, когда юноша поднял ружье и выстрелил ему вслед, туда, где еще трепетали зеленые ветви.

В густом ельнике выстрел прозвучал оглушительно, словно удар в литавры. Рихард и Брайер молча смотрели друг на друга. Едкий звериный запах, смешиваясь с пороховым дымом и ароматом смолы, растекался между деревьями. Снова протрубил горн, оповещая о конце облавы. Все слышали только один выстрел.

Через просеку к ним бежал Моосбругер, лесничий. Его нос сверкал, как карбункул, на груди болтался охотничий рог на зеленой перевязи. Отдышавшись, он разразился бранью. Идя по следу, он с досадой обнаружил, что кабан не побежал через просеку, как все ожидали, а выскочил здесь, на самом отдаленном участке. Граф и его гости остались ни с чем. Для Моосбругера это было равносильно личному оскорблению. Рихард видел, что он едва сдерживается, чтобы не влепить затрещину юному стрелку: будь Брайер одним из его парней, ему бы наверняка досталось. Оскалив зубы, лесничий язвительно спросил:

— Знаете, что вы сейчас сделали?

Брайер смущенно пожал плечами.

— Тогда я вам скажу: вы промазали!

Моосбругер злобно расхохотался и снова занялся следами. Сейчас Рихард был рад тому, что оставался только наблюдателем. Несчастный Брайер покраснел: ему было явно не по себе. Он пробормотал: «Вечно он недоволен. Если бы я не выстрелил, все равно бы накинулся».

Брайера тяготило ощущение вины: сначала испугался кабана, а потом позорно промазал. Если в начале охоты он мечтал встретиться со зверем один на один, то теперь он проклинал его за то, что он побежал в их сторону. Юноша заметил графа, который шел к ним впереди группы охотников. Брайер чувствовал себя крайне неловко, и его волнение передалось Рихарду. Хорошо еще, что ушел этот жуткий Моосбругер!

Когда граф поравнялся с ними, из чащи донесся зычный голос лесничего: «Подбил свинью! Подбил!»

Он протрубил конец охоты, и звуки горна снова облетели лес. Стрелки и загонщики пошли на сигнал и оказались на прогалине, окаймленной соснами. В снегу лежал убитый вепрь, рядом стоял Моосбругер. Он ликовал, что охота закончилась удачно. С жестокой улыбкой, перерезавшей лицо от уха до уха, Моосбругер то и дело принимался заново рассказывать графу о том, как обнаружил подстреленного зверя. Уж он-то знал, что найдет его, когда шел по следу: две-три щетины в снегу, кое-где капли крови. Черт побери, как-никак ребята учились у него!

Все обступили добычу: стрелки опустили ружья, загонщики закинули топоры за плечи. Казалось, вепрь дремлет, растянувшись на белоснежном ложе, а маленькие глазки чуть насмешливо оглядывают победителей. Охотники с любопытством рассматривали крупную голову, покоившуюся на снегу, словно на подушке. Кривые клыки зловеще поблескивали, как старая слоновая кость. Передние ноги — Моосбругер называл их «молотками» — отходили от туловища там, где голова переходила в мощную шею. Покрытая жесткой щетиной шкура была темно-бурого цвета с огненно-рыжими вкраплениями, и только вдоль хребта тянулась черная полоса. По спине расползалось темное кровавое пятно с бледно-розовыми краями.

Рихардом овладела смутная тревога. Что-то противоестественное было для него в том, что человеческие глаза упиваются видом поверженного зверя. Раньше ничья рука не смела его коснуться. А теперь, оправившись от первоначального удивления, каждый норовил потрогать его, ухватить за уши, за ноги, перевернуть. Рихард пытался совладать с внезапно нахлынувшим волнением: в этот миг вепрь был ему неизмеримо ближе тех, кто преследовал и затравил его.

Вдоволь натешившись добычей, охотники наконец вспомнили про удачливого стрелка. Граф сломал еловую ветку, обмакнул ее в крови кабана и поднес юноше на прикладе ружья, а Моосбругер прокричал «улю-лю!». Брайер, стоявший в центре группы, со скромным достоинством прикрепил ветку к шляпе. Все смотрели на него доброжелательно. При дворе, на войне и среди охотников умеют ценить случай: удача, приписанная человеку,— хорошее начало на жизненном пути.

Граф пустил по кругу флягу с фруктовой водкой. Сделав первый глоток, он встряхнул ее и передал Брайеру. Каждому хотелось перекинуться с юношей парой слов, и ему то и дело приходилось заново рассказывать о случившемся. Парень стрелял не целясь, можно позавидовать! Брайер во всех подробностях расписывал, как он заметил кабана и тот кинулся на него, а он выстрелил, но в спину, потому что зверь бежал к лесу под острым углом. Моосбругер расхваливал его вовсю.

Рихард был смущен и подавлен. Он чувствовал, что только он один воспринимает все иначе, чем остальные. Его поразило, что Брайер видит происшедшее совершенно по-другому, но приходилось ему верить: ведь перед ним лежал убитый зверь. Впервые Рихард столкнулся с тем, что результат способен изменить цепь предшествовавших событий, и это открытие разрушило его прежний идеализированный мир. Грубые

крики охотников действовали угнетающе. Он снова почувствовал превосходство зверя.

Моосбругер вытащил из ножен охотничий нож и проверил, хорошо ли он наточен, проведя по лезвию большим пальцем. Даже при сильном морозе нельзя было оставлять тушу неразделанной, да и рана обильно кровоточила. В лице охотника проступило что-то первобытное: его осветила торжествующая усмешка и около рта резко обозначились глубокие вертикальные складки. Моосбругер уселся верхом на заднюю ногу кабана и левой рукой отвел в сторону его другую ногу. Надрезав натянутую шкуру, он распорол ее до грудины, но сначала отрезал половые части, цветом напоминавшие гусиные яйца, и со словами «Лисе на ужин!» швырнул через плечо под одобрительный смех загонщиков. Потом он осторожно продолжил линию разреза. Запах, исходивший от туши, стал нестерпимо едким, и все с бранью отступили в сторону. Моосбругер обеими руками рылся в брюхе. Добравшись до грудной клетки, он вытащил красные и голубоватые внутренности и отделил печень, почки и сердце. Оно было пробито выстрелом. С этой раной вепрь пробежал около ста метров. Один молодой охотник разрезал требушину, полную раздробленных буковых орешков, и стал промывать ее в снегу. Вскоре осквернённое тело превратилось в кровавое месиво, из которого сочилась кровь, дымясь на морозном воздухе.

Моосбругер сделал петлю и стянул верхнюю челюсть кабана, зацепив веревку за клыки. Загонщики взялись за другой конец и поволокли тушу за собой. Стрелки закурили трубки и, негромко переговариваясь, пошли следом. Охота закончилась.

Впервые этой ночью Рихард заснул, не вспомнив о ружье. Отныне в его сны ворвался вепрь.

1950

ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

ФРАГМЕНТ СТАТЬИ

(...) Одновременно с размыванием границ между сословиями и ограничением привилегий дворянства исчезает понятие о касте воинов. Вооруженное представительство интересов страны уже не является долгом и привилегией профессионального солдата, но становится задачей всех, кто способен носить оружие. Чудовищное увеличение издержек делает невозможным ведение войны только за счет определенной части казны, предназначенной для военных расходов. Теперь, чтобы военная машина была на ходу, приходится использовать все доступные кредиты и строго экономить сбережения. Картина войны как некоей деятельности, основанной на применении оружия, постепенно сливается с более широкой панорамой гигантского производственного процесса. Наряду с армиями, противостоящими друг другу на полях сражений, возникают армии иного рода, которые обеспечивают транспорт и коммуникацию, снабжают продовольствием, производят вооружения. Вместе они составляют армию Труда вообще. В последней фазе минувшей войны уже не оставалось трудовой деятельности, которая хотя бы косвенно не была включена в работу войны: в ней участвовала любая домохозяйка, сидящая за швейной машинкой. В этом абсолютном овладении потенциальной энергией, преобразующей воюющие государства в гигантские кузницы Вулкана, наиболее отчетливо вырисовывается наступление эпохи Работы: это делает мировую войну явлением, имеющим бóльшее значение, чем Французская революция. Чтобы развернуть энергии такого масштаба, уже недостаточно вложить меч в руку воина: государственный организм должен быть вооружен вплоть до самого мозга костей, до тончайшего жизненного нерва. Это становится задачей Тотальной мобилизации, акции, посредством которой ток, пронизывающий разветвленную на множество артерий электрическую сеть современной жизни, одним включением рубильника на пульте управления устремляется в мощный поток военной энергии.

В начале войны человеческий рассудок еще не мог предвидеть Мобилизацию такого размаха. Однако ее масштабы уже вырисовывались в отдельных мероприятиях: в широком использовании добровольцев и резервистов с самого начала военных действий, в эмбарго на вывоз, в цензурных запретах, в обмене денег. В ходе войны процесс Мобилизации обретал все более откровенные формы. Планомерное хозяйственное использование сырья и продовольствия, превращение трудовых отношений в военную повинность, вооружение торгового флота, непредвиденное расширение полномочий генеральных штабов, «программа Гинденбурга», борьба Людендорфа за объединение военного и политического руководства — все это может быть названо в качестве примеров.

Однако далеко не все возможности были использованы, несмотря на столь же грандиозное, сколь и устрашающее зрелище последних битв материальных сил техники, в которых организаторский талант праздновал свои кровавые триумфы. Эти возможности — даже если ограничиться рассмотрением технической стороны процесса — лишь тогда будут использованы, когда образ войны отразится уже в мирных порядках. Мы видим, как после войны во многих государствах новые методы вооружения уже приспособлены к Тотальной мобилизации.

Следует отметить прогрессирующее ограничение «индивидуальной свободы», право на которую всегда было под вопросом. Осуществляется наступление на все, что претендует на самостоятельность, не желая быть функцией государства, и прежде всего мы видим это в России и в Италии, а позже и у нас в Германии. Можно предвидеть, что все страны, где живы притязания на мировое господство, должны осуществить это наступление, чтобы высвободить новые силы. Сюда же относится возникшая во Франции оценка отношений власти под углом зрения потенциальной энергии, а также начавшееся уже в мирное время сотрудничество между генеральными штабами и индустрией, пример чего явила нам Америка. (...) Русский «пятилетний план» впервые поставил мир перед попыткой объединить в едином русле общие усилия огромного государства. Весьма поучительно наблюдать за тем, как экономическое мышление, преодолевая себя, выходит за собственные пределы: «плановое хозяйство» как одно из последних следствий демократии перерастает себя, превращаясь в развертывание власти как таковой. Этот скачок наблюдается во многих явлениях нашего времени. Громадное давление Масс выкристаллизовывается в завершенные формы.

Не только нападение, но и оборона требует исключительных усилий. Принуждение обретает здесь еще более явный характер. Подобно тому как все живое несет в себе зародыш гибели, вступление Масс на арену истории порождает демократию смерти. Эпоха прицельного выстрела отошла в прошлое. Командир эскадрильи, летящей в ночном небе, приказывая сбросить бомбы на вражескую территорию, не видит разницы между солдатами противника и мирным населением, а облако смертоносного газа, словно стихия, накрывает собой все живое. Сама возможность такой угрозы предполагает не частичную и не всеобщую, но *Тотальную* мобилизацию, которая распространяется даже на младенца, лежащего в колыбели. Он тоже подвергается опасности, даже еще большей, чем все остальные.

Можно привести немало примеров, но достаточно понаблюдать за нашей жизнью с ее безудержной раскрепощенностью и неумолимой дисциплиной, с ее раскаленными и закопченными промышленными районами, с физикой и метафизикой ее скоростей, с ее моторами, самолетами и гигантскими городами, чтобы со смешанным чувством ужаса и восторга ощутить, что нет уже ни единого атома, не включенного в Работу, и мы сами глубоко вовлечены в ее бешеный процесс. Тотальную мобилизацию не столько проводят, сколько она осуществляется сама собой: не только в военное, но и в мирное время она выражает таинственное и неумолимое веление самой Жизни, которому мы подчинены в эпоху масс и машин. Так жизнь каждого все больше становится

жизнью Рабочего. Войны рыцарей, королей и буржуазии сменяются войнами Рабочих. Неумолимая рациональность и жестокость этих войн предчувствуется уже в первом глобальном столкновении века.

1930

РАБОЧИЙ. ГОСПОДСТВО И ОБРАЗ

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

Господство третьего сословия в Германии никогда не могло затронуть глубочайшее внутреннее ядро, которое определяет богатство, могущество и полноту жизни. Оглядываясь на прошедшее столетие немецкой истории, мы можем с гордостью признать, что были плохими буржуа.

(...) Немец не знал, что делать с той свободой, которая была ему предложена вместе с умением владеть мечом и убеждать словом, и определилась с провозглашением всеобщих прав человека: эта свобода была для него неким внешним орудием, не имевшим никакого отношения к сокровенной внутренней органике. Ибо понятие свободы, применяемое как некая постоянная и не имеющая в себе содержания мера к любой величине, которую под нее подгоняют, такое понятие свободы в Германии реализовать невозможно. Здесь мера свободы, которой располагает какая-либо сила, всегда в точности соответствует мере ее обусловленности. В сфере освобожденной воли проявляется соответствующий объем ответственности, а она сообщает воле оправдание и значимость. В нашу действительность, а значит и в нашу историю в ее высочайшем судьбоносном значении, может войти лишь то, что несет печать ответственности. (...)

Свойство, прежде всего отличающее немца, Порядок, утратит всякую ценность, если в его зеркале не сумеют распознать стальной лик свободы. Послушание — это искусство слушать, а Порядок — это готовность внять слову, готовность внять приказу, который подобно молнии устремляется от вершины до самых корней. Все и вся находится в порядке ленной зависимости, а вождь — это тот, кого знают как первого Слугу, первого Солдата, первого Рабочего. Как свобода, так и порядок относятся не к обществу, но к государству, и образец всякой организации не общественный договор, а военная организация. Здесь рождается могучая сила, если нет сомнений в повелевании и подчинении.

Необходимо уяснить следующее: господство и служение суть одно и тоже же. Эпоха третьего сословия так и не постигла чудодейственную мощь этого единства, ибо исходила в своих устремлениях из соображений слишком умеренной, слишком человеческой пользы.

(...) Рабочие образуют сословие только с буржуазной точки зрения. В основе этого истолкования лежит бессознательная хитрость: втиснуть новые притязания в старые рамки, чтобы сделать возможным продолжение переговоров. Ибо там, где можно вести переговоры, буржуа чувствует себя в безопасности. Однако восстание Рабочих не будет чем-то бесцветным и вторичным, подобным разбавленному раствору, приготовленному по устаревшим рецептам. Различие между Рабочим и буржуа — это не только разница в возрасте, но прежде всего разница в ранге. Рабочий связан со стихийными силами, о самом наличии которых буржуа даже не подозревал. Благодаря этой связи Рабочий из недр своего бытия способен добыть совершенно иную свободу, отличную от буржуазной, а притязания, с которыми он готов выступить,— гораздо шире, значительнее и несут в себе бóльшую угрозу, нежели притязания сословия.

(...) Буржуазная политика оперирует только такими величинами, которые можно свести к обществу. Общество есть государство, сущность которого стирается в той степени, в какой общество подгоняет его под свою мерку. Наступление на государство осуществляется при посредстве понятия буржуазной свободы, с помощью которого все взаимные

обязательства преобразуются в договорные отношения, которые можно расторгнуть.

В тесном отношении с обществом находится фигура Единичного, странная абстракция человека, драгоценнейшее открытие буржуазной чувствительности и неисчерпаемая тема для ее художественной фантазии. Подобно тому как человечество является космосом этого представления, так человек является его атомом. Практически Единичный рассматривает себя в оппозиции не к человечеству, но к массе, своему зеркальному отражению в этом крайне причудливом ирреальном мире. Ибо масса и Единичный суть одно, и из их единства рождается образ, поражающий своей двойственностью: с одной стороны — пестрый беспорядок анархии, с другой — трезвый распорядок демократии, той самой демократии, которая была спектаклем века.

(...) Буржуазное общество, независимо от того, выражает ли оно свое понятие свободы в массе или в индивидууме, приговорено к смерти, и в этом — знамение грядущей новой эпохи. Первый шаг заключается в том, что внутри этих форм уже не думают и не чувствуют, второй — в том, что в них больше не действуют. Жизнь таит в себе гораздо большее, в ней содержится и нечто иное, нежели то, что буржуа почитает за благо. И высшее притязание, которое может выдвинуть Рабочий, состоит не в том, чтобы стать носителем нового общества, но в том, чтобы быть носителем нового государства.

И тогда он объявляет борьбу не на жизнь, а на смерть. Единичный, который в основе своей — не кто иной, как несущий службу, становится воином, масса становится армией, а вместо изменения общественного договора устанавливается новый порядок повелевания. Рабочий покидает сферу договоров, сострадания, литературы и вступает в сферу деяния; его юридические обязательства преобразуются в военные. Вместо адвокатов у него будут вожди, и его собственное бытие станет мерой, вместо того чтобы являться предметом истолкования.

(...) Рабочую демократию рассматривают как чрезвычайное положение. В ней видят одну из мер по наведению порядка, подобную введению диктатуры на ограниченный срок, которое предусматривалось в исключительных случаях в Римской республике.

Фактически здесь идет речь о чрезвычайном положении, но о таком, которое не может завершиться возвратом к либерализму. Либеральная демократия упраздняется окончательно. (...) Изменения, происходящие с людьми и вещами в поле сил рабочей демократии, столь решительны, что возвращение на исходные рубежи представляется невозможным.

Решающий шаг к рабочей демократии состоит в том, что здесь тип Рабочего уже деятельно осуществляет поворот к государству. Здесь мы сталкиваемся с тем, что партии, движения и организации вступают в органическую конструкцию — в некую новую форму единства, которую мы называем Орденом [1]. Определяющий признак органической конструкции заключается в том, что она предполагает культ Образа Рабочего.

Таким образом движение фронтовиков, социал-революционные партии, армия преображаются в новую аристократию, которая овладевает решающими духовными и техническими средствами. Различие между ними и партией старого стиля — очевидно. Ныне речь идет о подборе и выращивании этой новой аристократии, тогда как традиционная партия стремится организовать массы.

Особенность органической конструкции в том, что в определенный момент прием новых членов прекращается и в очередной раз начинается массовая чистка, тогда как партия старого стиля по самой своей сути не способна к подобным мерам. Таким образом достигается надежность и однородность наличного состава Ордена, что может обеспечить

[1] В этой связи интересно отметить, что И. В. Сталин также видел в партии «орден меченосцев».

лишь тип Рабочего, поскольку именно на него возложены обязательства, соответствующие нынешней исторической ситуации.

(...) Происходит превращение парламентов из органов, воплощающих буржуазное понятие свободы, и из институтов, формирующих общественное мнение,— в Рабочие Органы, что равнозначно превращению общественных органов в государственные. Следует также упомянуть об овладении механизмом всенародного голосования, в рамках которого определенный смысл придается не только понятию народа, но и возможным ответам на вопрос, вынесенный на голосование. Далее, общественная дискуссия заменяется аргументацией, которая носит чисто технический характер. Этому соответствует замена общественных деятелей государственными служащими. (...)

Тип Рабочего возвышается над либерально-демократическими Порядками, из которых он происходит, не потому, что он «захватывает власть», но потому, что он сам, будучи носителем нового стиля жизни, выступает воплощением Власти. (...)

Революционные средства, которые узаконивает Рабочий, значительнее абстрактно-духовных, поскольку они имеют предметную природу. Задача Рабочего состоит в том, чтобы придать легитимный характер техническим средствам, с помощью которых он мобилизует мир, то есть приводит его в состояние безбрежного движения.

Различие в средствах, которыми пользуются буржуа и Рабочий, порождает различные подходы к овладению завоеванным миром и его устроению. Для буржуа этот процесс осуществляется в духовных построениях конституций, в которых тот же Разум, что разрушил старое общество, является основой нового строя и его определяющей мерой. Перед Рабочим стоит решающая задача: включить в органическую конструкцию пребывающие в безбрежном движении массы и энергии, которые образовались в процессе разложения буржуазного общества. Рамки, в которых заключена свобода действия, определяются уже не буржуазной конституцией, но рабочим Планом. (...)

Внутри рабочей демократии, как некоего переходного состояния, План характеризуется признаками законченности, гибкости и носит милитаризованный характер. Как и само слово «план», эти признаки подтверждают, что здесь не идет речь об окончательных мерах. Однако плановый ландшафт отличается от чисто производственного тем, что в первом присутствуют ясно сформулированные цели. В плановом ландшафте нет места безграничному развитию и он не обладает чертами, свойственными политическому «Perpetuum mobile», который на манер стенных часов постоянно приводится в движение с помощью противовеса оппозиции.

В оппозиции такого рода мало смысла. Она не в силах оказать какое-либо влияние на положение дел, как не смогла бы изменить курс военного корабля. В политических движениях XIX века постоянно повторялась одна и та же узаконенная конституцией революция Разума[1]. Внутри планового ландшафта такое поступательное движение посредством ротации — ненужное расточительство. В плановом ландшафте совершается марш, разбитый на несколько этапов, каждый из которых должен быть пройден за определенное время, в строгом соответствии с планами генерального штаба Власти. Как средства, которые узаконивает Рабочий, не являются отвлеченными принципами, но обладают предметным характером, так и поставленные Планом задачи выражены в цифрах. Эти задачи больше не определяются борьбой мнений, но вытекают из проекта планового задания. Уже не масса или индивидуум обеспечивают единство выполняемой работы: оно обретает свою конкретность благодаря Плану. Результат столь же точен и нагляден, как показания часовой стрелки.

Таким образом плановое задание в той же степени поддается конт-

[1] Так Юнгер именует буржуазно-демократическую систему выборов, сложившуюся в Европе в XIX веке.

ролю, в какой ему не поддается выполнение тех обещаний, которые какой-нибудь адвокат облекает в либеральные фразы, чтобы завоевать общественное мнение.

1932

МАКСИМА-МИНИМА. ЗАМЕТКИ К «РАБОЧЕМУ»

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

На каком-нибудь мрачном вокзале человек должен был сесть в поезд — как националист или большевик, как революционер или солдат — и отправлялся служить темным духовным силам или теориям. Спрашивается только одно: как далеко он намерен идти вместе с ними. «Дальше всего уйдет тот, кто не знает, куда он идет!» Тот, кто не способен творить историю, пытается ее подделать: одна из станций парижского метро называется «Сталинград».

В недрах Истории происходит своеобразный пищеварительный процесс: во дворцах копрофагов каждое новое поколение питается отбросами предыдущего. Человек живет не только деяниями отцов, но и их злодеяниями.

Когда глупость доходит до такой степени, что ее нельзя разумно истолковать, возрастает ее значение как феномена — как глупости не только зоологической, но и демонической: можно предположить, что за ней скрыто действие чудовищно могущественных сил.

Это можно сказать и по поводу атрофии метафизической способности. Потери, понесенные в пределах исторического ландшафта, имеют относительное значение внутри глубинных взаимосвязей: универсум — это дом, в котором ничто не пропадает. Остаться на своем месте не самое главное; важно не выйти из игры.

Необходимо не упускать из виду тип преследователя, а не разновидности партийных движений. Партии сменяют друг друга, а преследование продолжается. Правосудие следует за политикой, словно стая стервятников — за войском. Все храбро нападают на поверженного.

1963

ИЗ РУССКОГО ДНЕВНИКА

Ворошиловск, 6 декабря 1942 г.

(...) Воскресенье, ясный морозный день. Земля покрыта тонким слоем снега. С утра отправился на прогулку в лес. Зимние картины радовали глаз. По дороге встречались крестьянки с изогнутыми на концах длинными коромыслами, на которых покачивались ведра с водой или какая-нибудь ноша. Весело смотреть на лошадку: она трусит легкой рысцой, а ее хомут ритмично подпрыгивает. Вспоминаются старые времена, былое изобилие. Живо представляешь себе, сколь многого эту землю лишила Абстракция и как она могла бы вновь расцвести под солнцем благосклонной отеческой власти. В речи местных жителей мой слух улавливает переливы гласных: в их голосах звенит тихий смех и какая-то скрытая радость, и вспоминаются зимние дни, когда подо льдом и снегом слышно журчание ключей. (...)

Кропоткин, 9 декабря 1942 г.

(...) Утром прибыл в Кропоткин, где провел целый день, пока не пришел поезд на Белореченскую. В просторных и голых помещениях вокзала — сотни солдат, которые ждали поезда, как и я. Они молча стояли небольшими группами или сидели на своем багаже. В часы раздачи пищи они теснились у маленьких окошек, стоя в очереди за порцией супа или кофе. Во всей атмосфере ощущалось присутствие неумолимых титанических сил. С ледяным равнодушием они гонят вперед огромные массы людей, которые слепо им повинуются. Создается впечатление, что могучая Воля овладела всем существом человека, а разум

его — спит. Только состояние чистого созерцания, подобного тому, в котором творит художник, способно дать облегчение и успокоение. Но это невозможно: текущим событиям уже не получить глубокого истолкования под пером великого историка, а лучше — романиста. Неизвестны даже истинные имена сил, которые борются между собой. И я подумал: «Свободу, как ее понимали в XIX веке, уже не восстановить, хотя многие об этом мечтают до сих пор. Она должна подняться к ледяным новым вершинам Истории и воспарить над ними, как орел взмывает ввысь над зубцами крепостных стен, вздымающихся из хаоса. Свобода должна быть выстрадана и вновь заслужена».

Майкоп, 12 декабря 1942 г.

(...) Вчерашний разговор показал, что мне не удастся описать действительное положение дел: слишком многое здесь для меня табу. У меня нет доступа туда, где поднимают руку на беззащитного, где пытаются устрашить население посредством репрессий и массовых карательных операций. Впрочем, я не питаю никаких надежд на изменения к лучшему. Таков стиль эпохи: это видно уже по той алчности, с какой повсеместно прибегают к подобным средствам. Противники подражают друг другу.

Разыскать бы места злодеяний, чтобы увидеть и засвидетельствовать, каковы они, палачи и жертвы! Какое огромное влияние оказали «Записки из Мертвого дома» Достоевского. Но он не по своей воле оказался там, он был в заключении.

Наблюдению также положены пределы. Чтобы они исчезли и доступ был открыт, необходимо обладать более высоким посвящением, нежели то, которым нас жалует Время.

Кутаиси, 31 декабря 1942 г.

(...) Вечером в штаб-квартире — празднование Нового года. В который раз я убедился в том, что чистая радость праздника в эти годы безвозвратно утеряна. Генерал Мюллер рассказал о позорных преступлениях секретной службы, совершенных после взятия Киева. Вновь речь зашла о туннелях с отравляющим газом, куда отправляли поезда с евреями. Это — слухи, и я пишу о них именно как о слухах, однако несомненно, что убийства совершаются в массовых масштабах. (...) Отвращение душит меня, когда я вижу мундиры, погоны, ордена, оружие, блеск которого я так любил. Старое рыцарство умерло. Теперь войны ведутся теми, за кем стоит Техника. Человек дошел до состояния, описанного Достоевским в «Преступлении и наказании». Он стал смотреть на себе подобных как на насекомых. Но именно этого человеку должно остерегаться, если он сам не хочет попасть в их число. (...)

Апшеронская, 1 января 1943 г.

(...) На Апшеронской пообедали с Массенбахом, потом гуляли в лесу. На горизонте ослепительно сверкали снежные вершины гор. Мы говорили о постыдных преступлениях нашего времени. С нами был еще некто третий, считавший их неизбежными: когда после 1917 года была уничтожена русская буржуазия и миллионы людей погибли в застенках, немецкий мелкий буржуа, поддавшись паническому ужасу, стал пугать других. Так справа к нам пришло то, что еще страшнее надвигалось слева.

Из таких разговоров отчетливо видно, как глубоко техника уже успела проникнуть в сферу морали. Человек чувствует себя заключенным в чудовищный механизм, из которого нет исхода. Всюду царит страх, он проявляется в гротескной игре в таинственность, нарочитом вуалировании событий, во всемогущем недоверии. Любая встреча двух людей рождает взаимные подозрения, что видно уже по тому, как они приветствуют друг друга.

Составление и перевод с немецкого
ВЛ. РЫНКЕВИЧА; «Тотальная мобилизация»
и «Рабочий. Господство и Образ» —
А. ЛУКИНА и ВЛ. РЫНКЕВИЧА

СИНТАРО ИСИХАРА

ЯПОНИЯ, КОТОРАЯ СУМЕЕТ СКАЗАТЬ «НЕТ»

Перевод М. ТЕРАКОПЯН

Глава I

Новое национальное сознание

Ежемесячно начальник отдела Управления экономического планирования и управляющий Банка Японии проводят брифинг для членов кабинета и руководящего звена Либерально-демократической партии. Он проходит перед заседанием кабинета, которое во время парламентской сессии начинается в девять, а иногда и в восемь часов утра. Я ненавижу рано вставать, но тем не менее, протирая после сна глаза, всегда являлся на такие брифинги. Каждый раз доклады были почти идентичными, большинство министров дремали.

Мне это представлялось бессмысленным ритуалом. Ведь с начала 80-х годов правительство выступало за административные и финансовые реформы, направленные на снижение государственного регулирования экономики и модернизацию управления. Поэтому генеральному секретарю кабинета Кэйдзо Обути я высказал мысль, что брифинги — потеря времени и их следует прекратить. Он сказал, что склонен согласиться, но добавил, что для многих деятелей ЛДП это единственная возможность принять участие в заседании на уровне кабинета. Прекратить эти встречи — значило бы оскорбить их.

Нация инопланетян

Брифинги проходили в период, когда пост премьер-министра занимал Нобору Такэсита (1987—1989 гг.), я тогда был министром транспорта. Я сидел там и слушал, как представитель Управления экономического планирования зачитывал торговую статистику: «В этом месяце, как и в предыдущем, положительное сальдо неуклонно уменьшалось». Другими словами, он сообщал, что Япония ослабила свои торговые позиции и что это замечательно. Кое-кто из присутствовавших бормотал «ясно» и подчеркивал в розданном тексте эту фразу.

Во время одного из брифингов я наклонился к своему близкому другу Сэйроку Кадзияме, министру по делам местной администрации, и сказал: «Думаю, дни Японии сочтены. Этот человек говорит, что дела идут плохо и это хорошо; все кивают в знак согласия и подчеркивают эту фразу».

«Это только слова. Смысл их изменился, вот и все»,— пробормотал Кадзияма.

Я точно не знаю, что он имел в виду, но, полагаю, он говорил о том, что наш взгляд на японскую экономику изменился. Согласно широко рекламировавшемуся докладу комиссии Маэкавы (1986 г.), огромный положительный торговый баланс Японии — опасный недостаток, и экономику следует переструктурировать так, чтобы вместо роста за счет экспорта шло развитие, основанное на внутреннем спросе. Не затрагивая вопроса о том, следует ли воспринимать изложенные в докладе выводы как Священное писание, нужно отметить, что японская экономика действительно изменяется. Мощные и грузные, загрязняющие воздух отрасли, в частности сталелитейная промышленность, судостроение, уступают место компактным наукоемким сферам, таким как разработка программного обеспечения, производство компьютеров и полупроводников.

Если провести параллель с людьми, то случись нам услышать, что высокого мускулистого мужчину собираются «подгонять под другой размер», мы бы заволновались.

© Shintaro Ishihara, 1989

Тем не менее сегодня все — группа советников Маэкавы, экономисты, политики — говорят, что японская промышленность должна быть переструктурирована, а экономику должен возглавить наукоемкий сектор.

Хорошо ли это для Японии? Сможем ли мы и дальше преуспевать? Люди перестанут заниматься тяжелым физическим трудом. Они больше не будут производить изделия на заводах и в мастерских, не будут пачкать руки на сборочных конвейерах или обливаться потом перед доменными печами. Я не принижаю значения умственных усилий, необходимых для написания компьютерной программы или разработки новой технологии. Это важная работа. Но один мозг безо всякой мускулатуры не пойдет на пользу стране. Все только интеллектуалы? Исторический опыт не радует: ни одна подобная страна никогда не процветала. Возможно, Японии был навязан не имеющий прецедента эксперимент. Как бы то ни было, я не думаю, что нам следует радостно упиваться тем, что мы народ-избранник, и принять такую судьбу.

Я иногда думаю, не превращается ли Япония, выражаясь фигурально, в нацию инопланетян, подобных герою знаменитого фильма «Инопланетянин», этому очаровательному пришельцу из космоса с несоразмерно большой головой, длинными и тонкими руками и ногами. Если ход эволюции таков, то пришельцеподобные люди появятся прежде всего в Японии. Это, в частности, объяснило бы, почему мы так плохо выступили на Олимпийских играх в Сеуле, завоевав лишь горстку золотых медалей. Может быть, эти жалкие результаты — признак того, что у нас формируется нетипичная, утонченная психология и соответствующий образ жизни. Для нас как для нации было бы лучше, если бы наши атлеты выиграли целую корзину медалей, а молодое поколение бы напряженно работало. И все же нет сомнений в том, что козырная карта Японии — ее передовая техника.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанное в 1987 году, стало важным событием, но действиями США и СССР руководило отнюдь не запоздалое понимание того, что ядерное оружие ставит под угрозу существование человечества и потому никогда не может быть применено. Некоторые обозреватели, конечно же, верят, что Москва и Вашингтон действовали в столь возвышенных целях, но я нахожу объяснение в другом.

Точность ракет среднего радиуса действия и межконтинентальных баллистических ракет зависит от качества компьютеров. Главная часть межконтинентальной баллистической ракеты — это кассетная боевая часть с индивидуальным наведением поражающих элементов (MIRV), содержащая 8—9 водородных боеголовок, каждая из которых способна поразить собственную цель. Значительная часть боеголовок — всего лишь приманки, отвлекающие на себя антибаллистические ракеты. Для того чтобы избежать поражения, настоящие боеголовки в процессе полета изменяют скорость, совершают петли, свободное падение, отклоняются в сторону. Потом они наводятся на цель, предварительно идентифицированную спутником-шпионом.

И у Советского Союза, и у Соединенных Штатов имеется список целей, которые должны быть поражены прежде всего. С точки зрения Москвы таким объектом является специальный стартовый комплекс ракет второго удара на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, где глубоко под землей находятся ракетные шахты, чьи стены достигают в толщину 50—60 метров. Они способны выдержать сильное землетрясение и уязвимы только для взрыва водородной бомбы. Но даже водородная бомба сможет уничтожить находящуюся внутри ракету только прямым попаданием.

Советские ракеты способны поражать такие цели с точностью до 60 метров. Результаты американцев чуть лучше — 15 метров, и они пытаются увеличить точность. Продолжающееся усовершенствование оборонительных ракет означает необходимость усложнения траектории полета боеголовок MIRV, что вызывает потребность в более мощных компьютерах для мгновенной обработки информации. В таких системах оружия используются компьютеры четвертого поколения; в разрабатываемых ныне компьютерах так называемого пятого поколения потребуются мультимегабитные полупроводники. Вероятно, американские компании уже обладают технологическим ноу-хау, позволяющим производить новейшие микросхемы, но только японские электронные фирмы располагают возможностями массового выпуска и контролем качества, что необходимо для обеспечения мультимегабитными полупроводниками систем оружия и другого оборудования.

Короче говоря, без использования изготовленных в Японии компьютерных микросхем нового поколения министерство обороны США не в состоянии дать гарантий, что ядерное оружие будет обладать требуемой точностью. Если бы Япония заявила Вашингтону, что больше не станет продавать в США компьютерные микросхемы,

Пентагон оказался бы абсолютно беспомощен. Более того, реши Япония продавать микросхемы Советскому Союзу, а не США, полностью нарушилось бы военное равновесие в мире. (Кое-кто из американцев говорит, что, если бы мы стали обдумывать такую возможность, американские войска опять бы оккупировали Японию.)

Япония сейчас обладает решающим техническим превосходством. Я полагаю, Рональд Рейган и Михаил Горбачев вместе со своими советниками осознали абсурдность ситуации — зависимость точности ядерного оружия от японских микросхем — и согласились прекратить гонку вооружений.

В пентагоновском докладе я нашел подтверждение своего предположения, что в гонке ядерных вооружений козырная карта в руках Японии. Из доклада специальной группы Оборонной научной комиссии, посвященного зависимому положению США в сфере полупроводников, явствует, что США обеспокоены достижениями Японии в технике, особенно в области полупроводников. В докладе справедливо отмечается слабость США и превосходство Японии в производстве микросхем, а также говорится, что, если бы ситуация и впредь развивалась в том же направлении, США оказались бы в полной зависимости от Японии. Пока с докладом ознакомился лишь американский президент и небольшая группа официальных лиц, но в случае опубликования он вызвал бы нешуточный переполох.

В докладе делается, в частности, вывод о том, что военная мощь США в значительной мере зависит от технического превосходства, особенно в электронике. «Полупроводники — ключ к лидерству в электронике,— говорится там,— а ключ к лидерству в области полупроводников — масштабное производство конкурентоспособной продукции». Но в докладе далее отмечается, что «масштабное производство поддерживается рынком». А в США, в отличие от Японии, нет рынка сбыта для широкого ассортимента товаров, использующих полупроводники, таких, например, как электрические рисоварки. Авторы доклада приходят к заключению, что «американская полупроводниковая промышленность утрачивает передовые позиции в коммерческом выпуске продукции... Ведущая роль в полупроводниковой технологии, которая непосредственно связана с лидерством в производстве, вскоре будет отдана заграница. В недалеком будущем американская оборона попадет в зависимость от иностранных производителей новейшей полупроводниковой техники. Специальная группа считает это недопустимым».

«Иностранные производители», о которых идет речь в докладе,— это японские компании. У меня складывается впечатление, что Вашингтон пребывает в почти истерическом состоянии из-за того, что важнейший компонент американской военной мощи — полупроводниковая техника — оказался в руках другой страны, к тому же не европейской, а азиатской — Японии. Деятели Пентагона, вероятно, обеспокоены еще и тем, что переход ведущей роли в производстве полупроводников к другому государству облегчает Советскому Союзу доступ к компьютерным системам и микросхемам.

Предпринятые в 1987 году рейгановской администрацией санкции против «Тосибы» — часть этой истерии. Дочерняя компания фирмы «Тосиба» нарушила запрет КОКОМ (Координационный комитет по контролю за экспортом) на поставку высокой технологии в социалистические страны, продав в Советский Союз фрезерные станки высокой точности. Пентагон предъявил претензии, что в результате последовавшей за этим модернизации советских подводных лодок их стало труднее обнаруживать. Никаких юридических оснований для принятия мер против «Тосибы» не было, равно как не было и никакой причинно-следственной связи между продажей станков и снижением уровня шумов на советских подводных лодках. И все же санкции были применены.

Для беспокойства, если и не для паники, у Соединенных Штатов действительно причины есть. Микросхема емкостью в один мегабайт, используемая в компьютерных банках памяти, состоит из миллиона контуров, нанесенных на кремниевую основу размером в треть ногтя на мизинце. Этот совершенно необходимый компонент производится только в Японии. Японские изготовители почти полностью контролируют рынок. Для производства таких микросхем у Соединенных Штатов есть ноу-хау, но нет инженеров и техников. А при отсутствии интегрированной системы разработки и производства ценные знания пропадают впустую.

В погоне за дешевой рабочей силой американские компании вывели производство за пределы Соединенных Штатов и изготавливают 256-битные микросхемы в Юго-Восточной Азии. И все же сегодня американская полупроводниковая промышленность отстает от японской более чем на пять лет, и разрыв продолжает увеличиваться. Некоторые базовые исследования в области высокой технологии требуют самых современных компьютеров. Получается, что при попытке сделать значительный шаг вперед

оказываешься в каком-то замкнутом круге: без самого современного компьютера нельзя создать еще более современный компьютер. Структура технологии такова, что появившийся однажды разрыв продолжает расширяться.

США в отчаянии, потому что вся государственная мощь, включая военную, зиждется на электронике. Например, для того чтобы решить, какой из новых материалов лучше всего использовать при строительстве самолета, способного лететь со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, инженеры применяют компьютерное моделирование. Для того чтобы дать ответ, обычному компьютеру потребовалось бы сорок лет, новейшие же самые быстродействующие компьютеры обеспечат информацию за год. Почти безраздельно контролируя производство используемых в таких компьютерах микросхем емкостью в один мегабайт, Япония занимает очень сильную позицию.

Ведущие позиции в области новейшей техники: национальное пробуждение

С затуханием идеологической конфронтации возникла вероятность того, что следующим крупным центром экономического развития станут отдаленные районы Китая и Сибирь в СССР.

Существуют технические средства, способные связать эти труднодоступные зоны с внешним рынком, например, новые высокоскоростные поезда, известные под названием «маглев» (от английского «magnetic levitation» — магнитная подушка). Такие поезда парят в воздухе на магнитной подушке, создаваемой сверхпроводящими магнитами, и движутся вперед при помощи установленных в полу катушек. В этой области лидируют Япония и Западная Германия, причем японцы намного опережают немцев и в теоретическом плане, и по показателям практических испытаний. Испугавшись технических трудностей, немцы бросили заниматься сверхпроводимостью, но наши инженеры разрешили все головоломки.

Вот один пример: западногерманский поезд на магнитной подушке приподнимается над рельсами лишь на 8 миллиметров. Его японский аналог, в котором применена сверхпроводимость, поднимается над рельсами на 10 сантиметров. И тот и другой способны с легкостью двигаться со скоростью 500 километров в час. Ни в США, ни в СССР не разрабатываются проблемы железнодорожного транспорта космической эры.

При условии достижения консенсуса между лидерами японских политических и деловых кругов, который даст нам возможность эффективно воспользоваться этой техникой, мы сумеем решить невероятно сложные задачи, навязанные Японии. То же самое можно сказать о наших значительных достижениях в других областях техники. Если мы на каждом этапе будем делать правильный выбор, то, полагаю, сможем удержать ведущие позиции в области высокой технологии. Все зависит от проницательности наших политических лидеров.

В 1970 году Акио Морита, желая объединить многообещающих политиков и деловых людей, сформировал исследовательскую группу под названием Дзию сякай кэнкюкай (Ассоциация по исследованию свободного общества). Я имею честь быть членом этой группы. Ежегодно Морита приглашает выступить перед нами Генри Киссинджера, бывшего американского госсекретаря и своего личного знакомого. Несколько лет назад Киссинджер сказал нам, что, хоть это и маловероятно, но Япония могла бы стать военной сверхдержавой. Я думаю, вряд ли он имел в виду, что Япония поведет себя настолько глупо, чтобы приобретать межконтинентальные баллистические ракеты и строить военные корабли вроде линкора «Ямато», этого бегемота времен второй мировой войны. Я полагаю, он, наверное, хотел сказать, что благодаря своему превосходству в технике Япония может играть решающую роль вне зависимости от того, какие системы космического оружия будут создаваться Вашингтоном или Москвой.

Японским лидерам, для того чтобы разыграть техническую карту в международной политической игре в покер, где ставки высоки, потребуются твердость и сноровка. Но я не знаю, способен ли кто-либо из них в исторически верном свете увидеть новое положение Японии. Как любому хорошему игроку в покер, нам приходится то рисковать, то осторожничать. Игра началась. Экономически и технически Япония — сверхдержава; только играть — другого выбора у нас нет.

Если же мы хотим оставаться в игре, потребуется провести реформу многих наших институтов, включая налоговую систему. Мы еще не совсем справились с последствиями военного поражения и оккупации. И все же я рад, что пусть медленно, но наши взгляды меняются.

За последние сорок лет многие страны пережили глубокие изменения. Десталинизация вынудила советских людей усомниться в непогрешимости своего политического

руководства. Мао Цзэдун начал культурную революцию, стремясь искоренить буржуазные ценности. Война во Вьетнаме заставила многих американцев в ином свете увидеть свою страну. Но в Японии по сей день сохраняется мировосприятие, характерное для послевоенного периода. Превосходство в технике должно помочь нам без мучительных конвульсий прийти к новому мышлению. Способность к свежему восприятию — это непременное условие истинно зрелого общества.

Глава II

Расовые предрассудки — коренная причина шельмования Японии

В апреле 1987 года, дней через пять после того как Конгресс применил санкции против японских изготовителей полупроводников, я посетил Вашингтон. Отношение было ядовито-враждебным. Беседуя с некоторыми членами сената и палаты представителей, которых я хорошо знал, я невзначай заметил, что, по-моему, за торговыми трениями между нашими странами стоят расовые предрассудки, и привел несколько конкретных примеров. Американских политиков огорчает употребление таких слов, как расизм, но те, с которыми я разговаривал, в конце концов признавали с кислой улыбкой, что в моих словах есть доля истины. Интересно, что поначалу они утверждали, будто предрассудки здесь роли не играют, а потом говорили, что их существование, возможно, результат войны на Тихом океане. По моему мнению, оставшееся со времен второй мировой войны недоверие не может быть единственной причиной.

Запад, по крайней мере подсознательно, очень гордится тем, что он — создатель современной эры. В Вашингтоне, встречаясь с политическими деятелями, я сказал: «Я признаю, что современную цивилизацию создали белые, но меня беспокоит, что вы, кажется, полагаете, будто из-за этого стоите выше других. Однако в XIII веке монголы под предводительством Чингисхана и его преемников покорили Россию, Восточную Европу и дошли почти до Вены и Венеции. Грабя и насилуя, монгольские орды уничтожали на своем пути все армии и крепости. Белые стали стричься, как монголы, брить брови, как монголы, и даже подражать их кривоногой походке. Точно так же, как сейчас на Востоке сходят с ума по одежде и по прическам Битлз, Майкла Джексона или Стинга, во времена Чингисхана на Западе подражали монголам. Даже женщинам нравился новый стиль».

В конце концов монгольская империя развалилась, но истоки страха Запада перед азиатами — перед «желтой опасностью» кое-кто усматривает в убийствах и мародерстве, творимых монгольской ордой. Японцам не следует забывать, что, каковы бы ни были на то причины, у белых есть предубеждение против Востока.

Американский выбор: расизм или всемирное лидерство

В открытой форме американские предрассудки проявились в беседе, состоявшейся у меня со старшим офицером американского ВМФ. Американский военно-морской флот устанавливает в носовой части гражданских танкеров и контейнеровозов мощные гидролокаторы, способные обнаруживать нетипичные объекты. Они носят название «Эмбер систем» и предназначены для обнаружения ядерных подводных лодок. Гидролокатор не способен отличить американскую подводную лодку от советской, он просто передает в Пентагон сигнал о том, что объект обнаружен. Американскому ВМФ известно местонахождение собственных подводных лодок и в соответствии с этим определяется, является ли объект дружественным или вражеским.

Я предложил этому офицеру устанавливать «Эмбер систем» на японских торговых судах, которые курсируют по всем маршрутам, и располагают надежной, хорошо обученной командой. Япония могла бы заниматься сбором первичных разведданных, которые потом анализировались бы ВМФ США. Офицер сказал, что помощь Японии не требуется. Я настаивал на своем предложении, указав на численное превосходство советских подводных лодок над американскими. Он ответил, что не может просить участия японского торгового флота. Если бы с подобным предложением обратилась Западная Германия или Великобритания, спросил я, вы бы установили «Эмбер систем» на их торговых судах? Офицер откровенно ответил, что Пентагон пошел бы на это.

Американцам кажется, что им нельзя доверять Японии. Мы не в состоянии декодировать сигналы гидролокатора, и все же они предпочитают не обращаться к нам с просьбой о сборе сведений. Американские генералы скорее бы, наверно, даже русских попросили, чем обратились бы к японцам. Японцы должны сознавать, сколь сильно предубеждены американцы.

Например, во время второй мировой войны Соединенные Штаты бомбили немецкие города, перебив немало гражданского населения, но атомной бомбы против немцев не применили. Американские самолеты сбросили ее на нас, потому что мы — японцы. Все американцы, с которыми я заводил разговор об этом, отрицали, что причиной были расовые различия, но факт остается фактом: атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Об этом мы должны помнить всегда. Тот же самый расизм лежит в основе торговых трений с США.

Американский расизм порожден уверенностью в культурном превосходстве. Но поскольку США — страна-выскочка, то здесь присутствует некий элемент самонадеянности, отчего искажается восприятие американцами других культур, особенно азиатских. При нынешнем состоянии американского образования ученики не могут получить должного представления о других культурах. Американцам следовало бы знать, что, как писали первые португальские и испанские миссионеры, к середине XVI века в Японии существовала высокоразвитая цивилизация. В период Токугава (1603—1867) чтение и письмо преподавались в Японии по всей стране в более чем 20 тысячах частных школ; в то время этот уровень грамотности и образования не имел себе равных. В городах даже простые люди умели писать японской слоговой азбукой и знали не менее двух тысяч иероглифов. Отличное почтовое сообщение, обеспечивавшее доставку писем, грузов и наличных денег, связывало Эдо (ныне Токио) с островом Кюсю. В библиотеках по всей Японии хранятся собрания писем и других материалов, относящихся к тому периоду. Но когда пытаешься рассказать американцам о том, чего достигла Япония в прошлом, они начинают скучать — настолько чванятся они западной цивилизацией.

Современная эпоха вступила сегодня в завершающую фазу. Сознавая ее близкий конец, американцы, ставшие после второй мировой войны самой сильной из белых наций, все более и более нервозно, почти истерически относятся к Японии. Обе страны сейчас переживают один и тот же переходный период, что лишь обостряет соперничество. Торговых трений, подобных тем, что существуют между Японией и Соединенными Штатами, не возникло бы, если бы таких успехов в экономике достигла Западная Германия, Великобритания или Австралия. Когда настойчиво спрашиваешь об их отношении к расизму, многие американцы откровенно признаются в своих чувствах по этому поводу. Но этого недостаточно. Им нужно очистить свою душу от фанатизма. Помня о могуществе и значении Соединенных Штатов, американцам особенно следовало бы понимать, что мир переживает один из этапов эпохальных изменений. Преимущество в технике, производстве, экономической мощи постепенно переходит от Запада к Востоку. Я не знаю, означает ли это, что всходит звезда тихоокеанского века. Но я уверен, что настойчивая дискриминация в отношении Японии и других азиатских стран, проводимая находящейся у власти белой элитой (несмотря на этнические и расовые различия американского населения), подорвет позиции США как лидера свободного мира.

Так как в нынешнее десятилетие XX века созданная белыми современная цивилизация доживает последние дни, мы оказались на пороге нового генезиса. Лицо нового века будут определять японцы и американцы. Американские политики должны объяснить своим согражданам, что времена изменились. На деле же выходит, что другие общественные деятели, такие как, например, бизнесмены, лучше, чем политики осознают, что происходят глубокие изменения. Американцы, чья история насчитывает каких-то несколько веков, никогда еще не переживали перехода от одной крупной исторической эпохи к другой. Как ведущая мировая держава они заявили о себе всего лишь несколько десятилетий назад на закате современной эры. Именно то, что Япония, одна из восточных стран, вот-вот займет их место в некоторых ключевых областях, и вызывает столь сильное раздражение у американцев.

Космополитичные японцы

Японцам, конечно же, тоже нужно готовиться к новой эре. Им нужно стать более космополитичными, менее «островными». Эти черты воплощает председатель корпорации «Сони» Акио Морита [1], уверенный в отличном качестве продукции своей компании и гордящийся ею. И другим японцам, вдохновленным нашими быстрыми успехами в технике и расцветом культуры, нужно стать более уверенными в себе. Не обязательно становиться надменными, но, если мы по-прежнему будем испытывать комплекс неполноценности, Японии не стать пружиной нового генезиса. Чтобы выполнить ожидающие нас очень ответственные зада-

[1] В «ИЛ» № 3 за 1990 год напечатаны фрагменты книги Акио Мориты «Сделано в Японии». *(Прим. ред.)*

чи, японцы должны изменить свои взгляды и представления о самих себе.

Среди тех, кто сильно нуждается в новом мировоззрении, и японские дипломаты. За исключением молодых сотрудников и немногих выдающихся работников, они в массе своей несут ответственность за основную часть недопонимания в отношениях с зарубежными странами. Их деятельность за границей продлевает жизнь негативным стереотипам.

Много лет назад я целый месяц гостил у одного японского посла, чудесного человека и страстного игрока в гольф. Как-то раз в лучшем спортивном клубе округа мы вместе прошли 18 лунок. После этого я предложил: «Давайте пойдем в клуб и выпьем в баре». «Нет, я бы предпочел дома»,— ответил он. Члены клуба расценили его отказ остаться среди них как проявление недоброжелательности. Возможно, по-настоящему японцы способны расслабиться только вместе с другими японцами или в кругу семьи, но эта клановость мешает нам стать космополитами. Так или иначе, но позже тот самый клуб отказал менеджерам «Мицуи» и «Мицубиси» в просьбе о приеме. Помня об истории с послом, там больше не хотели видеть японцев, которые бы пользовались клубом, но не общались с его членами.

Некоторые дипломаты поступают и того хуже. Один посол написал постыдную книгу, ставшую свидетельством его собственного комплекса неполноценности. Он утверждает, что физически японцы столь же непривлекательны, как пигмеи. Такие, как он, не должны работать в министерстве иностранных дел.

Изначальная почтительность, с которой наш МИД относится к американскому правительству, проявилась в инциденте с эсминцем ВМФ США, вооруженным управляемыми ракетами. 9 ноября 1988 года американский военный корабль «Тауэрс» проводил учебные стрельбы в оживленном Токийском заливе, а в министерстве попытались скрыть этот факт. В минуту «Тауэрс» способен выпустить тридцать шесть 32 килограммовых снарядов на расстояние до двадцати трех километров. По данным американского ВМФ, эсминец стрелял «неразрывными снарядами, наполненными песком». Так или иначе, снаряды падали вблизи принадлежащего Управлению морской безопасности патрульного судна «Урага», водоизмещением в 3231 тонну, которое «Тауэрс» использовал как гипотетическую цель. Прямые попадания, наверное, нанесли бы серьезные повреждения «Ураге», а маленькое рыбацкое судно и вовсе потопили бы. В репортаже американских теленовостей говорилось, что, если бы какой-нибудь иностранный корабль попробовал практиковаться в прицельной стрельбе в проливе Те-Нарроус, близ Нью-Йорка, американцы были бы возмущены. Такую выходку нельзя было бы стерпеть.

Я в то время был министром транспорта. Министерство иностранных дел заявило, что «подобные вещи случаются» и правительству не следует спешить с преданием этого инцидента гласности. Такой малодушный подход взбесил меня. Я сказал, что история эта все равно дойдет до средств массовой информации, так что я проинформирую о ней общество под свою ответственность. Американский эсминец проводил учебные стрельбы не просто в японских территориальных водах, но и на одном из самых оживленных морских перекрестков мира. Американский ВМФ совершенно явно нарушил японский суверенитет. Один из сотрудников Управления национальной обороны сказал: это все равно как если бы среди бела дня в центре Токио начали палить из пистолета. Американская военщина, по-видимому, считает подобные действия допустимыми, потому что они проводятся ради защиты Японии в соответствии с японо-американским договором безопасности. Но, по-моему, это тот случай, когда пес сторожевой превращается в пса бешеного.

Такую аналогию я провожу потому, что, когда в 60-е годы Эцусабуро Сиина, бывший вице-председатель ЛДП, был министром иностранных дел, он назвал расположенные в Японии американские военные силы «досточтимый господин Сторожевой Пес». Вместо того чтобы критиковать Сиину за использование подобных выражений, сотрудникам министерства иностранных дел следовало бы открыто высказывать американцам свое мнение в случаях, подобных инциденту с эсминцем «Тауэрс». Сказать американскому ВМФ: «В наших территориальных водах никаких учебных стрельб». Если японцы не могут проявлять твердость, когда того требуют обстоятельства, американцы не станут уважать нас и их расовое предубеждение против нас углубится. Японцам нужно осознать, что технические достижения ставят нас в такое положение, когда мы можем и должны внести огромный вклад в обеспечение безопасности Соединенных Штатов. В Америке кое-кто уже понимает это. Такова сегодня реальность наших двусторонних отношений.

Глава III

Кто же в действительности «нечестен»?

Чем резче американские официальные представители обвиняют японцев в том, что их торговая практика «нечестна», тем сильнее мне хочется посоветовать им успокоиться и получше изучить факты. В бытность мою министром транспорта я имел весьма острую беседу с американским министром торговли, который совершенно не разбирался в сути проблемы.

Американский Конгресс высказывал недовольство, что крупномасштабные государственные стройки в Японии закрыты для американских подрядчиков. На деле же в то время одна американская строительная компания имела разрешение на работу в Японии, а просьба другой рассматривалась. Американцы заявляли, что нет никакой возможности продраться сквозь японские законы и бюрократию. Мне-то кажется, что во всякой стране есть свои собственные традиции и обычаи, к которым должен приспосабливаться иностранный бизнесмен. Уступая давлению Вашингтона, японское правительство неохотно дало разрешение американским строительным компаниям взять на себя часть работ в аэропорту Ханэда, несмотря на то что к тому времени контракты уже были распределены. Министр торговли Вэрити приехал в Токио отчасти для того, чтобы выразить благодарность за это решение.

Во время нашей встречи я предупредил Вэрити, что впредь американские фирмы не будут пользоваться особым отношением. Вместе с тем я заметил, что здания аэропортов и железнодорожных вокзалов в Японии оформляются в худших традициях самодовольного провинциализма. Я полагал, что заграничные архитекторы справились бы с этой работой лучше. Незадолго до этого я побывал в новом токийском международном аэропорту и увидел там некрашеные колонны. На них было только антикоррозийное покрытие. Я сказал сотруднику аэропорта, что колонны выглядят уродливо и их нужно не откладывая покрасить. «А прежде вы на них внимания не обращали? — спросил он.— Они такими и были с тех пор, как в 1978 году открыли аэропорт». Когда я спросил его, к чему это нелепое разнообразие красных, белых и черных пятен, он сказал: «Для контраста». «Кому это пришло в голову?» — спросил я. Без тени иронии незадачливый чиновник ответил: «Малярной фирме».

Нет в аэропорту и приличного коктейль-бара. Многие пассажиры испытывают перед полетом некоторое напряжение, а достигнув пункта прибытия — чувство облегчения. В аэропортах за границей есть небольшие уютные бары, где даже днем пассажиры могут выпить в ожидании вылета. В этом одна из прелестей путешествия.

Американское лицемерие

По-моему, новый токийский аэропорт можно было значительно благоустроить, улучшив его дизайн. Вэрити понял меня и кивнул в знак согласия. Потом, что вполне в духе министра торговли, он переключился на новый международный аэропорт в районе Кансай, который строится на берегу Осакского залива. Мой собеседник выразил удовлетворение по поводу того, что американские фирмы получили разрешение участвовать в конкурсе. Здесь ему следовало бы остановиться, но министр далее высказал просьбу, чтобы по завершении строительства, намеченного на 1992 год, американским транспортным самолетам предоставили возможность совершать с этого аэродрома такое же количество полетов, как и японским. Я сразу же отверг эту мысль. Лицо Вэрити покраснело от злости, он попросил объяснений.

Японо-американское соглашение по авиации относится еще к периоду оккупации. Соглашение чрезвычайно несправедливо, особенно в тех его частях, которые касаются предоставления другим странам права на посадку и транзитные полеты. Американские самолеты могут безо всяких ограничений пролетать через Японию в любом направлении. Американские же аэропорты по соглашению 1952 года обслуживают японские транспортные самолеты только на маршруте Сан-Франциско — Нью-Йорк — Европа, а это не слишком прибыльные рейсы. Наши самолеты по нему фактически не летают. В 1988 году на встрече Рональда Рейгана и Ясухиро Накасонэ Соединенные Штаты предоставили Японии право совершать два рейса еженедельно из Сан-Франциско в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В 1985 году Вашингтон наконец дал добро на девять еженедельных рейсов грузовых самолетов «Ниппон эрлайнз» по маршруту Токио — Сан-Франциско — Нью-Йорк. Взамен рейгановская администрация выставила требование и получила разрешение на то, чтобы американские грузовые самолеты разгружались в Японии и перераспределяли груз на малые и средние транспортные самолеты для доставки в Манилу, Тайбэй, Сеул и прочие азиатские столицы. В то же время

американская сторона отклонила нашу просьбу о транспортных рейсах в Чикаго.

В Соединенных Штатах девятнадцать международных аэропортов против трех в Японии (Токио, Нагоя и Осака), правда, надо признать, что и территория США намного больше. Значительное несоответствие есть и в количестве рейсов в каждую страну. На ноябрь 1988 года японские самолеты совершали 204,5 пассажирских рейса в месяц (американские авиакомпании — 371 рейс) и 60 грузовых против 170 рейсов американской транспортной авиации. Соглашение составлено в высшей степени несправедливо. Американские авиационные эксперты дорожат столь выгодным статус-кво. Неоднократно предпринимавшиеся Японией попытки изменить условия договора ни к чему не привели. А Вэрити еще хотел новых уступок!

После того как я все это ему изложил, он сказал, что не был знаком с историей соглашения. Я заявил ему, что, если член кабинета не знает истории вопроса, он не в праве обсуждать, сколько рейсов будет разрешено совершить американским самолетам из Осакского аэропорта. На нашей встрече присутствовал представитель Госдепартамента, и я предложил Вэрити перепроверить данные у него. Явно растерявшийся Вэрити спросил у помощника, правда ли, что двустороннее соглашение столь несправедливо. Сотрудник дипломатического корпуса, человек честный, признал, что это действительно так. Вэрити, надеявшийся на поддержку, выглядел смущенным. Американский министр торговли и сотрудник Госдепартамента повздорили на глазах у японского министра транспорта! На этом берегу Тихого океана мы склонны считать американское правительство мощным монолитом. Но это не так. Внутри него существуют разные взгляды, происходят столкновения интересов, например, между министерством финансов и службой торгового представительства Соединенных Штатов.

Вэрити и Клэйтон Юттер, американский торговый представитель, действительно невзлюбили друг друга, каждый чернил другого. При мне Вэрити ничего негативного о Юттере не говорил — наверное, опасался, что тот послал кого-нибудь из своих соглядатаев присматривать за своим коллегой по кабинету. Когда у меня возникли резкие разногласия с Вэрити, человек Юттера подмигнул мне, будто говоря: «Не сдавайся». Я улыбнулся, подумав про себя: «Оказывается, Соединенные Штаты не столь уж едины».

Японская творческая энергия

Критически относясь к другим странам, американцы тем не менее слепы, когда дело доходит до оценки их собственных нечестных действий или предвзятых мнений. Например, американцы решили, что японцы — «всего-навсего имитаторы». Но, как наглядно показал Акио Морита, утверждение, что Япония лишь совершенствовала и обращала в прибыль американскую технику — «утка». И все же многие японцы верят этому. А ведь наша история богата выдающимися творческими достижениями. Вклад наших ученых и инженеров все более и более признается за рубежом.

На Западе теперь больше ценят и японскую самобытность в культуре. Раньше французы игнорировали японскую литературу. В последние же годы они благодаря нашей высокой технологии стали с бо́льшим почтением относиться к нашей художественной литературе. Во Франции многие инженеры, изучающие японский для того, чтобы просматривать технические публикации, читают и японские романы, которые находят захватывающими. Примечательно, что признание пришло со стороны французской научной общественности, а не писателей и переводчиков, как это бывает обычно. Литература — в высшей степени творческий вид искусства, акт воображения.

Нам нечего страшиться американских утверждений, что японцы лишь «подражатели». Мы можем с полным основанием быть уверены в нашем врожденном таланте и оригинальности в искусстве и науке. Приведу один пример: инженеры «Сони» перевернули американские представления о радио. Раньше вся семья должна была усажива́ться в гостиной вокруг огромного радиоприемника. Часто возникали споры о том, чью излюбленную программу будут слушать. Все изменилось с появлением транзисторных моделей «Сони». Приемники теперь намного компактнее и дешевле; собственное радио стало чуть ли не конституционным правом в США. Нужно отдать должное изобретательности инженеров «Сони», которые открыли целый новый рынок. Идея была проста, но таковы многие великие идеи.

Творческая деятельность в Японии не ограничивается лишь рамками научной или культурной элиты. Ее проявления можно увидеть повсюду у людей из самых разных слоев общества. Источник нашего технологического превосходства — инициативная, изобретательная рабочая сила. В компании сверху донизу каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело. Одного гения не-

достаточно. Чтобы идею или лабораторное открытие перенести на завод и производить высококачественную готовую продукцию, необходимы отличные инженеры и технологи. Низкий процент брака свидетельствует о выдающихся технических способностях японцев. Первоклассные работники обеспечивают замечательные производственные показатели.

Инцидент с «Боингом»

Несколько лет назад компания «Боинг», чьи самолеты без конца терпят аварии, предприняла попытку вернуть утраченное доверие, опубликовав результаты изучения своих производственных процессов. Недостатки быстро исправляются, заявила компания. Переподготовка руководящих кадров на заводах скоро даст свои результаты, но конвейерные рабочие лучше не станут. В ответ на вопрос, сколько пройдет времени прежде чем и низшее звено достигнет желаемого уровня, глава завода «Боинг» в Сиэтле ответил: семь лет. Вы только подумайте. Семь лет нам придется летать на «Боингах», в которых скорее всего есть неисправности и которые вообще не должны подниматься в воздух.

12 августа 1985 года аэробус «Боинг-747 SR», принадлежавший «Джапан эрлайнз», разбился в префектуре Гумма. 520 человек погибли. Из тех случаев, когда разбивался один самолет, этот — самый трагичный за всю историю авиации, и произошел он из-за некачественной работы на заводе «Боинг». Японская полиция допросила инспекторов «Джапан эрлайнз» и министерства транспорта. Им грозило обвинение в необнаружении брака в продукции фирмы «Боинг». Но по американским законам изготовитель самолета не подвергается судебному преследованию за преступную халатность. Логика здесь следующая: общество больше заинтересовано не в том, чтобы наказать нескольких конкретных лиц, а в том, чтобы они открыто разъяснили, что произошло, и таким образом было бы исключено повторение подобного инцидента. В американской судебной системе существует постулат о том, что человек, не обладающий неприкосновенностью, правды не скажет. Принимая во внимание масштабы катастрофы, такая установка представлялась абсолютно немыслимой не только семьям и друзьям погибших, но и большинству японцев.

В докладе японской полиции было показано, что ответственность за трагедию несут четыре сотрудника компании «Боинг», которая признала, что причиной послужила ее оплошность. «Боинг-747» разбился из-за того, что при устранении неисправностей в хвостовом оперении после неудачной посадки в 1978 году были допущены погрешности. Стандартная процедура в таких случаях требует установки внахлестку накладки между двумя шпангоутами. Механики «Боинга» не справились со столь простой задачей. Накладка была прикреплена болтами с обеих сторон, но болты прошли лишь сквозь два из трех слоев. В результате ослабленный элемент треснул, повредив гидравлическую систему, и летчики потеряли управление самолетом. 520 человек погибли из-за того, что рабочие «Боинга» оказались неумелы или небрежны и не смогли надежно закрепить трехслойную переборку. Работа такого низкого качества просто немыслима в японской корпорации.

По требованию рейгановской администрации японские фирмы закупили полупроводники у американских изготовителей. В ответ на высказанное недовольство невероятно высоким процентом брака американские директора сказали, что японцы — единственные потребители, недовольные их продукцией. Получалось, что наши компании были неправы, когда настаивали на качестве товара. Этот ответ заставил меня задуматься: а не пришел ли Соединенным Штатам конец как великой державе? Но надежда, возможно, еще есть. За последние несколько лет в американской полупроводниковой промышленности настолько снизился уровень брака, что он лишь в 5—6 раз превышает японский, а раньше это соотношение составляло один к десяти.

Этические ценности японцев

Недавно я услышал воодушевившую меня историю, которая объясняет, почему японские компании обгоняют своих американских собратьев. В ней рассказывалось о преданной делу сотруднице, работающей на заводе корпорации NEC в Кумамото по производству полупроводников. По той или иной причине на этом предприятии выпускалось значительно больше бракованных микросхем, чем в любом другом подразделении NEC. Пытаясь улучшить положение, директор завода ежедневно встречался с рабочими. Они исправляли возможные недостатки, пробовали применять новаторские решения, но все безуспешно: им не удавалось удержать уровень брака ниже определенной точки. Все недоумевали, почему только в Кумамото не справляются с едиными для компании нормативами.

Однажды героиня этой истории шла на работу и остановилась на железнодорожном переезде перед заводом, пропуская очень длинный товарный поезд. Когда мимо с грохотом проносились тяжелые вагоны, она почувствовала, как дрожит земля, и внезапно ей пришло в голову, что это сотрясение и может быть виновником несчастий. Позже на работе, когда мимо проходил поезд, никакой вибрации она не ощутила. И все же, полагая, что на это может реагировать высокоточная аппаратура, она поделилась своим подозрением с начальником цеха. Вскоре директор приказал выкопать глубокий ров со стороны завода, обращенной к железной дороге, и заполнить его водой. Эврика! Преграда из рва с водой поглощала вибрацию, и процент брака резко упал. Девушке было всего 18 лет, но она гордилась своей работой и корпорацией NEC. Проблемы компании волновали ее настолько, что она думала о них даже в свое свободное время. Такая рабочая этика свидетельствует о превосходстве японской системы воспитания.

Между промышленно развитыми капиталистическими странами идет жестокое экономическое соревнование, чтобы не сказать — торговая война. Частные компании наскакивают одна на другую. Иногда в пылу борьбы их болельщики — представители правительства, политические деятели — чернят противников, кричат «нечестно», требуют новых правил. Многие годы Япония молча сносила подобную истерическую риторику со стороны Соединенных Штатов. Нам нельзя вечно оставаться безмолвными. Пора заговорить во весь голос.

Глава IV

Не бояться американских угроз

Примерно с 1987 года Соединенные Штаты стали применять против Японии новую тактику. Популярность Горбачева на Западе и уменьшившаяся угроза со стороны «империи зла» способствовали тому, что шельмование Японии стало еще более частым явлением. Начался период беспрестанных нападок на Токио, когда политики один за другим выступали с дикими, яростными обвинениями. Вместо того чтобы тщательно взвесить все факты, Конгресс сгоряча взялся за дело. Например, несколько его членов на ступеньках Капитолия разбили кувалдой на кусочки магнитолу фирмы «Тосиба». Отвратительная выходка.

Козырь — технология

Когда в апреле 1987 года я был в Вашингтоне, американские политические деятели делали намеки на возможность разрядки в отношениях с Советским Союзом, имея в виду, что отношения между двумя белыми народами вскоре станут намного более дружескими, а Япония останется в стороне. Тем, кто формирует нашу внешнюю политику, нечего бояться такой абсурдной угрозы. В наших руках контроль над сложной передовой техникой, на которой зиждится военная мощь обеих стран. К сожалению, Япония до сих пор не сумела ловко разыграть козырь своей технологии. Мы в силах сказать «нет» Соединенным Штатам, но мы этой возможностью не пользуемся. Мы похожи на игрока, который с козырями на руках постоянно пасует.

Американским законодателям, с которыми я встречался, не нравилось, когда я говорил, что доверия к ним нет из-за того, что Конгресс, пренебрегая задачами управления, часто действует сумбурно, потакая самому себе. «Лучший пример — сухой закон,— говорил я.— Ни одно законодательное учреждение, заслуживающее этого названия, не приняло бы такого закона». Они смущенно смеялись.

Из-за того что на решающем этапе мы не отвергли требований США, разногласия из-за полупроводников между Японией и Америкой обострились настолько, что были применены санкции. Главный виновник, человек, всегда говоривший «да» в критический момент,— это бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ.

Вслед за полной победой ЛДП на выборах 1986 года Накасонэ вдруг под влиянием момента пообещал обеспечивать Соединенные Штаты военной техникой. Вместо того чтобы теперь поторговаться, потребовать чего-то взамен — никаких торговых санкций, например,— он сделал подарок американцам. Накасонэ хотелось, чтобы это расценивали как огромную услугу Соединенным Штатам. Он был, пожалуй, единственным японским политическим деятелем, понимавшим, каково истинное значение этой сделки, как необходима Пентагону некоторая часть японской гражданской техники для использования в военных целях. Ни внутри ЛДП, ни в оппозиционных партиях это не вызвало никакого возмущения. Высшее руководство ЛДП — Нобору Такэсита, Киити Миядзава, Синтаро Абэ — не осознали важности поступка премьер-министра. Наши политические деятели по-прежнему не понимали значения высокоразвитой тех-

нологии Японии, даже несмотря на то, что американцы тряслись от страха. Первенство в области высокой технологии — самая сильная сторона Японии, но почему-то в международной политике мы не пользуемся этим с достаточной эффективностью. Почему, несмотря на такое фантастическое преимущество, японские премьер-министры отправляются в Вашингтон и подчиняются любому желанию Белого дома, выше моего понимания. Этим я больше всего недоволен во внешней политике Японии.

Грандиозный провал Накасонэ

Накасонэ задаром отдал нашу технику, не получив взамен ничего, кроме дружбы Рейгана. Одной доброй воли мало, чтобы провести страну сквозь нелегкие времена. Накасонэ хвастался, что они с президентом Рейганом называют друг друга по имени, и средства массовой информации нещадно эксплуатировали связь «Рон — Ясу».

На самом же деле отношения были односторонними. Накасонэ поддакивал Рейгану и предавал жизненно важные интересы нашей страны. Недавно я поинтересовался у помощника Рейгана, случалось ли, чтобы Накасонэ резко возразил президенту или отказал ему в просьбе. Усмехнувшись, он ответил, что ни о чем таком никогда не слышал. Накасонэ, сказал он, был «замечательным человеком, большим другом Соединенных Штатов».

Накасонэ понимал, что японская высокая технология превосходит американскую и что Пентагон очень обеспокоен зависимостью от японских микросхем. И все же из каких-то своих соображений он никогда не говорил «нет» Соединенным Штатам. Уж не потому ли, что у правительства США имелись какие-то факты против него, связанные с делом о взятках в компании «Локхид» (1976 г.)? Или же оно располагало компрометирующими или инкриминирующими сведениями, касавшимися другого политического скандала? Чем бы это ни объяснялось, но нашим преимуществом Накасонэ не воспользовался. Жаль, что он не открыл карты и не проявил достаточно твердости хотя бы для того, чтобы сказать: «По этому вопросу мое правительство придерживается другой точки зрения».

Во время пребывания Накасонэ на своем посту спроектированный компанией «Мицубиси хеви индастриз» истребитель прикрытия нового поколения под кодовым названием FSX (от англ. fighter support experimental) стал предметом разногласий между Вашингтоном и Токио. Поддавшись давлению со стороны США, Накасонэ дал согласие на совместное осуществление разработки и производства FSX. Не знаю, какие были заключены тайные сделки, но за развитием событий я следил с тяжелым сердцем.

«Мицубиси хеви индастриз» — типичный представитель первоклассных японских компаний, ориентирующихся на новейшую технику. Главный инженер этой компании — человек необыкновенный. Например, на базе американской ракеты, используемой японскими силами самообороны, он создал лучшую в мире ракету класса земля — воздух. Он полагал, что разработка и производство FSX будут вестись целиком в Японии. Но, увидев проект FSX, в Пентагоне запаниковали. Конструкция фантастическая. Ни один из существующих истребителей и в подметки не годится машине «Мицубиси хеви индастриз». Этот самолет сможет легко сбивать и F-15 и F-16. Потрясенный этим проектом, американский министр обороны Каспар Уайнбергер предпринял отчаянную попытку помешать «Мицубиси» разрабатывать его.

К несчастью, Япония не производит реактивных двигателей. Еще с тех пор как много лет назад я оказался в палате советников нашего парламента, я убеждал, что нам необходимо наладить их выпуск, но на меня не обращали внимания. Для FSX нам пришлось бы покупать двигатели от F-15 или F-16. Если бы США отказались их продавать, мы могли бы приобрести французские модели. Франция — одна из тех стран, чей президент проповедует мир, а премьер-министр путешествует по всему свету, торгуя оружием. Если бы отказался Париж, мы могли бы купить реактивные двигатели в Москве, хотя они, наверное, были бы не столь хороши.

Используя американский двигатель, FSX может развивать скорость, достигающую 95% скорости F-15 или F-16. Эта небольшая потеря в быстроте более чем компенсируется способностью совершать поворот с маленьким радиусом на расстоянии примерно в три раза меньшем того, которое требуется F-15, F-16 или МИГу. Чтобы совершить полный разворот на максимальной скорости, американскому истребителю требуется 5000 метров; FSX достаточно около 1600 метров. FSX способен быстро обойти противника сзади и уничтожить его ракетой с тепловым самонаведением. У FSX есть передний вертикальный стабилизатор, расположенный приблизительно под кабиной летчика. Имея форму плавника акулы, он позволяет самолету, не меняя общей схемы

полета, совершать маневры рыскания, тангажа и крена. Если провести аналогию с автомобилем, то такая машина должна была бы обладать способностью поворачиваться на 360° в любом направлении, не двигаясь при этом ни вперед, ни назад. Это гениальная идея. Может быть, американские авиаинженеры тоже до этого додумались, но самолет была готова построить «Мицубиси хеви индастриз».

Министерство обороны будто вновь пережило ранний этап войны на Тихом океане, когда в небе господствовали истребители «зеро». Американские генералы полагали, что императорскому военному флоту нечего противопоставить их самолетам, но «зеро» оказался намного совершеннее. И вот теперь Япония работала над созданием еще одного грозного оружия.

Соединенные Штаты преисполнились решимости не дать Японии построить FSX. Возможно, обсуждая проект с Накасонэ, американцы напомнили премьер-министру о каких-нибудь старых делишках. Как бы то ни было, он капитулировал, и над замечательным FSX фирмы «Мицубиси хеви индастриз» стали работать вместе Япония и Америка. Позже, в ноябре 1988 года, представители администрации Рейгана и Такэситы подписали меморандум о взаимопонимании по совместному проекту. Главным подрядчикам еще предстояло договориться о распределении работ, и «Дженерал дайнэмикс» попробовала диктовать свои условия. В какой-то момент ее представитель сказал, что, если японская сторона не согласна с предложением корпорации, главное крыло можно разделить на правый и левый компоненты, которые будут автономно производить японские и американские компании. Это лишь одна из множества диких идей «Дженерал дайнэмикс».

Суть проблемы FSX в том, что американские подрядчики стремятся украсть у Японии ноу-хау. Без нашей керамики и угольных смол они не в состоянии построить первоклассный истребитель. Вот почему в Пентагоне с таким упорством настаивали на совместном производстве. Некоторые лидеры японских деловых кругов, возможно подавленные американским напором, говорят, что хоть совместная разработка и нежелательна, но ради укрепления двусторонних связей нам следует сотрудничать с Вашингтоном по FSX. С этим я не согласен. Отказ от независимой работы над этим самолетом — страшнейшая ошибка. Мы ни при каких обстоятельствах не должны допустить этого.

Если требования американцев о разделении работы над FSX будут нереалистичны, Японии следует отказаться от участия в проекте. Тогда американцы будут вынуждены как-то реагировать на наши успехи в технике, на нашу способность построить самолет без чужой помощи. На переговорах японцы должны были бы сказать: «Решение о совместной разработке принималось Рейганом и Накасонэ, теперь же в Токио и в Вашингтоне другая администрация. Мы пересмотрели проект и решили строить FSX в Японии». Если мы не устроим американцам этой встряски, они будут, как прежде, помыкать нами. Сторона, которой сданы хорошие карты, может поднимать ставки.

Когда мне доводилось беседовать с Накасонэ, я упоминал о проекте создания истребителя. «О, вы следите за тем, как развивались события в связи с FSX? Ну да, конечно. Здесь я пошел на компромисс, чтобы сохранить спокойствие в двусторонних отношениях,— заявил он мне.— Еще когда в 1970—1971 годах я был начальником Управления национальной обороны, американцам уже не давал покоя наш четвертый план наращивания оборонной мощи». Я бы еще мог понять его действия, если бы в результате США стали с бóльшим уважением относиться к Японии. Но то, что он совершил, это отнюдь не компромисс. Это предательство.

Ситуация позволяла премьер-министру сказать «нет» в ответ на требования Соединенных Штатов. На нашей стороне было превосходство в технике. Принятое решение в высшей степени прискорбно. Вашингтон, отнюдь не поблагодарив Японию, стал лишь громче кричать и сильнее выкручивать ей руки. По словам Клейтона Юттера, американцы считают давление лучшей тактикой в отношениях с Японией. Неправильно поняв мою позицию, некоторые японцы говорили: «Вы пытаетесь запугать Соединенные Штаты. Это очень опасная игра. Лучше вам остановиться». Но угрожаю не я. Нет нужды говорить, что сейчас нам особенно важно достичь равноправного партнерства с Америкой. Вот почему, когда ситуация требует дать жесткий отпор требованиям Соединенных Штатов, только так и должна поступать Япония. При заключении сделки между равными отказ — это тоже часть переговоров. Соглашательская, подверженная компромиссам дипломатия не в интересах государства. Благодаря нашей технике нам все легче и легче выдерживать давление Вашингтона. Однако мы пока еще не до конца используем свои козыри в международной политической игре с высокими ставками. Я не понимаю, почему наши руково-

дители не действуют более уверенно, когда благодаря технологии в наших руках оказываются рычаги в некоторых ключевых сферах.

Во время беседы с Гленном Фукусимой, специалистом по Японии, получившим образование в Гарвардском университете и работавшим в офисе американского торгового представителя, я спросил, кто из японцев, по его мнению, занимает на переговорах самую твердую позицию. Он без колебаний назвал Макото Куроду, заместителя министра по международным связям в министерстве внешней торговли и промышленности. В Японии средства массовой информации изображали Куроду нарушителем спокойствия, сторонником «жесткого курса», говорили, что в 1987 году его несдержанные высказывания повлияли на решение Конгресса установить в качестве ответной меры тарифы на японские полупроводниковые товары. Американцы по-разному обзывали его, в том числе и упрямцем, и тем не менее они его уважают. Если Курода считает требование неразумным, он ни за что не уступит. Когда правильным ответом должно стать решительное «нет», он так и говорит и не поддается. От многих японских официальных лиц Куроду отличает то, что он не пасует смиренно перед американскими угрозами.

Американцы же как забияки, полагающие, что, поигрывая мускулами, можно запугивать более слабого противника, продолжают настаивать. Курода стоит на своем. «Это вы будете сожалеть»,— отвечает он, не дрогнув под натиском.

Курода не тот человек, который возражает из упрямства. Он дает детальное, логическое обоснование японской позиции. Разъяснение — это основа переговоров. И все же американские официальные лица утверждают, что заявления японских политических и государственных деятелей носят всегда настолько расплывчатый и неконкретный характер, что позицию Японии определить невозможно. Если нечетко сформулированное предложение вызывает у американцев бурную реакцию, японская сторона начинает суетиться и соглашается с позицией Соединенных Штатов. Но на самом деле японцам не хочется говорить «да». Они просто пытаются смягчить неприятную ситуацию противоборства. Очень жаль, если по вине наших представителей создалось впечатление, что японцы не станут чего-либо делать без давления извне. Образ страны, на которую можно воздействовать санкциями и ударами кулака по столу, наносит вред нашей дипломатии.

Половину сотрудников японских посольств должны составлять представители частного сектора, а не профессионалы из дипломатического корпуса. Тысячи руководителей японских предприятий скрещивали мечи с американцами на нелегких деловых переговорах. Многие из них смогли бы прекрасно отстаивать интересы Японии. Из Акио Мориты, например, получился бы великолепный посол в Вашингтоне. Тогда бы мы стали свидетелями перемен в японо-американских отношениях.

Глава V

Национальная безопасность и век Тихого океана

Открытая, прямая конфронтация с Вашингтоном по существенному вопросу может иметь драматические последствия. И правительство, и Конгресс будут потрясены, беспокойство кругами распространится по всем Соединенным Штатам, вызывая возбужденную реакцию. Даже мое высказывание насчет гипотетической возможности продажи полупроводников в Советский Союз побудило некоторых американцев заговорить о повторной оккупации Японии. И все же мы должны говорить то, что думаем, и отстаивать свои государственные интересы. Акио Морита верно заметил, что хорошо ли, плохо ли, но обе стороны намертво связаны друг с другом. И все же для Японии Соединенные Штаты — это еще не весь мир. В каком-то смысле на протяжении нескольких десятилетий после второй мировой войны это действительно было так, но теперь ситуация изменилась. Если американцы будут и впредь досаждать нам, мы должны заявить, что в таком случае Япония будет трактовать свою роль в мире в значительно более широком контексте. Перед нами открыто много путей, и мы можем сделать смелый ход.

Участие в геополитической игре

Сближение Ричарда Никсона с Китаем в 1972 году — интересный для Японии прецедент. По моим сведениям, Никсону удалось этого добиться, потому что китайцы были поражены американской высокой технологией. Этот процесс начался в 1971 году, когда Генри Киссинджер показал Мао Цзэдуну и Чжоу Эньлаю сделанные из космоса фотографии советских войск на китайско-советской границе. Я полагаю, Киссинджер показал им и фотографии пограничного инцидента на реке Уссури в 1969 году. Боевые действия начались с того, что маленькое

советское подразделение оккупировало остров Чжэньбао, откуда его выбили значительно более крупные китайские силы. Советская сторона ввела в действие новые войска и опять овладела островом. На этом этапе китайцы провели эскалацию боевых действий, развернув целую пехотную дивизию. Народно-освободительная армия оттеснила оборонявшиеся советские войска, водрузила китайский флаг и отпраздновала победу. Как оказалось, преждевременно, потому что под покровом густого тумана, окутавшего остров, советская сторона подвела танковый корпус и открыла огонь по сосредоточенной на острове китайской пехоте. Когда туман рассеялся, Чжэньбао был устлан телами китайцев. В довершение бойни советские танки перешли в наступление, сломив всякое сопротивление. Киссинджер, очевидно, показал пекинским лидерам спутниковые фотографии последней операции. Осознав, что без сложнейшей разведывательной техники и новых систем оружия они в военном отношении практически беспомощны, китайцы пошли на поклон к Никсону и согласились восстановить дипломатические отношения. Свой технологический козырь Вашингтон разыграл очень искусно.

В 1978 году разразилась пограничная война между Вьетнамом и Китаем. Руководивший военными операциями Дэн Сяопин необдуманно начал боевые действия, чтобы проучить вьетнамцев. Результат оказался противоположным, и сами китайские войска понесли тяжелые потери, отчасти из-за того, что Вьетнам поддержала Москва. Советские спутники-шпионы вели наблюдение за китайскими войсками и снабжали Ханой точной боевой информацией: количество войск, покинувших станцию Гуандун, передвижение пехотных дивизий и танковых частей, их размещение на позициях. Вьетнам позволил китайским войскам проникнуть далеко в горы, а потом, обстреляв противотанковыми ракетами, загнал в ловушку и уничтожил.

Американские спутники-шпионы тоже вели наблюдение за этим неумелым наступлением китайцев. Пожурив пекинских лидеров за то, что они угодили в ловушку, официальные лица из правительства Картера показали им невероятно подробные фотоснимки операции, сделанные со спутника. (Я тоже видел эти фотографии.) Чудеса американской техники вновь произвели глубокое впечатление на китайцев, что способствовало развитию новых взаимоотношений.

Теперь американцы грозятся проделать то же самое с Советским Союзом. Фактически они заявляют: «Мы сумеем наладить близкие отношения с Москвой раньше, чем вы успеете понять, что происходит, как это уже было с Пекином, и тогда Япония нам больше будет не нужна». Но если американцы могут так блефовать, то и японцы могут делать обманные движения и отражать удары.

С начала 1970-х годов некоторые влиятельные представители японских деловых кругов с энтузиазмом относятся к идее разработки Сибири. Их особенно притягивает изобилие природных ресурсов в регионе. Сегодня эта мысль выглядит вполне реалистичной. Некоторые лидеры деловых кругов говорят даже, что, если бы Москва вернула четыре острова близ Хоккайдо, незаконно оккупированных ею с 1945 года, открыв тем самым путь к мирному договору, Япония разорвала бы альянс с Вашингтоном и стала бы нейтральной. Тогда Япония получила бы исключительные права на разработку Сибири. У Японии есть «маглев», которого нет у США, не говоря уж о множестве других высоких технологий. Так что с советской точки зрения мы должны казаться более предпочтительным партнером.

Как первый шаг мы могли бы попытаться пробудить у Советского Союза интерес к использованию в Сибири высокоскоростных железных дорог системы «маглев». Это, естественно, будет противоречить запрету КОКОМ на экспорт высокой технологии в коммунистические страны. Но что плохого в том, чтобы перенести Сибирь в XXI век, коренным образом улучшив систему ее железных дорог, ускорив передвижение людей и грузов, сократив гигантские расстояния в этом регионе?

Мы скорее всего сможем заручиться поддержкой других стран и заблокировать попытки Соединенных Штатов помешать этому проекту. Британия и Франция все время ловко используют этот маневр. До тех пор пока в Японии не появятся лидеры, понимающие, что такое «реальная политика», Соединенные Штаты не станут смотреть на нас как на важного игрока.

Миф о «дармовом выигрыше»

Когда период оккупации подходил к концу, Соединенные Штаты, опасаясь, как бы Япония снова не стала грозной военной державой, взяли на себя заботу о нашей обороне. Но вопреки тому, что утверждают официальные американские представители, американские ядерные силы сдерживания и расположенные на нашей территории военные базы не гарантируют безопасность Японии. Я это знаю по собственному опыту

и писал об этом еще двадцать лет назад. Американский ядерный зонтик — иллюзия. Как я неоднократно предостерегал, не отвечает истине и громогласно повторяемое американским Конгрессом утверждение, что Японии задаром обеспечивается оборона. Японцы уверовали в миф о ядерном зонтике и дармовом выигрыше, их заставили почувствовать себя в долгу перед США, испытать благодарность к этой стране.

Однако Япония далеко не безвозмездно пользуется американским покровительством; благодаря своему превосходству в новой технике она сыграла важнейшую роль в переговорах об ограничении вооружений между Вашингтоном и Москвой.

Американские внешнеполитические и оборонные эксперты, очевидно, предвидели, что Япония, мертвой хваткой удерживающая в руках ключевые отрасли техники, вынудит сверхдержавы стремиться к разрядке. Зная японский потенциал, Киссинджер нередко говорил о возможности такого исхода. К несчастью, японские политики оказались слишком несведущи в военных и технических вопросах, чтобы опровергнуть повторяемые критиками из Конгресса обвинения в получении «дармового выигрыша» и миф о ядерном зонтике. С другой стороны, американским руководителям не хочется признавать решающее значение японской техники для обеспечения американской безопасности.

Американское правительство всерьез забеспокоилось о возможных последствиях того, что произойдет, если имеющая богатые технические возможности Япония заключит союз с какой-нибудь другой державой. Некоторые политические и военные деятели убеждали Японию принять на себя бóльшую ответственность за безопасность региона — например, за охрану морских путей в Тихом океане на расстоянии до 1000 миль от ее берегов,— и подобные предложения требуют серьезного рассмотрения. Как бы в конце концов ни решился вопрос о союзе с Соединенными Штатами, нам все равно следует реорганизовать наши вооруженные силы (которые сейчас строятся по непригодной стратегической схеме Пентагона) в соответствии с нашими главными задачами, превратив их в более эффективные силы сдерживания, использующие новейшую технику. Потенциальный противник должен знать, что мы незамедлительно нанесем мощный ответный удар. Это значит, что основное внимание нужно уделить разработке тактики и стратегии оказания отпора противнику.

Наш военный флот едва ли отвечает этим задачам. У нас есть множество эскортных кораблей, пригодных для участия в проводимых США учениях «Пасифик рим», кораблей, которые примерно за минуту расстреляют все ракеты и останутся беспомощными. Их вклад в нашу безопасность равен нулю. По сути дела, проводимые Соединенными Штатами совместные военно-морские учения к нашей политике, нацеленной исключительно на оборону, отношения не имеют.

Один из высших военных чинов Соединенных Штатов признал неадекватность теперешней организации нашей обороны. Генерал Чарльз Дайк, бывший командующий американской армией в Японии, обращаясь к кандидатам в офицеры сухопутных сил самообороны, сказал, что вероятность советского вторжения на Хоккайдо, ближайший к СССР крупный остров, практически равна нулю.

Исраэль Таль, бывший командующий израильскими танковыми войсками, во время визита в Японию поставил Управление национальной обороны в затруднительное положение, поинтересовавшись, почему Япония, горный архипелаг, вооружает силы самообороны танками. Таль, крупный специалист в области бронетанковых войск, усомнился даже в целесообразности размещения танковых подразделений на Хоккайдо, где местность сравнительно открытая. «Японии нужно будет уничтожить советский десант, прежде чем он успеет высадиться на берег»,— сказал он. Таль также выразил сомнение в целесообразности наличия фрегатов у морских сил самообороны.

Это абсолютно верно. Такое комплектование — дело рук Пентагона. Вашингтон построил вооруженные силы Японии в соответствии с американским стратегическим планом, желая продемонстрировать таким образом собственную военную мощь и надежность как союзника.

Недостатки оборонной политики Японии — результат четырех десятилетий соглашательской дипломатии. Наши руководители во всем поддерживали Вашингтон. Нам было бы дешевле самим защищать себя, чем продлевать существующую договоренность с Соединенными Штатами. Интересы собственной безопасности мы подчинили американской глобальной стратегии, мы оплачиваем большую часть расходов по содержанию войск США в Японии. Но это не помешало некоторым конгрессменам заявить, что во время ирано-иракской войны военно-морской флот США действовал «во имя защиты Японии ценой американской крови».

Если на нас будут взваливать ответственность за американские потери на Ближнем

Востоке, то на таких условиях обеспечение безопасности непродуктивно. Японскому премьер-министру пора сказать: «Мы защитим себя собственными силами и мудростью». Потребуются некоторые жертвы. При всеобщем консенсусе мы могли бы это сделать, хотя пока с политической точки зрения это маловероятно. Мы располагаем техническими и финансовыми ресурсами для создания независимых сил обороны. Я не предлагаю немедленно аннулировать Договор безопасности. Это нереалистично. Наши отношения с США имеют огромное значение, да и договору мы многим обязаны. Я хочу сказать лишь, что исключать такую возможность, даже не рассматривая ее,— значит, лишать себя важного рычага на переговорах. Сегодня Договор безопасности перестал быть необходимостью. Мы располагаем достаточными ресурсами, чтобы самим поддерживать обороноспособность на сегодняшнем уровне.

В Японии и правые и левые приходят в такое возбуждение из-за оборонного альянса, что разумные общенациональные дебаты о нем просто невозможны. Хотим мы того или не хотим, но вскоре нам придется переоценивать этот пакт и принимать какое-то решение.

Либерально-демократическая партия в своем сегодняшнем виде не станет рассматривать этот вопрос. На политическом горизонте должны будут произойти некоторые изменения. Первое: оппозиционные партии должны отказаться от своей прокитайской или просоветской ориентации. Далее: они должны достичь равной с ЛДП способности определять политику. Это привело бы к перегруппировке политических сил — образованию новых блоков, распаду старых. Тогда, если бы общественность поддержала новую расстановку сил, Япония смогла бы более гибко действовать в вопросах безопасности.

Региональное процветание

Сегодня популярные японские песни распевают повсюду в Южной и Юго-Восточной Азии. Этот феномен можно сравнить с тем влиянием, которое после второй мировой войны оказала на Японию американская поп-музыка. Мы напевали «десять самых популярных мелодий», были зачарованы американским образом жизни и создали общество массового потребления по образцу американского.

В чем источник нового динамичного развития Японии?

На первый взгляд, это наша культура и образ жизни, основанный на высокой технологии. Главная движущая сила, конечно же,— наша промышленность, в которой мы перегнали даже американцев. Крупные технические достижения всегда вызывали перемены, будь то в каменном, бронзовом или компьютерном веке. Техника порождает цивилизацию, на базе которой со временем расцветает культура. Страна приходит в упадок, когда, потакая своим прихотям, позволяет образу жизни приобрести большее значение, чем профессиональному мастерству, и пренебрежительно забывает о своей технической и промышленной базе. Таков урок истории.

Именно Япония, а не Запад добилась успеха в производстве полупроводников — это и новые микрокристаллы, и бездефектная продукция,— благодаря своему умению доводить все до совершенства. Увидев деревянную статую Будды в храме Хорюдзи в Киото, Андре Мальро, тогдашний французский министр культуры, сказал, что она символизирует вечную возвышенность, преодолевающую расовые и религиозные барьеры, величие высшего существа Будды. Напротив, продолжал он, в картине Родригеса де Сильва Веласкеса «Христос на кресте» и других подобных произведениях западного реалистического искусства есть нечто гротескное, даже отвратительное, что может оттолкнуть верующих. Каждый, кто смотрит на эту статую, склоняет голову и соединяет руки в торжественной молитве. Здесь чувствуется присутствие высшей духовной силы. Эта статуя — пример необычайной способности японцев творчески развивать буддийскую эстетику, которая зародилась в Индии и достигла наших берегов через Китай и Корею. Мы, можно даже сказать, добавили завершающий штрих к великой восточноазиатской традиции.

Развитию этого таланта способствовало географическое положение нашего острова как некоего тупика близ азиатского континента, конечной остановки в распространении приходивших с материка религиозных и интеллектуальных течений. Энергия, которая могла бы быть израсходована, скажем, на передачу величия буддийского искусства в другие земли, оказалась направлена внутрь. Благодаря прихоти географии мы стали специалистами по шлифовке, украшению и усовершенствованию.

Минору Гэнда, член палаты советников, бывший начальник штаба ВВС самообороны, авторитетный специалист по военным вопросам, обратил внимание на то, как сказался этот дар на оружии. На Западе фехтование как вид спорта развилось из воен-

ного искусства, но рапира, шпага, сабля никогда не были не чем иным, кроме причудливых кухонных ножей, простых орудий убийства людей. Японский же меч — произведение искусства. Изготовляемые искусными кузнецами уже более тысячи лет, наши мечи отличаются превосходной фактурой, элегантностью и сбалансированностью. Глядя на эти лезвия, даже неяпонец ощущает таинство совершенства. Смертоносное оружие мы отшлифовали настолько, что оно стало явлением эстетическим.

Однажды Гэнда сказал мне: «С Японией все будет в порядке. Мы в состоянии защитить себя». Когда я спросил его, о какой защите он говорит, он ответил: «О нашей технике». По его мнению, наш национальный дар усовершенствования и оттачивания всего — от буддийского искусства до полупроводников — краеугольный камень в обеспечении нашей безопасности. Я полностью согласился с ним, добавив, что мы должны и дальше идти вперед, разрабатывая новую технику с различными потенциальными возможностями применения, не становясь при этом крупной военной державой. Как сказал Гэнда, в основных технологических отраслях Япония должна вырваться вперед на пять лет и попытаться увеличить отрыв до десяти лет. При условии десятилетнего опережения Японии ничто не угрожает до 2025 года. И все же неизвестно, смогут ли японские политики эффективно разыграть на международной арене карту высокой технологии.

В недавней беседе с американским журналистом я долго говорил о том, что белые люди вообще, а американцы в особенности не слишком хорошо справились со своим бременем. Я указал на то, что в развивающихся странах, расположенных в тех регионах, которые находились под властью белых, или же в тех, которым Запад все еще оказывает помощь и дает советы, царит хаос. Посмотрите на Африку, Центральную и Южную Америку, Ближний Восток. В Азии единственный безнадежный вариант — Филиппины, страна, которой управляли Соединенные Штаты. Как это ни невероятно, но американцы питают иллюзию, будто Филиппины — витрина демократии, что говорит о совершенно неправильном восприятии ими окружающего мира. Благие намерения обернулись весьма плачевными результатами.

Я объяснил журналисту, что американское правление, в отличие от испанского, было более снисходительным, поэтому филиппинцы по отношению к американцам проявляют дружелюбие и сговорчивость. И все же американцы так и не научили их подлинной демократии. Конгрессмен Стивен Дж. Соларз, председатель подкомитета по делам Азии и Тихого океана, попытался однажды выяснить, как бы я отнесся к помощи Маниле. Правительство Акино обратилось к иностранным государствам с просьбой о помощи в крупных размерах, часть которой можно было бы использовать на выплату компенсации зажиточным землевладельцам, чьи имения будут конфискованы в ходе аграрной реформы. Он предположил, что Вашингтон и Токио, вероятно, смогли бы предоставить по половине требуемой суммы. Просто смех! На меня не производит благоприятного впечатления человек, готовый вкладывать деньги в страну, где столь велик разрыв между богатыми и бедными, а нижние слои бюрократии по-прежнему коррумпированы не меньше, чем при режиме Маркоса. Только человеку, ничего не знающему об условиях жизни на Филиппинах, могла бы прийти в голову мысль, что одной денежной помощью можно поправить положение в стране. Соларз не понимал, где в конце концов осядут эти средства. Филиппинцы сами должны разрешить собственные социальные противоречия. Приток денег извне дела не поправит.

Чтобы помочь Филиппинам, нужно прежде всего осознать, что главный злодей — землевладелец. Этот класс, владеющий огромными имениями, пользующийся невероятными привилегиями, грабил страну. Я не испытываю никакой симпатии к этой эксплуататорской элите. Если не будет проведена земельная реформа, имеющая далеко идущие последствия, подобная той, что прошла в Японии после второй мировой войны, отчаяние будет порождать в деревне радикальное, неуправляемое крестьянское движение. Без стабильности, которая достигается благодаря социальной справедливости и наличию среднего класса, землевладельцы тоже не будут в безопасности. Если военные захватят власть и начнут проводить левацкую политику — конфискация, национализация,— крупным землевладельцам придет конец.

Сначала нужно избавиться от эксплуататоров, и только потом сможет пустить корни демократия. Американская «витрина демократии» не более чем витрина, за которой ничего нет. Пустить миллиарды долларов на компенсацию землевладельцам за конфискованные земли — значит не только выбросить деньги на ветер, но и лишить филиппинцев умения рассчитывать на свои силы, самим решать собственные проблемы. Для государства, как и для отдельного че-

ловека, умение помогать самому себе, полагаться лишь на собственные силы имеет важнейшее значение. Не понимая, что движет другими, американцы, может быть по наивности, полагают, что раздача денег принесет счастье.

Я рассказал журналисту про вождя племени с островов Трук, который с сожалением сравнивал японское и американское правление в Микронезии. На хорошем японском языке он сказал мне, что у американцев его дети научились только медлительности и лени. Деньгами и стремлением к материальным благам американцы за время своего господства испортили молодое поколение на Белуа, Труке и вообще по всей Микронезии. Например, на островах можно выращивать латук, но, вместо того чтобы научить микронезийцев агротехнике, американцы научили их импортировать его.

Американцы не питают уважения к местной культуре. Их миссионеры неодобрительно отнеслись к знахарям, запретили народную медицину и использование лечебных трав. Коренным жителям не разрешали лечить ожоги и порезы своими средствами, которые часто оказывались эффективнее современных фармацевтических препаратов. Вымирают старинные песни и танцы, говорил вождь, потому что миссионеры запретили и местные праздники. Американцы, как варвары, уничтожают культуру коренного населения, насаждают собственную и даже не понимают, что творят.

В старые времена на острове проводился праздник урожая, напоминающий осенние празднества в Японии. Вообще-то наши предки, возможно, переняли эти традиции у жителей южных морей. В полнолуние деревенские жители собирались все вместе и танцевали под бой барабанов. Молодые, конечно же, ходили парами. У любого деревенского фестиваля неизбежно есть непристойная, плотская сторона. Миссионеры запретили эти шумные бесхитростные фестивали, превратив праздник урожая в день поклонения Богу. В церкви деревенские жители возлагали на алтарь жертвенные дары, которые потом съедали священник и его семья! Не для них мы все это выращивали, объяснил вождь. Миссионеры и не подозревали, как неправильно трактовалась их набожность.

В заключение своей небольшой лекции я указал журналисту на то, что все азиатские страны, переживающие экономический бум — например, Южная Корея, Тайвань, Сингапур,— в тот или иной период, до или после второй мировой войны пережили японское господство. Нельзя не признать, что во время конфликта Япония повела себя не лучшим образом, и самоанализ, безусловно, необходим, но в некоторых отношениях наше влияние сыграло положительную роль. Среди регионов, являющихся поставщиками сырья, Юго-Восточная Азия — единственный, где заметен быстрый экономический и социальный прогресс. Это, в частности, результат больших усилий Японии. Ни о какой области, находившейся под властью белых, этого не скажешь.

Журналисту нечего было возразить.

Азиатское чудо, символом которого стало возникновение четырех «тигров» (Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Сингапура),— удивительное явление. Вместо того чтобы испытывать страх перед экономикой этих новых промышленно развитых государств, Японии следовало бы способствовать процветанию региона. Наша чуткая, тактичная помощь, наше руководство должны стать неотъемлемой частью будущего Азии. Так как сейчас занимается заря тихоокеанского века, то для достижения Японией зрелости этот регион окажется даже важнее, чем Соединенные Штаты.

Стать членом мирового сообщества

Чтобы занять свое место в мировом сообществе, нам не следует ни вести себя раболепно, ни отдавать приказы направо и налево, уподобляясь сверхдержаве. Нам — и стране в целом, и каждому в отдельности — требуется лишь необходимая степень уверенности в себе. Многие японцы считают Японию изолированной от остального мира, будто мы движемся по параллельным прямым, которые никогда не пересекутся, а не находимся внутри концентрических окружностей. Отчасти такое восприятие обусловлено лингвистической и культурной изоляцией, но в большей степени геополитическими факторами. Нам нужно избавиться от этого типично японского взгляда на внешний мир.

Как же нам, аутсайдерам, влиться в сообщество наций? Совсем не так, как это хотел сделать Накасонэ, используя свои знаменитые взаимоотношения «Рон — Ясу» для того, чтобы пролезть следом за американским президентом на встречи «семерки». Если вести себя принципиально, то нужно сказать «нет» Вашингтону по такому вопросу, как производство самолетов FSX. Этот поступок свидетельствовал бы о благоразумии, независимости и достоинстве и мог бы побудить простых японцев изменить свое представление о мире. Он стал бы своего рода символическим жестом, который озна-

менует достижение нами как нацией зрелости и равенства с Соединенными Штатами. И то и другое — необходимые условия полноправного членства в мировом сообществе. Отказавшись от роли вечно поддакивающих, мы бы завоевали уважение других стран, например Китая.

Япония и Соединенные Штаты должны образовать дуэт, который будет работать над разрешением глобальных проблем. Равноправное партнерство помогло бы укрепить статус Японии в мире, и, я полагаю, Вашингтон увидел бы преимущества подобного положения. При таких взаимоотношениях Японии часто придется говорить «нет», подробно объясняя почему. Японское правительство вынуждено будет отказывать в просьбах и некоторым группировкам внутри страны, которые шумно требуют протекционизма.

Тем, что сегодня на Японии сосредоточено внимание всего мира, мы обязаны нашему процветанию и богатству. Деньги, конечно, имеют определенное значение, но кроме того у нас есть традиции и культура, творческий потенциал и высокая технология, которую не могут игнорировать ни Москва, ни Вашингтон. Чтобы нас оценили по достоинству, мы должны, когда того требуют дела, имеющие решающее для интересов государства значение, четко высказывать свою позицию и говорить «нет» Соединенным Штатам.

К. САРКИСОВ

НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ?

Мир вступил в последнее десятилетие XX века, потрясенный тем, что произошло в Восточной Европе. Скоротечный распад режимов, которые мы называли социалистическими, глубокая социально-политическая и экономическая трансформация у нас самих заставили вновь задуматься над фундаментальным вопросом — в чем же суть исторического процесса? Если это не конфликт между капитализмом и социализмом, то что же тогда?

В блистательной статье Фрэнсиса Фукуямы [1] распад социализма, или лучше — квазисоциализма, обозначен как конец истории [2]. Конечно же, это эвфемизм, метафора. Для нас история только начинается. Впрочем, она никогда не прерывалась. Она завершилась лишь в тех параметрах, в которых мы ее измеряли, используя жесткий шаблон признаков социально-экономических формаций и автоматически выводя из них заключение о совершенстве той или иной модели. На самом деле все и проще, и сложнее. Проще потому, что дело вовсе не в умозрительных концепциях, но в сути, а именно в уровне зрелости и гибкости внутренних общественных структур, которые определяют их жизнеспособность. А сложнее потому, что постичь законы общественного развития на основе одной методологии вообще невозможно. Все значительно глубже.

Короче говоря, теперь мы поняли, что вместо привычного конфликта «социализм — капитализм» мы имеем дело с конфликтом «демократия — авторитаризм» и «развитость — отсталость». То есть речь идет о конфликтах, возникающих в цепочке цивилизационного развития от простых или упрощенных общественных форм к более сложным, развитым. Теперь о теме, обозначенной в заголовке статьи.

Затухание старого глобального конфликта между СССР и США, или двумя социально-политическими системами, навело некоторых на мысль, что теперь новым глобальным конфликтом могут стать противоречия между двумя наиболее развитыми странами современного мира — США и Японией.

Вообще без противоречий никакая система не может существовать. Противоречия — ее энергетическое сырье. Противоречия с Советским Союзом, с миром и концепцией социализма стимулировали США и другие страны к развитию и во многом определяли весь ход исторического развития. С середины 70-х годов после очевидных признаков спада, а затем и деградации со-

---

[1] См. Ф. Фукуяма. Конец истории? «Вопросы философии». 1990, № 3.

[2] Фукуяма позднее объяснил, что он под понятием «история» имеет в виду ее гегельянскую интерпретацию как «истории идеологии». *(Прим. автора).*

циализма самым серьезным стимулом для США становится их соперничество с другими странами развитого капитализма, особенно с Японией, развивавшейся наиболее динамично.

Японо-американские противоречия имеют свою историю. Они не возникли только сейчас. Началось все с «черных кораблей» адмирала Перри. Затем — острое геополитическое соперничество в Тихом океане. Далее — война, самая тяжелая для Соединенных Штатов и катастрофическая для Японии. Был период американской оккупации Японии, унизительный для «страны богов» и объективно благотворный для всех внутренних японских структур. В стране с американской помощью произошла демократическая революция, сохранившая при этом культурно-цивилизационный и социально-психологический фундамент страны. В результате удалось добиться высокого синтеза традиционного и современного, построить эффективную модель, которая теперь как пружина раскручивается во времени и пространстве. Вся история послевоенного экономического развития Японии — это пример феноменального движения от одного рубежа к другому, причем за счет использования и внешних, но главным образом внутренних факторов, центральным из которых является социально-психологический. С середины 50-х годов до 1973 года, когда разразился нефтяной кризис, промышленность Японии развивалась средними темпами выше 11% в год. Уже в 1968 году Япония обогнала ФРГ и вышла на второе место в капиталистическом мире. Кризис 1973—1975 годов вначале больно ударил по японской экономике, зависящей на девяносто с лишним процентов от импорта сырья и энергоносителей, но он же был и благословением. Он вынудил японцев перейти к интенсивным формам развития, пересмотреть всю экономическую структуру, сделав акцент на наукоемких и ресурсосберегающих технологиях. Любая перестройка требует максимального напряжения в первую очередь внутренних национальных ресурсов. Японское общество справилось с этим блестяще. С 1976 года началась эпоха особенно удивительных экономических достижений Японии, и на сегодняшний день Япония — вторая экономическая держава мира по количественным параметрам и первая по многим качественным.

ВНП Японии 3,2 трлн. долларов. Это более 60% от американского. По ВНП на душу населения Япония обогнала США несколько лет назад. При этом на единицу ВНП Япония тратит в 2,5 раза меньше сырья и энергоресурсов, чем Соединенные Штаты.

Но дело не только и не столько в абсолютном значении экономических показателей и том, что Япония быстрыми темпами догоняет США невзирая на существенно меньшие территорию, природные ресурсы и население. Главное, что Япония активно осваивает мировой рынок, заполняя его ниши. Опубликованные в мае этого года данные свидетельствовали о том, что по объему зарубежных активов Япония вышла на первое место в мире. Общая сумма активов фантастическая — 1 трлн. 858 млрд. долларов. Это суммарный за все годы итог прямых (предприятия) и портфельных (ценные бумаги, облигации) инвестиций. Американские активы не достигают этого уровня. При этом чистые активы (разница между всеми активами и долговыми обязательствами) у Японии составили 328 млрд. долларов. И по этому показателю Япония занимает вот уже шестой год первое место в мире.

Причем, вопреки установившемуся мнению, Япония добилась и блистательных социально-экономических результатов. Методологически очень непросто оценивать уровень социально-экономического развития. Чаще всего страны выстраиваются в ряд по объему валового национального продукта в абсолютном выражении или на душу населения. Статистико-арифметический ряд в этом случае понятен. Но вот Организация Объединенных Наций, разработав «Программу развития», пытается определить иерархию стран по признаку наиболее высокого уровня социально-экономического развития человека («индекс развития человека»). Индекс складывается из суммы таких показателей, как продолжительность жизни, уровень образования и базисная покупательная способность населения. По данным обследования, проведенного ООН в 1990 году, Япония — на первом месте в мире, США лишь на седьмом. К слову, Советский Союз оказался на неожиданно высоком 31-м месте.

Япония отстает по другому показателю — степени свободы человека. Всего лишь 15-е место. Но это сразу после США и Англии, занимающих соответственно 13-е и 14-е места. Вот здесь наше место оказалось неожиданно слишком низким — 82-е (из 88).

Обладая колоссальным положительным сальдо текущего баланса в основном за счет огромного перевеса экспорта над импортом, Япония уже несколько лет подряд является наиболее мощной финансовой державой мира. Ей принадлежит 40% всего рынка ссудного капитала. Япония — самый крупный кредитор и финансовый донор в мире. Особенно заметно и значительно проникновение Японии на американский рынок. Только прямые капиталовложения Японии в США в период с 1951 по 1989 год составили 104 млрд. долларов! Что же касается инвестиций в ценные бумаги, облигации, то они в несколько раз выше.

Естественно, что столь лавинообразный экономический натиск Японии привел к довольно сильным перегрузкам на политические, и особенно психологические, структуры отношений с США.

И вот уже несколько лет как двусторонние противоречия являются остроконфликтными. В США действуют агрессивно настроенные в отношении Японии политические силы. К ним можно отнести известную часть общественности, политических деятелей, пытающихся разыгрывать патриотическую карту, и некоторых ученых-политологов, исследующих механизмы внутренних структур Японии и ругающих ее закрытость.

В интеллектуальной среде Соединенных Штатов возникло целое направление, получившее название «ревизионизм» (этот ревизионизм не имеет ничего общего с тече-

нием, заклейменным большевизмом). Речь идет об идейном течении, представленном некоторыми американскими учеными и публицистами, выступающими за пересмотр (ревизию) американского взгляда на Японию.

К их числу относятся Клайд Престовиц, Джеймс Фаллоуз, Карен Ван Волферен. Отцом этого направления считается профессор Южнокалифорнийского университета, блестящий американский японовед Чалмерс Джонсон. Каждый из них опубликовал книги или статьи, которые произвели сенсацию. Джеймсу Фаллоузу принадлежит знаменитая статья «Сдерживание Японии». Чалмерс Джонсон опубликовал ставшую хрестоматийной монографию о министерстве внешней торговли и промышленности Японии, в которой пытался проанализировать глубинные связи государства и бизнеса и доказать, что японский капитализм таковым по сути дела не является. Голландец по происхождению Карен Ван Волферен сравнительно недавно выпустил объемистую книгу под интригующим названием «Загадка японской мощи. Народ и политика в стране без государства».

Вряд ли кто-либо возьмется утверждать, что «ревизионисты» доминируют в американском японоведении. Это не так. Но они пользуются успехом, их книги и статьи читаются с удовольствием и расходятся большими тиражами.

Японцы, впрочем, не остаются в долгу, и по мере усиления антияпонских настроений в Соединенных Штатах здесь растет антиамериканское движение. Оно тоже начинает затрагивать широкие слои общественности, часть политического истеблишмента и научные круги.

Антиамериканизм как политическое течение в послевоенной Японии не характерен, хотя существовал всегда. Он был естественной реакцией на поражение в войне, на оккупацию, на проблему Окинавы, на сохранение военных баз, на чрезмерную военно-политическую ориентацию. Но антиамериканизм в Японии сдерживался, приглушался двумя фундаментальными факторами: американский рынок и технология были катализаторами послевоенного экономического развития Японии, а американский «ядерный зонт» — гарантией ее безопасности. Но в последнее время в этой системе жизненной заинтересованности Японии в союзе с США начинают появляться первые трещины. Они свидетельствуют о том, что наступило время для ее пересмотра, приспособления к новым условиям.

Такова реальность, и в ней нет, собственно говоря, ничего особенного. Просто время пришло. Но движение к новой системе достаточно мучительно и тернисто. Как и во всякий переходный период, все структуры испытывают огромное напряжение. Психологическая и, в известной мере, политическая конфликтность налицо.

Среди многочисленных свидетельств болезненности этого процесса — публикация в Японии книги депутата нижней палаты японского парламента Синтаро Исихары и президента «Сони» Акио Мориты «Япония, которая сумеет сказать «нет». В Соединенных Штатах она появилась вначале в «пиратском» переводе, ее цитировали все газеты, но никто еще не читал. Цитаты казались поразительными, и американская общественность была взбудоражена. В Конгрессе посыпались запросы. Разразился скандал. Впервые, пожалуй, американцам сказали в лицо столько всяких неприятных вещей. Впрочем, американцев, возможно, задело не столько существо, сколько форма критики. Она была оценена как «высокомерная».

Реакция была столь резкой, что один из соавторов, Акио Морита, поспешил отмежеваться от книги. Это и понятно. Морита представляет интересы «Сони», компании, давно и прочно обосновавшейся на американском рынке. Авторство Мориты в этой книге могло отразиться на позициях его компании. А в памяти многих японцев свежи воспоминания о травле другой японской фирмы — «Тосиба», о том, как респектабельные конгрессмены разбивали о ступеньки Конгресса на Капитолийском холме тосибовский двухкассетник.

Исихара не только не отказался от книги, но недавно переиздал ее, подчеркнув, что он не только не сожалеет о содеянном, но глубоко убежден в своей правоте.

Вряд ли стоит особенно обрушиваться на Исихару, обвиняя его в ультранационализме. Он националист и этим гордится. В его высказываниях действительно есть жесткость и прямолинейность — то есть то, что японцам обычно не присуще.

Но высказывания Исихары отражают точку зрения слоев, именуемых обычно обывателями, коих в любой стране множество. Это настроенный, как правило, «патриотично» класс, во многом влияющий на формирование общественного мнения. Поэтому неплохо, что устами Исихары эти настроения были выплеснуты наружу.

Многое из сказанного Исихарой, пусть в грубой форме, но отражает объективные вещи. Некоторые американцы, возмущаясь этой книгой, посчитали тем не менее ее вполне полезной и поучительной. И вообще интересная получается ситуация — американцы сами давно и остро говорят о своих недостатках и пороках. Но стоило об этом сказать иностранцу, особенно японцу, как поднялась настоящая буря.

Итак, если говорить об объективных причинах, то главное, что составляет суть конфликта — это опережающие темпы экономического развития Японии. Американцы, сохраняя пока перевес в абсолютных показателях, теряют одну за другой позиции в мировой экономике. Чтобы сдержать японский натиск, есть два пути. Первый — попытаться за счет глубоких внутренних реформ добиться такой эффективности экономики, которая могла бы конкурировать с японской. Второй — сдерживать Японию внеэкономическими средствами: политическим и психологическим давлением. Похоже, что США предпочитают второе. Разумеется, американцы в принципе правы, стремясь заставить японцев открыть свой рынок (он, кстати сказать, практически полностью открыт). Но когда они требуют убрать препятствия на японском рынке, связанные с традиционными взаимоотношениями между японскими фирмами, это вызывает болезненную реакцию в Японии. Это все равно что требовать от японцев, чтобы они перестали быть японцами и все свои

внутренние социально-психологические институты приспособили бы под западный стандарт. Но даже если это сделать, будет ли решена проблема дисбаланса? Вряд ли. Как это было уже неоднократно в прошлом, японцы, чтобы снять противоречия, добьются еще большей эластичности своих внутренних структур и из испытаний выйдут еще более сильными. Американцы при этом не выиграют ничего. Специалисты считают, что, если убрать все преграды на японском рынке, дефицит США в торговле с Японией сократится всего лишь на 2—4 млрд. долларов. Это при общем дефиците в настоящее время почти в 40 млрд. долларов!

Сами японцы глубоко убеждены в том, что корень японо-американских противоречий не в закрытости японского рынка или «нечестной» торговой практике Японии, а в самой американской экономике, неспособной адаптироваться к фундаментальным структурным изменениям в мировой экономике и противостоять динамично развивающейся экономике Японии, Европы и новых индустриальных стран экономическими средствами и поэтому прибегающей к средствам политического давления.

Японцы обвиняют американцев в том, что те растеряли свои качества, которые в свое время позволили им блестяще осуществить индустриализацию — трудолюбие, самоотверженность, экономность, и сейчас, в постиндустриальное время, облепились и предпочитают зарабатывать не на производстве товаров, а на делании денег, игрой на курсах валют, ценных бумаг, то есть используя нынешний этап развития капитализма, когда деньги делают деньги, а не товары.

Если привести логику японцев, возмущенных американским давлением, к какой-то простой схеме, то она будет выглядеть следующим образом. Почему, возмущаются японцы, Соединенные Штаты вместо того чтобы производить много хороших и добротных товаров и успешно конкурировать на мировых рынках, занимаются чисто политическим шантажом, требуя от японцев изменения их экономической политики и внутренних структур.

Японцы убеждены, что США купили свой экономический рост в 80-е годы за чужие деньги. Недостаток собственных внутренних средств они покрыли за счет высоких банковских процентов, привлекших на американский рынок чужие капиталы. Многие, впрочем, считают, что в бюджетном дефиците нет ничего порочного и он даже стимулирует экономическое развитие. Но это хорошо до поры до времени. Потом может наступить эффект порочного круга, когда большая часть заработанных денег будет уходить не на собственное развитие, а на выплату процентов за взятые в долг капиталы.

Японские ученые в своем большинстве считают, что намечающийся новый спад в американской экономике связан с чрезмерной нагрузкой внешнего и бюджетного долгов, выплатой по процентам за взятые кредиты и займы, огромным дефицитом торгового баланса. Они видят первопричину всех зол в расточительности американцев, неумении жить по средствам, то есть без долгов, в губительной политике, начавшейся в конце 70-х годов, когда были отпущены все финансовые регуляторы для спекулятивного привлечения иностранного капитала. Экономика способна вынести все эти перегрузки при одном условии — если она обладает мощной и конкурентоспособной обрабатывающей промышленностью. У США, увы, таковой уже нет, по японским оценкам. И дефицитная экономика вынуждена вновь и вновь прибегать к долгам.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в последнее время на мировых рынках обозначилась резкая нехватка капиталов. После присоединения ГДР ФРГ перестала служить источником свободных капиталов. Единственным таким источником остается Япония (в какой-то мере еще и Тайвань).

В своей оценке американской экономики Исихара беспощаден и категоричен. Он утверждает, что США уже никогда не вернут свое индустриальное могущество и в мире формируется новый баланс сил.

Японцы критикуют не только рейганомику, но и администрацию Буша за отсутствие серьезного интереса к проблеме исправления двух дефицитов, ставших хроническими,— внешнеторгового и бюджетного. Они снова и снова обвиняют американское общество, привыкшее к благополучной жизни без соответствующей отдачи, к росту уровня жизни без должных на то экономических предпосылок, то есть к незаработанному трудом повышению жизненного уровня.

Двойной дефицит мог бы быть легко устранен, если американцы пошли бы на увеличение налогов. Но они этого не делают, не желая увеличивать налоговое бремя своего общества.

Даже великолепная победа американцев в Персидском заливе не поколебала уверенности японцев в том, что американское лидерство в мире близится к закату, поскольку в отличие от прежних лет военное преимущество США не подкрепляется их подавляющим превосходством в экономической области. Война в Заливе усугубила экономическое положение США, имеющих существенные макроэкономические пороки — 700 млрд. внешней задолженности и 300 млрд. бюджетного дефицита.

Все это тяжелые упреки, которые американцам трудно воспринимать без раздражения, особенно от японцев. Американцы, которые обычно считают, что в их экономических невзгодах виноваты страны, наводнившие их рынок дешевыми товарами, и в первую очередь Япония, теперь вынуждены внимать нравоучениям, как им следует жить и работать. Им, в течение многих лет считавшим свою систему идеальной, выслушивать подобное тяжело психологически. Но в том, что говорят японцы, немало правды, и подсознательно понимание этого делает, вероятно, реакцию американцев особенно болезненной.

В результате критика со стороны Японии не воспринимается конструктивно. Реакция абсолютно обратная. Антияпонские настроения усиливаются. И в последнее время возникло мощное движение под лозунгом «Побьем Японию». Это выражение поражает своей одиозностью и смесью великодержавности с расизмом. И хотя от него открещивается респектабельная часть американцев, оно существует и не утихает.

У японцев движение вызывает ответную реакцию, этим в определенной мере вызвана и книга Исихары. В эмоциональной запальчивости он бросает американцам упрек в расизме, проявление которого, в частности, видит в том, что атомную бомбу американцы использовали отнюдь не против немцев, белой расы, а против японцев, представителей желтой расы. Сегодня нередко вспоминают о том, как в годы войны американское правительство интернировало многие тысячи японцев, давно, еще до войны эмигрировавших в Соединенные Штаты и бывших по гражданству американцами. Это было явным нарушением американской конституции, но США пошли на это.

Обвинение американцев в расизме в данном конкретном случае скорее всего лишено оснований. Причина антияпонских настроений в Америке не расизм, а невыветрившееся за послевоенные годы опасение, что в один прекрасный день Япония вновь станет представлять собой смертельную угрозу американским интересам. Прошлое живо в сознании людей. Здесь не столько расизм, сколько застарелый антияпонизм, реанимируемый и подогреваемый шумными политическими баталиями вокруг экономических проблем.

Это и реакция на так называемый технологический национализм японцев, считающих, что наступает эпоха, в которой главную роль будут играть великие технологические державы, и в первую очередь Япония. Они полагают, что новые технологии — основа будущей цивилизации или культуры в широком смысле слова. И если Япония — лидер в новых технологиях, то она и будет носителем новой культуры и вполне может стать даже очагом новой цивилизации, как в свое время колыбелью цивилизации была Европа, затем — США. Исихара произносит примечательные слова: «Не исключено, что мы, японцы... сможем овладеть новой культурой, стержнем которой явятся разработанные нами высокие технологии».

Американцев эта кичливость раздражает, и они бросают упреки в адрес японцев, что они, мол, лишь талантливые имитаторы и своего собственного ничего не изобрели, а лишь паразитируют на американских фундаментальных идеях. Как в анекдоте: «Как вершится научно-технический прогресс? Американец немецкого происхождения изобретает, советский заявляет, что в России это было изобретено еще в начале века, а японец делает официальное заявление, что готов со следующего месяца добровольно ограничить экспорт в США товаров, произведенных на основе этого изобретения».

Действительно, в интеллектуальной сфере японцы пока еще существенно отстают. Японцы дали миру всего пятерых лауреатов Нобелевской премии, причем двое из них — японцы, работающие в Соединенных Штатах. А в Америке только в одном научно-исследовательском институте компании «Белл» лауреатов семеро.

Следует отметить, что японцев заботит проблема их отставания от европейцев и американцев по творческим параметрам. Впрочем, не только творческим, но и физическим. Средства массовой информации обычно сокрушенно подсчитывают количество завоеванных на Олимпиадах медалей и полученных Нобелевских премий. В этом остаточные признаки существовавшего когда-то комплекса неполноценности. Для некоторых, вероятно, японская агрессивность в экономике и завоевание позиций на мировых рынках — реакция на этот комплекс, стремление компенсировать свои недостатки, доказывая миру свое превосходство в других областях. Эти мысли косвенно отражены в рассуждениях Исихары, который делает любопытное замечание о японцах как о расе, напоминающей героя знаменитого фильма Спилберга «Инопланетянин», умного и способного на многие чудеса, несмотря на свое физическое несовершенство.

Впрочем, упреки в том, что они паразитируют на американских технических идеях, японцы легко отводят аргументацией, которая выглядит вполне убедительной. В современных условиях созидательная сила или творческий потенциал необходимы отнюдь не только для научного открытия. Для того чтобы найти новой идее техническое воплощение, нужна не меньшая изобретательность. И наконец, творческое начало необходимо и в поисках рынков сбыта, маркетинге товаров, произведенных на основе открытия.

И если американцы опережают японцев в первой фазе, то явно отстают в двух других фазах созидательного процесса. Классический пример — история с величайшим изобретением XX века транзистором. Когда «Сони» в 1953 году приобрела у американской компании «Белл» патент на это изобретение, американцы использовали транзисторы только для производства слуховых аппаратов. То же они посоветовали и японцам. Но тогдашний президент «Сони» Ибука произнес исторические слова, схожие со знаменитыми: «Мы пойдем другим путем». Он заявил: «На слуховых аппаратах много не заработаешь. Мы станем делать радиоприемники на транзисторах». Хотя сделать это оказалось не так-то просто. Необходимы были большие творческие способности. Японец по имени Эдзаки, работавший над этой проблемой, впоследствии, уйдя в ИБМ, получил Нобелевскую премию. Кстати сказать, «Сони» не первая компания, которая стала изготавливать транзисторные приемники. Первой была американская компания. Но, столкнувшись с трудностями в реализации этой продукции на рынках, она прекратила их производство. И только японцы смогли уловить будущие тенденции изменения спроса и настойчиво продолжали свои усилия, которые увенчались блестящим успехом.

Упреки в том, что одни изобретают, а другие пользуются изобретениями, сейчас выглядят забавными. В условиях формирования единого глобального рынка, переплетения национальных экономических структур, развития транснациональных корпораций, научно-технической интеграции эти высказывания звучат наивно.

Рынок новых идей, технологий и товаров един и действует по сугубо экономическим законам. Японцы, в конце концов, идеи покупают, и это не так уж дешево стоит, особенно в последнее десятилетие. А то, что они умеют лучше, чем кто-либо, реализовы-

вать эти идеи в практических делах, товарах — что же в этом плохого?

Именно это качество японцев заставляет шевелиться всех остальных. Мощное внедрение японцев на автомобильный рынок в 70-е годы заставило и американцев, и европейцев предпринять соответствующие шаги для модернизации производства. Японцам в значительной мере принадлежит заслуга в том, что планка конкуренции на мировых рынках в 70—80-е годы была поднята на большую высоту. Динамичный захват Японией мировых рынков на основе резкого повышения качества продукции и освоения новых видов товаров явился катализатором мощных инвестиций корпораций других стран в обновление производства, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Строго говоря, своей экономической агрессивностью Япония стимулировала цивилизационный процесс. Наверное, в этой агрессивности много отрицательного, особенно для других стран, но объективно она сыграла историческую роль, подтолкнула классические капиталистические экономики к более активному обновлению и тем самым ускорила распад экономик квазисоциализма, не выдержавших конкуренции, способствовала она и росту т. н. новых индустриальных стран. В подобной оценке нет ни грана приукрашивания Японии или прояпонизма. В ней лишь стремление объективно оценить роль Японии в послевоенные годы.

Однако это не означает, что японцев не в чем упрекнуть. Можно. Прежде всего в их тотальном экономическом наступлении слишком мало внимания и бережного отношения к местной национальной специфике, традиционным ценностям.

Какая ирония! Уделяя пристальное внимание собственным национальным традициям, они куда менее внимательны к традициям других стран. В США, например, Япония скупает то, что составляет предмет национальной гордости американцев. «Сони», чей президент Морита проповедует необходимость лучшего понимания образа жизни американцев и учета их системы ценностей, в 1989 году приобретает крупнейшую компанию кино-теле-шоу бизнеса «Коламбиа пикчерс», проигнорировав то, что в сознании простых американцев эта компания — символ Америки, «храм американской культуры». Но, видимо, бизнес не столь уж чувствителен к таким деликатным материям, как национальное сознание. Он действует по собственной логике. Позднее компания «Мацусита» за 6 млрд. долларов купила еще одну реликвию американской кинокультуры. Были покупки и целых огромных небоскребов — Рокфеллеровского центра и совсем недавно начались разговоры об «Эмпайр стейт билдинг» — первом американском небоскребе, который, как, писали некоторые газеты, японцы хотели перевезти к себе и поставить... в «Диснейленде» на берегу Токийского залива. Ну как тут не возмутиться сердцу американца?

«Япония опутала весь мир. Она стала главной мировой державой. При этом она ведет себя не так, как, по мнению большинства стран, приличествует мировой державе. Временами создается впечатление, что Япония вовсе не хочет принадлежать к остальному миру»,— так начинает свою книгу Карен Ван Волферен, упрекая японцев в эгоизме, неспособности подняться над своими узконациональными интересами, раствориться в мировой культуре.

В новом японском национализме, пусть и технологическом, присутствуют высокомерие и кичливость, и, следовательно, опасность сползания к обычному национализму и шовинизму. Новые националисты, и это видно из высказываний Исихары, требуют переосмысления идейно-политических устоев послевоенной Японии, они выступают за моральное обновление общества, внедрение в сознание японцев новой системы ценностей и главное — нового самосознания нации, которая может и должна быть лидером новой цивилизации...

В этом просматривается то, что обозревательница «Нью-Йорк таймс» Флора Льюис, писавшая о книге Исихары, назвала «ностальгическим привкусом», который, по сути дела, и может оказаться наиболее опасным.

Японо-американские противоречия и споры затрагивают такую сверхчувствительную и важную сферу, как военно-политическое партнерство. Горячие головы и с той и с другой стороны требуют пересмотра Договора безопасности — одного из центральных элементов всей системы двусторонних отношений. США сохраняют свои военные базы на японской территории и тратят на их содержание около 4 млрд. долларов. Япония, впрочем, берет на себя половину их расходов и в будущем готова даже полностью оплачивать американское военное присутствие. Но то обстоятельство, что США вынуждены тратиться на оборону Японии, которая тем временем, пользуясь раскрытым над нею американским «ядерным зонтиком», наращивает свои экономические мускулы и завоевывает одну за другой позиции на американском рынке, вызывает сильное раздражение на Капитолийском холме. Конгрессмены и сенаторы довольно часто ругают последними словами японское «иждивенчество» и требуют от администрации принятия жестких мер. Администрация занимает более сдержанные позиции, стремясь не подорвать стратегического партнерства со своим «самым важным союзником».

В отличие от политиков, у которых больше эмоциональности, рассчитанной на избирателей, администрация, включающая в свой состав профессионалов, прекрасно понимает, что подталкивание Японии к большим военным расходам — палка о двух концах. А что, если переборщить и выпустить джина из бутылки? Япония станет мощной военной державой. Для этого у нее есть почти все необходимые предпосылки. Киссинджер как-то высказался в том духе, что Япония в обозримом будущем вполне может превратиться в великую военную державу. Бывший госсекретарь США часто бывает провидцем. Действительно, Япония способна стать мощной военной державой, может, и не сейчас, а на следующем витке развития военной технологии, когда и в этой области произойдут революционные изменения и военную мощь государства будет определять не количество, а качество военных систем, уровень их электронной насыщенности.

Кто может гарантировать, что тогда Япония не выйдет из-под американского контроля? Таких гарантий нет. И возникают реминисценции времен войны, которые глубоко гнездятся в подсознании жителей страны, которая пятьдесят лет назад, в декабре 1941 года в Пирл-Харборе, испытала горечь такого военного поражения и национального позора, которого не знала ни до этого, ни после.

Тем не менее на Японию оказывают давление, требуя от нее большего участия в военно-стратегических акциях, большей военно-политической ответственности, особенно в связи с войной в Персидском заливе. В итоге японцы начинают колебаться и после долгих раздумий впервые за все послевоенные годы посылают отряд тральщиков в зону Персидского залива. Но этому предшествовали бурные дебаты в парламенте. Правительство и сам премьер-министр Кайфу действовали крайне осторожно, опасаясь нарушить конституцию и ее «мирную» 9-ю статью, написанную, кстати сказать, американцами.

Складывается парадоксальная ситуация — сами японцы не хотят превращаться в мощную военную державу, хотят сохранить свой мирный статус и свою конституцию. Их же союзники, укоряя японцев в том, что они паразитируют на военной силе других, подталкивают японцев к большей военной ответственности. Разумно ли это? Вряд ли. Лучше, если мир сохранит Японию как образец уникального свойства — великую экономическую и технологическую силу без мощного военного потенциала, страну, утверждающую себя в роли созидателя новой цивилизации. Наивно полагать, что, навязывая стране большое военное бремя, можно добиться ее экономического спада или спада ее активности. Этого не произойдет. Может быть еще хуже. К экономической агрессивности добавится еще и военно-политическая.

Впрочем, я убежден, что японцы сами на это не пойдут. Для чего? Экономическими средствами они достигли того, чего не могли и никогда не смогли бы добиться военными. Испытав горечь поражения в войне (иногда полезно проигрывать), они извлекли нужные уроки. Лидерство на новом цивилизационном витке будет обеспечиваться не военным, а экономическим, технологическим и культурным (в широком смысле) превосходством.

При этом, разумеется, мировое сообщество вправе ждать от Японии большего вклада в мировое развитие. В чем же может выразиться вклад японцев в цивилизационный процесс, их плата мировому сообществу за свое процветание? Первое: Япония может увеличить свою помощь отсталым, развивающимся странам, просто тем, кто в этом нуждается, в рамках так называемой официальной помощи развитию (ОПР). Это помощь в виде безвозмездных и низкопроцентных займов и средства, отпускаемые на подготовку технических кадров. По этому показателю Япония и так на первом месте в мире. Но объем, масштабы и характер оказываемой ею помощи отстают от тех потенциальных возможностей, которыми страна обладает. Второе: Япония свое экономическое присутствие в других странах может активно преобразовать в фактор социально-экономического развития этих стран. Для этого необходима большая интернационализация этого присутствия, растворение его во внутренних структурах. Не японизация мира, а интернационализация Японии. Не «Пакс Ниппоника», а «Пакс Глобалика».

И наконец, третье: Япония должна будет сохранить свой статус миролюбивой державы и не переносить свой экономический потенциал в военную сферу. Это само по себе будет огромным вкладом в общемировую цивилизацию.

Итак, если попытаться ответить на вопрос, поставленный в самом начале статьи, идет ли речь о новом глобальном конфликте, то скорее всего ответ должен быть отрицательным.

Это не конфликт двух антагонистических систем, несмотря на всю остроту и эмоциональный накал. Это соперничество двух демократических систем в мире, вступающем в новый век, который качественно будет отличаться от века нынешнего — века войн и геополитического соперничества. Это конфликт двух обществ с отличающимися внутренними структурами, с различными ценностными ориентациями и представлениями о том, как должны развиваться экономика и социальные сферы. Достаточно ли этого, чтобы соперничество двух стран приняло форму конфронтации, чреватой военным конфликтом? Вряд ли. Центробежные тенденции являются, строго говоря, вторичными. Первичны тенденции центростремительные, объективные законы цивилизационного развития, которые будут сближать две страны и помогать им решать конфликтные ситуации на основе компромисса.

Но это, так сказать, генеральная тенденция. Сам же путь движения к новому состоянию сложен и извилист. На нем много всяких преград и остроконфликтных ситуаций. Книга Исихары — яркое тому свидетельство.

У книжной витрины

ДЖЕФФРИ АРЧЕР
Полет ворона

Jeffry Archer. As the Crow Flies. «Hodder and Stoughton»

Не впервые член британского парламента выступает в роли литератора. Среди крупных политических деятелей Великобритании, известных своим писательским талантом, такие личности, как Бенджамин Дизраэли, который, прежде чем стать политиком, написал несколько романов, и Уинстон Черчилль, чьи мемуары и сегодня читают во всем мире. Что касается Джеффри Арчера, его творческие успехи, похоже, явно опережают политическую карьеру. Это подтверждает появление в списках бестселлеров англоязычных стран нового романа Арчера «Полет ворона». Книга выдержана в духе классического «романа воспитания». В центре повествования — судьба Чарли Трампера, сына лондонского уличного торговца, ставшего членом палаты лордов и владельцем крупнейшей в стране торговой фирмы. Описание житейских пертурбаций главного героя разворачивается на фоне важнейших событий современной истории Англии, отчасти повторяя биографию самого автора. Рассказ о том, как уличный торговец отправился на поля сражений первой мировой войны, потом женился на своей подружке детства и разбогател, занимаясь розничной торговлей, в годы войны с нацизмом вошел в круг советников Уинстона Черчилля, а затем возобновил коммерческую деятельность и получил титул лорда — прекрасная иллюстрация к расхожему понятию «человек, сделавший себя сам», столь популярному в массовом сознании на Западе.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСОН
Срединный рейс

Charles Johnson. Middle Passage. «Atheneum»

В нынешнем году Национальной книжной премии США удостоен роман «Срединный рейс» чернокожего писателя Чарльза Джонсона. Несмотря на почти двадцатилетний литературный стаж и благосклонность критиков, широкой публике до получения этой премии автор был мало известен.

Книга написана в виде дневника Резерфорда Кэлоуна — раба, только что получившего свободу. В 1830 году он пытается скрыться от своих проблем на пароходе, отплывающем из Нового Орлеана. Лишь в открытом море безбилетный пассажир узнает, что судно служит для подпольной работорговли и направляется к берегам Западной Африки за новой партией невольников. Но главные испытания предстоят герою на обратном пути. Растет недовольство белого экипажа против капитана, да и негры не хотят примириться со своей участью рабов. Те и другие замышляют мятеж. Кэлоун никак не может решить, стоит ли ему вмешиваться и чью сторону принять. И лишь сильный шторм, повредивший корабль, заставляет всех объединиться.

В романе описаны чудовищные условия жизни невольников, и не приходится сомневаться в сочувственном отношении автора к этим несчастным, оставшимся без родины, семей, культуры и даже без родного языка.

Сейчас Чарльз Джонсон работает над книгой о Мартине Лютере Кинге.

ПЕНЕЛОПА ЛАЙВЛИ
Вымышленный город

Penelope Lively. The City of the Mind. «Deutsch»

Новый роман английской писательницы Пенелопы Лайвли «Вымышленный город» (о предыдущей ее книге см. «ИЛ», 1988, № 6) — история любви, внезапно вспыхнувшей на улицах Лондона. Но городской пейзаж — улицы, кафе, музейные залы — на сей раз не просто фон для действующих лиц. Архитектор Мэтью Холланд воспринимает город как нечто постоянно изменяющееся, живое и почти враждебное. Он страдает от одиночества, от разлуки с женой, от невозможности все время быть с дочерью.

Как сквозь искривленное стекло видит Мэтью (и вместе с ним — читатель) Лондон с его суетой, несовершенством человеческих отношений. Очнуться герою помогает встреча с художницей-иммигранткой с древним именем Ева. Сквозь роман проходит символический образ старинного корабля с поднятыми парусами — гравюры на стекле, которую Ева выполняет по заказу архитектора.

РОБЕР МЕРЛЬ
Вертящиеся фижмы

Robert Merle. La volte des vertugadins. «Fallois»

Робер Мерль — автор масштабного историко-художественного полотна «Наследие Франции», вобравшего в себя шесть книг, представил на суд читателей седьмой роман из этой же серии. Действие в нем происходит в начале XVII века — это главным образом приключения молодого шевалье Пьера де Сиорака, незаконнорожденного сына графини де Гиз. Судьбы отдельных персонажей, переплетаясь с судьбой страны, дают яркую, живую картину конца правления Генриха IV.

Литературные критики единодушно отмечают необыкновенную эрудицию и мастерство автора. Роман переносит читателя в эпоху заката династии Валуа и вступления на трон Бурбонов. Балы, развлечения, интриги при королевском дворе, бытовые сцены — все описано на редкость сочно и достоверно. Весьма убедительно воссозданы атмосфера, язык, нравы того времени.

Судя по тому, что и эта книга попала в число бестселлеров, Робер Мерль не обманул ожиданий французов, уже несколько лет предвкушавших встречу с продолжением грандиозной саги, с полюбившимися им героями.

ФИЛИП РОТ
Наследие: непридуманная история

Philip Roth. Patrimony: A True Story. «Cape»

«Наследие» — очередное обращение писателя к автобиографическому материалу. Это вполне закономерно, ибо окружающая жизнь всегда питала его художественные произведения и, естественно, сама по себе стала объектом писательского внимания.

Книга об отце Филипа Рота — действительно непридуманный рассказ о борьбе со смертельным недугом. Восьмидесятишестилетний Герман Рот, еврей-иммигрант, работавший всю жизнь не покладая рук и сумевший поставить семью на ноги, медленно умирает от опухоли головного мозга. Этот последний этап его жизни Филип Рот описывает почти по-репортерски отстраненно, и повествователь порой заслоняет в нем испуганного, встревоженного сына. Более того, оба — и старший и младший — не теряют чувства юмора в тяжелой ситуации, хотя Филип, еще со времен «Жалобы Портноя» считающийся одним из родоначальников еврейского «черного юмора», здесь заметно сдерживает свою иронию.

ФРАНСУАЗА САГАН
Окольный путь

Françoise Sagan. Les Faux-Fyants. «Gallimard»

Один из «военных» романов Ф. Саган — «Рыбья кровь» — был опубликован в нашем журнале в № 2 за текущий год. И вот третий роман на эту тему.

...1940 год. Немцы наступают на Париж. В роскошной машине столицу спешно покидают четверо: жена банкира — легкомысленная красотка, пожилая миллиардерша, дипломат-гомосексуалист и «альфонс» с шокирующими манерами. В результате обстрела машина повреждена, и герои вынуждены просить убежища на крестьянской ферме. Их принимают неприветливая хозяйка, ее сын, неотесанный парень, и беззубый дед. Светская четверка постепенно находит общий язык с обитателями фермы и привыкает к тамошнему житью. Вроде бы ничто не предвещает трагический финал, но парижане решают все-таки вернуться в город, и опять их машина попадает под огонь немцев. На этот раз все пассажиры гибнут.

ЭМИ ТАН
Жена кухонного бога

Amy Tan. The Kitchen God's Wife. «Putnam»

Период «открытия» творчества американских прозаиков китайского происхождения на книжном рынке США начался с публикации в 1976 году сборника рассказов писательницы Максин Хонг Кингстон «Воительница», сразу ставшего бестселлером. Кульминацией интереса широкой публики к творчеству выходцев из Китая и Юго-Восточной Азии можно считать феноменальный успех романа Эми Тан «Клуб веселой удачи» (мы писали о нем в 1990, № 5). В нынешнем году Эми Тан опубликовала второй роман — «Жена кухонного бога». Вновь действие разворачивается в Сан-Франциско, где живет семья: американка китайского происхождения, ее «стопроцентно американский» муж и «стопроцентно китайская» мать. Повествование ведется от имени старой китаянки, которая была вынуждена переехать в США в конце 40-х годов, но так и не привыкла к новым условиям жизни, к людям чужой страны, к нравам и обычаям чужой культуры. Она вспоминает о том, как ее бросила мать, о том, как сама она вышла замуж за негодяя, как после вторжения японцев в Маньчжурию скиталась с детьми по горным деревушкам, пряталась в монастыре и, наконец, переселилась за океан. Новый роман во многом перекликается с «Клубом веселой удачи» и, по отзывам критиков, ничуть не уступает в художественном отношении блестящему дебюту Эми Тан.

ФЭЙ УЭЛДОН
Утопия Дарси

Fay Weldon. Darcy's Utopia. «Viking»

И вновь проблемы экономической, политической и духовной жизни современного западного общества. На сей раз в сатириче-

ском романе **Фэй Уэлдон «Утопия Дарси».** Героиня книги англичанка Элеонор Дарси стала известна всей стране после того, как ее мужа посадили в тюрьму за крупные финансовые махинации. Два журналиста — Хьюго и Валерия — берут интервью у Элеонор, которая излагает собственные и мужнины утопические идеи о новом мировом устройстве, избавленном от всяких правил, денежных систем и семейных отношений. Сама Элеонор не сразу пришла к подобным теориям — прежде она увлекалась католичеством и марксизмом. Своеобразным воплощением утопических идей героини стали взаимоотношения Хьюго и Валерии: взаимная страсть, вспыхнувшая во время первой встречи накануне интервью, заставляет репортеров оставить семьи и поселиться вдвоем в гостинице.

ЭРИКО ВЕРИССИМО: Писатель и время (1905—1990)

Erico Verissimo: o escritor no tempo (1905—1990).
«Sulina»

Этот сборник из семнадцати очерков появился в результате совместного труда как близко знавших Эрико Вериссимо, так и тех, кто не был знаком с ним лично: это друзья писателя-гаучо, критики, историки, а также бывший директор крупного издательства «Глобо», с которым он сотрудничал. Сборник подготовлен к 85-летию со дня рождения Э. Вериссимо, оставившего яркий след в современной бразильской литературе. Созданные им произведения — например, сага «Время и ветер» — стали классикой; его книги переведены на многие языки, в том числе на русский (см. публикации в «ИЛ»: 1970, № 4; 1973, № 11, 12).

Авторы этого номера

ОСТА ХОЛТ (ÅSTA HOLTH; род. в 1904 г.) — норвежская писательница финского происхождения, пишущая на двух норвежских литературных языках,— букмоле и лансмоле. Дебютировала в 1929 году пьесой «В Люросене» («I Lurasen»). Автор сборника рассказов «Старый проселок» («Gamle bygdevegen», 1944), сборника стихов «Чертова фела» («Porkalafela», 1946), серии романов о финских переселенцах в Норвегии: «Зерно и мир» («Kornet og freden», 1955), «Камни цветут» («Steinen blØmer», 1963), «Часовня» («Kapellet», 1967), «Юханнес» («Johannes», 1975) и др., а также пьес, книг для детей, мемуаров. На русском языке напечатаны рассказы «Финнскуг» и «Земля отцов» в книге «Норвежская новелла 70—80-х годов» (М., Радуга, 1989). Повесть «Поваренная книга бедняка, или Малоземельного хутора летопись» вышла в Норвегии в 1984 году («Fattigmanns kokebok. Årbok fra ein liten gard», Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1984).

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА (LUIGI MALERBA; род. в 1929 г.) — итальянский писатель, сценарист. Учился на юридическом факультете Пармского университета. Вместе с Чезаре Дзаваттини написал сценарий по повести Н. В. Гоголя «Шинель». Автор сборника рассказов «Открытие алфавита» («La scoperta dell' alfabeto», 1963), романов «Змея» («Il serpente», 1966), «Протагонист» («Il protagonista», 1973), «Голубая планета» («Il pianeta azzurro», 1986; премия Монделло), «Греческий огонь» («Il fuoco greco», 1990), повести «Сальто-мортале» (напечатана в «ИЛ», 1976, № 5). Публикуемые рассказы взяты из сборника «Серебряная голова» (Luigi Malerba. «Testa d'argento», Milano, Arnoldo Mondadori, 1988).

ЛУКИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) — кандидат философских наук. Автор статей по современной зарубежной философии, публиковавшихся в сборниках и журнале «Человек». Переводит с английского и немецкого языков.

РЫНКЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1955 г.) — советский литературный критик и переводчик с английского и немецкого языков. В его переводе вышли книги Фр. Ницше «Так говорил Заратустра», М. Бубера — отрывки из книги «Я и ты», А. Швейцера «Проповеди», статьи Дж. Оруэлла и др.

СИНТАРО ИСИХАРА (род. в 1934 г.) — японский писатель и политический деятель. Член руководства правящей Либерально-демократической партии. Книга «Япония, которая сумеет сказать «нет» впервые вышла в свет в издательстве «Кобунся» в 1989 году.

САРКИСОВ КОНСТАНТИН ОГАНЕСОВИЧ (род. в 1942 г.) — кандидат исторических наук. Руководитель Центра японских исследований Института востоковедения АН СССР. Автор монографий и статей по внешней и внутренней политике Японии.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ПАДАЛКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА — советский переводчик с английского и норвежского языков. В ее переводах публиковались рассказы Р. Шекли, В. С. Найпола, С. Уорнер, Т. О. Брингсвэрда и др.

ДВИН ФРИДЭНГА МИХАЙЛОВНА — советский переводчик с итальянского. В ее переводах выходили книги Э. Петри «Рим, в 11 часов», Н. Палумбо «Налоговый инспектор», Д. Сантиса «Пока ты не стал солдатом», Ф. Феллини «Делать фильм» («ИЛ», 1981, № 9—11), сценарии Ф. Феллини, Т. Гуэрры «И плывет корабль» («ИЛ», 1984, № 9), Микеланджело Антониони «Тот кегельбан над Тибром» («ИЛ», 1985, № 9) и др.

БОШНЯК ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (род. в 1949 г.) — советский переводчик с английского. В его переводах публиковались романы У. Фолкнера «Поселок» (совместно с В. Хинкисом), Э. Л. Доктороу «Всемирная выставка», Э. Бёрджесса «Заводной апельсин», пьеса К. Воннегута «С днем рождения, Ванда Джун!», рассказы У. Фолкнера, У. Стайрона, Т. Вулфа, Джона Леннона и др.

Цена 2 руб. 95 коп.

ИНДЕКС 70394

В 1991 году
вышли и выходят в свет:

ДЖОН ФАУЛЗ (Великобритания) ***«Коллекционер»***

ГУСТАВ МЕЙРИНК (Австрия) ***«Голем»***

ИОСИФ БРОДСКИЙ (США) ***«Поэт и проза»***

СОЛ БЕЛЛОУ (США) ***«Родственники»***

ЗИГМУНД ФРЕЙД (Австрия)
«Остроумие и его отношение к бессознательному»

ГЕНРИ МИЛЛЕР (США) ***«Тропик Рака»***

ЖОЗЕФ ЭРНЕСТ РЕНАН (Франция) ***«Жизнь Иисуса»***

Книги Библиотеки «ИЛ»
распространяются только в розницу.

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1991, № 11 1—256